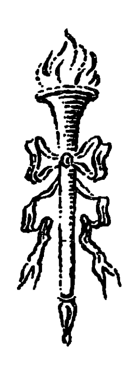
В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
СОЧИНЕНИЯ





В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

СОЧИНЕНИЯ





ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1989

ББК 84.Р1
К 99

Тексты печатаются по изданиям:

Кюхельбекер В. К. Избранные произведения: В 2 т. М.; Л.: Сов. писатель, 1967 (Б-ка поэта. Большая серия); Кюхельбекер В. К. // Декабристы: Антология: В 2 т. Т. 2. Л.: Худож. лит., 1975; Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л.: Наука, 1979

Вступительная статья
Н. М. РОМАНОВА

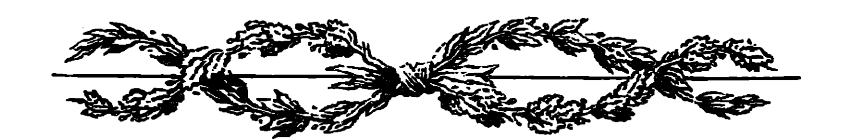
Составление, подготовка текста, комментарии
В. Д. РАКА и Н. М. РОМАНОВА

Оформление художника
Д. ПЛАКСИНА

Фронтиспис — В. К. Кюхельбекер. Гравюра И. И. Матюшина. 1880-е годы

К $\frac{4702010106-053}{028(01)-89}$ 4—88

ISBN 5—280—00065—5



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

Вероятно, мало в русской литературе авторов, к творчеству и личности которых относились бы столь двойственно, как к Вильгельму Кюхельбекеру. Такое отношение началось еще в Лицее. Пародии и карикатуры сыпались на него, как из рога изобилия. Слова «и кюхельбекерно, и тошно», приписываемые его гениальному другу, известны сегодня даже тем, кто никогда не читал стихов Кюхельбекера. Оценив блестящую шутку Пушкина, с иронией относились к поэту многие современники; лучший друг его, друг с детства и до гробовой доски — Иван Пущин иначе как «метроманом» его не называл. Но тот же Пушкин говаривал, что «острая шутка не есть приговор». Сам он в высшей степени серьезно относился ко всему, что писал Кюхельбекер. Разбирая его стихи, Пушкин в письмах не стеснялся в выражениях, высмеивал недостатки, но высоко ценил каждый успех друга. Впрочем, искренность и нелицеприятность в суждениях о стихах друг друга были для них нормой. Зато в набросках своих возражений на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине» Пушкин прежде всего отмечает, что статьи эти «написаны человеком ученым и умным», «сильным и опытным атлетом».

И не один Пушкин любил и уважал Кюхельбекера. К. Ф. Рылеев писал Пушкину: «Что за прелестный человек этот Кюхельбекер. Как он любит тебя! Как он молод и свеж». Разборчивый на знакомства А. С. Грибоедов угадал в нем недюжинную натуру и собрата-поэта. Все, кто общался с ним, признавали в «странном» Кюхельбекере человека необыкновенного.

Таким же незаурядным было и творчество Кюхельбекера. Современники мало его читали. Он не успел многого напечатать, а после 1825 года это стало еще труднее. Только в нашем веке большая часть его наследия была опубликована. Стараниями Ю. Н. Тынянова мы получили возможность познакомиться не только с неизвестными ранее произведениями поэта, но и с личностью этого человека. Од-

нако, написав роман «Кюхля», Ю. Н. Тынянов изобразил своего героя несколько иным, чем он был на самом деле. В статьях ученого поэт и человек Вильгельм Кюхельбекер представлен совершенно иначе. За прошедшие с тех пор годы исследователями проведена большая работа по сбору, публикации и анализу наследия поэта. Сегодня мы имеем возможность свежим взглядом посмотреть на творчество этого интереснейшего поэта, драматурга, прозаика и критика.

Надо вспомнить слова Пушкина о том, что критика должна быть «основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов». Ссылаясь на Винкельмана, Пушкин писал: «...старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях». Исходя из собственных представлений о том, какой должна быть поэзия, Кюхельбекер так оценивал итог своей жизни и творчества в письме к В. А. Жуковскому: «Говорю с поэтом, и, сверх того, полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний: *я чувствую, знаю, я убежден совершенно, точно так же, как убежден в своем существовании*, что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще поэзии, эту мою гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все, мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!»

Это слова сильного духом человека, трезво отдающего себе отчет в том, чему была посвящена вся его жизнь. Это позиция поэта, все силы души которого были направлены на одно: сказать то, чего до него никто не говорил, и сказать так, как никто не говорил. Что может быть благороднее!

Вильгельм Карлович Кюхельбекер происходил из семьи саксонского дворянина Карла Генриха Кюхельбекера, который переселился в Россию в 1772 году. Отец поэта был образованным человеком, он учился праву в Лейпцигском университете одновременно с А. Н. Радищевым и И. В. Гете. С последним был хорошо знаком. Карл Иванович Кюхельбекер, как стали звать его в России, был также агрономом и специалистом по горному делу. Он поступил на службу к великому князю Павлу Петровичу, был его секретарем, а когда в 1777 году началось строительство имения великого князя — Павловска, стал его первым директором и устроителем. Одновременно он управлял принадлежавшим Павлу Каменным островом в Петербурге. Судя по воспоминаниям Вильгельма о своем отце, тот в последние дни жизни императора Павла «вошел в случайную милость царскую и чуть не сделался таким же временщиком, как Ку-

тайсов». После смерти Павла он жил главным образом в Эстляндии, в имении Авинорм, подаренном ему императором. В 1797 году 10 июля в Петербурге в семье Карла Кюхельбекера родился сын — Вильгельм Людвиг — будущий русский поэт.

Детство Вильгельма прошло в Авинорме. В его памяти навсегда запечатлелась «мирная и счастливая» природа этих мест, которые поэт неоднократно вспоминал в своих стихах. В 1808 году Вильгельма отдали в пансион Брикмана в городе Веро, а в 1811 году по рекомендации свойственника матери — военного министра М. Б. Барклая де Толли — устраивают в Царскосельский лицей. Как и для всех лицеистов, годы учения в Лицее стали для него временем становления литературных и политических взглядов, сформировали круг друзей, которому он был верен всю жизнь.

Вильгельму часто бывало нелегко. Страшно обидчивый, взрывающийся, как порох, он к тому же был предметом постоянных насмешек товарищей. Однако он сразу зарекомендовал себя как отличный ученик. Инспектор М. С. Пилецкий дал такой отзыв о Кюхельбекере, относящийся, видимо, к 1812 году: «Кюхельбекер (Вильгельм), лютеранского исповедания, 15-ти лет. Способен и весьма прилежен; беспрестанно занимаясь чтением и сочинениями, он не радеет о прочем, оттого мало в вещах его порядка и опрятности. Впрочем, он добродушен, искренен с некоторою осторожностью, усерден, склонен ко всегдашнему упражнению, избирает себе предметы важные, плавно выражается и странен в обращении. Во всех словах и поступках, особенно в сочинениях его, приметны напряжение и высокопарность, часто без приличия. Неуместное внимание происходит, может быть, от глухоты на одно ухо. Раздраженность нервов его требует, чтобы он не слишком занимался, особенно сочинением».

До нас дошло много воспоминаний о странностях Вильгельма, однако эрудиция, знание языков, оригинальность суждений завоевали ему уважение товарищей. Среди интересов лицейства — история и философия, восточные языки и фольклор и, конечно, поэзия — немецкая, английская, французская — и драматургия. Вся обстановка в Лицее способствовала пробуждению таланта. И Кюхельбекер начал писать стихи по-русски и по-немецки, а с 1815 года — печататься в журналах «Амфион» и «Сын отечества». Его стремление избегать «гладкописи», несколько затрудненный слог, ориентированный прежде всего на Державина, тяготение к архаизмам вызывали насмешки друзей-лицеистов. В их пародиях и эпиграммах высмеивались длинноты и тяжеловесность его стихов, пристрастие к гекзаметру. Но, несмотря на это, Вильгельм всегда был в числе признанных лицейских поэтов. Он с самого начала шел своей дорогой и в 1833 году напишет в дневнике, что сознательно не хотел быть в числе подражателей Пушкина.

Стремление и умение отстаивать собственный взгляд на поэзию

не могли не вызывать уважение товарищей. М. А. Корф в «Записках о Лицее» пишет о Вильгельме: «Он принадлежал к числу самых плодовитых наших стихотворцев, и хотя в стихах его было всегда странное направление и отчасти странный даже язык, но при всем том, как поэт, он едва ли не стоял выше Дельвига и должен был занять место непосредственно за Пушкиным».

Становление поэта Кюхельбекера неотделимо от становления его политических взглядов. На вопрос: «С какого времени и откуда вы заимствовали свободный образ мыслей?» — заданный на следствии по делу 14 декабря, поэт ответил: «Не могу сказать, когда и как родился во мне свободный образ мыслей. Я развивался очень поздно: до Лицея я был ребенком и едва думал о предметах политических». Лекции А. П. Куницына, литературные вкусы Д. И. Будри, чтение новейших книг немецкой, английской и французской литературы, которые присылали родственники лицеистам (и в первую очередь — Вильгельму), знакомство с членами кружка И. Г. Бурцова — все это было слагаемыми в становлении свободомыслия. Ю. Н. Тынянов писал: «Далеко еще не все пути проникновения в Лицей революционизирующих мнений и убеждений выяснены». Особенно большое значение имело для Кюхельбекера чтение Руссо и его ученика Вейсса, швейцарского политического деятеля и писателя, под влиянием которого Вильгельм начал составлять свой «Словарь», ставший сводом философских, моральных, политических и литературных вопросов, интересовавших Кюхельбекера и его друзей. «Наш словарь» — называл его Пушкин в черновиках стихотворения «19 октября 1825 года». Только названия некоторых статей могут дать представление об общественно-политической направленности «Словаря»: «Аристократия», «Естественное состояние», «Образ правления», «Рабство», «Свобода гражданская» и т. д.

Во время создания «Словаря» поэт вступил в «Священную артель» — одно из первых преддекабристских тайных обществ. Из лицеистов в него входили В. Вольховский, И. Пущин, А. Дельвиг. Пущин вспоминал: «Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и возможности его изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком». Именно в Лицее и в «Священной артели», где читали лекции те же лицейские профессора, происходило становление политических взглядов Кюхельбекера.

Первые поэтические опыты лицеиста до нас не дошли. Но именно ему посвятил Пушкин свое первое опубликованное стихотворение «К другу стихотворцу». Пушкин предсказал другу его судьбу — судьбу не нашедшего признания у современников поэта. Такую жизнь и прожил Кюхельбекер. Однако, находясь в заключении, он писал своему племяннику: «Никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом; утешения, которые мне давала поэзия в течение моей

бурной жизни, столь велики, что довольно их. Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог бы купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастию без нее».

При выпуске из Лицея Кюхельбекер получил третью серебряную медаль и отличный аттестат. В чине титулярного советника он вместе с Пушкиным, Горчаковым, Корсаковым и Ломоносовым был зачислен на службу в Главный архив Коллегии иностранных дел. Присягу они принимали вместе с А. С. Грибоедовым, тогда, видимо, и состоялось их первое знакомство. В том же году Кюхельбекер начал читать лекции по русской словесности в младших классах Благородного пансиона при Главном педагогическом институте в Петербурге. В то время здесь учились младший брат Пушкина Лев, будущие друзья Пушкина С. А. Соболевский и П. В. Нащокин, позднее его учениками стали будущий поэт и дипломат Ф. И. Тютчев и будущий композитор М. И. Глинка.

Наряду с преподавательской работой Кюхельбекер ведет напряженную литературно-общественную деятельность. Он активный член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств под председательством А. Е. Измайлова, а с председателем Вольного общества любителей российской словесности (членом которого Кюхельбекер также является) Ф. Н. Глинкой его связывают не только родственные, но и дружеские отношения. В 1820 году он вступает в околомасонскую ложу «Избранный Михаил» и становится секретарем Вольного общества учреждений училищ по ланкастерской методе взаимного обучения. О Кюхельбекере этих лет красноречиво говорят воспоминания одного из воспитанников Благородного пансиона Н. А. Маркевича. Он пишет о своем учителе как о «благороднейшем и добрейшем, честнейшем существе... Кюхельбекер был любим и уважаем всеми воспитанниками. Это был человек длинный, тощий, слабогрудый, говоря, он задыхался, читая лекцию, пил сахарную воду... Мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре русского языка».

В эти же годы Кюхельбекер много пишет, печатается, замышляет издавать свой журнал. Среди его стихов той поры — подражания Жуковскому («Ночь», «Пробуждение», «Жизнь»), элегии («Осень», «Элегия», «К Дельвигу»). Жуковский для молодого поэта был непревзойденным авторитетом. В своей первой критической статье «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности», написанной в 1817 году, Кюхельбекер противопоставляет рифмованной ямбической поэзии, основывающейся на правилах французского стиха, опыты А. Х. Востокова в области ритмики и строфики, гекзаметры

Н. И. Гнедича. Он восхищается тем, что Жуковский «сообщил русскому языку некий *германический* дух».

Кюхельбекер первым обратился к жанру посланий друзьям в дни лицейских годовщин. Таким было послание к Пушкину и Дельвигу 14 июля 1818 года. Здесь впервые их дружба определяется формулой: «Наш тройственный союз, Союз младых певцов и чистый, и священный». Эту формулу будут неоднократно варьировать в своих стихах все три поэта.

Литературные вкусы Кюхельбекера в это время еще недостаточно выражены. С одной стороны, он находится под влиянием Жуковского и Батюшкова (позднее он назовет себя «энтузиастом Жуковского»), считает себя частью единого «союза поэтов» вместе с Пушкиным, Дельвигом и Баратынским. Но в то же время среди его литературных симпатий автор поэмы «Петр Великий» С. А. Ширинский-Шихматов, которому он отводит «одно из первых мест на русском Парнасе», положительно отзывается он о стихах А. П. Буниной, подчеркивая ее самобытность и независимость от влияния Дмитриева, Жуковского и Батюшкова. Однако теоретические рассуждения Кюхельбекера в значительной мере не совпадают с его литературной практикой. Восхищаясь Ширинским-Шихматовым, он отнюдь не следует ему в своих стихах. Наоборот, все ощутимее начинают звучать в них гражданские мотивы.

В 1820 году все друзья Пушкина были обеспокоены его судьбой. Поэту грозила ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь. На заседании Вольного общества любителей российской словесности Дельвиг прочел своего «Поэта». Кюхельбекер подхватил мысль друга о свободе «под звук цепей» и на заседании 22 марта прочитал своих «Поэтов». В творчестве Кюхельбекера это стихотворение стало программным. В нем говорится, что истинный поэт никогда не находит награды за свои «высокие дела» в мире «злодеев и глупцов», приводится пример Д. Мильтона, В. А. Озерова, Т. Тассо, для которых земная жизнь была «полна и скорбей, и отравы», и только в потомстве пришла к ним слава. Стихи проникнуты пафосом преддекабристской гражданственности: святой долг поэта — направлять жизненный путь людей. Кюхельбекер призывает Дельвига, Баратынского и Пушкина не обращать внимание на «презрение толпы», на «шипенье змей», он прославляет «Свободный, радостный и гордый, И в счастьи и в несчастьи твердый, Союз любимцев вечных муз!»

«...Поелику эта пьеса была читана в обществе непосредственно после того, как высылка Пушкина сделалась гласною, то и очевидно, что она по сему случаю написана»,— писал В. Н. Каразин в своем доносе министру внутренних дел В. П. Кочубею. Этот донос осложнил и положение Кюхельбекера. После отъезда друга в Екатеринослав он тоже ждет высылки. Но в это время Дельвиг получает приглашение занять место секретаря и постоянного собесед-

ника в путешествии за границу обер-камергера А. Л. Нарышкина. Вельможе нужен был в секретари человек, владевший тремя языками. Дельвиг предложил вместо себя друга. 8 сентября 1820 г. Кюхельбекер отправился в путешествие.

Это была не просто поездка за границу. Кюхельбекер ехал в Европу, где в марте 1820 года король Италии присягнул на верность конституции, в июне произошла революция в Неаполе, в июле — в Сицилии. Революционные события назревают в Пьемонте и в Португалии, начинается борьба за освобождение Греции. В этот бурлящий европейский котел и окунается Кюхельбекер, увлеченный мыслью о конституции, известный своей пылкостью и восторженностью. Дневник путешествия и целый ряд стихов написаны в форме обращений к друзьям, оставшимся в России. В этом заметно следование Н. М. Карамзину. Отправляясь в поездку, Кюхельбекер ставил перед собой две задачи: первая — знакомство с культурной жизнью Европы и рассказ об этом русскому читателю, и вторая — пропаганда в Европе молодой русской литературы. Видимо, именно этим было обусловлено стремление встретиться с немецкими романтиками и, в частности, с Л. Тиком, а позднее с французскими писателями-либералами.

В Веймаре в ноябре 1820 года состоялось знакомство с Гете. Очевидно, было несколько встреч, в результате которых два поэта «довольно сблизились». Они говорили не только о стихах самого Гете, но и о русской литературе и русском языке. Не мог Кюхельбекер, по всей вероятности, не сказать Гете ни слова о Пушкине. Закончились эти беседы просьбой Гете писать ему и «объяснить свойство нашей поэзии и языка русского».

Кипучую деятельность по пропаганде русской культуры Кюхельбекер развил в Париже. Он завязал знакомства с видными журналистами и писателями, и прежде всего с Б. Констаном — вождем французских либералов. Б. Констан устроил русскому поэту чтение лекций о русском языке и литературе в Академическом обществе наук и искусств.

Сохранился текст лишь одной из этих лекций. В ней Кюхельбекер обращается к передовым людям Франции от имени мыслящих людей России, потому что «мыслящие люди являются всегда и везде братьями и соотечественниками». Лекции русского поэта были столь радикальными, что полиция их запретила. Кюхельбекер должен был покинуть столицу Франции. Уехать ему помог поэт В. И. Туманский, с которым они познакомились в Париже.

Кюхельбекер возвращается в Россию. Официальные круги воспринимают его как неблагонадежного. Государь, по словам А. И. Тургенева, «все знал о нем; полагал его в Греции», где в то время шла борьба за свободу. Оставаться в Петербурге было нельзя, и друзья помогли поэту «определиться» к А. П. Ермолову, главноуправляю-

щему Грузией. Недолго пробыл Кюхельбекер на юге. Отправившись туда в сентябре 1821 г., он уже в мае 1822 г. должен был покинуть Кавказ из-за дуэли с родственником и секретарем Ермолова Н. Н. Похвисневым. Но именно эти несколько месяцев имели большое значение для развития его взглядов и вкусов. В этом прежде всего сыграло роль возобновившееся знакомство с Грибоедовым. «Между ними сказалось полное единство взглядов,— пишет Ю. Н. Тынянов,— тот же патриотизм, то же сознание мелочности лирической поэзии, не соответствующей великим задачам, наконец, интерес к драме».

Встретив близкого по духу человека, Кюхельбекер всей душой отдался этому новому увлечению, противопоставив на какое-то время Грибоедова прежним друзьям. После Кавказа Кюхельбекер жил в Закупе — имении сестры в Смоленской губернии. Он был влюблен в А. Т. Пушкину, собирался жениться на ней, мечтал о возвращении в Петербург и об издании журнала, писал трагедию «Аргивяне», поэму «Кассандра», начало поэмы о Грибоедове.

Удивительная личность Грибоедова оказала огромное влияние на все творчество Кюхельбекера. Он увлекается Шекспиром и начинает критически относиться к Жуковскому. В это же время он обращается к оде, противопоставляя ее высокую гражданственность камерности элегии. Внимательное прочтение Библии и интерес к библейским сюжетам привносят новый аспект в понимание места и назначения поэта в обществе. Теперь поэт воспринимается им как пророк. Участь поэта тяжела: «Пророков гонит черная судьба; Их стерегут свирепые печали...» Награда ждет поэта не при жизни, но проклятье ждет каждого, «кто оскорбит поэта Богам любезную главу». В стихах Кюхельбекера появляется образ поэта-пророка, пробуждаемого гласом бога: «Восстань, певец, пророк Свободы!» Не исключено, что пушкинский «Пророк», написанный через четыре года, создавался с ориентацией на эти строки.

Последние два с половиной года перед 14 декабря были, пожалуй, самыми насыщенными в жизни Кюхельбекера. Именно в это время он становится одним из крупнейших поэтов-декабристов, ведущим критиком и теоретиком нового, декабристского направления литературы, проповедующим самостоятельность и патриотизм русской поэзии. В конце июля 1823 года Кюхельбекер приехал в Москву. Вместе с В. Одоевским и Грибоедовым он начинает готовить к изданию альманах «Мнемозина». Успех первой части альманаха, вышедшего в начале 1824 года, был блестящим. Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков, Шевырев, В. Одоевский опубликовали в нем свои произведения. Многое напечатал там и Кюхельбекер. В «Благонамеренном» появилась рецензия, высоко оценивающая альманах (авторство ее приписывают Рылееву). Во второй части «Мнемозины» опубликована программная статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в послед-

нее десятилетие». Статья с большой силой и резкостью отражала взгляды нового литературного направления — писателей-декабристов, для которых на первое место выступала «самобытность» автора, свобода от подражательности даже крупнейшим зарубежным образцам. «Вера праотцев, нравы отечественные,— писал поэт,— летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности». Он призывал «сбросить с себя поносные цепи немецкие» и «быть русскими». Следующие книжки альманаха такого успеха не имели. Снова начались поиски заработка. Друзья пытались помочь, но безрезультатно.

А время приближалось к 14 декабря. Организационной связи с будущими декабристами у Кюхельбекера не было до самого конца 1825 года. Однако всей своей деятельностью, образом мыслей и устремлениями Кюхельбекер давно был выразителем идеологии передового дворянства России. В трагедии «Аргивяне» он пытался поставить вопросы о путях уничтожения тирании, о возможности и правомерности убийства тирана, о действующих силах государственного переворота. При переработке трагедии в 1825 году появляется решение о необходимости опираться в перевороте на бунт народа. Любой повод использует Кюхельбекер для заявления своей гражданской позиции. В сентябре 1825 года произошла дуэль между флигель-адъютантом В. Д. Новосильцевым и членом Северного общества, подпоручиком Семеновского полка К. П. Черновым, вступившимся за честь своей сестры. Похороны Чернова превратились в серьезную манифестацию. Кюхельбекер пытался прочитать на могиле свои стихи «На смерть Чернова», исполненные революционного пафоса. В своих критических статьях поэт также стоял на позициях декабризма. Поэтому, когда «несколько дней спустя по получении известия о смерти императора» он был принят Рылеевым в Северное общество, это был чисто формальный акт, давший ему возможность активного участия в выступлении. Показания, данные им на следствии, исключают возможность случайного увлечения надвигающимися событиями.

Не было случайным и поведение Кюхельбекера в день восстания. Его кипучая натура получила наконец возможность проявиться. Он посещает восставшие полки, пытается привести на площадь С. П. Трубецкого, участвует в избрании диктатором Е. П. Оболенского, с оружием в руках присоединяется к восставшим на Сенатской площади, стреляет в великого князя Михаила Павловича, пытается вести за собой солдат Гвардейского экипажа... Все это реальные дела. Они показывают Кюхельбекера как одного из активнейших и деятельнейших участников восстания. А то, что ему единственному удалось бежать из Петербурга, говорит о том, что и после поражения он сохранял ясность мысли и решительность действий. Его арестовали в Варшаве, узнав по словесному портрету.

Арест, суд, приговор — пятнадцать лет каторги, замененной Николаем на пятнадцать лет одиночного заключения. Шли бесконечные пересылки из тюрьмы в тюрьму. 25 апреля 1826 года он был перевезен из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую, в октябре 1827 года переведен в Динабург. По дороге состоялась встреча с Пушкиным на станции Залазы, близ Боровичей. В 1831 году его переводят в Ревель, затем в Свеаборг. Чтение и сочинение были единственными занятиями в течение десяти лет (срок был сокращен). Оторванный от друзей и единомышленников, поэт оказался в интеллектуальном вакууме, сохранить себя в котором ему помогли оригинальный ум и страстная натура. Поэт выстоял и до конца своих дней остался поэтом. Дневник 1831—1845 годов отражает напряженную работу ума человека, почти лишенного возможности быть в курсе событий интеллектуальной жизни, но не сломленного этим. Он начат 25 апреля 1831 года в ревельской тюрьме, и только слепота прекратила эту работу. Дневник не был исповедью, но он стал важнейшим документом русской общественной мысли, поскольку вместил в себя размышления крупнейшего поэта-декабриста о литературе, истории, человеческом характере. В дневнике — творческая история всех его произведений, созданных в эти годы, история дум и интересов заключенного, а позже ссыльного декабриста. Это дневник поэта, жребием которого стали гонения. Он размышляет о предопределенности неудачи выступления декабристов, о нравственной сущности человека, о нравственном праве на месть и об умении прощать. Со страниц дневника встает трагический образ поэта, вопреки судьбе осуществляющего свою творческую миссию.

Что же давало ему возможность жить и выжить, сохранить в себе творческие силы? Прежде всего ощущение своей причастности к литературному процессу, абсолютная увлеченность творчеством, которое всегда было для него не самоцелью, а неотъемлемой частью существования. Можно вспомнить здесь пушкинское: «Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Поэзия помогла Кюхельбекеру в более сложных условиях — в одиночном заключении остаться поэтом и человеком.

Утрата политического идеала лишала творчество Кюхельбекера нравственной и эстетической опоры; духовное одиночество мешало развивать систему взглядов на мир, не давало развиваться реалистическим тенденциям. В его лирике можно отметить усиление религиозных настроений, повторение уже известных тем, которые укрепляли его в одиночестве,— это прежде всего тема дружбы и тема тяжелой судьбы поэта.

И в заключении он ощущал свою близость с друзьями. В 1845 году в стихах «На смерть Якубовича» он назовет этих друзей и единомышленников: «Лицейские, ермоловцы, поэты, Товарищи!..» Самозабвенное ощущение товарищества, детская уверенность в ответ-

ной открытости друзей, способность забывать обиды, тем более острые, чем ближе был человек, их нанесший, искренняя благодарность за доброту и участие — вот, пожалуй, то основное в характере Кюхельбекера, что помогало ему переносить все тяготы судьбы. Поэтому тема дружбы, послания к старым друзьям и новым знакомым составляют значительную часть написанного в заточении.

С другой стороны, тема тяжелой судьбы непризнанного поэта все чаще звучит в его стихах. Примерами теперь становятся не только Камоэнс, Тассо и другие, но и собственная судьба и судьба близких поэтов. Осознание особой пророческой миссии поэта, святости его существования всегда было присуще Кюхельбекеру. Особенно гневно и страстно эта тема звучала в «Проклятии». В качестве пророка, провозглашающего светлое будущее России, выступает Рылеев в стихотворении Кюхельбекера «Тень Рылеева», написанном в заключении.

Как ни тяжелы были условия жизни в крепости, они позволяли писать, не отвлекаясь на решение бытовых проблем, которые выбивали его из колеи прежде и встанут перед ним в ссылке. Знакомясь с тем, что смог Кюхельбекер написать в заключении, понимаешь, насколько могуч был его талант. Лишение живого общения с друзьями и противниками по литературной борьбе в значительной мере сузило его возможности. И все-таки итог этой работы поражает: поэмы «Давид», «Юрий и Ксения», «Сирота», мистерия «Ижорский», трагедия «Прокофий Ляпунов», проза, множество лирических стихов — вот неполный перечень созданного за эти годы. В письме Н. И. Гречу от 13 апреля 1834 года Кюхельбекер перечисляет статьи, которые у него уже готовы: о юморе, о греческой дигамме, о Мерзлякове, Пушкине, Кукольнике, Марлинском, Шекспире, Гете, Томсоне, Краббе, Муре, Вальтере Скотте, а также несколько «легких статей».

Поэма «Сирота» написана в 1833 году. В посвящении Пушкину Кюхельбекер говорит об отличии «смиренного цвета» своих стихов от полета «доблестного орла» пушкинской поэзии. Это программное заявление. Поэма — отход от прежних протестов против изображения прозаических сторон жизни, характерных для его ранних высказываний. По свидетельству самого Кюхельбекера, на него повлияли бытописательные поэмы Дж. Краббa, но характерно, что поиски поэта, несмотря на оторванность от культурной жизни страны, совпали с направлением общего развития русской литературы с ее вниманием к быту и «маленькому» человеку.

Конечно, поэма «Сирота» — не реалистическое произведение, несчастья героя не обусловлены социальной средой, а всего лишь следствие произвола порочной личности. Но все же реалистические тенденции здесь заметны. Они прежде всего в точных и подробных описаниях повседневного быта провинциального дворянства и ме-

цанства. Поэма написана в Свеаборгской крепости на седьмом году заключения, однако сам дух ее — это оптимистическая уверенность в том, что все в конце концов будет хорошо. Сентиментально-трогательную развязку поэмы следует воспринимать с учетом именно этих обстоятельств.

Разгром восстания декабристов, «огромное несчастье», постигшее поэта,— одиночное заключение заставляли его вновь и вновь обращаться к нравственным и политическим идеалам декабризма. Не случайно Кюхельбекер много думает о периоде Смутного времени. Его увлекают образы то Самозванца-Лжедмитрия I, то царя Василия Шуйского. Трагедия о Шуйском была написана, но до нас не дошла. Из писем поэта мы знаем, что Самозванец представлялся ему чем-то вроде «русского Фауста». Но больше всего его занимал период отсутствия на Руси царской власти. Не случайно он обращается к образу Прокофия Ляпунова — одного из руководителей борьбы русского народа против польской интервенции в 1611 году. Это было время, когда царь Василий Шуйский был низложен, Боярская дума находилась в захваченной поляками Москве, Россией правила выборная Земская дума. Ляпунов, по представлению Кюхельбекера, был воплощением декабристской идеи сильной личности, стоящей во главе государства, проводящей в жизнь демократические принципы защиты интересов народа. Автор подчеркивает в своем герое силу и внутреннее достоинство. Трагическая судьба вождя первого земского ополчения вызывает ассоциации с судьбой руководителей декабристских обществ. Работа над трагедией стала свидетельством дальнейшего развития декабристских идей, верность которым Кюхельбекер сохраняет на протяжении всей своей жизни.

«Прокофий Ляпунов» — это отход от традиций патетического стиля. Герой Кюхельбекера исторически четко сознает, что на его месте мог быть и другой, более подходящий человек. «Быть может, подвиг-то и не по мне...» — говорит он. Поэтому Прокофий лично для себя ничего не ищет. Пользуясь авторитетом в войске и популярностью в народе, он может стать царем, но не хочет этого. Главное в его действиях — закон. Власть царя, как считает Прокофий у Кюхельбекера, должна быть ограничена Земской думой — выборным органом правления. Герой сражается за свободу своей родины, он сознает не только возможность, но и неизбежность гибели в этой борьбе. Но при этом нет мотива искупительной жертвы, а есть лишь реальная оценка положения.

Безусловное влияние на Кюхельбекера оказал вышедший в 1831 году «Борис Годунов» Пушкина. Сомнения и переживания Прокофия напоминают душевные муки Бориса, а шут Ванька — пушкинского юродивого: его устами вершится народный суд над воеводой. Нельзя не отметить также, что книги о Смутном времени, по-

служившие материалом для создания трагедии, были также присланы другу Пушкиным.

В драме «Прокофий Ляпунов» Кюхельбекер пытался осмыслить проблему народа. Если в «Аргивянах» Тимолеон популярен в народе и пользуется его поддержкой, то Прокофий Ляпунов не только опирается на поддержку народа, но и сам стремится защищать его интересы. «Берегись обидеть земледельца»,— говорит он. Кюхельбекер пошел значительно дальше своих прежних представлений о народе, отказавшись от идеализации его. Декабристская идея о новгородском вече как об идеальном органе народной власти видоизменяется. На примере казачьего схода автор показывает, что демократические принципы казачьей вольницы, хранителем которой показан старый казак Чуп, в жизни не осуществимы. Сходом правят предатели старшины, которые из личных корыстных побуждений расправляются с неугодным им Ляпуновым. По-своему, но исторически обусловленно мысль Кюхельбекера идет по тому же пути, который привел Пушкина к печальному выводу о «бессмысленности и беспощадности» русского бунта.

В конце 1835 года Кюхельбекер был освобожден из крепости. Пришло то чувство свободы, которого поэт ждал с таким нетерпением. Но ссылка, в которой оказался поэт, принесла столько новых забот, что на творчество уже почти не оставалось времени. Ему пришлось заниматься физическим трудом, чтобы иметь возможность жить самому и помогать семье брата. Осенью 1836 года Кюхельбекер женился на дочери почтмейстера в Баргузине Дросиде Ивановне Арсеновой. Это был брак не по любви, а по расчету. Поэт надеялся если не в жене, то в детях найти себе друзей, которые разделят его скорби и радости. Одно сознание того, что он, которому, говоря его же словами, «рукоплескал когда-то град надменный» — Париж, должен пахать и сеять, сушить мох, чтобы конопатить стены избы, искать заблудившегося быка, не могло стать источником вдохновения... Духовное одиночество лишало возможности развивать свой поэтический мир. И мир этот сужался до чисто бытовых зарисовок и посланий к тем, с кем он мог общаться в ссылке.

Только одна тема продолжала все пронзительнее звучать в его стихах. Это тема тяжелого жребия поэта, его «черной судьбы» среди «свирепых печалей», в мире, разрушенном «злодействами невежд». К лицейской годовщине 1836 года Кюхельбекер посылает Пушкину стихи, в которых радостно и торжественно обращается к другу: «Пушкин! Пушкин! это ты! Твой образ — свет мне в море темноты!». Еще не привыкший к той относительной свободе, которую он почувствовал после выхода из крепости, поэт пишет, что его «сердце бьется молодо и смело...».

О смерти Пушкина Кюхельбекер узнал накануне дня рождения своего друга (26 мая). Стихи «Тени Пушкина» датированы 24 мая

1837 года. Гибель друга, который был для него «товарищем вдохновенным», непревзойденным образцом высокого духа и таланта, светочем во всех тяготах судьбы, наложила трагический отсвет на многие последующие стихи. Гимном погибшему другу стало юбилейное лицейское стихотворение 1837 года. С этого времени мысли о судьбе поэтов, о собственной судьбе становятся все более мрачными. Тени погибших друзей все чаще появляются в его стихах. Кюхельбекеру пришлось пережить почти всех своих друзей-поэтов: Рылеева, Грибоедова, Дельвига, Пушкина, Баратынского. Теперь их пример, вместо Камоэнса и Тассо, становится мерилом тяжести поэтической судьбы.

Когда Кюхельбекер говорит о судьбе поэтов, его голос поднимается до высочайших поэтических обобщений. Именно эти его стихи с полным правом входят в сокровищницу русской поэзии. Вильгельму Кюхельбекеру, познавшему горечь утрат, испытавшему силу мести самодержца, пережившему долгие годы одиночного заключения, унизительное, бесправное существование в ссылке, удалось написать одни из лучших строк о трагической судьбе поэтов в России: «Горька судьба поэтов всех племен; Тяжеле всех судьба казнит Россию...»

Однако природное чувство оптимизма не позволяло поэту замыкаться в этом трагическом мироощущении. Почти все, с кем ему приходилось общаться, становились адресатами посланий: городской лекарь А. И. Орлов в Верхнеудинске, пятнадцатилетняя девочка Аннушка Разгильдеева, ставшая его ученицей в Акше, М. Н. Волконская, которую он посетил в Красноярске, и другие.

Суровые условия жизни расшатывали и без того не слишком могучее здоровье. В 1845 году Кюхельбекер ослеп. Но и это не смогло совсем заглушить его поэтический голос:

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму,
И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы милой отчизны.

Одно из последних стихотворений (1846) обращено, по-видимому, А. Ф. Орлову, который усилил тайный надзор за сосланными декабристами. Орлов отказал поэту в просьбе получить разрешение печататься. Гневный пафос обличительных строк Кюхельбекера ставит их на уровень лучшего, что было создано им. Одно это не полностью сохранившееся стихотворение опровергает все рассуждения о затухании таланта поэта. Кюхельбекер слеп и болен, раздавлен нуждой, но в стихах по-прежнему сильно и громко продолжает звучать его голос.

Незадолго до смерти Кюхельбекер продиктовал Пущину свое литературное завещание и письмо к Жуковскому с просьбой о помощи.

11 августа 1846 года Кюхельбекер скончался. «Он до самой почти смерти был в движении, а за день до смерти ходил по комнате и рассуждал еще о том, что, несмотря на дурную погоду, он чувствует себя как-то особенно хорошо». Заботы о семье взял на себя Пущин, а позже дети воспитывались в семье сестры поэта Ю. К. Глинки. В 1856 году им были возвращены дворянское звание и фамилия отца.

Прозаические произведения Кюхельбекера немногочисленны. Почти все они включены в настоящий сборник, за исключением романа «Русский Декамерон 1831-го года», являющегося прозаическим обрамлением поэмы «Зоровавель» (1831). При содействии Пушкина этот роман был издан в 1836 году. Повесть «Адо» (1824) написана в декабристских традициях. Политические и гражданские идеи, развиваемые в ней автором, оживляет романтический любовный сюжет. В создаваемых картинах народной жизни сказались детские впечатления Кюхельбекера, хорошо знавшего эстонский быт. Написанная первоначально «высоким слогом», повесть «Адо» оказалась неудачной, что заставило автора полностью переписать ее.

Работа над романом «Последний Колонна» затянулась на много лет. Поводом для его создания послужило чтение повести французского писателя-сентименталиста Ф. Арно «Адельсон и Сальвини». Воображение Кюхельбекера значительно изменило сюжет, усложнило проблематику. В работе над романом сказалось влияние Э. Т. А. Гофмана, В. Ирвинга и, вероятно, О. Бальзака. В центре романа история жизни римского художника Колонны. Повествование развивается в сложной форме переписки героев романа и отрывков из дневников самого Колонны. Кюхельбекер осуждает индивидуализм своего героя, темперамент, мысли и поведение которого определяет его художественная натура. Однако художник, по Кюхельбекеру, живет в мире людей и для него сохраняют силу их законы и мораль. Гениальность не может оправдать преступление. В этом Кюхельбекер близок к Пушкину. Роман «Последний Колонна» — значительное произведение русской литературы 1840-х годов. Он мог бы занять свое место в ряду известных произведений того времени, но был опубликован лишь через сто лет.

Настоящий сборник — первая попытка собрать в одной книге стихи и прозу Кюхельбекера, дать представление читателю о разносторонних творческих возможностях поэта-декабриста. В книгу включен также один отрывок из его «Путешествия» и «Европейские письма». Из критических статей отобраны наиболее важные: «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», о которой уже шла речь выше, и «Поэзия и проза», написанная в 1835—1836 годах для пушкинского «Современника». Отрывки из дневника и часть эпистолярного наследия поэта помогут читателям лучше представить себе личность и духовный мир незаурядного человека, каким был Кюхельбекер. Его стремле-

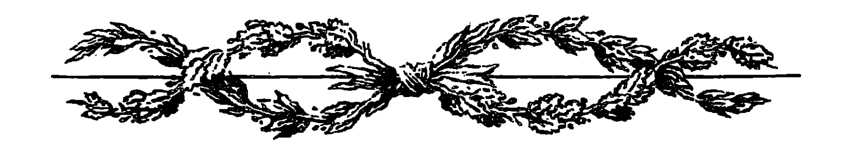
ние идти своим путем, оригинальный ум, отмеченный многими современниками, делают многое из того, что написано им, интересным не только историкам литературы, но и нынешним читателям.

Кюхельбекер страстно желал, чтобы все, созданное им за тридцать лет литературной работы, не пропало, «как звук пустой». Чувство «великого исторического будущего», ожидавшего его родину, во многом предопределило высокий пафос всего творческого пути поэта. Кюхельбекер не ждал признания при жизни. Тяжелая судьба политического заключенного, а затем ссыльного не оставляла ему надежд на признание или хотя бы отклик современников. Все его устремления были направлены в будущее. На девятом году тюремного заключения он записал в дневнике: «Когда меня не будет, а останутся эти отголоски чувств моих и дум,— быть может, найдутся же люди, которые, прочитав их, скажут: он был человек не без дарований; счастлив буду, если промолвят: и не без души...»

Н. Романов



СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ



СТИХОТВОРЕНИЯ

1. ПЕСНЬ ЛОПАРЯ

(при наступлении зимы)

Не беги меня, о Зами!
Лед висит в моих власах;
Хладно севера дыханье,
Грозно моря колыханье,—
Тихо в мирных шалашах.

Зами, Зами! Я сгораю,
Я любовью окрылен!
Пусть ручьи шумят с утеса,
Воет волк во мраке леса,
Путь метелью занесен —

Мне ль страшиться? Лук натянут;
Чуток верный мой олень,
Милый образ предо мною:
Вихрем мчусь я за тобою!
По снегу мелькает тень.

С высоты сосны угрюмой
На долину брошу взор:
Не узрю ль тебя в долине?
Пронесуся по пустыне,
Перейду стремнины гор.

Желтый лист стряхну с березы
И сухой тростник стопчу!
Он тебя не скроет, Зами!
И за бурными морями —
Всюду милую сыщу!

Так! и там, в краю далеком,
В заиртышской стороне,
Там, где вечно бури дышат,—
Там леса мой зов услышат,
При трепещущей луне.

Но не лает ли лисица?
Не храпит ли там медведь?
Вкруг огня пора собраться —
И в рассказах забываться,
И плести дружнее сеть.

Не беги ж меня, о Зами!
Лед висит в моих власах;
Хладно севера дыханье,
Грозно моря колыханье,
Тихо в мирных шалашах!

⟨1815⟩

2. ДИФИРАМБ

К ДЕЛЬВИГУ

Друг мой! поверь мне, никто из бессмертных
К нам одинок не сойдет:
Либер ли сень освятит моей хаты —
Вот уж слетает и мальчик крылатый —
Бог песнопенья Амуру вослед!
И все ниспустились
Великие боги:
В Олимп обратились
Земные чертоги.

Чем же, небесные! я, земнородный, вас угощу?
Дайте мне нектар в Гевееной чаше,
Дайте в удел мне бессмертие ваше!
К вам, ураниды! душою лечу!
Там, там над громами
Блаженство живет:
О дайте ж мне чашу,
Пусть дева нальет.

Но не Зевеса ли голос я слышу?
«Чистого нектара, о Ганимеда! *
Полный ты кубок налей для певца!
Очи омой животворной росою,
Да не смутится Стигийской волною,
Да не увидит восторгам конца!»
    Источник отрады
    Сверкнул, засребрился:
    И стихло волненье,
    И взор прояснился.

Царское Село 1815

3. НАДГРОБИЕ

Сажень земли мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном,
Заснули горесть и веселье —
Безмолвно все в подземной келье.

И я когда-то знал печали,
И я был счастлив и скорбел,
Любовью перси трепетали,
Уста смеялись, взор светлел;
Но взор и сердце охладели:
Растут над мертвым пеплом ели.

И уж никто моей гробницы
Из милых мне не посетит;
Их не разбудит блеск денницы:
Их прах в сырой земле зарыт;
А разве путник утружденный
Взор бросит на мой гроб забвенный.

А разве сладостной весною,
Гонясь за пестрым мотыльком,

* Одно из названий *Гебы*.

Дитя бессильною рукою
Столкнет мой каменный шелом,
Покатит, взглянет и оставит
И вдаль беспечный бег направит.

1815

4. ОСЕНЬ

Ветер потек по вершинам дерев; дерева зашатались —
Лист под ногою шумит; по синему озеру лебедь
Уединенный плывет; на холмах и в гулкой долине
Смолкнули птицы.

Солнце, чуть выглянув, скроется тотчас: луч его хладен.
Все запустело вокруг. Уже отголосок не вторит
Песней жнецов; по дороге звенит колокольчик унылый;
Дым в отдаленьи.

Путник, закутанный в плащ, спешит к молчаливой деревне.
Я одинокий брожу. К тебе прибегаю, Природа!
Матерь, в объятья твои! согрей, о согрей мое сердце,
Нежная матерь!

Рано для юноши осень настала.— Слезу сожаленья,
Други! я умер душою: нет уже прежних восторгов,
Нет и сладостных прежних страданий — всюду безмолвье,
Холод могилы!

23 сентября 1816

5. ОСЕННЕЕ УТРО

Хладное веянье гонит круги на зеркало влаги;
Звезды ночные зашли; в облаках, развеянных ветром,
Носится призрак — луна; утренний петел воскликнул
В близком селе.

Вдруг заря занялась; седые холмы загорелись;
Край небосклона горит, златой оттенен полосою;
Бор заалел: на соснах, и дробясь, и трепе́ща, пушистый
Иней блестит!

Солнце взошло! — но, бледное, даже покрова не сняло
С грустной земли; за пасмурной тучею скрылося! Радость
Так улыбалась некогда мне! — но скоро исчезла
В тучах густых!

26 сентября 1816

6. ДИФИРАМБ

(ИЗ БАКХИЛИДА)

В чистом парении
Дух окрыляется
Сладкой, волшебной
Силой вина!

Бросив украдкою
В чашу кипящую
Жар и желания,
Пифия греет
Сердце надеждою,

Царь Дионисос
Ум усыпляет,
Гонит печаль!

Так! упоенному
В гордой мечте его
Грады покорствуют:
Над многочисленным
Радостным племенем
Счастливый властвует
Вождь и судья!

Златом, резьбою,
Мрамором светится
Дом беззаботного.

Только он вздумает —
Вот из Эгипта
По морю синему,
Ветром полуденным,
Всеми богатствами
Обремененные,
Мчатся суда!

1816

7. БАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ

Что мне до стишков любовных?
Что до вздохов и до слез?
Мне, венчанному цветами,
С беззаботными друзьями
Пить под тению берез!

Нам в печалях утешенье
Богом благостным дано:
Гонит мрачные мечтанья,
Гонит скуку и страданья
Всемогущее вино.

Друг воды на всю природу
Смотрит в черное стекло,
Видит горесть и мученье
И обман и развращенье,
Видит всюду только зло!

Друг вина смеется вечно,
Вечно пляшет и поет!
Для него и средь ненастья
Пламенеет солнце счастья,
Для него прекрасен свет.

О вино, краса вселенной,
Не́ктар страждущих сердец!
Кто заботы и печали
Топит в пенистом фиале,
Тот один прямой мудрец.

Между 1815 и 1817

8. К РАДОСТИ

Не порхай, летунья Радость!
Сядь и погости у нас:
Удержи златую младость,
Удержи крылатый час!

Не спеши: там в Петрограде
Скука заняла свой трон:

Праздность бродит в Летнем саде;
В залах танцы иль бостон.

Здесь не по указу моды,
Здесь не для вестей сошлись:
Мы в объятиях природы,
Мы для дружбы собрались!

Будь сладка нам жизни чаша!
Под златым твоим крылом,
Радость, Радость, гостья наша!
Мы сойдем в подземный дом.

Между 1815 и 1817

9. КОФЕ

Пусть другие громогласно
Славят радости вина:
Не вину хвала нужна!
Бахус, не хочу напрасно
Над твоей потеть хвалой:
О, ты славен сам собой!

И тебе в ней пользы мало,
Дар прямой самих богов,
Кофе, нектар мудрецов!
Но сколь многих воспевало
Братство лириков лихих,
Даже не спросясь у них!

Жар, восторг и вдохновенье
Грудь исполнили мою —
Кофе, я тебя пою;
Вдаль мое промчится пенье,
И узнает целый свет,
Как любил тебя поэт.

Я смеюся над врачами!
Пусть они бранят тебя,
Ревенем самих себя
И латинскими словами
И пилюлями морят —
Пусть им будет кофе яд.

О напиток несравненный,
Ты живишь, ты греешь кровь,
Ты отрада для певцов!
Часто, рифмой утомленный,
Сам я в руку чашку брал
И восторг в себя впивал.

Между 1815 и 1817

10. РАЗЛУКА

Длань своенравной Судьбы простерта над всею вселенной!
Ей, непреклонной, ничто слезы печальной любви;
Милого хладной рукой отторгнув от милого друга,
Рок безмятежен, без чувств, неомрачаем вовек.
Ропот до слуха его не доходит! Будем же тверды:
Боги покорны ему, выше Судьбы человек;
Мы никому, друзья, не подвластны душою; в минувшем,
В будущем можем мы жить, в сладостной, светлой мечте.

1817

11. В АЛЬБОМ ИЛЛИЧЕВСКОМУ

Прощай, товарищ в классе!
Товарищ за пером!
Товарищ на Парнасе!
Товарищ за столом!
Прощай, и в шуме света
Меня не позабудь,
Не позабудь поэта,
Кому ты первый путь,
Путь скользкий, но прекрасный,
Путь к музам указал.
Хоть, к новизнам пристрастный,
Я часто отступал
От старорусских правил,
Ты в путь меня направил,
Ты мне сказал: «Пиши»,
И грех с моей души —
Зарежу ли Марона,

Измучу ли себя —
Решеньем Аполлона
Будь свален на тебя.

1817

12. К ФИЛОНУ

Должно, Филон, и с тобою расстаться! Ты знал мое сердце,
Ты драгоценен мне был: ты не забудешь меня!
Счастье в самих нас; в суетном мире забот хлопотливых,
Шумных веселий и мук счастия я не ищу.
Свет не узнает меня: ему ли восторги, мечтанья,
Чувства мои оценить? В них я блаженство и боль,
Жизнь и мир находил! Но в памяти сердцу любезных
Сладостно жить, о Филон, сладостно помнить друзей.

1817

13. К МАТЮШКИНУ

Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море:
Челн окрыленный помчит счастье твое по волнам!
Юные ты племена на брегах отдаленной чужбины,
Дикость узришь, простоту, мужество первых времен;
Мир Иапета, дряхлеющий в страшном бессилье, Европу
С новым миром сравнишь — мрачную тайну Судеб
С трепетом сердца прочтешь в тумане столетий грядущих;
Душу твою изумит суд жизнедавцев богов!
В быстром течении жаждущий взгляд остановишь на льдинах
К небу стремящихся гор, на убегающих вдаль
Пышных брегах; ты пояс земли преплывешь и познаешь
Сон недвижных зыбей, ужас немой тишины;
Рев и боренье стихий, и вёдро, и ужасы встретишь,
Но не забудешь друзей! нашей мольбою храним,
Ты не нарушишь обетов святых, о Матюшкин! в отчизну
Прежнюю к братьям любовь с прежней душой принесешь!

1817

14. ЭЛЕГИЯ

Цвет моей жизни, не вянь! О время сладостной скорби,
Пылкой волшебной мечты, время восторгов,— постой!
Чем удержать его, друг мой? о друг мой, могу ли привыкнуть
К мысли убийственной жить с хладной, немою душой,
Жить, переживши себя? Почто же, почто не угас я
С утром моим золотым? Дельвиг, когда мы с тобой
Тайными мыслями, верою сердца делились и смело
В чистом слиянии душ пламенным летом неслись
Вдаль за пределы земли, в минуту божественной жажды
Было мне умереть, в небо к отцу воспарить,
К другу созданий своих, к источнику вечного света! —
Ныне я одинок, с кем вознесуся туда,
В области тайных, знакомых миров? Мы розно, любезный,
С грозной судьбою никто, с жизнью меня не мирит!
Ты, о души моей брат! Затерян в толпе равнодушной,
Твой Вильгельм сирота в шумной столице сует,
Холод извне погашает огонь его сердца: зачем же
Я на заре не увял, весь еще я не лишен
Лучшей части себя — благодатных святых упований?
В памяти добрых бы жил рано отцветший певец!

6 октября 1817

15. К САМОМУ СЕБЕ

С отрадой милой заблужденья,
С последним призраком простись!
И ждать живого вдохновенья
От мертвой грусти берегись!

Веселый гром рукоплесканий,
Хвала возвышенным певцам!
Несется голос восклицаний,
Порыв невольной, чистой дани
Их пламенеющим стихам!
Они любовь сердец свободных,
И имя их в устах народных
Достигнет поздним племенам!

А ты... забвенью обреченный...
В небесных, сладостных очах,

В очах Элизы несравненной
Ты не встречал слезы священной,
Твоим восторгом похищенной! —
Брось лиру слабую во прах!
Не думай в выспренных мечтах:
«И я, счастливец дерзновенный,
И я, потомству драгоценный,
В далеких буду жить веках!»

Ужасно жертвой посмеянья
Стоять пред хладною толпой,
Пред сим безжалостным судьей!
В печалях вянут дарованья;
В безмолвной глубине души
Сокрой угрюмые страданья;
Огонь бесплодного желанья
В увядшем сердце потуши!
И, скован мрачною тоскою,
Лететь за счастьем перестань!
Отяготела над тобою
Судьбы убийственная длань!

Ее вовек холодны взоры!
Ее неизменим закон!
Не прогневят ее укоры,
Но также и не тронет стон!
Возвышен грозно над страною,
Где бьется сердце, где с душою
Душа родная говорит,
За неподъятой пеленою
В туманах трон ее стоит!

И кто же к жребию глухому
Моленья станет воссылать? —
Терпенье мужества печать!
Не забывай: к всему святому
И ты когда-то пламенел!
Ах, некогда и ты горел
Ко славе чистою любовью!
И миром, и трудом, и кровью,
И всем ей жертвовать хотел, —
Но был иной тебе удел!
Вотще, спускаясь к изголовью,
Приникши к ложу твоему,

Она тебя в виденьях смелых,
В мечтах и грозных, и веселых
Вела ко храму своему!

⟨1818⟩

16. К ЛИЗЕ

Есть лучший мир: туда свои мечты,
Туда свои я перенес желанья!
Там нет тоски, нет имени страданья;
Там, там, о Лиза, ангел чистоты!
Тебя любить я смею всей душою.
Ужель любовию святою
Там оскорбишься ты?

2 января 1818

17. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Нагнулись надо мной дерев родимых своды,
Прохлада тихая развесистых берез!
Здесь наш знакомый луг; вот милый нам утес;
На высоту его, сыны младой свободы,
Питомцы, баловни и Феба, и Природы,
Бывало, мы рвались сквозь густоту древес
И слабым гладкий путь с презреньем оставляли!
О время сладкое и чуждое печали!
Ужель навеки мир души моей исчез
И бросили меня волшебные мечтаньи?
Веселье нахожу в одном воспоминаньи:
Глаза полны невольных слез!
Так, вы умчалися, мои златые годы;
Но — будь хвала судьбе: я снова, снова здесь,
В сей мирной пристани я оживаю весь!
Стою — и зеркалом разостланные воды
Мне кажут мост, холмы, брега, прибрежный лес
И светлую лазурь безоблачных небес!
Как часто, сидя здесь в полуночном мерцаньи,
На месяц я глядел в восторженном молчаньи!
Места прелестные, где возвышенных муз,
И дивный пламень их, и радости святые,

Порыв к великому, любовь к добру — впервые
Узнали мы и где наш тройственный союз,
Союз младых певцов и чистый, и священный,
Всесильным навыком и дружбой заключенный,
    Был братскою каменой укреплен!
Пусть будет он для нас до гроба незабвен:
Ни радость ясная, ни мрачное страданье,
Ни нега, ни корысть, ни почестей исканье —
Моей души ничто от вас не удалит!
И в песнях сладостных, и в славе состязанье
Соперников-друзей тесней соединит!
Зачем же нет вас здесь, избранники харит?
Тебя, о Дельвиг мой, о мой мудрец ленивый,
Беспечный и в своей беспечности счастливый!
Тебя, мой огненный, чувствительный певец
    Любви и доброго Руслана,—
Тебя, на чьем челе предвижу я венец
Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна!
О други! почему не с вами я брожу?
Зачем не говорю, не спорю здесь я с вами?
Не с вами с башни сей на пышный сад гляжу?
    Или, сплетясь руками,
Зачем не вместе мы внимаем шуму вод,
Биющих искрами и пеною о камень?
Не вместе смотрим здесь на солнечный восход,
На потухающий на крае неба пламень?
  Мне с вами все казалось бы мечтой,
      Несвязным, смутным сновиденьем,
Все, все, что встретил я, простясь с уединеньем,
Увы! что у меня и счастье, и покой,
И тишину души младенческой отъяло
И сердце бедное так больно растерзало! —
При вас, товарищи, моя утихнет кровь,
И я в родной стране забуду на мгновенье
Заботы и тоску и скуку и волненье.
Забуду, может быть, и самую любовь!

Царское Село 14 июля 1818

18. К ПУШКИНУ

Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа,
    Щедрая Матерь, дала, верного друга — мечту,

Пламенный ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен
В мире своем; он творец! Что ему низких рабов,
Мелких, ничтожных судей, один на другого похожих,—
Что ему их приговор? Счастлив, о милый певец,
Даже бессильною завистью Злобы — высокий любимец,
Избранник мощных Судеб! огненной мыслию он
В светлое небо летит, всевидящим оком читает
И на челе, и в очах тихую тайну души!
Сам Кронид для него разгадал загадку Созданья —
Жизнь вселенной ему Феб-Аполлон рассказал.
Пушкин! питомцу богов хариты рекли: «Наслаждайся!» —
Светлою, чистой струей дни его в мире текут.
Так, от дыханья толпы все небесное вянет, но Гений
Девствен могущей душой, в чистом мечтаньи — дитя!
Сердцем высше земли, быть в радостях ей не причастным
Он себе самому клятву священную дал!

1818

19. К МОЕМУ ГЕНИЮ

Приди, мой добрый, милый Гений,
Приди беседовать со мной!
Мой верный друг в пути мучений,
Единственный хранитель мой!

С тобой уйду от всех волнений,
От света убегу с тобой,
От шуму, скуки, принуждений!
О, возврати мне мой покой!

Главу с тяжелыми мечтами
Хочу на грудь твою склонить
И на груди твоей слезами
Больную душу облегчить!

Не ты, не ты моим страданьем
Меня захочешь упрекать,
Шутить над теплым упованьем
И сердце разумом терзать!

Но было время — разделенья
От братий ждал я, от друзей,—

Зачем тоски и наслажденья
Я не берег от их очей!

Безмолвный страж моей святыни —
Я стану жить в одном себе:
О ней я говорю отныне,
Хранитель, одному тебе!

О ней! ее я обожаю,
Ей жизнь хотел бы я отдать!
Чего же я, чего желаю?
Чего желать? — любить, страдать!

Приди, о ты, мой добрый Гений,
Приди беседовать со мной,
Мой верный друг в пути мучений,
Единственный сопутник мой.

1818

20. МЕЧТА

Один над озером вечернею порою
Сижу — и сладкою мечтой душа полна!
Здесь ива гибкая любуется струею;
Над нею плавает стыдливая луна.

Молчание дубрав, осины трепетанье,
И факел Цинтии, и тишина полей,
И изредка меж роз Зефирово дыханье —
Всё, всё уныние влекло к душе моей.

И вдруг над озером спокойными тенями
Толпою пронеслись друзья отцветших лет!
И осеняет их грусть томная крылами! —
Товарищи забав! печален ваш полет!

Друзья! донес от вас Зефир ко мне призванье!
Спешу я к вам — вы скрылись в темну даль!
И я один! — и лишь со мной в молчанье
Сестра Уныния — Печаль.

Царское Село ⟨1819⟩

21. ТОСКА ПО РОДИНЕ

На булат опершись бранный,
Рыцарь в горести стоял,
И, смотря на путь пространный,
Со слезами он сказал:

«В цвете юности прелестной
Отчий кров оставил я,
И мечом в стране безвестной
Я прославить мнил себя.

Был за дальними горами,
Видел чуждые моря;
Век сражался я с врагами
За отчизну и царя.

Но душа моя страдала —
В лаврах счастья не найти!
Всюду горесть рассыпала
Терны на моем пути!

Без отчизны, одинокий,
Без любезной и друзей,
Я грущу в стране далекой
Среди вражеских полей!

Ворон сизый, быстрокрылый,
Полети в родимый край;
Жив ли мой отец унылый —
Весть душе моей подай.

Старец, может быть, тоскою
В хладну землю положен;
Может быть, ничьей слезою
Гроб его не орошен!

Сядь, мой ворон, над могилой,
Вздох мой праху передай;
А потом к подруге милой
В древний терем ты слетай!

Если ж грозный рок, жестокий,
Мне сулил ее не зреть,

Ворон! из страны далекой
Для чего назад лететь?..»

Долго рыцарь ждал напрасно:
Ворон все не прилетал;
И в отчаяньи несчастный
На равнине битвы пал!

Над высокою могилой,
Где страдальца прах сокрыт,
Дремлет кипарис унылый
И зеленый лавр шумит!

⟨*1819*⟩

22. К БРАТУ

Прелестная весна слетела
С высоких голубых небес;
И громом песней полнит лес,
И дол, и воздух Филомела.
Повеял сладостный зефир,
И пробудил дремавший Гений,
И ото сна для наслаждений
Живым дыханьем вызвал мир!
Уж ласточка сменила врана
Под кровом хижин и дворцов,
И лед на лоно Океана
Ушел из Ингорских ручьев.
Свободно меж огромных зданий
Течет широкая Нева;
Приют для песней, для мечтаний,
Благоухают дерева!
Идут, слиянны с синевою,
Идут, белеясь, паруса,
И раздаются над рекою
Гребцов и кормчих голоса!
А ты на долгую разлуку,
Стесненный тайною тоской,
О друг, о верный милый мой,
Мне пожимаешь молча руку!
Уж кони у крыльца стоят —
Уже колеблют поводами,

Уж машут гордыми главами
И, роя в землю, вдаль глядят,—
Бегут и суетятся слуги:
Могущей, жилистой рукой
Здесь вяжет чемодан иной,
А там, в усердном недосуге,
Широкий плащ несет другой:
То их последние услуги;
То дань признательных сердец!
И вот — ты скачешь наконец!
Товарищ дней моих минувших,
В весеннем счастии мелькнувших,
С кем узы дружбы и родства
С моей зари меня связали!
Я здесь остался на печали,
На грусть и скуку сиротства!
Ты на меня уже не взглянешь,
Над важностью моей шутя,
И, беззаботный, как дитя,
Уже разглаживать не станешь,
Смеясь и скорбям, и любви,
Морщины ранние мои!
Ты вырвался из их объятий,
За пуншем нареченных братий,
Беспечных сверстников своих,—
И уж на шумное веселье
Толпы счастливцев молодых
Не соберешь в угрюмой келье!
От драгоценных ласк родных,
От горестных лобзаний их
Тебя отозвало прощанье!
Но за тебя их упованье,
Их нежность, слезы и мольбы
Пред троном благостной судьбы —
Ты возвратишься к ним,— а друга
(О нем воспомнишь и вздохнешь)
Среди священного их круга,
Быть может, боле не найдешь!..
Туда — в отчизну непогоды,
Где позабыли листья воды,
Где дышит вечно строгий хлад,
Где вечно радости молчат,—
Туда летят мои мечтанья,
Туда, сопутники твои,
Стремятся лучшие желанья,

Стремятся мысли все мои!
Подернутая влажной мглою,
Степь развернется пред тобою
Обширной белой пеленой!
Там волк пустыни обитает,
Там в сумрак слышен дикий вой!
А дале — гробовой покой:
На льдах безмолвных возлегает,
На темном море — сон глухой,
И с самого времен начала
Природа дикая дремала
По сим далеким берегам...
А разве по сухим снегам,
Хрустящим в стужу под ногою,
Скитаясь мертвой стороною,
Сюда заблудшийся олень
Зайдет, робея, в долгий день!
А разве глыба оторвется
И в дол покатится по льду;
Иль эхо от гусей проснется,
Мрачащих неба чистоту,
Парящих шумною станицей
В холодной, ясной вышине
Перед полуночной зарницей
К полудню жаркому — к весне!
Здесь все мертвит зима седая,
Здесь по сугробам тень лесная
Не протягалася вовек;
Но дивный, дерзкий человек
(Он обымает круги звездны,
Он мерит небо, сходит в бездны,
Ему доступны все места)
Принес заботы и сюда!
Прелестно-грозная Природа!
За исполином исполин,
Со дна морского горы льдин
До облаков немого свода,
В туман лазоревой дали
Свои вершины вознесли!
Под кровом пасмурного неба
Тебе здесь явит ряд зеркал
(Вовек их луч не согревал)
Незаходящий образ Феба;
На мразном солнце заблестит
Перед тобою, зыблясь, иней,—

И друг мой мыслей полетит
Туда, в страну за далью синей,
Туда, к возлюбленным своим,
Где он их памятью храним;
И будто бы дыханье мая,
О родине мечта святая,
В нем сердце, душу согревая,
Провеет сладостно над ним!
И кто же в горестной чужбине,
Под властью незнакомых звезд,
Не вспоминал родимых мест?
Горит и в полудиком сыне
Сих убивающих снегов
Живая к родине любовь!
И он, как будто бы в темнице,
Горюет в суетной столице —
Бежит веселья и пиров,
И вдруг, завидя челн забвенный,
Стремится в страны отдаленны
Отважных, милых земляков.
Как часто здесь он от ловитвы
В тепле, на кожах отдыхал!
Как жадно каждый здесь внимал
С степным медведем храбрых битвы!
Здесь сон в рассказах заставал
Веселую толпу героев!
Здесь их будил для новых боев
Ревущий у порога вал!
Среди нахмуренных колоссов,
Средь молчаливых белых скал,
Еще младенец, Ломоносов
В неопытном жару мечтал!
И неподвижных вод равнина
В нем воспитала пламень дум:
Здесь окриляла юный ум
Ужасных прелестей картина!
И в крае дальнем и чужом
Пред ним их призраки стояли
И в час восторженной печали,
И в скучном шуме городском!
Сюда распростирая руки,
Он пламенел и трепетал
И, мощный, северные звуки
Из струн волшебных исторгал!
О дар Поэзии небесной,

Источник радости чудесной,
Источник непонятных мук!
Будя дремавшие страданья,
Какою силой волхованья
Ты нежишь и терзаешь вдруг!
Я вижу, вижу: в град Петровый
Плывет корабль из дальних стран;
Глядит на пенный Океан,
Недвижный, пасмурный, суровый,
Весь преисполненный тобой,
Любимец муз — вещун младой!
Не смеют, трепетом объяты,
Пловцы приблизиться к нему:
Несется дух его крылатый,
Покорный богу своему
(Вздыхает грудь, сверкают очи),
В края туманной полуночи!
Среди ленивых, мразных волн
Свой быстрый бег остановило
Его родимое светило.
По морю реет легкий челн;
Кругом ныряют с диким лаем
Стада морских, знакомых чуд —
И страшно бури вдруг ревут;
И челн до неба воздымаем,
И в бездну челн валы несут,
И разверзаются и воют,
И всё кипящей мглою кроют!
Но снова на водах покой —
И задрожал гадатель смелый:
В пустыне дикой и немой
Он видит труп оледенелый!
В сей страшный, та́инственный час,
В сем грозном, в сем святом виденьи
Судьба пред ним разоблеклась:
И в душу ворвались мученья,
И слезы хлынули из глаз! —
Он угадал отца кончину,
Но родина дороже сыну
И незабвеннее была
С ужасного того мгновенья;
И средь восторга вдохновенья
Там, там душа его жила!
Роскошно-свежие равнины,
Необозримые леса,

Где сосны низменной долины
Восходят гордо в небеса,
О край, где дышит все прохладой
По мшистым холмам, на водах,
Пролитых девственной наядой,
Текущих в звонких камышах!
Здесь даже летом, в полдень жаркий,
На листьях сумрачных берез
Горит и блещет пламень яркий
Авророй уроненных слез.
Здесь часто я лежал усталый,
Срывал венки брусники алой
И усыплялся в свежей тьме.
Знакомый сад, поля родные,
Наш светлый домик на холме —
Места прелестные, святые!
Здесь мы свободно возросли;
Здесь недра матери-земли
От нас (так рано без замены!)
Сокрыли друга и отца,
Мы здесь надежд своих конца,
Мы смутной жизни перемены
И не предвидели вдали —
Здесь тихо наши дни текли!
И мы вовек их не забудем!
И мы средь жизненных сует
Всегда и всюду видеть будем
Тебя, родного неба свет!
Тебя, пленивший наши взоры,
Манивший далеко наш дух,
Ручей прекрасной Авиноры!
Увы, и ныне помнит слух
Друзей, взлелеянных тобою,
Как в быстром беге ты журчишь,
И ныне сладостной струею
Ты те же берега поишь,
Где мы резвились и мечтали,
Где, вместе начиная жить,
Брат брату молча обещали,
Деля и радость и печали,
По самый гроб друзьями быть.

⟨1819⟩

23. К ПУШКИНУ

из его нетопленной комнаты

К тебе зашел согреть я душу;
Но ты теперь, быть может, Грушу
К неистовой груди прижал
И от восторга стиснул зубы,
Иль Оленьку целуешь в губы
И кудри Хлои разметал;
Или с прелестной бледной Лилой
Сидишь и в сладостных глазах,
В ее улыбке, томной, милой,
Во всех задумчивых чертах
Ее печальный рок читаешь
И бури сердца забываешь
В ее тоске, в ее слезах.
Мечтою легкой за тобою
Моя душа унесена
И, сладострастия полна,
Целует Олю, Лилу, Хлою!
А тело между тем сидит,
Сидит и мерзнет на досуге:
Там ветер за дверьми свистит,
Там пляшет снег в холодной вьюге;
Здесь не тепло; но мысль о друге,
О страстном, пламенном певце,
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не проалеет
На голубом моем лице?
Нет! над бумагой костенеет
Стихотворящая рука...
Итак, прощайте вы, пенаты
Сей братской, но не теплой хаты,
Сего святого уголка,
Где сыну огненного Феба,
Любимцу, и́збраннику неба
Не нужно дров, ни камелька;
Но где поэт обыкновенный,
Своим плащом непокровенный,
И с бедной Музой бы замерз,
Заснул бы от сей жизни тленной
И очи, в рай перенесенный,
Для вечной радости отверз!

1819 (?)

24. К N

Так! легко мутит мгновенье
Мрачный ток моей крови;
Но за быстрое забвенье
Не лишай меня любви!
Редок для меня день ясный!
Тучами со всех сторон
От зари моей ненастной
Был покрыт мой небосклон.
Глупость злых и глупых злоба
Мне и жалки, и смешны;
Но с тобою, друг, до гроба
Вместе мы пройти должны!
Неразрывны наши узы!
В роковой священный час —
Скорбь и Радость, Дружба, Музы
Души сочетали в нас!

Между 1817 и 1820

25. СУЕТА СУЕТСТВИЙ

Отлетающая младость
Убивающей рукой
Вырывает за собой
Все живое: скорбь и радость!

Мне сказало сердце: «Нет!
Ты для чувств не будешь камень!» —
Но пустеет скоро свет,
В сердце скоро гаснет пламень:

Все проходит, стынет кровь,
И падет туман на вежды,
И умчатся все надежды,
Слава, счастье и любовь.

Между 1818 и 1820

26. СЕМЬЯ

Беспечное дитя своей семьи родимой
Подобно нежному цветку
Средь рощи сумрачной, в тиши ненарушимой
На пышном бархатном лугу.
Росе подобны родших наставленья,
А солнцу — их святые попеченья.

Блажен, кому даны в сей жизни сестры, братья! —
Он бодро мчится по земле:
Отрада в горестях их верные объятья,
Их взор — звезда в унылой мгле;
В весельи светлом, в сладостном покое
Кто с ними делит счастье, счастлив вдвое!

С кем мне сравнить главу священную, драгую,
Всю покровенную сребром? —
Зрит вещий старец даль, прошед стезю земную,
Изведав бури, зная гром.
Коснея над грядущими часами,
Мудрец, он род свой пестует очами!

Конец 1810-х или начало 1820-х гг.

27. БЕДА И НЕ БЕДА

Наш лирик Бардус не одет,
Наш лирик Бардус голодает;
А все несет свой плоский бред,
А все бумагу истребляет;
Но это не беда,
А вот беда:
Напишет ли наш лирик оду,
Он не посмотрит на погоду,
Он тотчас прикатит сюда
И ну — без всякого стыда
(Бог не дал жалости уроду!)
Начнет читать свою мне воду:
Беда, беда, беда!

Увы! все тленно под луной,
Все в жадный гроб должно свалиться:
Роскошин, старый дядя мой,

С землею вздумал распроститься;
Но это не беда,
А вот беда:
Я в дом к покойнику вступаю,
И что же, что же я встречаю?
Заимодавцев два ряда!
И на злодея нет суда!
Так в честь ему велю я оду
Спиндарить лирику уроду:
Беда ему, беда!

«Голубчик мой! куда ты мил!» —
Мне каждый час твердит Лилетта:
За ней деревню я скрепил
И тысяч пять для туалета;
Но это не беда,
А вот беда:
Судить не должно слишком строго,
Но братьев у Лилетты много;
Лилетта вовсе не горда,
И я не знаю иногда...
Да что ж, скажите, ради бога:
Пусть братьев у Лилетты много,
Ведь это не беда!

Конец 1810-х или начало 1820-х гг.

28. РОМАНС

Теперь узнала я, о чем
Так томно горлицы воркуют,
Когда зефиры сладко дуют
В лесу прохладном и густом.

Певица неги — Филомела!
Теперь я поняла тебя.
Увы! я и самой себя
До сей поры не разумела.

Не спалось вешней ночью мне.
Не для меня цветы дышали;
Я днем ходила как во сне,
Я вяла в сладостной печали.

Глядя на быструю волну
Сквозь ветви сумрачной березы,
Глядя на небо и луну,
Я часто проливала слезы! —

С тех пор как знаю я, о чем
Так нежно горлицы воркуют
В лесу прохладном и густом,
Когда зефиры сладко дуют.

⟨1820⟩

29. ГРОБ МЛАДЕНЦА

О сын моей скорби! напрасно слезами
Твой холм орошает несчастная мать:
При чистых водах, осененный цветами,
Ты мирное место избрал отдыхать!

Младенец, еще не видал ты печали;
Ты был удален от дыхания злых:
Как светлый ручей, твои дни протекали;
Как тихие волны колосьев златых!

Что ж так безутешно, так горько слезами
Я здесь обливаюсь — несчастная мать?
Ты спишь, осенен тишиной и цветами,
Ты мирное небо избрал отдыхать!

Заснув под прощальным моим поцелуем,
Блажен, ты до жизни, до мук не дожил.
Здесь страждем, и боремся мы, и тоскуем,
А ты, о мой сын, до борьбы опочил.

⟨1820⟩

30. ЖИЗНЬ

Юноша с свежей душой выступает на поприще жизни,
Полный пылающих дум, дерзостный в гордых мечтах;
С миром бороться готов и сразить и судьбу, и печали!
Но, безмолвные, ждут скука и время его;
Сушат сердце, хладят его ум и вяжут паренье.

Гаснет любовь! и одна дружба от самой зари
До полуно́чи сопутница избранных неба любимцев,
Чистых, высоких умов, пламенно любящих душ!

8 марта 1820

31. ПОЭТЫ

И им не разорвать венца,
Который взяло дарованье!
Жуковский

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких, и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?
Стадами смертных зависть правит;
Посредственность при ней стоит
И тяжкою пятою давит
Младых избранников харит.
Зачем читал я их скрижали?
Я отдыха своей печали
Нигде, нигде не находил!
Сычи орлов повсюду гнали;
Любимцев та́инственных сил
Безумные всегда искали
Лишить парения и крил.
Вы, жертвы их остервененья,
Сыны огня и вдохновенья,
Мильтон, и Озеров, и Тасс!
Земная жизнь была для вас
Полна и скорбей, и отравы;
Вы в дальний храм безвестной славы
Тернистою дорогой шли;
Вы с жадностию в гроб легли.
Но ныне смолкло вероломство:
Пред вами падает во прах
Благоговейное потомство;
В священных, огненных стихах
Народы слышат прорицанья
Сокрытых для толпы судеб,
Открытых взору дарованья!
Что пользы? Свой насущный хлеб
Слезами грусти вы кропили;
Вы мучились, пока не жили.

На небесах и для небес,
До бытия миров и века,
Всемощный, чистый бог Зевес
Создал счастливца человека.
Он землю сотворил потом
В странах, куда низринул гром
Свирепых, буйных великанов,
Детей Хаоса, злых Титанов.
Он бросил громы им на грудь,
Да не возмогнут вновь тряхнуть
Олимпа твердыми столпами,
И их алмазными цепями
К ядру земному приковал —
Но, благостный, он им послал
В замену счастья, в утешенье
Мгновенный призрак, *наслажденье,*—
И человек узрел его,
И в призрак суетный влюбился;
Бессмертный вдруг отяжелел,
Забыл свой сладостный удел
И смертным на землю спустился:
И ныне рвется он, бежит,
И наслажденья вечно жаждет,
И в наслажденьи вечно страждет,
И в пресыщении грустит!

Но скорбию его смягченный,
Сам Кронион, отец вселенны,
Низводит на него свой взор,
Зовет духов — высокий хор,
Зовет сынов своих небесных,
Поющих звук нектарных чаш
В пеанах мощных и прелестных,
Поющих мир и жребий наш,
И рок, и гнев эринний строгий,
И вечный ваш покой — о боги!
Все обступают светлый трон
Веселой, пламенной толпою —
И небо полно тишиною,
И им вещает Кронион:
«Да внемлет в страхе все творенье:
Реку судеб определенье,
Непременяемый закон!
В страстях и радостях минутных

Для неба умер человек,
И будет дух его вовек
Раб персти, раб желаний мутных,
И только есть ему одно
От жадной гибели спасенье,
И вам во власть оно дано:
Так захотело провиденье!
Когда избранники из вас,
С бессмертным счастьем разлучась,
Оставят жребий свой высокий,
Слетят на смертных шар далекий
И, в тело смертных облачась,
Напомнят братьям об *отчизне,*
Им путь укажут к полной жизни:
Тогда, с прекрасным примирен,
Род смертных будет искуплен!»

И всколебался сонм священный,
И начали они слетать
И об отчизне сокровенной
Народам и векам вещать.
Парят Поэты над землею,
И сыплют на нее цветы,
И водят граций за собою —
Кругом носятся их мечты
Эфирной, легкою толпою.
Они веселий не бегут;
Но, верны чистым вдохновеньям,
Ничтожным, быстрым наслажденьям
Они возвышенность дают.
Цари святого песнопенья!
В объятьях даже заблужденья
Не забывали строгих дев:
Они страшились отверженья;
Им был ужасен граций гнев!
Под сенью сладостной прохлады
За чашей пел Анакреон;
Он пел тебя, о Купидон,
Твои победы и награды!
И древним племенам Эллады —
Без прелести, без красоты —
Уже не смел являться ты.
Он пел вино — и что же? Греки
Не могут уж, как скифы, пить;
Не могут в бешенстве пролить

Вина с реками крови реки!
Да внемлют же Поэтам веки!

Ты вечно будешь их учить —
Творец грядущих дарований,
Вселенная картин и знаний,
Всевидец душ, пророк сердец,—
Гомер — божественный певец!
В не связанной ничем свободе
Ты всемогущий чародей,
Ты пишешь страсти и людей
И возвращаешь нас Природе
Из светских, тягостных цепей.
Вас вижу, чада Мельпомены:
Ты вождь их, сумрачный Эсхил,
О жрец ужасных оных сил,
Которые казнят измены,
Карают гнусную любовь
И мстят за пролитую кровь.
В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала.
Я слышу завыванье бурь:
И се в одежде из тумана
Несется призрак Оссиана! —
Покрыта мрачная лазурь
Над ним немыми облаками.
Он страшен дикими мечтами;
Он песней в душу льет печаль;
Он душу погружает в даль
Пространств унылых, замогильных!
Но раздается резкий звук:
Он славит копий бранный стук
И шлет отраду в сердце сильных.
А вы — благословляю вас,
Святые барды Туискона!
И пусть без робкого закона
По воле ваша песнь лилась;
Вы говорили о высоком;
Вы обнимали быстрым оком
И жизнь земли, и жизнь небес;
Вы отирали токи слез
С ланит гонимого пороком!
Тебе, души моей Поэт,

Тебе коленопреклоненье,
О Шиллер, скорбных утешенье,
Во ⟨мгле⟩ ненастья тихий свет!
В своей обители небесной
Услышь мой благодарный глас!
Ты был мне всё, о бард чудесный,
В мучительный, тяжелый час,
Когда я говорил, унылый:
«Летите, дни! вы мне не милы!»

Их зрела и святая Русь —
Певцов и смелых, и священных,
Пророков истин возвышенных!
О край отчизны — я горжусь!
Отец великих, Ломоносов,
Огонь средь холода и льдин,
Полночных стран роскошный сын!
Но ты — единственный философ,
Державин, дивный исполин,—
Ты пройдешь мглу веков несметных,
В народах будешь жить несчетных —
И твой питомец, Славянин,
Петром, Суворовым, тобою
Великий в храме бытия,
С своей бессмертною судьбою,
С делами громкими ея,—
Тебя похитит у забвенья!
О Дельвиг! Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел,
И сладостного песнопенья!
Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастьи и в несчастьи твердый,
Союз любимцев вечных муз!
О вы, мой Дельвиг, мой Евгений!
С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты — наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина, и Врана? —
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен.
О други! песнь простого чувства

Дойдет до будущих племен —
Весь век наш будет посвящен
Труду и радостям искусства;
И что ж? пусть презрит нас толпа:
Она безумна и слепа!

Между январем и мартом 1820

32. К ЕВГЕНИЮ

Contumelia non freqit eum, sed errexit! *

С наморщенным челом, потухшими глазами
Глядит на светлый мир стоический глупец —
Что для него весна с любовью и мечтами
И что бессмертия венец?

«Все в жизни суета, и наш удел — терпенье!» —
Впросонках говорит жиреющий Зенон —
И дураку толпа приносит удивленье,
Для черни прорицатель он!

А я пою тебя, страдалец возвышённый,
Постигнутый Судьбы железною рукой,
Добыча злых глупцов и зависти презренной,
Но вечно пламенный душой!

И если я когда был полон вдохновенья —
И не вотще душа моя
Ловила Пиэрид живые песнопенья —
Бессмертна будет песнь сия!

Узнают племена, как ты друзей и радость,
Любовь и славу пел,
А злоба между тем твою губила младость,
И музы от тебя не отвращали стрел;

Я сам, незапно Зевсом пораженный
И очернен дыханьем клеветы,—
Тогда лишь понял, изумленный,
Как был велик в несчастьи ты!

* Поношение не сокрушило его, а вознесло *(лат.).— Ред.*

И лавр, Каменой мне обещанный когда-то,
Но юной полнотой твоих душевных сил
И сладостью стихов пылающих отъятый,
Тебе я радостный вручил.

Первая половина 1820

33. ПРОЩАНИЕ

Прости, отчизна дорогая!
Простите, добрые друзья!
Уже сижу в коляске я,
Надеждой время упреждая.
Уже волшебница Мечта
Рисует мне обитель Славы,
Тевтонов древние дубравы
И их живые города!
А там встают седые горы,
Влекут и ослепляют взоры
И, хмурясь, всходят до небес!
О гроб и колыбель чудес,
О град бессмертья, муз и брани!
Отец народов, вечный Рим! —
К тебе я простираю длани,
Желаньем пламенным томим.
Я вижу в радужном сиянье
И Галлию, и Альбион!
Кругом меня очарованье,
Горит и блещет небосклон.
Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Какая пища для души —
В ее божественной тиши
Златая дивная природа...
Тяжелая гроза страстей,
Вооруженная свобода,
Борьба народов и царей!
Не в капище ли Мельпомены
Я, ожиданий полн, вступил?
Не в храм ли тайных, грозных сил,
Взирающих на жизнь вселенны,—
Для них все ясно, все измены,
Все сокровенности сердец,
Всех дел и помыслов конец!

Святые, страшные картины!
Но, верьте! и в странах чужбины,
И там вам верен буду я,
О вы, души моей друзья! —
И пусть поэтом я не буду,
Когда на миг тебя забуду,
Тебя, смиренная семья,
Где юноши певцы сходились,
Где их ласкали как родных,
Где мы в мечтаньях золотых
Душой и жизнию делились!

Август или сентябрь 1820

34. К ПРОМЕФЕЮ

О Промефей! меж Певцов земли Туискона создатель
Легких, могущих духов, коих бессмертная жизнь!
Ты им поведал все струны сердец, поведал вселенну —
Вижу: они из твоей вечноцветущей души
Роем взвились и вдруг священным торжественным хором
Все окружили меня. Сильный, божественный — ты,
Твой Пирифой, твой Шиллер и Гердер — мудрец-песнопевец,—
Чарами сладостных лир сердце мое вы зажгли!
Песнелюбивое племя славян услышит с любовью
Арфу, которую ты в светло-святые часы
Подал юноше мне,— я буду тобою бессмертен.
О прийми ж, Промефей, все мое лучшее в дар —
Не удивленье одно, но любовь и звуки простые
Робких еще, но тобой смело настроенных струн!

Франкфурт
4 декабря 1820

35

Снова я вижу тебя, прекрасное, светлое море;
Снова глядится в тебя с неба златой Аполлон!
Чистый, единый алмаз, ты горишь и, трепéща, светлеешь:
Там, на севере, ты некогда там, у моей
Хижины тихой *, сияло, дрожа, и взор мой пленяло!

* В Петербурге я долго жил на взмории, за Калинкиным мостом.

О благодатный Нептун! мощный и радостный бог!
Пусть не гляжу на тебя в твоей полуночной, зеленой
Ризе, которую ты в милой, в *моей* стороне
Стелешь в обширную даль от священного Невского
брега:
Синие волны твои душу волнуют мою,
Шум изумрудных пучин родимого Русского моря
Сладостным шумом своим в слухе моем пробудя:
Миг — и чудо! несусь из древнего града фокеян
В пышные стены Петра! С ними уж, с братьями я;
В мирной семье их сижу; веселым речам их внимаю;
Песни слушаю их; с ними смеюсь и грущу! —
О! быть может, от них вы течете, лазурные волны;
Взор их, быть может, на вас в светлой дали отдыхал:
Будьте ж отныне послами любви! несите на север
К милым далеким моим мысли, желанья, мечты!

Конец 1820 или начало 1821

36. НИЦЦА

Был и я в стране чудесной.
Там, куда мечты летят,
Где средь синевы небесной
Ненасытный бродит взгляд,
Где лишь мул на верх утеса
Путь находит меж стремнин,
Где весь в листьях в мраке леса
Рдеет сочный апельсин.

Край, любовь самой природы,
Родина роскошных муз,
Область браней и свободы,
Рабских и сердечных уз!
Был я на холмах священных,
Средь божественных гробов,
В тесных рощах, растворенных
Сладким запахом цветов!

Дивною твоей луною
Был я по морю ведом;
Тьма сверкала подо мною,
Зыбь горела за веслом!
Над истоком Полиона
Я задумчивый стоял;

Мне казалось, там Миньона
Тужит между диких скал!

К песне тихой и печальной
Преклонял я жадный слух:
Из страны, казалось, дальной
Прилетел бесплотный дух!
Он оставил ночь могилы
Раз еще взглянуть на свет;
Только край родной и милый
Даст ему забвенье бед!

На горах среди туманов
Я встречал толпу теней,
Полк бессмертных великанов,
Ратных, бардов и судей —
Вечный Рим, кладбище славы,
Я к тебе летел душой!
Но встает раздор кровавый,
Брань несется в рай земной!

Гром завоет; зарев блески
Ослепят унылый взор;
Ненавистные тудески
Ниспадут с ужасных гор:
Смерть из тысяч ружей грянет,
В тысяче штыках сверкнет;
Не родясь, весна увянет,
Вольность, не родясь, умрет!

Васильковою лазурью
Здесь пленяют небеса;
Под рушительною бурью
Здесь не могут пасть леса;
Здесь душа в лугах шелковых,
Жизнь и в камнях, и в водах!
Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и месть, и страх?

Всё жестоким укоризна,
Что здесь сердцу говорит!
Иль не здесь любви отчизна?
Иль не это сад харит?
Здесь я видел обещанье

Светлых, беззаботных дней:
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук цепей!

16 марта 1821

37. К РУМЫЮ!

Века шагают к славной цели;
Я вижу их: они идут!
Уставы власти устарели;
Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы:
О радость! грянул час, веселый час Свободы!

Друзья! нас ждут сыны Эллады:
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь горы, реки, грады!
Они нас ждут: скорее к ним!
Судьба, услышь мои молитвы,
Пошли, пошли и мне минуты первой битвы!

И пусть я, первою стрелою
Сражен, всю кровь свою пролью:
Счастлив, кто с жизнью молодою
Простился в пламенном бою,
Кто убежал от уз и скуки
И славу мог купить за миг короткий муки!

Ничто, ничто не утопает
В реке катящихся веков:
Душа героев вылетает
Из позабытых их гробов
И наполняет бардов струны
И на тиранов шлет народные перуны!

Между мартом и августом 1821

38. К АХА́ТЕСУ

Ахатес, Ахатес! ты слышишь ли глас,
Зовущий на битву, на подвиги нас? —
Мой пламенный юноша, вспрянь!
О друг, полетим на священную брань!

Кипит в наших жилах веселая кровь,
К бессмертью, к свободе пылает любовь,
Мы смелы, мы молоды: нам
Лететь к Марафонским, святым знаменам!

Нет! нет! — не останусь в убийственном сне,
В бесчестной, глухой, гробовой тишине;
Так! ждет меня сладостный бой —
И если паду, я паду как герой.

И в вольность, и в славу, как я, ты влюблен,
Навеки со мною душой сопряжен!
Мы вместе помчимся туда,
Туда, где восходит свободы звезда!

Огонь запылал в возвышѐнных сердцах;
Эллада бросает оковы во прах!
Ахатес! нас предки зовут —
О, скоро ль начнем мы божественный труд!

Мы презрим и негу, и роскошь, и лень.
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за отчизну наш меч
Впервые возблещет средь радостных сеч!

Тогда, как раздастся громов перекат,
Свинец закипит, загорится булат,—
В тот сумрачный, пламенный пир,
«Что любим свободу», поверит нам мир!

Париж
Апрель 1821

39. НА РЕЙНЕ

Мир над спящею пучиной,
Мир над долом и горой;
Реин гладкою равниной
Разостлался предо мной.

Легкий челн меня лелеет,
Твердь небесная ясна,
С тихих вод прохлада веет:
В сердце льется тишина!

Здесь, над вечными струями,
В сей давно желанный час,
Други, я в мечтаньях с вами;
Братия, я вижу вас!

Вам сей кубок, отягченный
Влагой чистой и златой:
Пью за наш союз священный!
Пью за русский край родной!

Но волна бежит и плещет
В безответную ладью:
Что же грудь моя трепещет?
Что же душу тьмит мою?

Встали в небе великаны,
Отражает их река:
Солнце то прорвет туманы,
То уйдет за облака!

Слышу птицу предвещаний:
Дик ее унылый стон;
Светлую толпу мечтаний
И надежду гонит он.

О! скажи, жилец дубравы,
Томный, жалобный пророк,
Иль меня на поле славы
Ждет неотразимый рок?

Или радостных объятий
К милым мне не простирать?
И к груди дрожащей братий
При свиданьи не прижать?

Да паду же за свободу,
За любовь души моей,
Жертва славному народу,
Гордость плачущих друзей!

Декабрь 1820 или начало 1821

40. К БАРОНУ РОЗЕНУ

В дороге жизни на мгновенье,
Земляк, я встретился с тобой
И полюбил тебя душой.
И грустно для меня с тобою разлученье!
Одной подвластны мы судьбе:
Ко мне она была сурова,
Не слишком ласкова к тебе;
Но что прошло, о том ни слова!
А разве ныне оживлю
Минувшей младости златые наслажденья
И их спасу от жадного забвенья!
О милый мой, как я мечтать люблю
О пышных берегах, о рощах Морфонтена!
Как часто уношусь я вдаль,
В Сенклуские леса, в приветливый Версаль! —
И для тебя всегда любезна будет Сена:
Когда шумели там славянские знамена
И на заре своей
Ты лавр уже успел сорвать между мечей,
От брани отдыхал средь новых ты друзей
В объятиях любви, средь сладостного плена!
Но не в одном чужом краю
С твоей мечтой моя должна сливаться дума:
Не оба ль помним мы и здесь страну свою,
Хранимую всегда от браней и от шума! —
Быть может, скоро ты увидишь те луга —
Луга Эстонии и мирной, и счастливой,
Где я не знал, что есть тоска,
От коих рано нас отторгнул рок ревнивый!
Ты скоро их увидишь, друг,
Прекрасных девушек, пастушек светлооких!
Земляк! когда тебя обстанет милых круг
И спросит о странах далеких,
Тебя обворожит речей знакомый звук —
Забудешь горы ты, стремнины и утесы,
И сечи быстрые, и сумрачный Кавказ.
Исчезнут для тебя чеченцы и черкесы;
Весь мир твой будет взор прелестных, тихих глаз —
Земляк, я не сержусь,— не вспомнишь ты о нас!

Георгиевск
1821

41. ЕРМОЛОВУ

О! сколь презрителен певец,
Ласкатель гнусный самовластья!
Ермолов, нет другого счастья
Для гордых, пламенных сердец,
Как жить в столетьях отдаленных
И славой ослеплять потомков изумленных!

И кто же славу раздает,
Как не любимец Аполлона?
В поэтов верует народ;
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен выше их:
В потомстве Не́рона клеймит бесстрашный стих!

Но мил и свят союз прекрасный
Прямых героев и певцов —
Поет Гомер, к Ахиллу страстный:
Из глубины седых веков
Вселенну песнь его пленила —
И не умрет душа великого Ахилла!

Так пел, в Суворова влюблен,
Бард дивный, исполин Державин;
Не только бранью Сципион,
Он дружбой песнопевца славен:
Единый лавр на их главах,
Героя и певца равно бессмертен прах!

Да смолкнет же передо мною
Толпа завистливых глупцов,
Когда я своему герою,
Врагу трепещущих льстецов,
Свою настрою громко лиру
И расскажу об нем внимающему миру!

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне:
Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу;
Погибнет с шумом вероломство,
И чист предстану я пред грозное потомство!

1821

42. ГРИБОЕДОВУ

Увы, мой друг, как трудно совершенство!
И мне его достигнуть ли когда?
Я рано назвал призраком блаженство —
Ужель и дар мой, и восторг — мечта?

А если нет, избегну ли забвенья?
Не схватит ли меня, до достиженья,
Когда уже мне видится венок,
В средине самой моего теченья
Неумолимый рок?

Жилец возвышенного мира,
Я вечно буду чужд земных цепей.
Но, ах! меня спасет ли лира?
Избегну ли расставленных сетей?
Как мне внизу приметить гнусных змей?
Быть может, их нога меня попрала
И уж острят убийственные жала!

Но ты, ты возлетишь над песнями толпы!
Тебе дарованы, Певец, рукой судьбы
Душа живая, пламень чувства,
Веселье светлое и тихая любовь,
Златые таинства искусства
И резвоскачущая кровь!

О! если я сойду к брегам туманной Леты
Как неизвестная, немая тень —
Пусть образ мой, душой твоей согретый,
Еще раз узрит день! —
Я излечу на зов твой из могилы,
Развью раскованные крилы,
К златому солнцу воспарю —
И жадно погружусь в бессмертную зарю!

Тифлис
1821

43. РАЗУВЕРЕНИЕ

Не мани меня, надежда,
Не прельщай меня, мечта!
Уж нельзя мне всей душою

Вдаться в сладостный обман:
Уж унесся предо мною
С жизни жизненный туман!

Неожиданная встреча
С сердцем, любящим меня,—
Мне ль тобою восхищаться,
Мне ль противиться судьбе?
Я боюсь тебе вверяться!
Я не радуюсь тебе!

Надо мною тяготеет
Клятва друга первых лет!
Юношей связали музы,
Радость, молодость, любовь —
Я расторг святые узы!
Он в толпе моих врагов!

«Ни любовницы, ни друга
Не иметь тебе вовек!» —
Молвил, гневом вдохновленный,
И пропал мне из очей —
С той поры, уединенный,
Я скитаюсь меж людей!

Раз еще я видел счастье,
Видел на глазах слезу,
Видел нежное участье,
Видел — но прости, певец!
Уж предвижу я ненастье:
Для меня ль союз сердец?

Что же роковая пуля
Не прервала дней моих?
Что ж для нового изгнанья
Не ведут ко мне коня?
В тихой тьме воспоминанья
Ты б не разлюбил меня!

1821

44. К ПУШКИНУ

Мой образ, друг минувших лет,
Да оживет перед тобою!
Тебя приветствую, Поэт!
Одной постигнуты судьбою,
Мы оба бросили тот свет,
Где мы равно терзались оба,
Где клевета, любовь и злоба
Размучили обоих нас!
И не далек, быть может, час,
Когда при черном входе гроба
Иссякнет нашей жизни ключ;
Когда погаснет свет денницы,
Крылатый, бледный блеск зарницы,
В осеннем небе хладный луч!
Но се — в душе моей унылой
Твой чудный Пленник повторил
Всю жизнь мою волшебной силой
И скорбь немую пробудил!
Увы! как он, я был изгнанник,
Изринут из страны родной
И рано безотрадный странник,
Вкушать был должен хлеб чужой!
Куда, преследован врагами,
Я не носил главы своей
И где веселыми очами
Я зрел светило ясных дней?
Вотще в пучинах тихоструйных
Я в ночь, безмолвен и уныл,
С убийцей гондольером плыл *,
Вотще на поединках бурных
Я вызывал слепой свинец:
Он мимо горестных сердец
Разит сердца одних счастливых!
Кавказский конь топтал меня,
И жив в скалах тех молчаливых
Я встал из-под копыт коня!
Воскрес на новые страданья,
Стал снова верить в упованье,
И снова дикая любовь

---

* Отправляясь из Виллафранки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды.

Огнем свирепым сладострастья
Зажгла в увядших жилах кровь
И чашу мне дала несчастья!
На рейнцких пышных берегах,
В Лютеции, столице мира,
В Гесперских радостных садах,
На смежных небесам горах,
О коих сладостная лира
Поет в златых твоих стихах,
Близ древних рубежей Персиды,
Средь томных северных степей —
Я был добычей Немезиды,
Я был игралищем страстей!
Но не ропщу на провиденье:
Пусть кроюсь ранней сединой,
Я молод пламенной душой;
Во мне не гаснет вдохновенье,
И по нему, товарищ мой,
Когда, средь бурь мятежной жизни,
В святой мы встретимся отчизне,
Пусть буду узнан я тобой.

Апрель — май 1822

45. ПРОРОЧЕСТВО

Глагол господень был ко мне
За цепью гор на бреге Кира:
«Ты дни влачишь в мертвящем сне,
В объятьях леностного мира:
На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы? —
Восстань, певец, пророк Свободы!
Вспрянь, возвести, что я вещал!

Никто — но я воззвал Элладу;
Железный разломил ярем:
Ее душа не дастся аду;
Она очистится мечом,
И, искушенная в горниле,
Она воскреснет предо мной:
Ее подымет смертный бой;
Она возблещет в новой силе!»

Беснуясь, варвары текут;
Огня и крови льются реки;
На страшный и священный труд
Помчались радостные греки;
Младенец обнажает меч,
С мужами жены ополчились,
И мужи в львов преобразились
Среди пожаров, казней, сеч!

Костьми усеялося море,
Судов могущий сонм исчез:
Главу вздымая до небес,
Грядет на Византию горе!
Приспели грозные часы:
Подернет грады запустенье;
Не примет трупов погребенье,
И брань за них подымут псы!

Но тщетны будут все крамолы:
Святая сила победит!
Бог зыблет и громит престолы;
Он правых, он свободных щит! —
Меня не он ли наполняет
И проясняет тусклый взор?
Се предо мной мгновенно тает
Утесов ряд, твердынь и гор!

Блестит кровавая денница;
В полях волнуется туман:
Лежит в осаде Триполицца,
И бодр, не дремлет верный стан!
Священный пастырь к богу брани
Воздел трепещущие длани;
В живых молитвах и слезах
Кругом вся рать простерлась в прах.

С бойниц неверный им смеется,
Злодей подъемлет их на смех:
Но Кара в облаках несется;
Отяжелел Османов грех!
Воспрянул старец вдохновенный,
Булат в деснице, в шуйце крест:
Он в миг взлетел на вражьи стены;
Огонь, и дым, и гром окрест!

Кровь отомстилась убиенных
Детей и дев, сирот и вдов!
Нет в страшном граде пощаженных:
Всех, всех глотает смертный ров! —
И се вам знаменье Спасенья,
Народы! — близок, близок час:
Сам Саваоф стоит за вас!
Восходит солнце обновленья!

Тебя замучают владыки;
На чад твоих наляжет страх;
Во все рассыплешься языки,
Как вихрем восхищенный прах.
Народов чуждых песнью будешь
И притчею твоих врагов
И имя славное забудешь
Среди бичей, среди оков!

А я — и в ссылке, и в темнице —
Глагол господень возвещу:
О боже, я в твоей деснице!
Я слов твоих не умолчу! —
Как буря по полю несется,
Так в мире мой раздастся глас
И в слухе Сильных отзовется:
Тобой сочтен мой каждый влас!

Тифлис
1822

46. ПРОКЛЯТИЕ

Проклят, кто оскорбит поэта
Богам любезную главу;
На грозный суд его зову:
Он будет посмеяньем света!

На крыльях гневного стиха
Промчится стыд его в потомство:
Там казнь за грех и вероломство,
Там не искупит он греха.

Напрасно в муках покаянья
Он с воплем упадет во прах;

Пусть призовет и скорбь, и страх,
Пусть на певца пошлет страданья;

Равно бесстрашен и жесток,
Свой слух затворит заклинанью,
Предаст злодея поруганью
Святый, неистовый пророк.

Пройдет близ сумрачного гроба
Пришелец и махнет рукой,
И молвит, покивав главой:
«Здесь смрадно истлевает злоба!»

А в жизни — раб или тиран,
Поэта гнусный оскорбитель,—
Нет, изверг,— не тебе был дан
Восторг, бессмертья похититель!

Все дни твои тяжелый сон,
Ты глух, и муз ты ненавидишь,
Ты знаешь роковой закон,
Ты свой грядущий срам предвидишь.

Но бодро радостный певец
Чело священное подъемлет,
Берет страдальческий венец
И место меж богов приемлет!

1822

47. А. С. ГРИБОЕДОВУ

при пересылке к нему в Тифлис моих «Аргивян»

Воспрянь, душа моя, покинь унылый берег
Днепровских помертвелых вод:
Приветствуй полдень и восход!
За яростный, кипящий Терек
Теки, как в облаках младой орел течет,
Стреми, расширь златые крила,
Стреми за горы свой полет,
Купайся в пурпуре весеннего светила!

Над сладким долом пронесись,
Лети за скалы Ананура *,
В высококаменный Тифлис,
На острова живого Кура
С приделов горних ниспустись!

В одежде легкого тумана
Предстань певцу в прозрачной тьме
На тихом злачном том холме,
Где ныне, может быть, он запах Гулистана **
Вбирает жадною душой,
Где старец вечно молодой ***,
Где музы пышные святого Фарзистана ****
Парят над вещею главой!
Уже я зрю тебя — тебя, страна златая!
Поэту я вручу камен ахейских дар:
Не он ли воспитал во мне их чистый жар?
Они его: моя прекрасная Аглая,
Мой пылкий Протоген, мой гордый Тимофан.
Им был мне новый пламень дан!
И се под светлым небосклоном
Мне вдруг явилась их воздушная семья
С любимцем дум моих, с моим Тимолеоном *****,
Как матерь нежная, носился долго я,
Но неисторгнутый, о милый друг, тобою,
Он был бы подавлен враждебной мне судьбою!

Закуп
20 января 1823

48. УЧАСТЬ ПОЭТОВ

О сонм глупцов бездушных и счастливых!
Вам нестерпим кровавый блеск венца,
Который на чело певца
Кладет рука камен, столь поздно справедливых!
Так радуйся ж, презренная толпа,

---

* Первое пограничное Кавказу местечко Грузии.
** Гулистан, цветник, творение Саади.
*** Саади.
**** Фарзистан — Персия.
***** Аглая, Протоген, Тимофан, Тимолеон — действующие лица моей трагедии.

Читай былых и наших дней скрыжали:
Пророков гонит черная судьба;
Их стерегут свирепые печали;
Они влачат по мукам дни свои,
И в их сердца впиваются змии.
Ах, сколько вижу я неконченых созданий,
Манивших душу прелестью надежд,
Залогов горестных за пламень дарований,
Миров, разрушенных злодействами невежд!
Того в пути безумие схватило
(Счастливец! от тебя оно сокрыло
Картину их постыдных дел!) —
Так! я готов сказать: завиден твой удел!
Томит другого дикое изгнанье;
Мрут с голоду Камоэнс и Костров;
Ш⟨ихматова⟩ бесчестит осмеянье,
Клеймит безумный лепет остряков,—
Но будет жить в веках певец Петров!
Потомство вспомнит их бессмертную обиду
И призовет на прах их Немезиду!

1823

49. ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ И. И. ДМИТРИЕВУ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПРОЩАНИЕ С ИТАЛИЕЮ»

Вас дождется ли мой Гений
Здесь, среди дворцов Москвы,
Рой крылатых вдохновений?
Некогда спускались вы
В блесках радостной денницы
На мой зов к утесам Ниццы!
В тихий и волшебный час
Я встречал, о музы, вас
Там, где сладостные волны
Нежат пышную страну,
Где пришлец, восторга полный,
Видит вечную весну!
Там при заунывном стоне
Рощ Орфея, Соловья,
Вспоминая о Миньоне,
Был объят восторгом я;
Там на голос Корифея
Бардов, Германа сынов,

Дивным жаром пламенея,
Славил древний край богов.
Вас, прелестные камены,
О небесные друзья,
Снова призываю я!
Патриарх певцов родных,
Ныне вторю, умиленный,
Пред тобою гул забвенный
Из времен моих былых,
Эхо песней молодых!

1823

50. ⟨ВЯЗЕМСКОМУ⟩

Когда, воспрянув ото сна,
Воздвиглась, обновясь, Эллада
И вспыхла чудная война,
Рабов последняя ограда;
Когда их цепи пали в прах
И обуял крылатый страх
Толпу свирепых оттоманов,
Толпу союзных им тиранов,
Гнетущих вековым жезлом
Немые Запада народы,
Казнящих ссылкой и свинцом
Возвышенных сынов Свободы,—
С Секванских слышал я брегов
Ваш клич, воскресшие герои,
Ваш радостный я слышал зов,
О вы, торжественные бои!
Хватая в нетерпеньи меч,
Я думал: там средь дивных сеч
Найду бессмертную кончину!
Но мне унылую судьбину
Послал неумолимый рок:
Мой темный жизненный поток
Безвестный потечет в истленье;
Увы, меня пожрет Забвенье!
А разве сохранит певца
Отважный голос упованья,
Мой стих, гремевший из изгнанья,
Разивший гордые сердца!
Развейся же, святое знамя,

Играй в воздушных высотах!
Не тщетное дано мне пламя;
Я волен даже и в цепях!
Чистейший жар в груди лелея,
Я ударяю по струнам;
Меня надзвездный манит храм —
Воссяду ли, счастливец, там
Близ Пушкина и близ Тиртея?

1823

51

Судьбою не был я лелеян
В странах далеких и чужих,
Но бурный дух мой не утих:
Из Петрограда в град фокеян
За мной перуны понеслись;
В столице западного мира
Душе не обретал я мира;
Кавказ, и Терек, и Тифлис
На берегах волшебных Кира
Людьми гонимого певца
Грозой объятого встречали;
Но надо мной был щит отца,
Сень ниссылателя печали!
Он не дал пасть мне до конца!
Смягчив жестокие сердца,
Он в грудь прольет мне утешенье,
В семье любезной и родной
Найду отраду и покой,
И сменит мир во мне волненье!

Между 1822 и 1824

52. К А. Т. ПУШКИНОЙ

Цветок увядший оживает
От чистой утренней росы;
Для жизни душу воскрешает
Взор тихой девственной красы.
Когда твои подернет щеки
Румянец быстрый и живой —

Мне слышны милые упреки,
Слова стыдливости немой,
И я, отринув ложь и холод,
Я снова счастлив, снова молод,
Гляжу: невинности святой
Прекрасный ангел предо мной!

1823 или 1824

53. ЖРЕБИЙ ПОЭТА

Как путник, ветрами носимый
По диким, тягостным волнам,
По бездне вод необозримой,
Стремит к невидимым звездам
Сквозь мрак ревущей полуночи
Спасенья жаждущие очи;
Как в страхе к дальним берегам
В слезах распростирают руки
(Там все его исчезнут муки,
Усталого ждет пристань там),—

Так я, средь сердца грез мятежных
Размучен бурною душой,
Добыча следствий неизбежных,
Звал тщетно сладостный покой!
Нигде мне не было пощады:
Из края в край, из весей в грады
Я был преследован судьбой;
Нет, не могли святые струны
Гром оковать, связать перуны;
Ревели бури надо мной.

О! страшно быть сосудом бренным,
Пророком радостных богов!
Снедаемый огнем священным,
Внушителем златых стихов,
Тот предан в жертву грозной власти,
В ком песней жар питает страсти:
Его и самая любовь
Порабощает мрачным силам;
В нем шумно, яростно по жилам
Течет неистовая кровь.

В замену пред лицом Кронида
Всесилен вещих песен глас:
Им в темном аде Немезида,
Им в светлом небе Локсиас,
Им на земле века внимают
И на главе певца считают
И сохраняют каждый влас.
Он входит в горние пределы,
Берет из длани Зевса стрелы —
И нечестивых страх потряс.

Гремят его хвалы и клятвы
До запада позднейших дней:
Он сеет их для верной жатвы.
Злодей, содрогнись и бледней,
Беги за волны Ахерона!
Вот лук, даянье Аполлона:
Он губит извергов и змей...
Уж роги тетива стянула;
Исчезни же! утроба тула
Полна мучительных смертей!

1823 или 1824

54. РОГДАЕВЫ ПСЫ

1

Венчав Александра главой своих сил,
Славяне и русы отважной рукою
Сражали соседей за светлой Невою:
Но город великий татарам служил.
Пусть ужас наслала святая София
На дикую душу злодея Батыя —
Орда не ярилася в древних стенах,
Не пали священные храмы во прах,
    Зажженные светочем брани:
    Но всех ослепляющий страх
В Сарай отправляет позорные дани.

2

Бывало, пристанет надменный посол:
Он волк ненасытный; берет и хватает,
Богатых и бедных гнетет и пугает
Упорных угрозой неслыханных зол.
На нем и средь мира воинские латы;
На вече под буркою, в шапке косматой
Он ходит; гремит в его туле стрела;
Он даже пред князем не склонит чела.
    Все, храбрые даже, трепещут:
    Гость, гра́жданин, житель села
Боязненный взор на грабителя мещут.

3

В то время был славен могучий Рогдай,
Разумный посадник и смелый воитель;
В советах и битвах успеха решитель,
Не раз защитил он отеческий край;
Повсюду срывал торжество и победы:
Пред сильным дрожали литовцы и шведы,
На сеймах крамольник пред ним умолкал.
Он тверже бойницы, вернее забрал,
    За Русь не щадил своей крови:
    Но что же? могучий попал
В опасный полон неисходной любови.

4

Он вывез добычу, подарок войны,
За грозные сечи златую награду,
В трудах и заботах и скуке усладу —
Прелестную деву из дальней страны:
Однажды он, с горстию ратников дерзких,
Вломившися в сердце земель кавалерских,
Взял замок на скате ливонских холмов.
Вторгаются россы по трупам врагов,
    Нежданные в час полунощи;
    С моста низвергают их в ров;
Колеблют победными кликами рощи.

5

Сквозь дротиков лес и сверканье мечей,
Под гулом последнего, дикого боя,
Вдруг дева является взорам героя,
Средь ужасов мрака, при блеске огней!
Он слышит: теряется стон ее томный;
Он видит: влечет ее хищник наемный,
Десницу опутавши шелком власов;
Широк в раменах, и силен, и суров,
    Из рук ее вырвав презренных,
    Вождь шепотом ласковых слов
Ее оживил среди стен полоненных.

6

Она зарыдала; ему отдалась;
Неделю казалась грустна и уныла,
Но скоро блистательных предков забыла
И в верности вечной Рогдаю клялась;
Построил ей терем Рогдай восхищенный
Над Волховом, рощею лип осененный:
Как часто туда на ретивом коне
Он мчался при сумрачной, тихой луне
    На отдых от славы и шума!
    Меж тем в православной стране
Всех дух растревожила тяжкая дума.

7

Сейм кончен; напрасно посадник один,
Один восставал на свирепого хана;
Уж собрана дань для неверного стана,
Уж с нею унесся баскак Нурредин.
Рогдая снедает живая досада,
Клянет малодушие древнего града;
Вступает в родительский пасмурный дом,
И бросился в кресла, и бросил шелом;
    За стены дневное светило,
    Златя их последним лучом,
Спокойное в трепетный мрак заходило.

8

Сидит он, безмолвный, в разлившейся мгле
И смотрит в раздумьи на путь одинокой;
Но вдруг он воспрянул из скорби глубокой,
Вдруг радость блеснула на темном челе:
На крыльях любови, полетом отваги
Он рыщет чрез холмы, мосты и овраги
В свой терем любезный, в объятья драгой!
«При ней,— говорит,— я расстанусь с тоской:
    Спеши же, спеши же, ретивый!»
    Ретивый несется стрелой,
И вихорь восстал от разметанной гривы!

9

Сбивая в раздолах алмазы росы,
Травы прикасается звонкое стремя,
Но тихо для витязя катится время,
Лениво и тяжко влачатся часы!
И вот сквозь пары уступающей нощи,
Сквозь ветви густые возлюбленной рощи
Пожаром зари загорелось стекло;
Тут страстное сердце в нем вдруг расцвело,
    Воскреснули падшие силы,
    Всю кровь его пламя зажгло,
Забилися бурно кипящие жилы!

10

«Заря! не свети моей милой в окно;
О солнце! постой: не всходи из-за леса;
Одень ее алою тьмою, завеса!
Помедли, о сумрак! мгновенье одно:
Пусть радость моя под твоими крылами
Еще и еще насладится мечтами!
Ты ж, сладостный ветер! от ропщущих струй
Повей ей дремотою, негой подуй!
    А ты, голубок пробужденный,
    Над гнездышком тише воркуй:
Храни, береги ее сон драгоценный!»

11

Коня привязав к золотому кольцу,
«Покоится,— шепчет он,— счастье Рогдая!»
И крадется витязь, едва наступая,
И с трепетом тайным идет по крыльцу.
Вот спальня, и в спальне роскошное ложе!
«Ее разбужу поцелуем!» — и что же?
Подходит и смотрит: ах! девицы нет!
Зовет — тишина ему грозный ответ!
    Колеблясь, он ищет опоры;
    Померкнул в очах его свет,
Смертельною тьмою подернулись взоры!

12

Вдруг, страшный и яростный, он побежал,
Как найденный лев из пустынной берлоги;
Беснуясь, летит из чертогов в чертоги,
И чу! — не гудит ли забытый подвал?
К подвалу! разрушил замок и заклепы;
Дворецкого видит и кличет, свирепый:
«Где барышня? Кто, злополучный старик,
Здесь запер тебя? кто в мой терем проник?
    Главы не снесут его плечи!
    Молвь имя злодея и в миг...»
Старик прерывает суровые речи:

13

«Здесь в доме тебе я был верен один:
Холопы твои разбежалися, барин!
Украл же девицу поганый татарин,
Коварный язычник, баскак Нурредин;
А с ней удалося бесстыдному вору
С собою увлечь твою лучшую свору!»
Пот хладный с геройского катит лица;
Он горестных слов не дослушал конца:
    В душе его дикие бури;
    Коня отвязав от кольца,
Он скачет под сводом рассветшей лазури.

14

Глядит — полосу через юный посев,
Их след обрели его жадные взоры;
Он рвется вперед через долы, и горы,
И рвы, и заборы, и чащу дерев.
Просвищет ли в поле незапной грозою —
Не тронув травы оперенной ногою,
Обымется облаком пышущий конь,
Посыплет от камней и дым, и огонь,
Весь потом и пылью покрытый;
Хлыстом ретивого не тронь,
Он сам без бодцев окрыляет копыты.

15

Но витязь ласкает и треплет коня:
«Дай сбросить мне изверга в пропасть могилы;
Скорее, надежда, сбери свои силы;
Последнюю, брат мой! яви мне услугу,
В последний раз вынеси, верный, меня!
Последнюю дружбу бессчастному другу!
Будь ветром, товарищ! лети соколо́м!
За сеном душистым, за крупным овсом
В прохладное примешься стойло;
Сам я твоим буду рабом,
И будет драгое вино тебе пойло!»

16

Вперед и вперед! — но за злачным холмом
Вдали не туман белоснежный синеет;
Над буркой крыло лебединое веет;
Зардевшись, горит дамаскинский шелом,—
И молодец гаркнул, перуном ретивый
Пустился по глыбам распаханной нивы;
Настиг своих выжлят могучий Рогдай:
Псы верные подняли радостный лай!
Но кличет отчаянный мститель:
«Разбойник, догнать себя дай!
Сорву с тебя голову; стой, похититель!»

17

Тогда богатырь на курган соскочил:
Он, гневный, трепещет от дерзостной речи;
Он ждет с нетерпением радостной сечи —
Вдруг дол застонал от ударов их сил;
Свет гаснет средь вихрей подъятого праха,
И, выглянув, зверь, преисполненный страха,
Побегнул от места ужасного прочь
И кроется в глушь, в непроходную ночь;
Но тщетно чингалища блещут:
Равны их искусство и мочь,
И очи их равное бешенство мещут.

18

Давно уже длится их бой роковой.
«Ты добрый, скажу я, и храбрый воитель! —
Насилу дыша, говорит похититель.—
Послушай же умное слово, герой!»
Усталый посадник булат опускает.
«Напрасно мы бьемся! — злодей продолжает.—
Быть может, то будет угодно судьбе,
Ты сломишь меня в сей тяжелой борьбе;
Но бойся, дрожи, победитель!
Или́ ты уверен в себе?
Как знаешь, ей будет ли мил мой губитель?

19

Не лучше ли, витязь, решить ей самой?
Зачем нам сражаться? Когда, выбирая,
Она предпочтет Нурредину Рогдая,
Клянусь, без нее ускачу я домой!»
Стал витязь и в тяжком раздумии мыслит:
«Кто женского сердца изгибы исчислит?
Но тщетно удачей себя он польстил:
Я свежую душу любить приучил.
Так! наши сердца породнились;
Я был ей, я буду ей мил!»
Весельем глаза его вдруг прояснились...

20

«Баскак, я согласен: мне верен успех!» —
Ордынцу он молвил и к ней обернулся.
Ах, как же жестоко герой обманулся:
Она поднимает убийственный смех,
Она подает похитителю руки!
Расскажет ли кто его адскую муку?
Увы! не глядит на их быстрый побег:
Он ходит и шепчет, хохочет и лег;
        Плащом завернувшись широким,
        Он хочет заснуть, и навек!
И вот они скрылись за холмом высоким!

21

В пустыне над ним протекают часы;
Но машут хвостом и кругом его скачут,
Вдруг станут над ним и завоют, заплачут,
Ласкают несчастного верные псы:
Заботливо лижут суровые раны!
Слетели с него гробовые туманы;
Взглянул злополучный, взглянул, зарыдал,
К ним руки простер, их к сердцу прижал:
        «Придите в мои вы объятья,
        Придите, о други! — сказал.—
Вы дороги мне, как бы кровные братья!»

22

Встает и на блеск велелепного дня
Задумчивый смотрит и пасмурным взором
Парит над холмами, над полем и бором,
Вздохнул и зовет ретивого коня;
Но в стремя занесть едва успел ногу,
Вдруг пыль поднялась и затьмила дорогу,
Вдруг гром от копыт поразил его слух;
Несется ордынец назад во весь дух:
        «Собак уступи мне без драки;
        Прошу у тебя их как друг!
Их девица хочет!» — «Хотят ли собаки? —

23

Тот молвил.— Татарин! пусть сами решат!
Без них ускачу я, когда, выбирая,
Они на тебя обменяют Рогдая!»
Сверкает от ярости хищника взгляд;
Но, мощной рукой не хватая булата,
Он с смехом вещает на речь супостата:
«Расстанься же с ними! забудь своих псов!»
Он манит их сладостью ласковых слов;
    Он свищет и бьет по колену,
    Но видит ряд грозных зубов,
И их не преклонит ничто на измену!

⟨1824⟩

55. ПАН ТАДЕУШ

Тадеуш, убедясь, что брань его не жалит,
Переменил теперь и тактику, и речь:
        Чтобы Талантина упечь,
    Талантина в своем журнале хвалит;
Не может ничего он фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, прислужась, засалит!

1824 или 1825

56. ⟨НА СМЕРТЬ ЧЕРНОВА⟩

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущих рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.
Нет, не отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных:
Мы чужды их семей надменных;
Они от нас отчуждены.
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью, и Черновым.
На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец счастья

Взор бросить, полный сладострастья,—
Падет, перуном поражен.
И прах твой будет в посмеянье,
И гроб твой будет стыд и срам.
Клянемся дщерям и сестрам:
Смерть, гибель, кровь за поруганье!

А ты, брат наших ты сердец,
Герой, столь рано охладелый!
Взнесись в небесные пределы!
Завиден, славен твой конец!
Ликуй: ты избран русским богом
Всем нам в священный образец;
Тебе дан праведный венец,
Ты будешь чести нам залогом.

Сентябрь 1825

57

Чем подарю тебя, Наташа,
В день вожделенных именин?
В деревне жизнь спокойна наша,
И я, камен ленивый сын,
Лелеян быстрыми мечтами,
Забыл о городских рядах,
Об лентах их и их платках! —
Мой друг, довольна будь стихами!
Быть может, знаешь, что поэт,
Когда его восторг тревожит,
Пророчить будущее может:
Прими ж мой дружеский привет!
Расти друзьям и кровным в радость,
Расти, любезное дитя!
Резвясь, играя и шутя,
Ты перейди из детства в младость!
Тогда — с шестнадцатой весной
В твоей груди проснутся чувства;
Тогда природа и искусства
Предстанут в блеске пред тобой,
И ты — с весельем и томленьем —
Ты станешь с жадностью внимать,
Когда, внушенна вдохновеньем,
Прольется песнь твой слух ласкать.

В груди и чистой, и беспечной —
Едва твой оживленный взгляд
Посмотрит в золотой закат —
Найдешь тоску и жар сердечный,
И потечет живее кровь,
Как узришь чудеса востока!
Тогда — о, верь словам пророка! —
Узнаешь тайную любовь;
И мать заботливой рукою
Твое с ним сердце сопряжет —
С ним, с милым... а передо мною,
Как бы живой, к тебе идет
Прекрасный юноша и гордый,
С очами, полными огня,
Равно в любви и в правде твердый!
Быть может, встретит он меня
И скажет: «Слушай, старый дядя,
Брось скучный и печальный строй;
На радость струны переладя,
Мой брак с Наташею воспой».

Первая половина 1820-х гг.

58. СОНЕТ

Объяты сладким сном, благоуханья
Таятся в лоне нежного шипка:
Так и любви всесильная тоска
В закрытом сердце дремлет без желанья.

Развили розу солнцевы лобзанья;
Вдаль аромат лиется, как река:
Эрот, который, прикорнув, пока
Казался без движенья, без дыханья,

Так вдруг вскочил и сердце вдруг расторг;
Он пробужден ее очей лучами —
Но им не греть, нет! властвовать рабами.
Умри же, сердце, и прости, восторг,
И ты, надежда, с сладкими мечтами:
Увы! я предан, я обманут вами?

Первая половина 1820-х гг.

59. ТЕНЬ РЫЛЕЕВА

Петру Александровичу Муханову

В ужасных тех стенах, где Иоанн,
В младенчестве лишенный багряницы,
Во мраке заточенья был заклан
Булатом ослепленного убийцы,—
Во тьме на узничьем одре лежал
Певец, поклонник пламенной свободы;
Отторжен, отлучен от всей природы,
Он в вольных думах счастия искал.
Но не придут обратно дни былые:
Прошла пора надежд и снов,
И вы, мечты златые, вы, призраки,
Не позлатить железных вам оков!
Тогда — то не был сон — во мрак темницы
Небесное видение сошло:
Раздался звук торжественной цевницы;
Испуганный певец подъял чело
И зрит: на облаках несомый,
Явился образ, узнику знакомый.
«Несу товарищу привет
Из области, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов.
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!
И ты — я знаю — пламенел
К отчизне чистою любовью.
Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье...
Поверь: не жертвовал ты снам;
Надеждам будет исполненье!» —
Он рек — и бестелесною рукой
Раздвинул стены, растворил затворы.
Воздвиг певец восторженные взоры
И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой!

Шлиссельбургская крепость
1827

60. НОЧЬ

Ночь, приди, меня покрой
Тишиною и забвеньем,
Обольсти меня виденьем,
Отдых дай мне, дай покой!

Пусть ко мне слетит во сне
Утешитель мой ничтожный,
Призрак быстрый, призрак ложный,
Легкий призрак милых мне!

Незабвенных, дорогих
Наслажуся разговором:
Повстречаюся с их взором,
Уловлю улыбку их!

Предо мной моя семья:
Позабыты все печали,
Узы будто не бывали,
Будто не в темнице я!

⟨1828⟩

61. ЛУНА

Тебя ли вижу из окна
Моей безрадостной темницы,
Златая, ясная луна,
Созданье божией десницы?

Прими же скорбный мой привет,
Ночное мирное светило!
Отраден мне твой тихий свет:
Ты мне всю душу озарило.

Так, может быть, не только я,
Страдалец, узник в мраке ночи,—
Быть может, и мои друзья
К тебе теперь подъемлют очи!

Быть может, вспомнят обо мне;
Заснут — с молитвою, с любовью

Мой призрак в их счастливом сне
Слетит к родному изголовью,

Благословит их... но когда
На своде неба запылает
Передрассветная звезда —
Мой призрак, будто пар, растает.

⟨1828⟩

62. СМЕРТЬ

Не в блеске алого сиянья
Мой Гений предо мной стоит;
Его суров и важен вид,
Не радостны его вещанья;
Я слышу, слышу прорицанья:
Он мне о смерти говорит.

Но что же смерть? покой ли вечный?
Ночь? без рассвета темнота?
Всех чувств, всех мыслей немота?
Полет ли к жизни бесконечной?
Увы! мой Гений быстротечный,
Твои безмолвствуют уста!

Не указуй перстом на землю,
Но да воздвигнешь светлый взор
К звездам далеким, высше гор!
К тебе молящий вопль подъемлю:
Пусть слову утешенья внемлю!
Вступлю ли в ангельский собор?

Так! я изыду из могилы,
Бесплотным приобщусь духам;
К моим бесплотным раменам
Прильнут сияющие крилы;
Исполненный бессмертной силы,
Помчусь в перунах к небесам!

Здесь тьмой душа моя одета;
Но, будто дальной церкви звон,
И здесь сквозь тайный, вещий сон

Гул слышу райского привета:
Я погружусь в то море света,
Которому источник Он!

⟨1828⟩

63. 19 ОКТЯБРЯ 1828 ГОДА

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнию вступали в бой.
Но вскоре изменила сила,
И вскоре наш огонь погас;
Покинула надежда нас,
И жизнь отважных победила!
Моих друзей далекий круг!
Под воплями осенних вьюг,
Но благостным хранимый небом,
При песнях, вдохновленных Фебом,
От бурь и горя вдалеке,
В уютном, мирном уголке
Ты празднуешь ли день священный,
День, сердцу братьев незабвенный?
Моих друзей далекий круг!
Воспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?
Или судьба меня лишила
Не только счастья — и любви?
И не взяла меня могила,
И кончилися дни мои?

1828

64. ВЕТЕР

Слышу стон твой, ветер бурный!
Твой унылый, дикий вой:
Тьмой ненастной свод лазурный,
Черным саваном покрой!

Пусть леса, холмы и долы
Огласит твой шумный зык!
Внятны мне твои глаголы,
Мне понятен твой язык.

Из темницы безотрадной
Преклоняю жадный слух:
За тобою, ветер хладный,
Рвется мой стесненный дух!

Ветер! ветер! за тобою
К необъятной вышине
Над печальной мглой земною
В даль бы понестися мне!

Был бы воздух одеянье,
Собеседник — божий гром,
Песни — бурей завыванье,
Небо — мой пространный дом.

Облетел бы круг вселенной,
Только там бы отдохнул,
Где семьи, мне незабвенной,
Речи вторит тихий гул;

Среди летней светлой ночи,
У часовни той простой,
Им бы там мелькнул я в очи,
Где почиет их родной!

К милым я простер бы руки,
Улыбнулся бы, исчез,
Но знакомой лиры звуки
Потрясли бы близкий лес.

1829

65. ЛЮБОВЬ

Податель счастья и мученья,
Тебя ли я встречаю вновь?
И даже в мраке заточенья
Ты обрела меня, любовь!

Увы! почто твои приветы?
К чему улыбка мне твоя?
Твоим светилом ли согретый,
Воскресну вновь для жизни я?

Нет! минула пора мечтаний,
Пора надежды и любви:
От мраза лютого страданий
Хладеет ток моей крови.

Для узника ли взоров страстных
Восторг, и блеск, и темнота? —
Погаснет луч в парах ненастных:
Забудь страдальца, красота!

1829

66. ПАМЯТИ ГРИБОЕДОВА

Когда еще ты на земле
Дышал, о друг мой незабвенный!
А я, с тобою разлученный,
Уже страдал в тюремной мгле,—
Почто, виденьем принесенный,
В отрадном, благодатном сне
Тогда ты не являлся мне?
Ужели мало, брат мой милый,
Я, взятый заживо могилой,
Тоскуя, думал о тебе?
Когда в боязненной мольбе
Слова в устах моих коснели,
Любезный образ твой ужели
Без слез, без скорби звал к себе?
Вотще я простирал объятья,
Я звал тебя, но звал вотще;
Бессильны были все заклятья,
Ты был незрим моей мечте.
Увы мне! только раз единый
Передо мной полночный мрак
Воззвал возлюбленный призрак —
Не в страшный ль час твоей кончины?
Но не было глубоких ран,
Свидетелей борьбы кровавой,
На теле избранного славой

Певца, воспевшего Иран *
И — ах! — сраженного Ираном! —
Одеян не был ты туманом,
Не искажен и не уныл,
Не бледен... Нет, ты ясен был:
Ты был в кругу моих родимых,
Тобой незнанных, но любимых,
Тебя любивших, не видав.
В виденьи оной вещей ночи
Твои светлее были очи,
Чем среди смехов и забав,
В чертогах суеты и шума,
Где свой покров нередко дума
Бросала на чело твое,
Где ты прикрыть желал ее
Улыбкой, шуткой, разговором...
(Но дружбе взор орлиный дан:
Великодушный твой обман
Орлиным открывала взором.)
Так! мне однажды только сон
Тебя представил благотворный;
С тех пор, суровый и упорный,
Отказывал мне долго он
Привлечь в обитель испытанья
Твой дух из области сиянья.
И между тем мои страданья
Копились и росли.— Но вдруг
Ты что-то часто, брат и друг,
Златую предваря денницу,
Спускаться стал в мою темницу.
Или зовешь меня туда,
Где ты, паря под небесами,
Ликуешь с чистыми духами,
Где вечны свет и красота,
В страну покоя над звездами?
Те, коих взор и в самом мраке
Как луч живительных светил,
Как дар былого я хранил,—
Все, все в твоем слиялись зраке?

1829

---

* Относится к поэме Грибоедова, схожей по форме своей с Чайлд-дом-Гарольдом; в ней превосходно изображена Персия. Этой поэмы, нигде не напечатанной, не надобно смешивать с драмой, о которой упоминает Булгарин.

67. НА НОВЫЙ ГОД

Итак, протек и он, сей год, событий полный!
Его кровавые, сверкающие волны
Над Русью пронеслись разливом горьких бед;
Но духом русские не пали:
Промчалось лето слез, и стона, и печали,
Исчезнет их и самый след,
А уцелеют те скрижали,
На коих россы начертали
Блестящий новый ряд побед!

Не лесть мне будет вдохновеньем;
Нет! не унижу дара своего:
Благих судеб определеньем
Его я не утратил одного,
Когда ужасным, общим потопленьем
Вдруг были сорваны и вдаль увлечены
Все, все мои златые сны,
Мои надежды и мечтанья
Все алчной бездною поглощены
И самые желанья
В растерзанной моей груди задушены
Рукою хладного страданья...
Нет! не унижу дара своего,
От истребления всего
Единственного мне оставленного блага,—
Но песней требует бесстрашная отвага;
Но мужа, кто тогда неколебим,
Когда падут, как дождь, перуны
И расступается земля пред ним,—
Такого мужа да прославят струны!
Венца и доблести Петра наследник юный
Чрез сей и бедственный, и вместе славный год,
Герой бестрепетный, окончил смелый ход;
Чрез море жадных зол могущий свой народ
Поставил в пристань царь России;
Так в шумном море разъяренных вод,
По черному хребту неистовой стихии
Заводит мудрый кормчий челн
За пагубный, в пучине скрытый камень
И презирает гром и быстрых молний пламень,
Свирепых ветров рев и вопли диких волн!

О, сколь отраден после бури
Безоблачный и чистый блеск лазури!
О, сколь сладка по брани тишина!
Да осенится же ее крылами
Надолго полуночная страна!
Не расставайтесь, матери с сынами!
В объятьях мира, средь родимых стен,
Бойцы, вещайте слуху чад и жен
Опасность, и труды, и честь своих знамен,
И незабвенные в веках грядущих битвы;
А бледный мор и дерзостный мятеж
Да не шагнут на наш святой рубеж!
Отечество мое! единые молитвы
Я в дар могу принесть тебе;
Но день и ночь я в пламенной мольбе
О счастии твоем взываю к всеблагому:
Пусть бог мой повелит архангелу святому
И станет стражем он у прага твоего,
И отобьет и страх, и скорбь, и бедства
От древнего Славенова наследства
Алмазный щит его!

30 декабря 1831

68. КЛЕН

Скажи, кудрявый сын лесов священных,
Исполненный могучей красоты,
Средь камней, соков жизненных лишенных,
Какой судьбою вырос ты?

Ты развился перед моей тюрьмою...
Сколь многое напоминаешь мне!
Здесь не с кем мне... поговорю с тобою
О милой сердцу старине:

О времени, когда, подобно птице,
Жилице вольной средь твоих ветвей,
Я песнь свободную певал деннице
И блеску западных лучей;

Тогда с брегов смиренной Авиноры,
В лесах моей Эстонии родной,

Впервые жадно вдаль простер я взоры,
Мятежной мучимый тоской.

Твои всходящие до неба братья
Видали, как завешанную тьмой
Страну я звал, манил в свои объятья,—
И покачали головой.

А ныне ты свидетель совершенья
Того, что прорицали братья мне;
О ты, последний в мраке заточенья
Мой друг в далекой стороне!

2 июня 1832

69. ЭЛЕГИЯ

Склонился на руку тяжелой головою
В темнице сумрачной задумчивый Поэт...
Что так очей его погас могущий свет?
Что стало пред его померкшею душою?
О чем мечтает? Или дух его
Лишился мужества всего
И пал пред неприязненной судьбою?
Не нужно состраданья твоего:
К чему твои вопросы, хладный зритель
Тоски, которой не понять тебе?
Твоих ли утешений, утешитель,
Он требует? оставь их при себе!
Нет, не ему тужить о суетной утрате
Того, что счастием зовете вы:
Равно доволен он и во дворце, и в хате;
Не поседели бы власы его главы,
Хотя бы сам в поту лица руками
Приобретал свой хлеб за тяжкою сохой;
Он был бы тверд под бурей и грозами
И равнодушно снес бы мраз и зной.
Он не терзается и по златой свободе:
Пока огонь небес в Поэте не потух,
Поэта и в цепях еще свободен дух.
Когда ж и с грустью мыслит о природе,
О божьих чудесах на небе, на земле:
О долах, о горах, о необъятном своде,
О рощах, тонущих в вечерней, белой мгле,

О солнечном блистательном восходе,
О дивном сонме звезд златых,
Бесчисленных лампад всемирного чертога,
Несметных исповедников немых
Премудрости, величья, славы бога,—
Не без отрады всё же он:
В его груди вселенная иная;
В ней тот же благости таинственный закон,
В ней та же заповедь святая,
По коей высше тьмы и зол и облаков
Без устали течет великий полк миров.
Но ведать хочешь ты, что сумрак знаменует,
Которым, будто тучей, облекло
Певца унылое чело?
Увы! он о судьбе тоскует,
Какой ни Меонид, ни Камоэнс, ни Тасс,
И в песнях, и в бедах его предтечи,
Не испытали; пламень в нем погас,
Тот, с коим не были ему ужасны встречи
Ни с скорбным недругом, ни с хладной нищетой,
Ни с ветреной изменой
Любви, давно забытой и презренной,
Ни даже с душною тюрьмой.

18 июня 1832

70. МОРЕ СНА

Мне ведомо море, седой океан:
Над ним беспредельный простерся туман,
Над ним лучезарный не катится щит,
Но звездочка бледная тихо горит.

И пусть океан сокровен и глубок —
Его не трепещет отважный нырок:
В него меня манит незанятый блеск,
Таинственный шепот и сладостный плеск.

В него погружаюсь один, молчалив,
Когда настает полуночный прилив,
И чуть до груди прикоснется волна,
В больную вливается грудь тишина.

И вдруг я на береге: будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом:

Из окон любезные лица глядят,
И гласы приветные в слух мой летят.

Не милых ли сердцу я вижу друзей,
Когда-то товарищей жизни моей?
Все, все они здесь: удержать не могли
Ни рок их, ни люди, ни недра земли.

По-прежнему льется живой разговор,
По-прежнему светится дружеский взор:
При вещем сиянии райской звезды
Забыта разлука, забыты беды.

Но — ах! пред зарей наступает отлив,
И слышится мне неотрадный призыв:
Растаяло все — и мерцание дня
В пустыне глухой осветило меня!

4 сентября 1832

71. ИЗМЕНА ВДОХНОВЕНИЯ

Итак, опять мелькнул ты предо мною,
Итак, опять меня обворожил:
И льняных кудрей шумною рекою,
И радужным мерцаньем легких крыл,
И взором, в коем блеск златых светил,
Катящихся над твердью голубою!
К тебе бросаюсь жадною душою,
К тебе, прекрасный гость мой, Исфраил! *

Сойди же, вестник дивный, вожделенный,
Давно желанный, из страны чудес!
Но что? — туманом жадным поглощенный,
Ужели в серой бездне ты исчез?
Увы! там дебрь и холод, мрак и лес,
Где цвел эдем, тобою насажденный;
Там, где жемчу́г дробился оживленный,
Там жажду ждет один нагой утес.

И вот! сдается, в глубине воздушной,
Отколе гулы рая ты свевал

* Исфраил — ангел поэзии по персидской мифологии.

Мне на душу, моим мольбам послушный,—
Там дикий хохот вдруг задребезжал;
И чудится: из-за угрюмых скал,
Из-под покрова мглы густой и душной,
Насмешкой злобной на привет радушный
Мне кто-то адским взором засверкал.

Между августом и ноябрем 1832 г.

72. ВОЗВРАТ ВДОХНОВЕНИЯ

Не до конца меня покинул ты...
Увы! я унывал, я таял.
«Сокрылися, исчезли,— так я чаял,—
Живившие меня мечты;
Огонь небесный вдохновенья
Потух, потух в моей груди,
Уж светлый ангел песнопенья
По радужному не слетит пути,
Болезней сердца исцелитель,
В мою печальную обитель».
И я душою пал и к жизни охладел.
И ждал и думал: «Скоро ли предел
Моих увядших дней?» Но милосердный, вечный!
Услышал ты мой стон сердечный;
Ты ведаешь: еще я слаб;
Еще земных страстей, мирских желаний раб;
Твоя, всевышний, благодать
Еще не блещет надо мною...
Божественную звать, искать,
О ней в слезах молиться не устану;
А ныне... не Исраилю ли манну,
Отец, создатель, боже мой,
Так точно ты послал в безжизненной пустыне,
Как был тобой мне послан ныне
Мой утешитель временной?
Он пестун мой, он с самой колыбели
Меня в объятия приял:
Уста младенца приучал к свирели,
Растил меня, не покидал
Нигде питомца: обитал со мною
Над зеркальной широкою Невою;
Со мною странствовал среди Кавказских скал;
Являлся мне с улыбкою и думой

На высоте суровой и угрюмой
Надоблачных, покрытых льдами гор;
Сияньем сладостной лазури
Живил и упоял в Гесперии мой взор;
На севере ж вещал мне в воплях бури
И в жалобе взволнованных лесов...
Он мне не изменил единый
Ни под ударами неистовых врагов,
Ни под тяжелым бременем кручины...
И что же? Наконец и он
Исчез, казалось, как ничтожный сон;
Казалось, он махнул воздушными крылами,
Взвился, исчез за облаками,
Меня покинул и — навек!
Я застонал, мне душу мрак облек...
Ах! кто такие испытал утраты,
Какие суждено мне было испытать,
Чьи лучшие надежды все пожаты,
Тот может ли не трепетать,
Когда последнее в страданьях утешенье
С ним расстается навсегда?
Но маловерье — слепота:
Ты, дивный в чудесах! принял мое моленье;
Ты щедр и благостен, ты весь любовь;
Ты рек — и возвратится вновь
В мою расцветшую обитель
Болезней сердца исцелитель.
Нет! не потух в моей груди
Огонь небесный вдохновенья:
Опять, опять по светлому пути
Ко мне слетает ангел песнопенья.

11 ноября 1832

73. МОЕЙ МАТЕРИ

Предел безмолвный, темный уголок,
Немая пристань, где наставник-рок,
Спасительный, но в строгость облеченный,
Назначил мне приют уединенный,—
Святыней будь сегодня для меня!
Я ныне полон чистого огня:
Объемлет горний пламень грудь поэта;
Нет дыму в нем, ни духоты страстей,

Источник силы, теплоты и света,
Он мне перуном не слепит очей,
Не жжет мне сердца пылом исступленья;
Из жилы в жилу токи вдохновенья
Переливаются без волн и бурь.
Так некогда по вертограду рая
Текла, луга и рощи напояя,
Река, родительница рек святая!

К кому ж простру я в благодатный час
Парящий на крылах восторга глас?
Не ветреным друзьям, питомцам мира,
Брядает под моей рукою лира:
Забытый, не ищу вниманья их.
Но ты да слышишь звуки струн моих,
О лучший друг мой! о моя родная!
Ты, коей имя на моих устах,
Ты, коей память, вечно мне драгая,
В душе моей, когда, покинув прах,
Я узнаю, я зрю на небесах
Не бога, воруженного громами,
Властителя над бедными рабами,
Но кроткого и падших чад отца,
Но близкого, того, кто, благ без меры,
Врачует сокрушенные сердца
Елеем дивным животворной веры.
Так! он пошлет отраду и тебе!
Утешься: видит он, как о судьбе
Своих сынов рыдаешь и тоскуешь
И нас сынами скорби именуешь...
Родимая! — мы под его рукой:
Не ясною ль и твердою душой,
Не бодрою ль и мощной даже в горе
Им брат мой наделен? Пусть мрак кругом,
Пусть катится в ночи ревущий гром,
Но светлый день в его спокойном взоре.
«Жив бог мой!» — он вещает и с челом
Бестрепетным, без страха, без смятенья
Смиренно все встречает искушенья.
Скажу ли? — и меня благословил
Бесценными дарами датель сил:
Пусть упиваются любимцы счастья
Отравою земного сладострастья;
Пусть одеваются в ничтожный блеск,
Пусть слышат купленный за брашно плеск,—

Они умрут, и сгложет червь их кости,
Имен их не помянут даже гости,
Участники распутных их пиров:
Я узник, но мой жребий не таков.
Меня взлелеял ангел песнопенья,
И светлые, чудесные виденья
За роем рой слетают в мой приют —
Я вижу их: уста мои поют,
И райским исполняюсь наслажденьем.
И (да вещаю ныне с дерзновеньем!)
Не все, так уповаю я, умрут
Крылатые души моей созданья:
С лица земного свеется мой прах,
Но тот, на чьем челе печать избранья,
Тот и в далеких будет жить веках;
Не весь истлею я: с очей потомства
Спадет покров мгновенной слепоты,
И стихнет гул вражды и вероломства,
Умолкнет злоба черной клеветы,
Забудут заблужденья человека,
Но воспомянут чистый глас певца,
И отзовутся на него сердца
И дев, и юношей иного века.

Наступит оный вожделенный день —
И радостью встрепещет от приветов
Святых, судьбой испытанных поэтов
В раю моя утешенная тень.
Тогда я робко именем клевретов,
Великие! назвать посмею вас:
Тебя, о Дант, божественный изгнанник!
О узник, труженик бессмертный Тасс,
Тебя! — и с ним тебя, бездомный странник,
Страдалец, Лузитании Гомер!
Вы образцы мои, вы мне пример.
Мне бед путем ко славе предлетели,
Я бед путем стремлюся к той же цели.
Не плача же достоин жребий мой:
Я на земле, в тюрьме я только телом,
Но дух в полете радостном и смелом
Горé несется, за предел земной
И в ваш собор вступает светозарный.
Нет! мне не страшен смех толпы коварной:
Я в скорби, в заточеньи, в нищете;
Но лучший ли удел вкушали те,

Которых имена в столетьях громки,
Избранников победоносный хор,
Певцы, к которым поздние потомки
Подъемлют блеском ослепленный взор?

Между 12 и 15 декабря 1832

74. ПАХОМ СТЕПАНОВ

(Сказка)

Целовальника нет дома,
Да проворная жена
Всех употчует одна;
Просит посидеть Пахома;
А уж кружку допил он,
Встал и хочет выйти вон.

«Что торопишься, служивый?»
«Нет, хозяюшка-душа,
Брага ваша хороша,
Да капрал старик сварливый;
Поплетусь-ко я домой».
«Путь счастливый! Бог с тобой!»

Спотыкнулся у порога
И немного под хмельком
Вышел из корчмы Пахом.
Через лес лежит дорога,
Все еловник да сосна,
Ночь, глаз выколи, темна.

Пусть темна — не для Пахома!
Ночью, днем — нам все равно:
Молодцу давным-давно
Та дороженька знакома.
Вот и песню затянул,
Песне отвечает гул.

Он бредет, а лес дремучий,
Будто баня, душен стал;
Тяжко филин простонал,
Тяжко громоздятся тучи;
Вдруг с берез понесся лист,
Вихорь встал и поднял свист.

Небо разразилось громом,
По лесу раздался треск,
Тьму разрезал яркий блеск:
Целовальник пред Пахомом...
«А! Потапыч! здравствуй, брат!» —
Молвил старику солдат.

«Где гулял, Пахом Степаныч?» —
Говорит старик ему.
«К вам я заходил, в корчму».
«Что же не остался на ночь?»
«К перекличке тороплюсь:
Служба! палок, брат, боюсь».

«Э! Степаныч! что за служба?
Твой капрал храпит давно:
Отвечать уж все равно;
Воротись! вот будет дружба!
Горе мы зальем вином:
Не упрямься, свет Пахом!»

Тускло светится лучина;
Холодна изба, темна.
Нацедил старик вина:
«Пей же, веселись, детина!
Нынче праздник: выпей! что ж?»
А того продрала дрожь:

«Да зачем же эти очи
Так и блещут и горят?
Что за дикий, чудный взгляд?»
И, сдается в мраке ночи,
То поднимет старика
Мигом вверх до потолка,

То опять на землю скинет;
Глядь: он как ребенок мал;
Глядь: до крыши лбом достал!
Смотрит гость — и кровь в нем стынет;
Вон и пара чертенят
Языком его дразнят.

«Что бледнеешь? вместо фабры
Не прикажешь ли румян?
Что тут думать? ведь ты пьян!»

«В самом деле! — шепчет храбрый.—
Знать, то мальчики в глазах;
Нет! не для солдата страх.

Ну, старик! налей же чару;
Да смотри же, пополней:
Я прозяб в избе твоей;
Надо, брат, прибавить пару...
Вот! — (и разом) — спать пора...»
«Так прощай же до утра».

Лег служивый на полати,
Целовальник был не скуп,
Дал служивому тулуп,
Вот и сам уж на кровати —
И заснули крепким сном
И хозяин, и Пахом.

Оба спят; а месяц ясный
Из тяжелых туч сверкнул,
К ним в окошко заглянул;
Месяц с синевы ненастной
Смотрит молодцу в глаза;
Реже дождь — прошла гроза.

Просыпается Степанов...
Где же? в глубине лесной!
Мрак угрюмый и глухой
В сизой епанче туманов
Из-за сосен черный зев
Разевает, будто лев.

Там же, где луна светила,
Где лежал и спал Пахом,—
Под свалившимся крестом
Одинокая могила;
Вздрогнул, млеет молодец:
Целовальник-то — мертвец;

Саван — теплая овчина,
Платье мертвеца того,
Дар Пахому от него;
Пил из черепа детина;
Что же пил? не знаю я;
Но не вышел он, друзья!

В том лесу поныне бродит
Средь медведей и волков,
Ждет разгульных молодцов
И в болото их заводит;
А солдат был хоть куда.
Где вино — там и беда.

⟨1834⟩

75. РОДСТВО СО СТИХИЯМИ

Есть что-то знакомое, близкое мне
В пучине воздушной, в небесном огне;
Звезды полуночной таинственный свет
От духа родного несет мне привет.

Огромную слышу ли жалобу бурь,
Когда умирают и день, и лазурь,
Когда завывает и ломится лес,—
Я так бы и ринулся в волны небес.

Доне́льзя постыли мне тина и прах...
Мне там в золотых погулять бы парах:
Туда призывают и ветер, и гром,
Перун прилетает оттуда послом.

Туман бы распутать мне в длинную нить,
Да плащ бы широкий из сизого свить,
Средь туч бы лететь под безмолвной луной!
Предаться бы вихрю несытой душой,

Всё дале и дале, и путь бы простер
Я в бездну, туда, за сафирный шатер! —
О! как бы нырял в океане светил!
О! как бы себя по вселенной разлил!

1 и 22 сентября 1834

76. МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Замолк и меркнет вещий дух,
Не брызжут искры вдохновенья,

Исчезли дивные виденья:
В груди певца восторг потух.
Так постепенно тише рдеет
Без жизнедатного огня
И остывает и чернеет
Под мертвым пеплом головня.
Внимает томный слух поэта
Не гулу арфы с рубежей
Отчизны истины и света —
Нет! свисту и шипенью змей...
Обвили чешуей холодной
Они добычу; жала их
Над ним трепещут,— бледен, тих,
Угрюм, без жалобы бесплодной,
Слабеет он... вдруг чьих-то крыл
Эфирный шорох... В бездну ночи,
В безбрежный океан светил
Спасенья жаждущие очи
Страдалец молча устремил...
И се! великий Исфраил
Стоит пред ним. В одно мгновенье
Расторг могущий кровы мглы,
Раздрал кровавых змей узлы
И сдул с души певца мученье;
Потом вещал: «Питомец мой,
Как стал ты жертвою чудовищ?
Еще ли мало над тобой
Иссыпал я своих сокровищ?
Молил, взывал ты: «Песней мне!
В бессмертном, чистом их огне
Все скорби я сожгу земные».
И внял я: в звуки я одел
Виденья вечно молодые
И с роем их к тебе слетел
И так поведал: твой удел —
И думы, и мечты, и лира;
Но не желай блаженства мира;
А да прольешь с священных струн
Крылатый, радостный перун!
И он помчится в хляби дали,
Разрежет тучу — и лазурь
Укажет смертным, выше бурь,
В пределах тех, где нет печали.
Ты часть свою благословил,
Ты взял ее... Так что же ныне

Ты вдруг без мужества и сил?
Или ты изменил святыне?
Кумирам жаждешь ты служить?
Кадить и неге, и гордыне?»

Поэт

Святыне верен я и ныне,
И мне ли идолам кадить?
Пусть сумрачна моя обитель,
Пусть дней моих уныла нить,
Но ты со мною, мой хранитель!
И вновь судьбу благословить
Готов я.— Мощный и прекрасный
Посланник из страны чудес,
Ты претворяешь, сын небес,
Глухую полночь в полдень ясный:
С тобою бодр и силен я,
С тобою верую в избранье.
Но отлетишь — опять страданье
Сжимает душу; грудь моя
Полна терзанья и сомнений,
И сам ты, светозарный гений
(Прости безумью слепоты!),—
Тогда мне кажешься и ты
Коварным духом обольщений...
Или мой жребий не жесток?
Из сонма дышащих творений
Меня не выхватил ли рок?
Без устали бежит поток
И дней, и лет... Какого ж века?
Не ум ли ныне человека
Творит из мира мир иной?
Что ж? неприступною стеной?
До самой тверди взгроможденной,
Я отделен от всей вселенной.
Немеет слабый гул наук,
За мой порог не пролетая.
Здесь, ухо всуе поражая,
Часов однообразный стук —
Над временем насмешка злая:
Оно стоит. И мне ль мечтать
Из мертвой тьмы уединенья
Учить живые поколенья
И миру бога возвещать?

Исфраил

Ты отделен от суеты,
Отрезан ты от преткновений.
Жалеешь о науках ты?
Но, полный и теперь сомнений,
Скажи: что было бы с тобой,
Когда бы с легкою душой
Ты несся по порогам прений,
Раздавших ныне быт людской?
Непостоянен лик науки,
Как лик изменчивой луны;
Но из сердечной глубины
Текут одни и те же звуки
И вторятся из века в век.
Их слышит, как сквозь сон мятежный,
Дрожит и млеет человек.
И рвется в оный край безбрежный,
Где все покорно красоте,
Где правда, свет и совершенство.
Да разгадаешь звуки те!
Вот долг твой, вот твое блаженство!
Бог — бог безмолвия и дум;
И здесь, где умер мира шум,
Где окружен ты тишиною,
Не он ли пред твоей душою
Стоит, отец твоих детей?
Как горный ток, падущий в долы,
Так в сердце братий, в грудь друзей
Излей могущие глаголы
О нем, предвечном, трисвятом.
Да совершишь предназначенье —
И по труде в успокоенье
Он призовет тебя в твой дом.

31 декабря 1834

77. СОН И СМЕРТЬ

О Сон безмолвный! благотворный Гений!
Таинственный! — Сколь ты могущ и тих!
Ты царь — и правишь племенем видений;
Тот счастлив, кто в объятиях твоих
Забвенье всех житейских пьет волнений;

Ты повелишь ли, кроткий дух утех,—
И вмиг тоску страдальца сменит смех.

Тому, кто разлучен навек с друзьями,
Священные, родные имена
Не ты ль твердишь волшебными устами?
Тобой пустыня вдруг населена —
На *них* восторга полными очами
Он смотрит, внемлет сладким их речам,
Их руку жмет, он с милыми — он там!

Скажи же мне, мой горний утешитель,
Душе моей встревоженной открой:
Кто тот, другой могучий усыпитель,
Тот дух немой и грозный — брат ли твой?
Его земли мгновенный посетитель,
Страшливый гость под солнцем — человек
Суровым, тяжким именем нарек...

Твой брат или ты сам, но неизменный,
В венце из звезд, с завешенным челом?
Готов я, зноем жизни изнуренный,
Назвать могилу сладостным одром.
Властитель дивный, мраком покровенный,
Поставивший средь ночи свой престол!
Да внемлешь мне, да примешь мой глагол:

Когда закроешь мне надолго вежды,
И остановишь ток моей крови,
И снимешь бремя тягостной одежды
С рамен моих,— тогда ты мне яви
Не тщетными обеты той надежды,
Обеты тех божественных светил,
Для коих я дышал, страдал и жил!

Первая половина 1830-х гг.

78. 19 ОКТЯБРЯ 1836 ГОДА

Шумит поток часов; их темный вал
Вновь выплеснул на берег жизни нашей
Священный день, который полной чашей
В кругу друзей и я торжествовал...
Давно! — Европы страж, седой Урал,

И Енисей, и степи, и Байкал
Теперь меж нами. На крылах печали
Любовью к вам несусь из темной дали.

Поминки нашей юности — и я
Их праздновать хочу,— воспоминанья,
В лучах дрожащих тихого мерцанья,
Воскресните! Предстаньте мне, друзья;
Пусть созерцает вас душа моя,
Всех вас, Лицея нашего семья!
Я с вами был когда-то счастлив, молод —
Вы с сердца свеете туман и холод!

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут... Пушкин! Пушкин! это ты!
Твой образ — свет мне в море темноты;
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Как пил и ты, уединен, кручину!

Тогда и ты, как некогда Назон,
К родному граду простирал объятья;
И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон:
С седого Пейпуса, волшебный, он
Раздался, прилетел и прервал сон,
Дремоту наших мелких попечений,
И погрузил нас в волны вдохновений!

О брат мой! много с той поры прошло:
Твой день прояснел, мой — покрылся тьмою;
Я стал знаком с Торкватовой судьбою —
И что ж? опять передо мной светло:
Как сон тяжелый, горе протекло;
Мое светило из-за туч чело
Вновь подняло — гляжу в лицо Природы;
Мне отданы долины, горы, воды!

И, друг! хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело:
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоел.
Что ждет меня? Обманы наш удел;

Но в эту грудь вонзалось много стрел,
Терпел я много, обливался кровью:
Что, если в осень дней столкнусь с любовью?

17 октября 1836

79. РАЗОЧАРОВАНИЕ

Скажи: совсем ли ты мне изменил,
Доселе неизменный мой хранитель?
Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфраил;
Я был один, покинут всеми в мире,
Всего страшился, даже и надежд;
Бывало же, коснешься томных вежд,
С них снимешь мрак, дашь жизнь и силу лире —
И снова я свободен и могуч:
Растаяли затворы, спали цепи,
И как орел под солнцем из-за туч
Обозревает горы, реки, степи —
Так вижу мир раскрытый под собой
И радостно сквозь ужас хладной ночи
Бросаю полные восторга очи
На свиток, писанный судьбы рукой!..
А ныне пали стены предо мной:
Я волен — что же? бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты;
Смели, как прах, с души моей виденья,
Отняли время и досуг творить —
И вялых дней безжизненная нить
Прядется мне из мук и утомленья.

22 мая 1837

80. ТЕНИ ПУШКИНА

Итак, товарищ вдохновенный,
И ты! — а я на прах священный
Слезы не пролил ни одной:
С привычки к горю и страданьям
Все высохли в груди больной.
Но образ твой моим мечтаньям

В ночах бессонных предстоит,
Но я тяжелой скорбью сыт,
Но, мрачный, близ жены мне милой
И думать о любви забыл...
Там мысли, над твоей могилой!
Смолк шорох благозвучных крыл
Твоих волшебных песнопений,
На небо отлетел твой гений;
А визги желтой клеветы
Глупцов, которые марали,
Как был ты жив, твои черты,
Бездушные, не замолчали!
Гордись! Ей-богу, стыд и срам
Их подлая любовь? Пусть жалят!
Тот пуст и гнил, кого все хвалят;
За зависть дорого я дам.
Гордись! Никто тебе не равен,
Никто из сверстников-певцов:
Не смеркнешь ты во мгле веков —
В веках тебе клеврет Державин.

24 мая 1837

81. БРАТУ

Минули же и годы заточенья;
А думая: конца не будет им!
Податели молитв и вдохновенья,
Они парили над челом моим,
И были их отзывы песнопенья.
И что ж? обуреваем и томим
Мятежной грустию, слепец безумный,
Я рвался в мир и суетный, и шумный.

Не для него я создан: только шаг
Ступить успел я за священный праг
Приюта тихих дум — и уж во власти
Глухих забот, и закипели страсти,
И дух земли, непримиримый враг
Небесного, раздрал меня на части:
Затрепетали светлые мечты
И скрылися пред князем темноты.

Мне тяжела, горька моя утрата
(Душа же с ними свыклась, жизнь срослась) —

Но пусть! — я и без них любовью брата
Счастлив бы был; с ним вместе, не страшась,
Вступил бы я в борьбу — и сопостата
Мы побороли бы: нет, дружных нас
Не одолел бы! Может быть, и лира
Вновь оживилась бы на лоне мира!

О! почему, неопытный борец,
Рукой неосторожной грудь родную
Я сжал и ранил? Пусть восторжествую,
Пусть и возьму столь лестный мне венец —
Ах! лучше бы я положил, певец,
Забытый всеми, голову седую
В безвестный темный гроб, чем эту грудь,
И без того больную, оттолкнуть!

Где время то, когда, уединенный,
К нему я вдаль объятья простирал,
Когда и он, любовью ослепленный,
Меня к себе под кров свой призывал?
Я наконец перешагнул Урал,
Перелетел твой лед, Байкал священный;
И вот свою суровую судьбу
Я внес в его смиренную избу!

Судьбу того, кто с самой колыбели
Был бед звездою всем своим друзьям...
За них подъемля руки к небесам,
Моляся, чтобы скорби пролетели
Над милыми,— сердца их я же сам,
Бывало, растерзаю! Охладели,
Заснули многие; ты не отъят,
Ты мне один остался, друг и брат!

А между тем... Покинем и забудем,
Забудем бури, будто злые сны!
Не станем верить ни страстям, ни людям:
Оставь мне, отпусти мои вины;
Отныне в жизни неразлучны будем!
Ведь той же матерью мы рождены.
Сотрем все пятна с памятной скрижали;
Все пополам: и радость, и печали!

Баргузин
3 сентября 1837

82. 19 ОКТЯБРЯ 1837 ГОДА

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! лицо его всегда младое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря.

А я один средь чуждых мне людей
Стою в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей.
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж вами нет!

Не принесет он новых песней вам,
И с них не затрепещут перси ваши;
Не выпьет с вами он заздравной чаши:
Он воспарил к заоблачным друзьям.
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;
Он ныне с Грибоедовым моим:
По них, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним!

Пора и мне! Давно судьба грозит
Мне казней нестерпимого удара:
Она меня того лишает дара,
С которым дух мой неразрывно слит!
Так! перенес я годы заточенья,
Изгнание, и срам, и сиротство;
Но под щитом святого вдохновенья,
Но здесь во мне пылало божество!

Теперь пора! Не пламень, не перун
Меня убил — нет, вязну средь болота,
Горою давят нужды и забота,
И я отвык от позабытых струн.
Мне ангел песней рай в темнице душной

Когда-то созидал из снов златых;
Но без него не труп ли я бездушный
Средь трупов столь же хладных и немых?

19 октября 1838

83. ОНИ МОИХ СТРАДАНИЙ НЕ ПОЙМУТ

Они моих страданий не поймут,
Для них смешон унылый голос боли,
Которая, как червь, таится тут
В груди моей. Есть силы, нет мне воли.
Хоть миг покоя дайте! — нет и нет!
Вот вспыхнуло: я вспрянул, я поэт;
Божественный объемлет душу пламень,
Толпятся образы, чудесный свет
В глазах моих,— и все напрасно: нет!
Пропало все! Добро бы с неба камень
Мне череп раздвоил, или перун
Меня сожег: последний трепет струн
Разорванных вздохнул бы в дивных звуках
И умер бы, как грома дальний гул;
Но я увяз в ничтожных, мелких муках,
Но я в заботах грязных потонул!
Нет! не страшусь убийственных объятий
Огромного несчастья: рок, души!
Ты выжмешь жизнь, не выдавишь души...
Но погибать от кумушек и сватий,
От лепета соседей и друзей!..
Не говорите мне: «Ты Промефей!»
Тот был к скале заоблачной прикован,
Его терзал не глупый воробей,
А мощный коршун. Был я очарован
Когда-то обольстительной мечтой;
Я думал: кончится борьба с судьбой
И с нею все земные испытанья;
Не будет сломан, устоит борец,
Умрет, но не лишится воздаянья
И вырвет напоследок свой венец
Из рук суровых,— бедный я слепец!
Судьба берет меня из стен моей темницы,
Толкает в мир (ведь я о нем жалел) —
А мой-то мир исчез, как блеск зарницы,
И быть нулем отныне мой удел!

15 января 1839

84. ДВА СОНЕТА

1

Уранионов друг, божественный Тантал
На небо восходил в чертог их светозарный
И за амврозией, за чашею нектарной,
Гость, собеседник их, меж ними пировал.

И что же? Согрешил Тантал неблагодарный,
Похитил пищу их и в ад с Олимпа пал!
Очнулся в Лете он и слышит: плещет вал.
Испил бы труженик — прочь вал бежал коварный...

Прочь от засохших уст, поток обильных вод
Над жаждою его смеется. Будто дева
Прелестная, так свеж висит румяный плод;
Кажись, зовет: «Сорви!» — а в нем огонь Эрева,
Свирепый голод... Но умрет за родом род,
Плода не схватит муж проклятия и гнева!

2

«Ты пыльной древности преданья воскресил;
К чему? Мы знаем все от велика до мала
Рассказы о судьбе несчастного Тантала:
Вперед побереги запас и рифм, и сил».

Не спорю; правы вы: так, сказка обветшала,
И мифов греческих давно забытый ил
Теперь уже не тот, которым, словно Нил,
Река времен умы когда-то утучняла.

Но что? не я ли сам страдалец тот Тантал?
И я живал в раю; за чашею нектарной
Молитв и песней я на небе пировал!

И вот и я, как он, с Олимпа в бездну пал;
Бежит от уст моих засохших вал коварный;
Ловлю — из-под руки уходит плод янтарный!

23 января 1839

85. А. И. ОРЛОВУ

Я простился с Селенгою,
Я сказал: «Прости, Уда!»
Но душа летит туда,
Где я сблизился с тобою,
Где, философ и поэт,
Ты забыл коварный свет.
Там, где подал ты мне руку,
Там и я было забыл
Жребий свой — изгнанья муку.
Я взглянул, полуунылл:
Чувств прервалось усыпленье;
Пробудилось на мгновенье
Что-то прежнее во мне;
Прежний друг мой — вдохновенье
Пронеслось, будто во сне,
Над моей седой главою...
Незабвен мне дом певца:
Исфраил живет с тобою!
Холь же милого жильца,
Береги: он ангел света;
Он Эдем создаст тебе;
С ним, с хранителем поэта,
Ты в лицо смотри судьбе!
Песнь его не та ли Лета,
Из Элизия река,
Коей сладостные волны,
Дивных волхований полны,
Плещут в райски берега?
Там не область испытанья,
Там не помнят, что́ страданья,
Там неведома тоска.

9 февраля 1840

86. АННУШКЕ РАЗГИЛЬДЕЕВОЙ

Если путник утомленный
Обретет в степи сухой
Цвет душистый и смиренный,
Воскресает он душой:
Обещает цвет прекрасный
Вечер сладостный и ясный

После тягостного дня.
«Ждет меня ручей прохладный,
Роща под свой щит отрадный
Примет до утра меня», —
Так шепнул пришлец усталый
И сорвал цветочек алый
И к устам его прижал.
Друг! и я было устал:
Горьки были испытанья,
Ношу тяжкого страданья
Средь пустынь, и тундр, и скал
Я влачил в краю изгнанья, —
Вдруг ко мне спорхнула ты,
Будто с горней высоты,
Ангел мира, ангел света,
Из-за грозных, черных туч
Мне мелькнул веселый луч,
Луч радушного привета:
Дол угрюмой темноты
Вкруг меня ты озарила
Блеском детской красоты.
Мне дана обратно сила,
Я с судьбой мирюся вновь:
Здесь знакомым чем-то веет,
Здесь *семьи моей* любовь
Душу труженика греет.

11 февраля 1840

87. ТРИ ТЕНИ

ἡ ῥά τις ἐστὶ λαι ἐὶς Αιδαο δομοιςιν
ψνχή χαι ἐιδωλον *

На диком берегу Онона я сидел,
Я, чьей еще младенческой печали
Ижора и Нева задумчивы внимали,
Я (странный же удел!),
Кому рукоплескал когда-то град надменный,
Соблазн и образец, гостиница вселенной.
И кто в Массилии судьбу народов пел,
А вслед за тем, влекомый вещим духом,
Родоначальником неизреченных дум,

* Так подлинно есть и в подземном царстве Аида дух человека и образ *(греч.).— Ред.*

Средь грозных, мертвых скал склонялся жадным слухом
На рев и грохот вод, на ветра свист и шум,
На голос чад твоих, Кавказ-небогромитель!
И напоследок был темницы душной житель.
Свинцовых десять лет, как в гробе, протекло;
Однообразный бой часов без измененья
До срока инеем посыпал мне чело
В глухих твердынях заточенья.
Все обмануло, кроме вдохновенья:
Так! и судьбы неумолимой гнев
Не отнял у меня любви бессмертных дев;
Слетали к узнику волшебные виденья.
Что ж? — в мире положен всему предел:
За старым новое отведал я страданье;
Уж ныне не тюрьма мой жребий, а изгнанье...
На диком берегу Онона я сидел,
И вот раздумывал причудливую долю
Свою и тех, с которыми ходил
Во дни моей весны по жизненному полю,
Питомцев близких меж собой светил.
Их дух от скорби опочил,
Но тени их, моих клевретов,
Жертв сердца своего, страдальцев и поэтов,
Я вызывал из дальних их могил.
Угрюмый сын степей, хранительниц Китая,
Роптал утесами стесняемый Онон,
Волнами тусклыми у ног моих сверкая.
И, мнилось, повторял *их* передсмертный стон,
И, словно факел *их* унылых похорон,
Горела нá небе луна немая.
Был беспредельный сон на долах, на горах —
Тут нé спал только я с своей живой тоскою...
Вдруг — будто арфы вздох пронесся над рекою;
Таинственный меня обвеял страх;
И что ж? то был ли бред больного вображенья,
Или трепещутся и там еще сердца,
И в самом деле друг, податель утешенья,
Явиться может нам, расторгнув узы тленья?
Почудилися мне родные три лица:
Их стоп не видел я — скользили привиденья
(Над каждым призраком дрожало по звезде,
И следом каждого была струя мерцанья),
Воды не возмущая, по воде,—
Я вспрянул, облитый потоком содроганья,
И в ужасе студеном, как со сна,

Вскричал и произнес их имена:
«Брат Грибоедов, ты! Ты, Дельвиг! Пушкин — ты ли?»
Взглянул — их нет; они уж вдаль уплыли;
Вотще я руки простирал к друзьям —
Как прежде, все померкло и заснуло;
Мне только что-то будто бы шепнуло:
«Так, верь же, есть свидание и там!»

13 и 14 июня 1840

88. М. А. ДОХТУРОВУ

Так, знаю: в радужные дни
Утех и радостей, в круженьи света
Не вспомнишь ты изгнанника поэта;
Хоть в непогоду друга помяни!
Молюсь, чтобы страданья и печали
Летели и тебя в полете миновали;
Но не был никому дарован век
Всегда безоблачный и ясный:
Холоп судьбы суровый человек.
Когда нависнет мрак ненастный
И над твоею головой —
Пусть об руку с надеждою и верой,
Как про́свет среди мглы взволнованной и серой,
Тебе предстанет образ мой!

22 июня 1840

89. ПРИ ИСХОДЕ 1841 ГОДА

Что скажу я при исходе года?
Слава богу, что и он прошел!
Был он для изгнанника тяжел.
Мрачный, как сибирская природа.

Повторять ли в сотый раз: «Все тленно,
Все под солнцем дым и суета»?
Не поверят! Тешит их мечта!
Для людей ли то, что совершенно?

Ноша жизни однозвучной, вялой,
Цепь пустых забот, и мук, и снов,

Глупый стук расстроенных часов,—
Гадки вы душе моей усталой!

13 декабря 1841

90. СОВЕТ

Когда же злая чернь не клеветала,
Когда же в грязь не силилась втянуть
Избранников, которым горний путь
Рука господня в небе начертала?
Ты говоришь: «Я одарен душой»;
Зачем же ты мешаешься с толпой?

Толпе бессмысленной мое презренье.
Но сына Лаия почтил Фезей;
Так пред страдальцем *ты* благоговей —
Иль сам свое подпишешь осужденье.
Певцу в твоем участьи нужды нет;
Но сожалеет о тебе поэт.

Глубоких ран, кровавых язв сердечных
Мне много жадный наносил кинжал,
Который не в руке врагов сверкал,
Увы! — в руке друзей бесчеловечных.
Что ж? знать, во мне избыток дивных сил;
Ты видишь: я те язвы пережил.

Теперь я стар, слабею; но и эту
Переживу: ведь мне насущный хлеб
Терзанья; ведь наперстнику судеб
Не даром достается путь ко свету;
Страдать, терпеть готов я до конца:
С чела святого не сорвут венца.

Умру — и смолкнет хохот вероломства;
Меня покроет чудотворный щит,
Все стрелы клеветы он отразит...
Смеются? Пусть! проклятие потомства
Не минет их — осмеян был же Тасс;
Быть может, тот, кто здесь стоит средь нас,

Не мене Тасса.— Будь же осторожен,
К врагам моим себя не приобщай,

Бесчестного бессмертья не желай:
Но только *здесь*,— моим злодеям *там*
За их вражду награда — вечный срам.

22 февраля 1842

91. АРГУНЬ

Еще одну я к тем рекам причислил,
Которых берег я, скиталец, посетил,
И там с утратою своих сердечных сил
Терзался и молчал, но чувствовал, но мыслил,
Разлуку вечную предвидел — но любил.
Да! вот и эти дни, как призрак, пролетели!
До гроба ли ты будешь молодым,
Мучитель сердце? Ты скажи: ужели
Всегда блуждать, стремясь к недостижимой цели,
Твоим желаниям несытым и слепым?
Любить и мыслить... Почему ж не может
Не мыслить, не любить душа моя?
Какой ее злой дух без устали тревожит —
И хочет, и велит, чтоб вечно тратил я?
Увы! с последним другом расставанье!
По крайней мере без пятна
Хоть это сбережет воспоминанье
И чувств, и дум моих слепая глубина.
Прими же, о Аргунь, мое благословенье!
Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон:
И там мне было разлученье;
Но перед тем меня прельщал безумный сон
И чуть не умертвило пробужденье.

30 ноября 1842

92. К ВИКТОРУ УГО, ПРОЧИТАВ ИЗВЕСТИЕ, ЧТО У НЕГО ПОТОНУЛА ДОЧЬ

Не суждено мне было в этом мире
С тобою встретиться, поэт,
И уж на западе моих унылых лет
Я внял твоей волшебной лире.
Я миг гостил в земле твоей,

Я сын иной судьбы, иного поколенья,
Я не видал твоих очей,
В них не приветствовал перунов вдохновенья,—
Но дорог ты душе моей.
Успехов и похвал питомец, нег и блеска,
Ты к буре бешеного плеска
С рассвета своего привык;
И не одной толпы ничтожной шумный крик
Превозносил тебя: младенческие руки
Исторгли первые из струн дрожащих звуки,—

И встрепенулся вдруг божественный старик;
С живою жаждою к потоку их приник
Не льстец победы, не удач служитель,
Но он, поэзии и веры воскреситель,
Он, рыцарь, и певец, и честный человек,
И жертв судьбы бесстрашный защититель
В продажный и распутный век,—
«Гигант-дитя» — *он* о тебе изрек,
Когда завидел, как, покинув мрак и долы,
Ты, полный юных, свежих сил
Отважно к солнцу воспарил,
Когда послышал те чудесные глаголы,
Какие из-за туч ты, вдохновенный, лил!

Под властью я рожден враждебных мне светил,
И рано крылья черной бури
Затмили блеск моей лазури;
Я тяжких десять лет в темнице изнывал,
Умру в глухих стенах изгнанья;
Однако же, как ты, такой же я кристалл,
В котором радужно дробится свет созданья;
Один из вещих гулов я
Рыданий плача мирового;
Душа знакома и моя
С наитьем духа неземного.
Уго! не вечно и тебе
Смеялось ветреное счастье:
Ты также заплатил свой долг судьбе.
Увы, мой брат! и ты вкушал же сладострастье —
Неизреченную утеху жгучих слез...
И вот же рок тебе нанес
Удар убийственно жестокий!
Воображаю я, как стонешь одинокий,
Как вопрошаешь ты немую эту ночь:

«Итак, моя любимица и дочь?
Ужели в самом деле зев пучины?..»
Не договаривай! плачь, труженик-певец!
Тебе сочувствую: ах! ведь и я отец,
Нож и в моей груди негаснущей кручины:
С могилы сына моего
Над дочерью твоей, Уго, рыдаю ныне...
В столице мира ты, я в ссылке, я в пустыне:
Но родственная скорбь не то же ли родство?

20 января 1844

93. МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ ВОЛХОНСКОЙ

Людская речь — пустой и лицемерный звук,
И душу высказать не может ложь искусства:
Безмолвный взор, пожатье рук —
Вот переводчики избытка дум и чувства.
Но я минутный гость в дому моих друзей,
А в глубине души моей
Одно живет прекрасное желанье:
Оставить я хочу друзьям воспоминанье,
Залог, что тот же я,
Что вас достоин я, друзья...
Клянуся ангелом, который
Святая, путеводная звезда
Всей вашей жизни: на восток, сюда
К ней стану обращать трепещущие взоры
Среди житейских и сердечных бурь,—
И прояснится вдруг моя лазурь,
И дивное сойдет мне в перси утешенье,
И силу мне подаст, и гордое терпенье.

Курган
29 марта 1845

94

Работы сельские приходят уж к концу,
Везде роскошные златые скирды хлеба;
Уж стал туманен свод померкнувшего неба
И пал туман и на чело певцу...

Да! недалек тот день, который был когда-то
Им, нашим Пушкиным, так задушевно пет!
Но Пушкин уж давно подземной тьмой одет,
И сколько и еще друзей пожато,
Склонявших жадный слух при звоне полных чаш
К напеву дивному стихов медоточивых!
Но ныне мирный сон товарищей счастливых
В нас зависть пробуждает. Им шабаш!

Шабаш им от скорбей и хлóпот жизни пыльной,
Их не поднимет день к страданьям и трудам,
Нет горю доступа к остывшим их сердцам,
Не заползет измена в мрак могильный,
Их ран не растравит; их ноющей груди
С улыбкой на устах не растерзает злоба,
Не тронет их вражда: спаслися в пристань гроба,
Нам только говорят: «Иди! иди!
Надолго нанят ты; еще тебе не время!
Ступай, не уставай, не думай отдохнуть!» —
Да силы уж не те, да всё тяжеле путь,
Да плечи всё больнее ломит бремя!

26 августа 1845

95

До смерти мне грозила смерти тьма,
И думал я: подобно Оссиану,
Блуждать во мгле у края гроба стану;
Ему подобно, с дикого холма
Я устремлю свои слепые очи
В глухую бездну нерассветной ночи
И не увижу ни густых лесов,
Ни волн полей, ни бархата лугов,
Ни чистого, лазоревого свода,
Ни солнцева чудесного восхода;
Зато очами духа ýзрю я
Вас, вещие таинственные тени,
Вас, рано улетевшие друзья,
И слух склоню я к гулу дивных пений,
И голос каждого я различу,
И каждого узнаю по лицу.
Вот первый: он насмешливый, угрюмый,
С язвительной улыбкой на устах,

С челом высоким под завесой думы,
Со скорбию во взоре и чертах!
В его груди, восторгами томимой,
Не тот же ли огонь неодолимый
Пылал, который некогда горел
В сердцах метателей господних стрел,
Объятых думой вышнего пророков?
И что ж? неумолимый враг пороков
Растерзан чернью в варварском краю...
А этот край он воспевал когда-то,
Восток роскошный, нам, сынам заката,
И с ним отчизну примирил свою!
И вот другой: волшебно-сладкогласный
Сердец властитель, мощный чародей,
Он вдунул, будто новый Промефей,
Живую душу в наш язык прекрасный...
Увы! погиб довременно певец:
Его злодейский не щадил свинец!
За этою чертою исполинской
Спускаются из лона темноты
Еще две тени: бедный Дельвиг, ты,
И ты, его товарищ, Баратынский!
Отечеству драгие имена,
Поэзии и дружеству святые!
Их музы были две сестры родные,
В них трепеталася душа — одна!

25 и 26 октября 1845

96. УЧАСТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,
Пожалися годиной роковою...

Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки,—

Что ж? Их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...

Или болезнь наводит ночи мглу
На очи прозорливцев вдохновенных,
Или рука любовников презренных
Шлет пулю их священному челу;

Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную.

28 октября 1845

97. УСТАЛОСТЬ

Мне нужно забвенье, нужна тишина:
Я в волны нырну непробудного сна,
Вы, порванной арфы мятежные звуки,
Умолкните, думы, и чувства, и муки.

Да! чаша житейская желчи полна;
Но выпил же эту я чашу до дна —
И вот опьянелой, больной головою
Клонюсь и клонюсь к гробовому покою.

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму
И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы милой отчизны.

Мне нужно забвенье, нужна тишина.
. . . .

Ноябрь 1845

98. НА СМЕРТЬ ЯКУБОВИЧА

Все, все валятся сверстники мои,
Как с дерева валится лист осенний,
Уносятся, как по реке струи,

Текут в бездонный водоем творений,
Отколе не бегут уже ручьи
Обратно в мир житейских треволнений!..
За полог все скользят мои друзья:
Пред ним один останусь скоро я.

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?
А были же когда-то вы согреты
Такой живою жизнью! Вам ли пет
Привет последний, и мои приветы
Уж вас не тронут? Бледный тусклый свет
На новый гроб упал: в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне.

Я не любил его... Враждебный взор
Вчастую друг на друга мы бросали;
Но не умрет он средь Кавказских гор;
Там все утесы — дел его скрижали;
Им степь полна, им полон черный бор;
Черкесы и теперь не перестали
Средь родины заоблачной своей
Пугать *Якубом* плачущих детей.

Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал...
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной,
Умчал в тюрьму и в ссылку тот же вал...
Вот он остался, сверстник мне единый,
Вот он мне в гроб дорогу указал:
Так мудрено ль, что я в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне?

Ты отстрадался, труженик, герой,
Ты вышел наконец на тихий берег,
Где нет упреков, где тебе покой!
И про тебя не смолкнет бурный Терек
И станет говорить Бешту седой...
Ты отстрадался, вышел ты на берег;
А реет все еще средь черных волн
Мой бедный, утлый, рассназенный челн!

25 января 1846

99. СЛЕПОТА

Льет с лазури солнце красное
Реки светлые огня.
День веселый, утро ясное
Для людей — не для меня!

Всё одето в ночь унылую,
Все часы мои темны —
Дал господь жену мне милую,
Но ⟨не⟩ вижу и жены.

Слышу крики ликования,
Шум и смех моих детей...
Ах, ответ мой — стон страдания:
Нет их для моих очей!

Так бы и нырнул я в чтение,
Им бы душу освежил —
Но мой жребий ведь затмение;
Нет мне никаких светил!

Жизнь моя едва колышется,
В тяжком изнываю сне...
Счастлив, если хоть послышится
Шаг царицы песней мне!

3 февраля 1846

100

Благодарю! Наш разговор
Почти всегда борьба и спор,
И вы всегда мой победитель...
Но этот разговор чудесный оживитель:
Дремало сердце, спал мой ум —
Вы сколько чувств, вы сколько дум
В них разбудили, зародили!
Не будут эти три дня без плода:
Я вновь способен стал для радостных усилий,
Для благотворного труда;
Я здесь помолодел, я вышел из могилы.—
Не так ли в тот счастливый век,
Когда с духами жил младенец человек

И посещали нас неведомые силы,
Бредет, бывало, слабый, хилый,
Ведомый феею старик,
Пришел, к источнику волшебному приник.
И жадно, жадно пьет, и что же?
Куда девался он, пришлец полуживой,
Который и теперь еще на том же ложе
Лежал бы, если бы не феиной рукой
Был поднят? Юноша, красавец и герой,
С блестящими огнем и гордостью глазами
Стоит могучий перед нами!

Ялуторовск
4 марта 1846

101

Да! ровно через год мы свиделись с тобою,
Но, друг и брат, тогда под твой приветный кров
Вступил я полн надежд и весел и здоров —
Теперь, измученный и телом, и душою,
Беспомощным, больным, трепещущим слепцом
Поник я под твоим страдальческим венцом
И смерти говорил: приди же, избавитель!
Вот я вошел в твою смиренную обитель.
И ожил вдруг душой; и вера и любовь
Вновь встретили меня: уж не бунтует кровь,
И сердце улеглось, и тешусь я мечтою,
И с богом я мирюсь, и с миром, и с собою!

5 марта 1846

102

Горько надоел я всем,
Самому себе и прочим:
Перестать бы жить совсем!
Мы о чем же здесь хлопочем?
Ждешь чего-то впереди...
Впереди ж всё хуже, хуже;
Путь грязней, тяжеле, у́же —
Ты же всё вперед иди!
То ли дело лоно гроба!

Там безмолвно и темно,
Там молчат мечты и злоба:
В гроб убраться бы давно!

Тобольск
13 апреля 1846

103

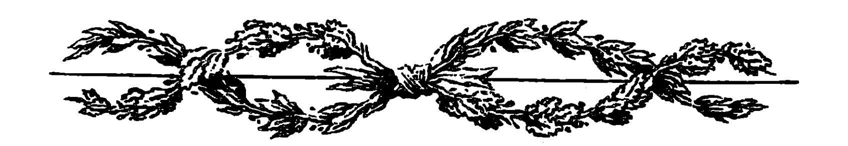
Вот, слава богу, я опять спокоен:
Покинула меня тяжелая хандра;
Я снова стал доступен для добра,
И верить и любить я снова стал достоин.
Охотно руку протяну врагу,
Скажу охотно: будем жить друзьями,
Мой добрый Б⟨асаргин⟩, и с вами я могу
Теперь беседовать стихами...
Как ангел божий, милый друг,
Вы предо мной явились вдруг
С радушным, искренним участьем;
Был истомлен житейским я ненастьем:
Опальный и больной слепец,
Обманутый людьми, растерзанный страданьем...
Но вот опять согрет я тихим упованьем
И этим одолжен вам труженик певец!
О, да услышит бог мои молитвы,
Пусть будут вам не трудны битвы
С коварным миром и с самим собой;
Пусть сохраните вы средь бурь души покой;
Не разлучайтеся с Любовью животворной,
С святою Верою, с Надеждой неземной,—
И да не встретитесь с любовию притворной,
Ни с суетной надеждою-мечтой,
Ни с верой мертвою, надменной и холодной,
Подобной той смоковнице бесплодной,
Которую, сухую, проклял Спас...
Их трудно отличить подчас
От дивных дочерей Софии... Искупитель
И тут единственный наш друг-руководитель,
И он вещает ясно нам:
«Познайте их по их делам».

Тобольск
13 апреля 1846

104. КЛЕВЕТНИКУ

. . . .
Полковник некогда преториян России,
Ты ныне атаман опасных, черных жаб,
Мужчин по имени, на деле старых баб,
Они твои послы, разносчики, витии,
Ты Какодемон их, незримый ты паук.
Но ткань ⟨вся⟩ от тебя, ⟨и⟩ от тебя все сети;
Их выдумки — твои и крестники, и дети,
Им шепчешь каждый склад, внушаешь каждый звук.
Вот русский Фальстаф: он военным был, и славным
. . . . своенравным
. . . .
Посадишь, и потом ты вышлешь простяка
Нелепость возглашать преклонно, свысока;
Жестокость! все равно: вело бы только к цели...
Нет у тебя друзей: лжецы и пустомели
Твои орудия: ты выгоняешь их,
Как бешеных собак, на всех врагов твоих!
Но есть, поверь мне, есть на свете Немезида,
И ею всякая приемлется обида
И в книгу вносится, и молча книгу ту
Читает день и ночь таинственная дева;
И выбирает жертв, и их казнит без гнева,
Но и без жалости. За ложь и клевету
Заплатят некогда такою ж клеветою,
И в сердце и твое убийственной стрелою
Вонзится злая ложь... Берет меня печаль;
Клянуся господом, в душе тебя мне жаль:
Наказан будешь ты сообщников рукою,
И, рано ль, поздно ли, они когда-нибудь
Вольют смертельный яд тебе в больную грудь.

1846



ПОЭМЫ

105. ⟨НАЧАЛО ПОЭМЫ О ГРИБОЕДОВЕ⟩

Уже взыграл Зефир прохладный
И день стремится отдохнуть,
На запад солнце клонит путь,
Бог наших предков, луч отрадный,
Прекрасный отблеск божества,
Грядет на сон от торжества —
Друзья, рассказов чудных жадный
Ваш слух открыт моим устам,
Но вдаль по саклям, по мостам
Из лавок шумного базара
Несутся клики к облакам,
Здесь вяжет все криле мечтам.
Тебя могу ли вспомнить, Дара,
Владыка всех подлунных стран,
Тебя, Хожроев бранный стан,
Вас, битвы грозного Шапура?
Здесь на брегах плененных Кура
Гремит оружием урус;
Былую славу вспоминая,
Невольной грусти предаюсь.
Прелестных жен семья святая,
Меня в чужбине не покинь!
Зулейка, Мириямь, Ширинь,
Цветы утраченного рая,
Пусть миг один в саду земли,
Благоухая, вы цвели —
В веках седых и отдаленных,
Поэтов, вами вдохновленных,
Востока племена почли.
Там, где в Эдем чрез ужас ада

Арагву катит Кашаур,
В палящий полдень скачет тур
На дальний ропот водопада,—
Там я, когда твердыни града
Объемлют ночь и тишина
И всходит чистая луна,
Об вас спешу начать беседы
В кругу родимых земляков;
Но мира требует любовь;
Ее восторги и победы
Средь стука суетных торгов
Едва слегка коснутся слуха
И нежной цепью сладких слов
Не окуют вниманьем духа.

О чем же поведу рассказ,
Пока всех верных с минарета
Можема протяженный глас
Не распрострет в последний раз
Пред ангелом златого света?
Но что — кто сей младой гаур,
Потерянный в толпе безумной,
Валящей по мосту на Кур?
Задумчив средь заботы шумной
Армян, евреев и грузин,
Он в многолюдстве их один
Идет нескорыми шагами
И смотрит тихими очами
На искры яростных пучин,
Зажженных запада лучами.
Сей образ — так знаком он мне,
Знаком сей взор живой и нежный!
В чужой и дальней той стране,
В земле полуночной и снежной,
Куда посольство привело
Меня сопутником Гасана,
В столице славы и тумана
Не раз я зрел сие чело;
Потом к престолу Таерана
Слугою русского царя,
Любезным гостем Бабы-Хана,
Сопровождая сардаря,
Он с ним притек из Гурджистана.
Здесь я раскрыл его глазами
Премудрость сладостных уроков

Восточных старцев и пророков
И приковал его к стихам,
Лиющим тысячью потоков
И жизнь, и счастие векам;
Но вскоре, с нами разлученный,
Он в край умчался отдаленный
К своим суровым землякам,
И я — летами искаженный —
Стал нынче чужд его очам.
Явлюсь заутра Исандеру;
И в дряхлости лелею веру
К младым, пылающим сердцам:
Он вспомнит бедного Абаза;
А ныне братьям я предам,
Что́ посреди садов Шираза
В роскошной, светлой тишине
Он, сетуя, поведал мне.

1822—1823

106. СИРОТА

А. С. Пушкину

1

Из тишины уединенья
Туда несется мой привет,
Туда, в обитель наслажденья,
Под кров, где ты, не раб сует,
Любовь и мир и вдохновенья
Из жизни черпаешь, поэт,—
Там ты на якоре, и бури
Уж не мрачат твоей лазури.

2

За друга и мои мольбы
Горé парили к пресвятому —
И внял отец, господь судьбы:
Будь слава промыслу благому!
Из грозной, тягостной борьбы
С венком ты вышел... Что и грому
Греметь отныне? был свиреп;
Но ты под рев его окреп.

3

Тот, на кого я уповаю,
Меня услышит.— Дан ты в честь,
В утеху дан родному краю;
Подругу-ангела обресть
Умел ты — и, подобно раю,

Отныне дням поэта цвесть.
Расторг ты козни вероломства,—
Итак — вперед, и в слух потомства

4

Пролейся в песнях вековых!
Талант, любимцу небом данный,
В унылой ночи недр земных
Да не сокроется. Избранный!
Пример и вождь певцов младых!
В эфир свободный и пространный
Полет тебе ли не знаком?
Вперед же доблестным орлом!

5

А я? надеждою одною
На мощь и силу друга смел,
Страшусь стремиться за тобою;
Не светлый выпал мне удел —
Но, брат, и я храним судьбою,
Вотще я трепетал и млел;
Целебна чаша испытанья,
Восторга не зальют страданья.

6

Еще не вовсе я погас,
Не вовсе песни мне постыли,
И арфу я беру подчас,
Из гроба вызываю были,
И тело им дает мой глас;
Мечты меня не позабыли —
Но не огонь мой малый дар,
Он под золою тихий жар.

7

Что нужды? Жар сей благодатен:
Я им питаем и живим;

И дружбе будет же приятен
Смиренный цвет, рожденный им!
Пусть будет голос мой невнятен
Сердцам, с рождения глухим!
Не посвящаю песни свету,
Но сердцу друга и поэту.

Вы знаете, любезные друзья,
Владею шапкой-невидимкой я:
На край моей безмолвной колыбели
Однажды возле лиры и свирели
Младенцу мне в гостинец положил
Ту шапку ангел песней — Исфраил.
Подарком дивным поделюся с вами:
Пойдемте! Окруженный деревами,
Вы видите ли скромный и простой,
Красивый домик? Пыли городской,
И духоты, и суеты, и зноя
Нет в околотке: здесь приют покоя,
Прибежище отрадной тишины,
Предместье; здесь, с полями сближены,
В соседстве царства матери Природы,
Живут счастливцы! Месяцы и годы
Текут для них без тех незапных бурь,
Которые так часто тьмят лазурь
Там, где дворцы вздымаются до неба.
Так, горе есть и здесь, но лишь бы хлеба
Довольно было, лишь бы ремесло
Без остановки, без помехи шло,—
Жилец предместья весел и доволен.
Он не бывает честолюбьем болен;
Священ ему прапрадедов закон;
Коварства и пронырств не знает он,
Не терпит новизны, не любит шуму;
Повинности спокойно вносит в думу
И, будни посвятив благим трудам,
Надев кафтан получше, в божий храм,
С благоговейной ясною душою,
По дням воскресным ходит всей семьею.

Здесь всех знатнее старый протопоп;
По нем аптекарь Яков Карлыч Оп,
Почтенный муж, осанистый и важный,
Богат: над всем кварталом двухэтажный,

Украшенный сияющим орлом,
Возносится его надменный дом.
Над всеми возвышается челом
Огромный ростом сам аптекарь тучный.
Но петь его потребен голос звучный,
А в лавреаты не гожуся я.
Не лучше ль познакомить вас, друзья,
С владетелем смиренного жилья,
Перед которым мы сначала стали?
Минувшие страданья и печали,
Блаженство настоящее его
Вам расскажу я... впрочем, для чего?
У вас же шапка! так покройтесь ею,
Войдите... Поручиться вам не смею,
Но примете и вы участье в том,
Быть может, что там, сидя вечерком
С своей хозяюшкой за самоваром,
Ей повествует с непритворным жаром
Без пышных слов и вычур наш герой.
По крайней мере вижу, как слезой
Глаза ее лазоревые блещут,
Как вздохом перси верные трепещут
И с мужа взоров не сведет она.
Вы скажете: «Не мудрено: жена!»
Положим: всё ж послушайте. А прежде
Узнать нельзя ли по его одежде,
Или по обращению с женой,
Или по утвари, кто наш герой?
Софа, в углу комод, а над софой
Не ты ль гордишься рамкой золотою,
Не ты ль летишь на ухарском коне,
В косматой бурке, в боевом огне,
Летишь и сыплешь на врагов перуны,
Поэт-наездник, ты, кому и струны
Волшебные, и меткий гром войны
Равно любезны и равно даны?
С тобою рядом, ужас сопостатов,
Наш чудо-богатырь, бесстрашный Платов.
Потом для пользы боле, чем красы,
Простой работы сте́нные часы;
Над полкой с книгами против портретов
Кинжал и шашка с парой пистолетов;
Прибавьте образ девы пресвятой
И стол и стулья. «Кто же он?» — «Постой!
Чубук черешневый, халат бухарский,

Оружье, феска, генерал гусарский
И атаман казачий... Об заклад...»
Кто спорит? я догадке вашей рад:
Да! он в наряде стройном и красивом
Еще недавно на коне ретивом
Пред грозным взводом храбрых усачей
Скакал, но, видно, суженой своей
Не обскакал: в отставке. До сих пор
Введение; теперь же разговор,
Который бы остался вечной тайной,
Но мужа и жену за чашкой чайной
Подслушаем. Спасибо! шапка нам
Сослужит службу... Тише! по местам!

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Муж

Не знал я без тебя прямого счастья,
Однако от трудов и от ненастья,
От хлопот нашей жизни кочевой
Не унывал: без страха мчался в бой;
В манеж же, в караул и на ученье
Ходил без ропота на провиденье
И всеми был любим. Короче, мне
(Тебя еще не встретил) и во сне
Желанье благ иных не приходило.
Итак, давно уже мое светило
Без облак катится! Но был же рок
Когда-то, Саша! и ко мне жесток:
Любезных мне забвение и холод,
Печаль и рабство, стыд и боль, и голод,
И бешенство бессилья, и тоска
О днях минувших, лучших — в новичка
На поприще земного испытанья,
В ребенка, друг мой, пролили страданья
Такие, от которых наконец,
Когда бы не помог мне сам творец,
Когда бы видимой не спас десницей
Безумца,— я бы стал самоубийцей.

Саша

Меня приводишь в ужас... бог с тобой!
С твоей ли было твердою душой...

Муж

Я был тогда ребенком, друг любезный,
Лет девяти. Суровый, но полезный,
Судьбою данный мальчику урок
Был мне, быть может, в самом деле впрок.
Но расскажу без предисловий дальных
Тебе я повесть этих дней печальных,
А впрочем, благотворных. Только мне
Сперва недурно о моей родне
Упомянуть немногими словами.
С рубцом над бровью и двумя крестами,
Сухой, высокий, бледный мой отец
Был, говорят, когда-то молодец,
Суворовский, старинный, храбрый воин.
Но, ранами в здоровии расстроен,
Дожив в походах славных до седин,
Он вышел, взяв полковнический чин,
В такую должность, где и средь покоя
Усердье престарелого героя
Могло еще служить родной стране.
В Ж⟨итомире⟩ (как это слово мне
И ныне сладостно, и ныне свято!
Там тело старика землей прията,
Там некогда старик любил меня!)
Он там женился: позднего огня
Не избежал и напоследок власти
Всесильной, целый год таимой страсти
Был должен уступить: «Жених-то сед,—
Так рассуждал расчетливый мой дед,—
Да бодр еще, а главное — полковник».
Его согласье получил любовник,
И невзирая на различье лет,
И матушка не отвечала «нет».
Но мил же Десдемоне был Отелло?

Саша

Итак, любезный, сбыточное дело...

Муж

Увидим, Саша. Стали под венец
Она в шестнадцать, в шестьдесят — отец.
Вот я родился. Время шло, и вскоре
И я уже в его унылом взоре
Любовь ко мне — и горесть мог читать.

«Дитя мое, да будет благодать
И милость божия всегда с тобою!» —
Так, над моей склоняясь головою,
Шептал нередко добрый мой старик;
И в сердце, в душу голос мне проник,
С которым он слова благословенья
Произносил; тот голос и в сраженья,
И в бури жизни провожал меня.
Однажды (помню) он, почти стеня,
Прибавил: «Тяжело, Егор, с тобою
Расстаться! без меня ты сиротою
Останешься. Жаль мне тебя; но мать
Обязан ты любить и почитать».
Младенец, я не понимал причины
Живой, страдающей его кручины,
Да знаю, что слезами залился.

Саша

А матушка?

Муж

И на нее нельзя
Пенять мне: и она порой мне ласки
Оказывала, выхваляла глазки,
Расчесывала локоны сынка;
Случалось даже, купит мне конька,
Ружье, картинку, саблю жестяную.
Ее, прекрасную и молодую,
Веселую, любил сердечно я.
Но только редко маменька моя
Решалась с нами оставаться дома:
Была со всеми в городе знакома,
У ней в поветах было тьма родни,
Вот почему отец и я одни
Не час, не день, а целые недели
В тоске, случалось, без нее сидели.

Саша

Души в ней не было.

Муж

Не говори:
Не полночи подругой быть зари;
Не может быть товарищем мороза
Зефирами лелеянная роза...
Признаться, сам старик был виноват.
Однако же клонилось на закат

В туманах скорби дней его светило:
И вот его бессилье победило,
И уж ему навряд ли встать с одра.
А матушку какая-то сестра
Двоюродная (правда, что некстати)
Почти насильно от его кровати
Отторгла и в деревню увезла.
Когда ж назад их осень привела,
Тогда нашла беспечная супруга
Свободного от горя и недуга,
Забот и жизни — мужа своего.
Дворецкий, бывший денщиком его,
Дрожащею от дряхлости рукою
Закрыл ему глаза; один со мною
Почтил слезами барина Андрей...
Но нет! домой приехав из гостей
И батюшку увидев без дыханья,
На тело с воплем громкого рыданья
И матушка повергласъ. Друг, не зла,
А только легкомысленна была
Сердечная: да будет мир и с нею!
Я жизнею тебе ручаться смею,
Что, непритворной горести полна,
Тужила по покойнике она.

Саша

Охотно верю; люди близоруки:
Сопутникам наносят часто муки,
Нередко желчью упояют их;
Но голос тружеников вдруг затих:
Они спаслись под землю без терзанья —
И, в очередь свою, полны страданья,
Раскаянья бесплодного полны
Мучители. Тяжелый долг вины
Неискупимой искупить любовью,
Уже ненужной,— счастьем, плачем, кровью
Желали бы; да опоздал платеж;
А совесть вопиет и на правеж
Зовет и все зовет, не умолкая;
Не вняли ей, а вот сама глухая,
И ей невнятен бесполезный стон.

Муж

Ты, Саша, мой домашний Масильон.
Но продолжаю. О своей печали

Скажу, что наши родственники стали
Твердить мне: «Всем нам должно умирать;
Но полно хныкать! убиваешь мать
Такою безрассудною тоскою».
Их я пугался; да мне всей душою
Хотелось кинуться в объятья к ней
И вместе выплакаться; от людей,
От ней я между тем свое страданье
Скрывать был должен, словно злодеянье.
Один меня не мучил мой Андрей:
От наших рассудительных друзей
В каморочку под крышею к Андрею
Бегу, бывало, и к нему на шею,
Рыдая, брошусь. Он меня возьмет,
Посадит на колена, мне утрет
Цветным платком глазенки, лоб малютки
Сквозь слезы перекрестит. Прибаутки,
Пословицы его хотя просты,
А были вдохновеньем доброты,
Душевной теплоты плодом отрадным;
И мне ль забыть, с каким участьем жадным
Я слушал усача, когда он мне
Повествовал о русской старине,
Когда мне исчислял свои походы?
Я с ним в былые уносился годы:
С Суворовым и батюшкой и с ним
Сражал врагов и был неустрашим.
Разбиты все: французы, турки, шведы...
Как часто после радостной победы,
Утешенный, я погружался в сон!
Тут на руках снесет, бывало, он
И бережно меня с крыльца крутого,
Так, чтоб отнюдь дитяти дорогого
Не разбудить, меня уложит сам
И на чердак воротится к мышам
И к одиноким пасмурным мечтаньям.
Но, друг, предался я воспоминаньям,
А повесть главную забыл совсем.

Он продолжать хотел, но между тем
Раздался с громким кашлем голос звучный —
И Яков Карлыч, наш знакомец тучный,
С любезной дочкою ввалился в дверь.
Здесь, братцы, делать нечего теперь:
В осаде держит нашего героя

Почтенный Оп и нам уже покоя
Не даст сегодня; Саше за визит
Он отплатить пришел и просидит
До полночи; газеты мы услышим,
Политику... Но лучше мы подышим,
Тихонько пробираяся домой,
Под вольной твердью, покровенной тьмой,
Прохладой сладостной и животворной!
Лазурь подернута завесой черной;
Но стройный, молчаливый сонм светил
Из-за нее окрестность осребрил;
Глядят на нас бесчисленные очи
Таинственной и необъятной ночи;
Меж искрами, которым нет числа,
Сияет, величава и светла,
Лампада божия, луна златая;
Вблизи, вдали, приветливо мерцая
И словно с звездами вступая в спор,—
Иные звезды... Сколько дум неясных!
Сдается мне, язык огней безгласных
Я слушаю; тот шепчет: «Бури нет
Здесь, где трепещет мой отрадный свет,
Здесь радость, и любовь, и мир душевный»;
Другой: «Мой блеск и тусклый, и плачевный
Больного озаряет скорбный одр»;
А третий: «Здесь, трудолюбив и бодр,
Питомец мудрости, любимец славы
Читает блага вечные уставы
И созерцает образ красоты,
Витающей там выше суеты».
Всё под навесом мирового свода
Кругом умолкло: стихнул шум народа,
И шум дерев, и шум уснувших вод;
Лишь инде запоздавший пешеход
(По твоему, Жуковский, выраженью)
Идет, своей сопутствуемый тенью.

В такую ночь ужель не вспомню я
Вас, братья, юности моей друзья.
Плетнев! внимая песням музы нашей,
Твои пенаты нас за полной чашей
Любили видеть... Были ночи те
Подобны этой: в общей темноте,
Немой, глубокой, от тебя, приятель,
Как часто я, неопытный мечтатель,

По улицам, давно уснувшим, брел...
А дух мой там ширялся, как орел,
За оными блестящими мирами,
Летал за нерожденными летами
И силился сорвать завесу с них...
Но тщетно; радостей и снов моих
Судьба жалела: свяли б от дыханья
Тлетворного, убийственного знанья,
Как от сеймума бархат вешних трав.
Увы! унылый жребий свой узнав,
Я не сберег бы тишины сердечной,
Уже не мог бы и тогда, беспечный,
Играть с суровой жизнью. Будь хвала
Тебе благая! в мрак ты облекла
Грядущее; посол твой — заблужденье
И мне же уделило наслажденье;
Пусть срок блаженства краток был и мал,
Но все ж и я в Аркадии живал.

РАЗГОВОР ВТОРОЙ

Сегодня обойдемся без введенья...
Прекрасный сын живого воображенья,
Мой Ариель! ковер твой самолет
В два мига нас в предместье унесет...
Вот мы уселись; обнялись руками,
Взвилися; а народ кипит под нами
И нас не замечает средь хлопот;
Иной и взглянет мельком, да и тот
Не удивится, искренно жалея
Изрезанной бумаги, скажет: «Змéя
Опять пускают чьи-то шалуны»;
И мимо.— Между тем, привезены
В повозке чудной к самому порогу
Гусара нашего, мы понемногу
Спускаемся, спустились. Вот и в дом
Уже прокрались, как вчера, тайком,
И вот же насладимся на досуге
Тем, что насмешливый супруг супруге
Об их вчерашнем госте говорит:

М у ж

Сказать, что Яков Карлыч наш сердит:
Немилосердно бедных турок губит,

В самом Стамбуле режет их и рубит,
Пардона не дает им. Право, жаль,
Что тяжело ему подняться вдаль,
Что богатырь он слишком полновесный;
А то бы...

Саша

Добрый человек и честный...

Муж

Кто спорит? Да и тактик он чудесный,
Политик редкий!

Саша

Друг ты мой, Егор!
Послушай: если б отложил ты вздор
И досказал мне начатую повесть!..

Муж

Спасибо: вспомнила! Признаться, совесть
Тихонько шепчет мне, что и домой
Я, повести рассказчик и герой,
Затем единственно пришел поране;
Но только думал я в почтенном сане
И эпика, и витязя: «Пускай
Сперва меня попросят!» Впрочем, знай,
Был несколько похож я на поэта,
Который, автор нового сонета,
Войдет в собранье, детищем тягчим,
Вот сел с улыбкой... (Примечай за ним!)
Вдруг будто невзначай словцо уронит:
«Был занят я...» О модах речь; он клонит,
Но хитро, неприметно, разговор
К словесности — виляет до тех пор,
Пока не спросишь: «Есть ли, друг сердечный,
У вас новинка?» Что же? Тут, беспечный,
Рассеянный, он пробормочет: «Нет;
А ежели б и было — так, сонет
Или баллада,— пустяки, безделки!..
В них надлежащей нет еще отделки —
Один эскиз, набросанный слегка.
Однако ж!» И злодейская рука
Уже в кармане шарит.

Саша

Эпизоды,
Мой друг, и даже лучшие,— уроды,
Когда некстати.

Муж

Воздержусь от них.
С приютом дней младенческих моих
В своем рассказе я расстанусь вскоре:
Из пристани мой челн отвалит в море,
Из родины помчуся в град Петра.
«В кадетский корпус молодцу пора!» —
Так, на меня преравнодушно глядя,
Однажды объявил какой-то дядя,
Который прежде в дом наш не езжал.
«Помилуйте! ребенок слишком мал!» —
Сказала матушка, меня лаская.
Но вот прошла неделя и другая —
И уступила матушка родне:
И вдруг дорогу объявили мне.

Самой ей ехать было невозможно:
Как тайну ни хранили осторожно,
Проговорился кто-то из людей,
И я узнал, что маменьке моей
Земляк-помещик предлагает руку,
Что потому она и на разлуку
Со мной решилась. Горько плакал я,
Скорбела детская душа моя
Недетской скорбью. Я молчал, но взоры
Ребенка выражали же укоры;
А иначе зачем бы на меня
Взглянуть было нельзя ей без огня
Румянца быстрого и без смущенья?
Сдавалось, что пощады и прощенья,
Раскаянья и горести полна,
У сына просит с робостью она.

Саша

Несчастная! о ней почти жалею,
Но с кем же ты поехал?

Муж

Казначею

Стоявшего в Ж⟨итомире⟩ полка,
Поручику, который сдалека
В родстве с роднею нашею считался
И по делам в столицу отправлялся,
Ему, чужому, на руки отдать
Дитя свое уговорили мать,
Любившую меня, но молодую.
Она вдалась в доверенность слепую
Не стоившим доверенности.

Саша

Да!
Но как, пускай была и молода,
Ей заповеди не понять священной,
Всем матерям понятной, непременной,
Вложимой богом в сердце, в душу, в кровь
Всех матерей? Не годы, а любовь,
Не мудрость и не опытность, а чувство
Вдыхает в нас нехитрое искусство,
Однако недоступное уму:
Всем жертвовать дитяти своему.

Муж

Поручик мой был, впрочем, славный малый:
Пехотный франт, развязный и удалый,
С размашкой и поднявши плечи, он
Умел отвесить барышням поклон;
«Я все сидел-с»,— умел сказать с улыбкой,
Когда попросят сесть; жилет ошибкой,
Случалось, расстегнуть, но не затем,
Чтоб выказать, как уверяли, всем
Узорчатый платочек под жилетом.
Обласканный большим и малым светом
Житомирским, любезен был, речист,
Играл в бостон, а иногда и в вист
С товарищами, даже в банк грошовый.
Майора-банкомета лоб суровый
За картами смутить его не мог;
Он полагал: «Владеет смелым бог!» —
«Ата́нде и плюэ!» — кричит, бывало.
И не робеет. Этого все мало:
Бренчал и на гитаре молодец;
И должен же сказать я наконец,
Что он, хотя и сам не сочинитель
И не знаток, а был стишков любитель

И толстую для них завел тетрадь.
Он, я, денщик и пудель их Орел
Уселись в старой дедушкиной брычке.
Не подарил (у дедушки в привычке
Дарить что не было), но, чтоб свое
Явить усердье, наш старик ее
За что купил, за то и продал дочке.
Простились, тронулись. При каждой кочке
Я охал; но смеялся ментор мой;
Я охать перестал. Тебе иной
Весь описал бы путь свой до столицы:
Поэт приплел бы к былям небылицы;
Смотрителей станцьонных юморист
На сцену вывел бы; статистик лист
Итогами наполнил бы. Но мне ли
Бороться с ними? Скоро долетели
До Петербурга мы — и ничего
Достойного вниманья твоего
Со мною не случилося дорогой.
Зато по истине, и самой строгой,
Вдруг закружилась голова моя,
Когда увидел напоследок я
Тот город величавый и огромный,
Перед которым наш Ж⟨итомир⟩ скромный
Явился мене деревушки мне.
Не знал я: наяву или во сне
Смотрю на эти пышные громады?
По ним мои восторженные взгляды
Носились и терялись; мне дворцом
Едва ли не казался каждый дом.
Все улицы казались площадями,
Портные и сапожники князьями
И генералом каждый офицер.
Я рад, что не писатель; например:
Мой первый въезд мне не прошел бы даром,
Блеснуть умом и новизной и жаром
Тут непременно был бы должен я.
Но, к счастью, ты вся публика моя:
От вычур описательных уволишь.

Саша

Охотно! но напомнить мне позволишь:
Быть может, остроумны и красны,
Да, признаюсь, не слишком мне нужны,
Не по нутру мне эти отступленья.

Муж

Друг, не моя вина, а просвещенья
Всеобщего. В Гомеров грубый век
Ребенком был и глупым человек:
Ребенку нянюшка-Гомер без шуток,
Без едких выходок и прибауток
Рассказывает дело. Но теперь,
Когда для всех раскрыта настежь дверь,
Ведущая в святыню умозрений,
Когда где только школа, там и гений,
Где клоб, там Аристарх или Лонгин,
Когда от слишком мудрого народу
Нигде нет места, нет нигде проходу,—
Теперь...

Саша

Остриться авторы должны?
Да ты не автор.

Муж

Все увлечены
Потоком общим: я — за авторами!
Однако только дай проститься с нами
Поручику, и мне не до острот,
Конечно, будет.— Бремя всех забот,
С моим определеньем неразлучных,
Он принял на себя; но своеручных
В том не дал обязательств; сверх того,
Хлопот довольно было у него
И собственных, довольно и по службе,—
Итак, о том, что обещал по дружбе,
Где ж было вспомнить? — впрочем, и меня
Он вспомнил же. Последнего коня
Уж на дворе впрягали в брычку нашу:
Он собрался в обратный путь, и чашу
С ним разделял, прощаясь, аудитор...
Гость был ему приятель с давних пор,
Ученый муж, краса всем аудиторам,
Но отставной: в полку по наговорам
Не мог остаться умный сей юрист:
Злодеи, будто на руку не чист
И пьет запоем, на него всклепали,
И что же? к сокрушенью и печали
Ж⟨итомир⟩ских шинкарок, приказали

Ему подать в отставку. Он, подав,
Твердил жидовкам: «Видите, я прав,
Меня не замарали в аттестате».
«Полковник пожалеет об утрате
Дельца такого!» — молвили оне,
Но вдруг не стало в нашей стороне
Питомца Вакха, Марса и Фемиды:
Фортуны легкомысленной обиды
Его не испугали; бодр и смел,
За нею он в Петрополь полетел —
Вот почему с ним встретился случайно
Поручик мой и рад был чрезвычайно.
Не менее был и приятель рад;
Он думал так: «Мне настоящий клад
Судьбою послан в этом казначее!
Пока меня не выгонит по шее
(Ходить и в дождь, и в слякоть мне не лень),
К нему являться стану каждый день.
Он малый глупый, добрый, не сердитый;
Но если бы и вздумал, даже битый
Решился я не покидать его».
Не отступил от слова своего
Философ, в правилах неколебимый:
Узнал поручик, им руководимый,
В столице каждый темный уголок,
Узнал окрестность: Красный кабачок.
Гутуев, Три Руки; не без познаний
И подвигов, не без воспоминаний
О битвах, в коих кий служил копьем,
Он воротился; да в кругу своем
Теперь и он сказать словечко сможет
Про Петербург! Но что его тревожит?
О чем задумался? Что значит стон,
С каким чубук поставил в угол он?
Вошел его Иван, а за Иваном
Ямщик. «Зачем вы?» — «А за чемоданом
Егора Львовича».— «Повремени».
И стали среди комнаты они;
В другую вышел барин с аудитóром.
Тут важным занялись переговором,
Шептались. Возвратяся, казначей
Сказал мне: «Фрол Михеич Чудодей,
Мой друг давнишний, человек почтенный
(Тут аудитóр потупил взор смиренный),
За благонравье полюбил тебя.

Ты будешь у него, как у себя...»
«То есть пока не выйдет разрешенье,—
Тот перебил,— на ваше помещенье
В кадетский корпус: просьба подана,
Или по крайней мере мной она
Немедленно подастся».— «Сам ты, милый,—
Так вновь поручик начал,— видишь: силой
Здесь не возьмешь: не глуп ты, хоть и мал.
А хлопотать, кажись, я хлопотал,
И дома быть случалось мне не много».
Тут усмехнулся аудитор, но строго
Зато взглянул поручик на него
И продолжал: «Егорушка, всего
Не сделаешь на свете по желанью;
Но ты свидетель моему старанью,
Ты, знаю, лихом не помянешь нас...
Я маменьке поклон свезу от вас.
Прощай, любезнейший!» — От удивленья
Без языка, без мыслей, без движенья
Поручика глазами мерил я;
Поцеловались между тем друзья:
Наш сел с Орлом в повозку и с Иваном
И был таков! Меня же с чемоданом
В свое храненье принял Чудодей.

Саша

Бедняжка!

Муж

В доме матери моей
Не слишком были велики покои,
Но всё красивы: утварь и обои
В них заказал покойный мой отец.
Андрей сказал мне, что и образец
Сам он нарисовал, сам за работой
Смотрел, и этой нежною заботой
Он счастлив был, когда был женихом.
«Кто барина бы на́звал стариком
В то время? — восклицал седой дворецкий.—
И прежний вид воскреснул молодецкий,
И вспыхнул прежний блеск в его глазах,
Тот блеск, который был злодеям страх,
А в подчиненных проливал отвагу.
Жениться и с полком прорваться в Прагу,

Конечно, разница, да дело в том:
Покойник был и храбрым женихом,
И храбрым воином в пылу сраженья».
Прав был Андрей, а молвил, без сомненья,
Совсем не то, что думал.

Саша

Отступленья!

Муж

Не дальные.— В родительском дому,
Скажу короче, взору моему
Всё представлялось в благородном, стройном,
Изящном виде; в скудном, всё ж пристойном
Был домик, где в столице на постой
Расположился казначей со мной.
Но то, что называл своей квартерой
Мой новый ментор, аудитóр, пещерой,
Конюшней, хлевом назвал бы иной.
Мы взобрались по лестнице крутой
В его жилище: там и смрад, и холод,
И беспорядок, и разврат, и голод,
Казалось, обитали с давних пор.
Сухие корки хлеба, грязь и сор,
В бутылке свечка и бутыль другая,
Огромная, с настойкой, черновая
Какая-то бумáга под столом,
Стул, опрокинутый перед окном,
В углу кровать о трех ногах, которой
Сундук служил четвертою опорой,
А на полу запачканный кафтан,
Чернильница и склеенный стакан.
Все это под завесой мглы и пыли:
Вот чем приведены в смущенье были
Глаза мои, когда мне Чудодей
Впервые дверь обители своей
С улыбкой отпер вежливой и сладкой.
«Где мне присесть в берлоге этой гадкой?
Неужто здесь мне жить?» — подумал я
И был готов заплакать. Мысль моя
Не скрылась от догадливого взора
Второго Диогена — аудитóра,
И он мне первый преподал урок:
«Я беден — так! но бедность не порок».

Сплошь всё портреты Нидерландской школы!
И быть поэтом хочешь? Где ж глаголы,
Падущие из вещих уст певца,
Как меч небесный, как перун,— в сердца?
Ребенок плакса да негодный нищий —
Чудесные предметы! — сколько пищи
Воображенью! Стало, без ходуль
Уж ни на шаг? детей ли, нищету ль
Уж ни в какую не вмещать картину?
Но часто пьет и горе, и кручину
И кормится страданьем целый век
Отчизны честь — великий человек...
Чернят живого, ненавидят, гонят,
Терзают, мучат; умер — и хоронят
Его по-царски; все враги в друзей
Мгновенно превратились; мавзолей
Над ним возносят — очень бесполезный;
О нем скорбят и тужат в песни слезной
И ставят всем дела его в пример.
Питался подаянием Гомер,
Слепой бродяга, а ему потомство
Воздвигло храмы... Лесть и вероломство
И зависть Фокиона извели:
«Он украшенье греческой земли!» —
Потом убийцы восклицали сами.
Так было в древности. А между нами?
Что говорит Сади (не помню где)
Об оной глупой, пышной бороде,
О бороде безумца Фараона?
«Стоял пророк бессмертного закона,
Избранник божий, дивный Моисей,
Потупив взор, в смирении пред ней;
Она же величалась пред пророком».
Пред подлостью, безумьем и пороком
Ужели не случается подчас
Стоять так точно гению у нас?
Велики, славны Минин и Державин.
Но рядовой Державин был ли славен
И был ли Минин, мещанин, мясник,
На родине чиновен и велик?
Вы скажете: «Тогда еще и славы
Им рано было требовать!» Вы правы;
Однако согласитеся со мной:
Всё можно с помянутой бородой
Сравнить глупцов, которые пред ними

Гордилися и связями своими,
И деньгами. Любезные друзья,
Взгляну ли на толпу народа я,
А на детей особенно, невольно
Во мне родится нечто, что довольно
Похоже на почтенье. Слова нет:
И дети большей частью пустоцвет;
Но все же цвет, и цвет, скажу, прелестный.
Когда ж помыслишь: будущий, безвестный
Тут резвится Платон или Шекспир,
Один из тех, быть может, коих мир
Считает неба мощными послами;
Быть может, этот, с черными глазами
И поступью отважной, удивит
Вселенную, в годину скорби щит
Отечества, грядущий наш Суворов,—
Тогда... Но нитью наших разговоров
Мы чуть ли не домой приведены?
Как дети, так беспечны и прекрасны,
Простите ж, и да будут ваши сны,
Как души их, так сладостны и ясны!

РАЗГОВОР ТРЕТИЙ

«Нет дома наших,— на ухо шепнул
Мизинец мне,— их взял под караул
Почтенный Он и удержал к обеду».
Нам все равно: к нему мы, к их соседу
Отправимся. И кстати! право, мне
Уж стало совестно так в тишине,
Подобно духу, гостю из могилы,
Под покровительством волшебной силы
Подкрадываться к ним. К тому ж они
Вам менее наскучат не одни.
Мы, впрочем, шапку все ж возьмем с собою...
«Возьми, пожалуй! — тут с усмешкой злою
Мне говорит сердитый журналист,—
За бред твой ты заслуживаешь свист,—
Ведь шапка-то одна; а вас же много».—
Ученый физик судит очень строго;
Но вот ответ мой: «Шапочка моя
Сестрица электризму; нам, друзья,
Составить только цепь руками стоит,
И пусть она и одного прикроет,

А все равно незримы будем мы».
Не слишком же догадливы умы
Издателей Риторик и Пиитик!
Напишешь: *и* — тебя ругает критик,
Зачем над *и* нет точки. Мы пешком
Пойдем сегодня: гения с ковром
Не для чего трудить. За пирогом
Словечко уронить случилось Саше
Про повесть мужа. Тут собранье наше,
А именно: сам Яков Карлыч Оп,
Супруга, дочь и Власий-протопоп,
Которого евангельское сердце
Любило брата даже в иноверце,
Который к ним с каких-то похорон
Заехал,— все они со всех сторон
К рассказчику: «Рассказывай» — и только!
Отказом огорчишь их, а нисколько
Их огорчить мой витязь не хотел.
Он благороден, щекотлив и смел,
Да здесь у места было снисхожденье:
Гусар наш согласился. Нам бы продолженье
Повествования его застать!
Начало знаете; зады ж, на стать
Божественного болтуна Гомера,
Велеть вновь слушать — нет еще примера
В твореньях неклассических певцов.
Однако близко, из среды домов,
Уже я вижу, поднялась аптека —
Так высится огромный верх Казбека
Над цепью сумрачных Кавказских гор;
Гигант, разрезав вечным льдом обзор,
Чело купает в девственной лазури,
На чресла вяжет пояс мглы и бури,
С лежащих на коленях вещих струн
Перстами сыплет громы и перун,
Стопой же давит дерзновенный Терек,
Который, бешен, рвет и роет берег,—
И прочее... Поберегу запас;
Вот сад, войдем; метафор будет с нас.

Егор Львович

Был Фрол Михеич первые недели
Со мною ласков: мы изрядно ели;
Он не́ пил, и явился у него
Порядок, не бывавший до того.

Объедки, корки выброшены были,
И смыл слои тяжелой, черной пыли
Со стен, окошек полуинвалид,
Жилец того же дома; новый вид
Все приняло в чертогах аудито́ра
Я был: «Мой друг, мой милый, вы»,— Егора
Без Львовича не говорили мне.
Меня расспрашивал он о родне,
О наших связях, об отце покойном,
И в языке его благопристойном
Я даже грубых не слыхал речей.

Священник

Конечно, полагал ваш Чудодей,
Что выгодны ему такие меры;
Он ждал награды.

Егор Львович

Я не этой веры;
Не из большого бился он: был сдан
Ему, да без ключей, мой чемодан;
А сверх того, отец мне в именины
(Весною, в самый год своей кончины,
Уже больной, уже лишаясь сил)
Часы — и золотые — подарил.
Жена бранит меня за отступленья;
Однако про часы те, с позволенья
Ее и вашего, мои друзья
Поговорить считаю нужным я:
«Храни их и носить их будь достоин,—
Мне дар вручая, молвил дряхлый воин,—
Мой сын, и тяжелы, и без красы,
Но верны эти древние часы.
Случалось, дни страданья и печали
Угрюмые они мне измеряли;
Не утаю, бывал и слаб я,— да!
Мгновенья же злодейства и стыда,
Бесчестного мгновенья — никогда
На память стрелка мне не приводила.
Часы — наследство: приняла могила
Того, кто умирающей рукой
Мне дал их... дядя твой, мой брат, герой,
Зарытый под стенами Измаила...
С ним смерть меня на время разлучила,
Но скоро смерть соединит же нас;

Мой друг, мне скоро знать который час,
Не нужно будет. Ты же, верный чести,
Служи отчизне и царю без лести;
Часы свои все освящай добром,
Все чистой совестью». Меня потом
Покойник, как завесть часы, наставил,
Поцеловал, поднялся и прибавил:
«Не забывай, Егор, отцовских правил».
Как я берег часы те, что мне вам
И сказывать? А их прибрать к рукам
С ключами был мой Чудодей намерен.
Но даже он (я в том почти уверен)
Меня бы пожалел, когда бы мог
Вообразить, сколь был мне сей залог
Любви отца бесценен.

Саша

Друг, не знаю;
А мне сдается, будто негодяю
Ты лишнюю оказываешь честь.

Егор Львович

Быть может; приговор же произнесть
Над ним другие могут: оскорбленный,
И о вине забытой и прощенной,—
Судья пристрастный. Взять часы хотел —
Для явного ж разбоя был несмел
Мой Фрол Михеич. Может быть, сначала
И думал: «Мать кому ж нибудь писала
Из здешних их знакомых о сынке.
Найти его у нас на чердаке,
Конечно, не легко, но все возможно;
Итак, примусь за дело осторожно...»
Я был ребенок, слаб, в его руках,
Доверчив, совестлив; но о часах
Все долго спорил, только из терпенья
Его не вывел — впрочем, подозренья
И тени не было в душе моей.
Когда бы было, я, кажись, скорей
Расстался бы и с жизнью, чем с часами.

Священник

По крайней мере в обхожденьи с вами
Не вдруг же он переменился?

Егор Львович

Вдруг,
В тот самый день. «Мой милый» и «мой друг»
Еще с неделю слышать мне случалось;
Но *вы* — то и в помине не осталось:
Егора Львовича сменил *Егор*,
Увы! сменил (и скоро) до тех пор
Никем не говоренный мне *Егорка*.
Объедки редьки, лук, селедка, корка
Опять везде явились; грязь и пыль
Берлогу вновь одели, вновь бутыль
На волю вызвана из-под постели.
Михеич думал: «Ведь достиг я цели;
Комедии конец!» Он встал, в карман —
Часы и деньги, и ушел, и, пьян,
В свой терем воротился ночью поздно.
Уж спал я: но злодей заво́пил грозно:
«Вставай, щенок!» Я вздрогнул, но ушам
Не мог поверить: не к таким словам
Меня в дому отцовском приучили.
Он повторил: «Вставай, негодный! — или...» —
И о пол — хлоп! Подняться сам собой
Не в силах был неистовый герой;
Однако, лежа, расточал угрозы.
Меня пустое приводило в слезы,
Я мягок был, и слишком.

Саша

Бедный друг!
Могу вообразить я твой испуг...

Шарлотта

Ваш ужас в это горькое мгновенье!

Егор Львович

В груди моей и гнев, и омерзенье
Все заглушили: в сердце их тая,
Я мучился, но мог ли плакать я?
Во мне и страх подавлен был презреньем.
Скажу еще: недаром провиденьем
Мне послан был столь тягостный искус.
Быть может, без него я был бы трус
И неженка; но тут, как от закала,

Во мне душа незапно твердой стала.
Вы усмехнулись.

Священник

Да, мой друг, меня
Вы извините; стар я, без огня,
Без смелости мое воображенье...
В такое веровать перерожденье
Мне что-то трудно. Брошенный посев
Не вдруг дает колосья; скорбь и гнев
Я взвешивал, исследовал я страсти,
Вникал в могущество их грозной власти
(По должности обязан я к тому);
Но ваш скачок и моему уму,
И опыту, скажу вам откровенно,
Противоречит. В мире постепенно
Все происходит: точно так и в нас.
Что не был без последствий оный час,
Как в пору павшее на ниву семя,
Я в том уверен; даже что на время
Самим себе казались вы другим;
Но напряженье минуло, и с ним
Обманчивое ваше превращенье,—
Вы стали вновь ребенком.

Егор Львович

Ваше мненье
Согласно с истиной, согласно с тем,
Что досказать я должен; не совсем
Я выразился точно: но — примеры!
Нанизывать гиперболы без меры
Теперь в обычае.

Аптекарша

Да что же он?

Егор Львович

Ворча, ругаясь, впал в мертвецкий сон.

Шарлотта

Стыдился поутру?

Егор Львович

Кто? он? нимало!
Стыдиться тут другому бы пристало;

Но не ему. Он мне сказал: «Егор,
С тобой чинился я; все это вздор:
Хочу я жить, как жил всегда дотоле;
А, братец, ты одобришь поневоле
Мое житье».

Саша

Что ж ты?

Егор Львович

Остолбенел;
Но был уже я менее несмел,
Чем накануне: мне негодованье
Не вдруг позволило прервать молчанье,
А не боязнь. Хотя и в ночь одну
Не мог шагнуть я за мою весну,
За первый цвет беспомощного детства,
Все не нашел он и в бесстыдстве средства
Избегнуть униженья своего.
Я молвил: «Вас, сударь, прошу покорно
Отдать часы мне».— «Что ты так задорно
Их требуешь? — смутясь, он отвечал.—
«Они мои»,— я пре́рвал.— «Целы! целы!
Но берегись, но, братец, есть пределы
И моему терпенью: ты из них
Меня не выводи». Потом притих
Философ мой: в последний раз со мною
Он в этот день был ласков; лишь порою
С немым вопросом на меня глядел,
Шептал порою: «Ххмм! какой пострел!»
Крепился я; но имя же урода
Заслуживал бы, если бы природа
Во мне ребенка не взяла свое.
Тоска моя, отчаянье мое,
Хотя при нем и хладны, и безгласны,
А, верьте, стали наконец ужасны:
Он со двора, и я, я зарыдал...
Вдруг музыка. «В соседстве, верно, бал»,—
Подумал я, и что же? Из пучины
Минувшего прелестные картины,
Мучительные, всплыли предо мной.
«Ах! — говорил я,— и меня зимой
Отец и мать возили же на балы...
Как *там* все хорошо! все залы

Полнехоньки; не сосчитаешь дам;
В пух все разряжены; но по глазам
Прекрасным и живым и вместе нежным
Всех лучше маменька. «Ты будь прилежным,
Егор,— учись! возьму тебя на бал...» —
Так батюшка, когда еще езжал
И сам в собранья, скажет мне, бывало,—
И я учусь! Случалось, на день мало,
Что зададут дня на три. Вот мы там...
Как весело! хозяйка рада нам;
Хозяин батюшку за вист посадит,
Меня же поцелует и погладит
И — детям сдаст; они меня в буфет,
Мне нададут бисквитов и конфет,
Потом подальше от больших составим
И мы кадриль свой или где добавим
И в их кадрили пару... А теперь?
Один я здесь, не человек, а зверь,
Нет, хуже зверя... гадкий, неопрятный,
Бессовестный, бесчестный и развратный,
Безжалостный располагает мной!
Злодей! — но как он хочет, а с часами
(Тут сызнова я залился слезами)
Никак, никак я не расстанусь — нет!»

Аптекарша

Der arme Junge! *

Священник

Горесть первых лет
Живее всякой горести — но, к счастью,
Быть долго под ее суровой властью
Нельзя ребенку: сон, отрадный сон,
Слетев, как ангел божий, плач и стон
В устах еще дрожащих прерывает;
Очей младенцу он не отирает;
Еще струятся слезы, бурно грудь
Еще вздымается, а уж заснуть
Успел малютка, уж куда-нибудь,
Сердечный, как цветок, росой смоченный,
Головкой прикорнул отягощенной,
И вы заснули? так ли?

---

* Бедный юноша! *(нем.)* — *Ред.*

Егор Львович

Точно так:
В немой, бездонный, благотворный мрак
Унылая душа моя нырнула,
В тот тихий край спаслась, где из-за гула
Земного страха и земных страстей
Эдема песни отозвались ей.
Друзья, дивитесь? вы таких речей
Высокопарных от меня не ждали?
Но раз и навсегда: язык печали
И вдохновения, язык тех дум
Таинственных, которых полон ум,
Мне кажется, от посторонней силы
Заемлет на мгновенье мощь и крилы,
Чтобы постичь и высказать предмет,
Для коего названья в прозе нет,
Язык тех дум не есть язык газет...
Вам расскажу мой сон: нависли тучи,
Катился гром, забрел я в лес дремучий;
Нет выходу. Из лона тьмы ночной
Волков несется кровожадный рой;
Во мне, тоской неизреченной сжато,
Замлело сердце; тут одежда чья-то
Мелькнула белая из-за ветвей —
И тише стал и гром, и рев зверей.
Вдруг звон послышался мне погребальный,
А после голос слабый и печальный,
То голос матушки, и вот слова:
«Прости мне грех мой — ах! твоя вдова
Тебя, блаженный, молит о прощеньи...»
Я ждать: ответа нет; а в отдаленьи
Не умолкает стон... Как ей помочь?
Как до нее дойти в такую ночь
В бору дремучем? Рвуся в дичь густую;
Во что бы ни было спасу родную;
Вперед — и вот упал я в страшный ров;
Гляжу — и стая яростных волков
Передо мною, а вблизи могила;
Скрежещут звери. Что же? Завопила,
И жалостнее прежнего, она;
Все забываю — ею мысль полна.
«Прости, отец!» — взываю. «Прощена!» —
Вдруг раздалось — и где же лес и логов?
Где гроб и мрак? Средь радужных чертогов

Стоят передо мной отец и мать;
Но вот они при чьем-то дивном пеньи
Все выше в плавном, сладостном пареньи —
И вдруг в дыму исчезли золотом.

Аптекарша

Пречудный сон, пречудный! А потом?

Егор Львович

Очнулся я в конýре Чудодея...
Но потемнела ближняя аллея;
Не рано — мне же за перо пора:
Я много писем получил вчера...

Аптекарша

А продолженье вашего рассказа?

Егор Львович

Сударыня, уж до другого раза.

Аптекарша

По крайней мере просим закусить.

Рассказа снова разорвалась нить:
Но раму ли оставлю без вниманья?
Пресходные между собой созданья —
Аптекарь-немец, отставной гусар
И старый поп! Да! к ним еще татар
Или китайцев примешать бы можно!
«Послушай,— говорят мне,— ведь безбожно
Выдумывать знакомство меж людьми,
Которые (такими их возьми,
Какими в свете видишь их) по чести
Не сблизились бы лет и в двести!»
Положим; только почему же сам
На промахи указываю вам?
В своих ошибках первый я уверен;
Однако подражать же не намерен
Почтенному Капнисту. Старичок,
Бывало, вздор напишет в десять строк:
«О дивной мудрости Гипербореев»,
Пошлет в журнал и, чтоб своих злодеев
Потешить, эпиграмму на свой вздор.
Переменилось кое-что с тех пор;
Уж эпиграмм мы на себя не пишем,

Уж мы не той невинностию дышим,
Не тою прямо детской простотой,
Какую в старину являл иной
Писатель даже с истинным талантом.
Так! простяком пред умником и франтом
Холодным, бледным, томным наших дней
Стоял бы даже северный Орфей —
Державин, грубый, нежный, грозный, дикий,
Могущий, полуварвар, но великий.
Привел бы лепет их его в тупик;
А между тем мне и его парик
Порою кажется дельнее многих
Голов судей взыскательных и строгих,
Которые в нас сыплют градом слов
В крикливых перепалках тех листков,
И книжек, и тетрадей разноцветных,
Где среди фраз учтивых и приветных
И гения, и вкуса, и ума,
И остроты, и беспристрастья тьма,
Где уж Ла-Арпу и Баттё не верят,
И весят Байрона, и Гете мерят,
Толкуют про водвиль и про сонет,
И даже знают, что Шекспир — поэт.

РАЗГОВОР ЧЕТВЕРТЫЙ

Куда перенесемся мы сегодня?
Не в дом ли скромного слуги господня —
Священника? семейный быт его
Рудой богатой был бы для того,
Кто обладал бы даром Вальтер Скотта,
Но не порука за талант — охота;
Да и таланта мало: должно знать
То, что желаешь верно описать,
А то плохая на успех надежда.
Священника наружность и одежда
Еще, быть может, и дались бы мне:
Я мог бы говорить о седине
Волос его, о бороде почтенной,
Летами, будто снегом, убеленной,
О взоре ясном, об улыбке той,
С какою смотрит он на мир земной,
На призрак наслажденья и печали
(С такой улыбкой мы смотреть бы стали

На игры детства). Так, мои друзья,
В его чертах представить мог бы я
Подобье, тень святого Иоанна,
Но не того, который, в глубь тумана
Судеб вселенной простирая взор,
Небесный гром, разящий темя гор,
Таинственный, и блещет, и грохочет,
И день суда и гибель злых пророчит,—
Нет, старца кроткого — его ж уста
Исполнены единого Христа,
Напитаны любовью совершенной...
В весне своей, почти уже забвенной,
Священника знавал я: соименный
Апостолу, смиренный Иоанн
Был в пастыри невинным девам дан,
Которые цвели в сени десницы
Всем русским общей матери, царицы
Марии, благодетельницы всех.
Сколь живо помню старца! Наглый грех
Без внутреннего горького укора
Не выдержал бы пламенного взора,
Дарованного господом ему.
Но, следуя владыке своему,
Он и врагам же простирал объятья;
Им взор его вещал: «И вы мне братья!»
Он другом был растерзанных сердец,
А девы, говоря ему «отец»,
В нем нежного отца встречали чувства.
Ему науки, письмена, искусства
Отрадой были: в слове россиян
И греков, римлян и зарейнских стран
Знаток глубокий, он читал Платона,
Сенеку, Гердера и Фенелона
Не в переводах. К старцу на совет
Прийти бы мог прозаик и поэт —
И приходили: яркий, быстрый свет
Он часто проливал на их сомненья;
А простоты младенческой, смиренья
Евангельского, знанья у него
Не отнимали. Пастыря сего
За выдумку не принимайте, други!
Вам скажут сестры, матери, супруги —
Я лишнюю прибавил ли черту?
Конечно, редко, но подчас мечту
И правда пристыжает. Здесь картиной

Мне довершить позвольте: пред кончиной
В последний раз благий господень раб
Приехал к девам, телом только слаб,
Но верой крепок; вот в их круг вступает,
И что же? (Как случилось, кто-то знает?)
Все вдруг, как тут стояли, в тот же миг
Упали на колена... Знать, постиг
Их вещий дух, что близок час разлуки;
Смутился старец, стал, подъемлет руки
И плачущих благословил детей.
Довольно; только в памяти моей
(Надеюсь, согласитесь) кисть поэта
Найти могла бы краски для портрета
Священника. Ввести ж в его семью
Вас всё нельзя: представить попадью
Мне должно бы; а как? — вот затрудненье!
Роняет кисть в испуге воображенье!
Едва я помню попадью одну!
Да признаюсь, как на нее взгляну,
В ней, женщине, быть может, превосходной,
Черты не вижу ни одной мне годной:
Раз ехал я на долгих и зимой;
В село въезжаем; нужен был покой
И мне, и людям, и коня́м усталым;
Вот к двум дворам послал я постоялым,
Но были оба на́биты битком.
Что делать? Смотрим, а на горке дом
Нас словно манит, светлый и красивый;
Ямщик мой был оратор, и счастливый;
Пошел и просит — выбился из сил,
Да наконец принять нас убедил;
Шажком встащили кони нас на гору;
Тут жил священник, но на эту пору
Сам был в отлучке, и — ко мне, друзья,
Навстречу вышла попадья *моя.*
У ней я напился плохого чаю
И — отдохнул. Прибавить что? Не знаю,
А высказал бы все вам, не тая...
Да! шила тут же платьице швея
Из тех, которым в округе знакомы
Все несколько зажиточные домы,
Которых жалуют не все мужья,
Но жены любят; с нею попадья
Вела довольно пошлую беседу;
Икалось дворянину, их соседу,

Так должно думать, от беседы той:
Ему досталось с дочерьми, с женой,
Со всей его роднею и друзьями.
Что тут занять мне? Рассудите сами!
Пускаться в описанья наугад?
Избави, боже! Рад или не рад,
К аптекарю переберуся в сад!
«Егору Львовичу мы обещанье
Напомним,— молвил он,— повествованье
Начатое...»

Аптекарша

Так точно: вам от нас
Не отыграться! — сядьте, просим вас.

Егор Львович

Я...

Аптекарша

Сядьте!

Егор Львович

Если должно непременно,
Но я...

Аптекарша

Без отговорок.

Егор Львович

Откровенно:
Я сомневаюсь, чтобы, не шутя,
С своими похожденьями дитя
Могло занять вас...

Священник

Очень вы не правы.
Что до меня, не для одной забавы
Желал бы я дослушать ваш рассказ:
Рассказывали дети мне не раз,
Что в взрослых мне осталось бы загадкой;
Из горьких слез, из их улыбки сладкой
Уроки важные я почерпнул;
В сердцах их чище и слышнее гул
Святого голоса самой природы.
Мы все младенцы: бог судеб народы

Воспитывает опытом веков,
И всякий, кто бы ни был он таков,
Воспитывается до врат могилы.
В малютках ум незрел, незрелы силы;
Мы думаем, что образуем их;
Однако и наставников других
Должны признать мы: жизнь и впечатленья;
Вдобавок нам за наши наставленья
Ребенок платит: пусть берет от нас,
Берем и мы; пусть каждый день и час
Его мы учим — он и нас же учит.
Поверьте: никогда мне не наскучит
Изображенье чувств и дум, забот, утех
И горестей существ невинных тех,
В которых вижу образ человека
Без искаженья и пороков века.
Итак...

Егор Львович

Сдаюсь. Но не в отраду вам
Рассказ мой будет: вас не по цветам
Водить мне. Вы смеялися доселе?
Забудьте смех. Чем дале, тем тяжеле
Становится мой жребий. «О часах
Не поминай!» — твердил мне тайный страх;
Но им ли попуститься? их, робея,
В руках оставить подлого злодея?
Заговорил я о часах! Бледнея
От бешенства, он поднял тусклый взор,
Но сел и удержался. «Что за вздор? —
Спросил он.— О каких часах болтаешь?»
Меня бесстыдство взорвало: «Ты знаешь,—
Я прервал,— знаешь о каких!» Едва
Успел я эти вымолвить слова,
Как на меня он бросился...

Аптекарша

Бездушный!

Егор Львович

Всегда я дома мальчик был послушный,
Отец не вспыльчив был, хотя и строг;
Не знал побоев я,— и что же? — с ног
Тут сбил меня чужой и оземь ринул;
Я вскрикнул — Чудодей меня покинул...

Шарлотта

Из жалости?

Егор Львович

Нет, чтобы розги взять:
Уж прежде их он бросил под кровать;
Их я заметил, но мне в ум в ту пору
Не приходило, чтоб тогда же ссору
Хитрец замыслил.

Священник

Видно по всему,
Что даже угодили вы ему
Вопросом о часах.

Саша

Но польза ссоры?

Егор Львович

А вот какая: с нею все те вздоры,
И разом, сбрасывал с себя злодей,
Которые, по глупости людей,
Слывут приличьями. От вас я скрою,
Как тешился палач мой надо мною.
Он рот мне зажимал, а всё мой крик
За стены нашей комнаты проник,
И вдруг вошел нежданный избавитель.

Саша

Кто?

Егор Львович

Инвалид, того же дому житель
(О нем и прежде помянул я вам).
«Побойтесь бога, сударь! стыд и срам!
Да полно ж! изувечите ребенка!» —
«Вступаешься напрасно за бесенка,—
Оторопев, промолвил аудитор.—
Он, брат, шалун, повеса, лгун и вор.
Сам рассуди: уж я ль не благодетель
Безродному щенку? Ты сам свидетель,
Как принял я его, как обласкал!
Змея! змея, Степаныч, как ни мал!
В нем чувства вовсе нет: меня, негодный,

Ограбил, обобрал!» Тут пот холодный
Покрыл лицо мне; позабыта боль:
«Лжешь!» — я завóпил. «Ну, теперь изволь
Вступаться за него! — сказал разбойник.—
Избаловал его отец-покойник;
Так докажу же я ему любовь!»
И вот опять схватил меня, а кровь
И без того текла с меня ручьями;
Но, к счастию, обеими руками
Отвел безжалостного инвалид.
«Нет, ваше благородье, вы обид
Сиротке не чините! Тут не кража;
Случилась, может быть, у вас пропажа,
Хотя (прибавил шепотом старик
И усмехнулся) будет не велик
Прибыток и с находки; да вы сами
Не обронили ли? — Потом: — За вами
Прислал тот офицер».— «А! знаю: тот,
Который на меня хлопот, хлопот
Навьючил, братец, целое беремя.
А ты, голубчик! мне теперь не время,
Да мы с тобой ужо поговорим!» —
И вышел он с заступником моим.

Шарлотта

С какими чувствами, воображаю,
Остались вы!

Егор Львович

Врагу их не желаю;
Но трудно описать их. У окна
Сидел я, словно в грозной власти сна
Мучительного, ясных дум лишенный.
«Проснусь ли!» — думал, болью пробужденный,
Вдруг вздрагивал — и мой же горький стон
Мне отвечал: «Нет, не мечта, не сон
Тебя терзает!» Бог весть до чего бы
Дошел я наконец; но жертвам злобы,
Страдальцам (уж замечено давно),
Когда их ноша особливо тяжка,
И утешенье близко.

Священник

Не натяжка,
Так полагаю, если указать

На перст господень здесь, на ту печать,
Которую святое провиденье
На дивное житейских дел теченье
Порой взлагает, да уверит нас,
Что до него доходит скорби глас,
Что не в подъем не шлет нам испытаний.
Но продолжайте.

Егор Львович

Цепь глухих мечтаний,
Давивших мой унынья полный дух,
Расторг — когда хотите — вздор! В мой слух
Вдруг голубка влетело воркованье;
Не мудрено, что я, дитя, вниманье,
Хотя страдал, на гостя обратил.
Скажу вдобавок: в самом деле мил
Был мой крылатый, пестрый посетитель;
Он словно в скучную мою обитель
Просился, и кружился на окне,
И кланялся, иной сказал бы, мне,
Меня прельщал всех красок переливом
И будто что-то в рокоте игривом
Высказывал. Взглянул я на него —
И предо мною детства моего,
Минувших дней беспечных, мирных, ясных
Воскреснул образ; голубков прекрасных
Своих я вспомнил. Их моя рука
Кормила, на мой зов издалека
Летят, бывало. Мне была вся стая
Любезна; да от прочих отличая,
Особенно я выбрал одного
И птичке имя друга своего
Андрея дал.

Аптекарь

Андрея? это ново!

Егор Львович

Не слишком: о предметах разных слово
Нередко в языке и не ребят
Одно употребляют.

Саша

Но хотят
Тогда сказать, что сходны те предметы.

Так, только в чем? Для сердца есть приметы,
Как для ума, и слуха, и очей:
С Андреем-голубком усач Андрей
С нависшей на глаза густою бровью
Не видом сходствовал, а той любовью,
Какую находил в обоих я.
«Что вы творите, милые друзья?» —
Увидев гостя, я шепнул, вздыхая,
А посетитель, будто отвечая,
Заворковав, отвесил мне поклон.
«От них привета не принес ли он?
Напоминает моего Андрея:
Такие точно крылья, грудь и шея!» —
Сквозь слезы продолжал я и окно
Открыл — и что ж? казалось, мы давно
Знакомы с ним — не дрогнул он нисколько;
Я крошек на́брал, бросил: «На! изволь-ко! —
Промолвил,— чем богат я, тем и рад».
Он стал клевать — и я забыл свой ад,
Забыл и боль, и грусть, и стыд, и скуку.
Когда же протянул к нему я руку
И на́ руку он сел, в тот миг я мог
За дом родительский принять свой лог.
«Ты будешь мне Андреем! — в восхищеньи
Воскликнул я.— В своем уединеньи
Отныне есть же мне кого любить!»
Но сих отрадных ощущений нить
Прервалась вскоре. «Голубок мой несравненный,
Где спрятать мне тебя?» — и, удрученный
Боязнию, тоскою, что бы тут
Придумать, я не знал; и вдруг — идут!
Душа во мне застыла: от испуга
Платок насилу я успел на друга
Накинуть, но вошел не Чудодей,
Вошел Степаныч. «Барин, не робей! —
Сказал он.— Я пришел тебя проведать.
Да есть ли у тебя что пообедать?
Заторопился что-то мой сосед,
Забыл про вас... Бог с ним! вот вам обед».
Потом старик на стол поставил чашу
Превкусных щей, в горшке крутую кашу
Да с добрым квасом небольшой кувшин.
«Прошу не брезгать! Не велик мой чин,

Но сердце бьется под моей медалью».
Дотоле занятый: сперва печалью,
А после радостью нежданной, я
Не думал об еде; тогда ж, друзья,
Почувствовал, что голоден; да голод,
Сколь ни был я еще и прост, и молод,
С стыдом и гордостью в груди моей
Мгновенья два боролись. «Чудодей
Воротится; не мешкай, кушай, барин!» —
Степаныч молвил. «Очень благодарен,—
Я отвечал, лепеча, покраснев.—
Мне совестно».— «Ну, барин, не во гнев,
О, просто совеститесь по-пустому! —
Он проворчал.— Служивому седому
Обиду захотите ли нанесть?
Извольте кушать: перед вами честь;
Ее не трону».

Священник

Что же вы?

Егор Львович

Рыдая,
Сжимал руками руку старика я.
«Не плачьте! — добрый говорил солдат.—
Пусть бабы плачут; молодец и хват
За срам считали слезы, за бесславье!»
И ложку дал мне: «Кушайте во здравье».
Я начал есть; но гостя голубка
Все помнил — между тем из-под платка
Он вздумал выглянуть. «Смотри, Степаныч,
Какой хорошенький! ⟨но⟩ только на́ ночь
Куда его девать мне? Был бы мне
Он истинной отрадой!.. На окне
Он в руки попадется Чудодею;
Злодей ему свернет наверно шею...
Степаныч, друг мой! я почти жалею,
Что прилетел несчастный голубок».—
«Ххмм! для него нашелся б уголок
И у меня,— сказал солдат с улыбкой.—
Но берегитесь: дядюшке ошибкой
Проговоритесь сами ж».— «Ничего
Не опасайся,— прервал я его,—
Как рыба буду нем! и сизокрылый
Тебя же просит: видишь ли, мой милый?

Он так и кланяется».— «Вечерком,—
Старик промолвил тут,— за голубком
Я стану приходить или вы сами».—
«Да, друг мой, да! Своими я руками
Сам буду относить его к тебе!» —
Так я воскликнул. О своей судьбе,
Тяжелой, горькой, с радости тогда я
Совсем забыл; Степаныча лаская,
Лаская голубка, смеясь, шутя,
Я счастлив был, как может лишь дитя
Быть счастливым.

Священник

Заметить здесь не кстати ль,
С какой премудростью благий создатель
Устроил наше сердце, как средь тьмы
Свой свет нам посылает? Рвемся мы
В отчаяньи, из бед не зрим исхода;
Всё полагаем: жизнь, судьба, природа
В коварном заговоре против нас.
Посмотришь: мы смеемся через час!
Вселенна вдруг стала иной? Нимало!
Спасенья ли светило просияло,
Расторгся ли покров ненастных туч?
И то бывает; чаще же тот луч
Не солнечный — светляк блеснул смиренный,
Но блеск и червя — блеск нам вожделенный.

Егор Львович

Я был ребенком.

Священник

Повторяю вам:
Доколе жертвуем еще мечтам,
Доколе в мире — все мы дети те же.

Егор Львович

Есть исключенья.

Священник

Может быть; но реже
И Феникса. Кто хладен ко всему,
Кто под луной ни сердцу, ни уму
Уже сыскать не в силах пищи здравой,
Кто не прельщен ни счастием, ни славой,

Ни теплотой от алтаря наук,
Тот — срезанный от древа жизни сук:
Он в персях носит семя разрушенья
И на земле не более мгновенья
Останется. Но даже он, пока
Могильщика отрадная рука
В безмолвном граде мирного кладбища
Не отворила мертвецу жилища
Единого приличного ему,—
Пусть он, слепец, и к богу своему
Не прибегает, пусть и в самой вере
Не видит ничего,— по крайней мере
Хотя на миг среди скотских сластей
Забвенье он встречает.

Егор Львович

Да! людей
Знавал и я: Манфреды в разговорах,
Конрады, Лары; в их потухших взорах
Читал я неоспо́римый дово́д,
Что неохота обмануть народ
На них надела страшную личину...
А подадут шампанское, дичину,
Уху, душистый страсбургский пирог —
И тот, кого, казалось бы, не мог
И сам Орфей привесть в движенье,— чудо!
Расцвел внезапно: озирает блюдо,
И взор немой совсем уже не нем;
Хватает нож, однако же не с тем,
Чтобы зарезаться с хандры и скуки;
Мертвец мой ожил: щеки, брови, руки —
Всё движется, и доказал пирог,
Что нашим братом человеком бог
И Лару создал. Но витийства жару
Мне ль предаваться? оставляю Лару.
Бывал не часто дома аудито́р:
Вот почему Степаныча с тех пор
Я навещал прилежно; мой приятель
Метла́ми торговал; его создатель
Невысоко поставил в жизни сей,
Да душу дал ему. Старик Андрей
Нежнее в обращеньи был со мною
И баловал меня, при мне порою
Андрей ребенком становился сам;
Степаныч же не потакал слезам,

Был малодушья всякого гонитель
И боле воспитатель и учитель,
Чем снисходительный товарищ; мне
Почти не говорил о старине,
Почти не поминал о приключеньях,
Какие испытал, о тех сраженьях,
В каких бывал; зато нередко стих
Из Библии, когда из глаз моих
Увидит, что мне нужно подкрепленье,
Натверживал и в грудь мне утешенье
И вера проливалась. Сверх того,
Уроки эти в дар мне от него
Остались на всю жизнь; их на скрижали
Младенческого сердца в дни печали
Он врезал глубоко: затем черты
И не изгладились. Их ни мечты
Отважной юности, ни те обманы,
В которые вдавался, ни туманы
Холодной светской мудрости стереть
Не в силах были. Если ж и бледнеть
Случалось им, их оживляла снова,
То ласкова, то в пользу мне сурова,
Нежданным чудным случаем судьба.
Сурова, тягостна была борьба,
Которой я подвержен был в то время,—
И я погибнул бы, когда бы бремя,
Тягчившее меня, ничем, ничем
Не облегчалось. Позабыт совсем
Родными, в полной власти Чудодея,
И голодом томясь, и грустью млея,
Ограбленный (все лишнее мое
Истратив, уж и платье и белье
Бесстыдный отнял), часто даже битый,
Я только и держался не защитой —
По крайней мере дружбой старика.

Саша

А защитить?

Егор Львович

Могла ль его рука
Бессильная? Однако, если строго
Судить хотите, много, слишком много
Я говорил о разных стариках,

Тем боле что в младенческих летах
Необходимы ж сверстники. Их дома
В семьях, с которыми была знакома
Любившая знакомства мать моя,
И равных мне, встречал довольно я;
Но вдруг: Степаныч, голубок — и только.
Тот птица, а с другим шутить изволь-ко —
Не улыбнется! Наконец и здесь
Товарища нашел я; правда, спесь
Моих жеманных тетушек с испуга
Содроглась бы, когда б увидеть друга
Им удалось, какого я избрал:
Отец Петруши был не генерал,
    Не прокурор, не предводитель,
Хотя бы и уездный,— нет, родитель
Клеврета, друга моего Петра,
Был просто дворник нашего двора.
Сначала я и чванился, но вскоре
Мы сблизились; делили смех и горе
И часто забывали за игрой
Весь мир со всей житейской суетой.

Остановился тут рассказчик юный.
На землю сходит вечер златорунный,
Уходит за обзор природы царь;
Кругом опал, и яхонт, и янтарь,
Пылают облака; дерев вершины
Дрожат и рдеют; медленно с долины,
Белея, катит к городу туман;
Вдали на взморье мрачный великан,
Чернеет башня древнего собора...
И вдруг в беседе живость разговора
Торжественным молчаньем сменена:
В их души льется с неба тишина,
В очах их вижу я благоговенье;
Объяло всех священное забвенье
Пустых приличий. Головой поник
Седой слуга господень... Что, старик?
О чем мечтаешь? Глядя на пучину
Багряной бездны, не свою ль кончину
Воображаешь? Мирной быть и ей,
И ей сияньем сладостных лучей
Тех озарить, которым в час разлуки
Прострешь благословляющие руки!
Безмолвны женщины, шитье сложив,

Блуждают взором средь воздушных нив,
Где в глубине востока в тверди чистой
Прорезал сумрак серп луны сребристой.
Со стула встал хозяин: даже в нем
Зажглося что-то неземным огнем;
Громаду и аптекарева тела
Душа в мгновенье это одолела.
Исчезло солнце; стал тускнеть закат;
С ночных цветов струится аромат;
На дол и холм роса обильно пала.
«Боюсь,— хозяйка наконец сказала,—
За Александру Глебовну... пойдем».
Идут — аптека манит их лучом
Последним, догорающим на крыше;
А позади темнее всё и тише,
И тише и темнее жизнь земли;
И вот в гостеприимный дом вошли.

РАЗГОВОР ПЯТЫЙ

Осенний вечер; блещет камелек,
Перебегает алый огонек
С полена на полено. Стулья слуги
Поставили; уселись наши други:
Огромные их тени по стене
Рисуются. Но между тем вы мне
Позвольте помянуть о старине,
На миг из гроба вызвать дни былые.
Страну я помню: там валы седые
Дробятся, пенясь, у подножья скал;
А скалы мирт кудрявый увенчал,
Им кипарис возвышенный и стройный
Дарует хлад и сумрак в полдень знойный,
И зонтик пиния над их главой
Раскинула; в стране волшебной той
В зеленой тьме горит лимон златой,
И померанец багрецом Авроры
Зовет и манит длань, гортань и взоры,
И под навесом виноградных лоз
Восходит фимиам гвоздик и роз,—
Пришлец идет, дыханьем их обвеян.
Там, в древнем граде доблестных фокеян,
И болен, и один в те дни я жил.
При блеске сладостных ночных светил

(Когда, сдается, на крылах эфира
Привет несется из иного мира;
Когда по лону молчаливых волн,
Как привиденье, запоздалый челн
Таинственный скользит из темной дали;
Когда с гитарой песнь из уст печали,
Из уст любви раздастся под окном
Прекрасной провансалки) редко сном
Я забывался, а мой врач жестокий
Бродить мне запретил. Что ж, одинокий,
Я делывал? Сижу у камелька,
Гляжу на пламя; душу мне тоска
Влечет туда, где не смеялись розы
В то время — нет! крещенские морозы
Неву одели в саван ледяной.
Кто променяет и на рай земной
Тот край, который дорог нам с рожденья?
Однако мы оставим рассужденья...
Несвязный, своенравный, пестрый вздор
Мелькал передо мной; и слух, и взор
Не праздны были; чей-то резвый спор
Мне в треске слышался, и вертограды,
Дворцы, дубравы, горы, водопады
В струях огня живого видел я,—
И что же? вдруг замлела грудь моя;
Из тишины пронесся звук чудесный —
Не струн ли дух коснулся бестелесный?
Ничуть: сосед на флейте заиграл,
Но огонек мой трепетен и мал,
Но в комнате глубокое молчанье;
Вот отчего кругом очарованье,
Вот отчего протяжной песни гул
Стон сладкогласный мне о том шепнул,
Чему названья нет, чего словами
Не выразить: «Все это сны, и снами
В спокойный сон ты погрузишь и нас!»
Итак, короче: в тихий, темный час
Сидеть перед камином мне отрадно.
Затем и благо, что, когда прохладно
В беседке стало и завеса тьмы
Простерлась, можем перебраться мы
В гостиную к аптекарю, к камину;
Здесь мы дослушаем, что́ про судьбину
Нерадостного детства своего
Рассказывает юный гость его.

Егор Львович

Вот так-то я, философ поневоле,
У Чудодея прожил с год. Доколе
Был жив сосед, бывал тяжел порой,
Бывал порой и сносен жребий мой;
Но смерть нежданно без угроз недуга
Последнего меня лишила друга;
К Степанычу однажды прихожу,
И что же? — труп холодный нахожу:
Вдруг умер, как от пули, старый воин.
И тут-то, признаюсь, я стал достоин
Прямого сожаленья. Чудодей
Отвык страшиться бога, да людей
Еще боялся: мой же благодетель
Сосед Степаныч был живой свидетель,
Как обходился он сперва со мной;
Старик слыхал не раз, что сиротой
Я по отце полковнике остался;
Итак, при нем Михеич опасался
Сказать мне: «Ты холоп, я барин твой».
Когда ж скончался покровитель мой,
Тогда я из питомцев стал слугой,
Да и каким оборванным, несытым,
Замученным, тогда лишь незабытым,
Как вздумает мучитель вымещать
На мне досаду.

Аптекарша

Как? а ваша мать
Неужто в год не вспомнила о сыне?

Егор Львович

Ее (потом узнал я) о кончине
Любезнейшего сына Чудодей
Уведомил.

Аптекарша

Но для каких затей
Он сплел такую ложь?

Егор Львович

Не знаю, право;
Да только неспроста же так лукаво:
Какие у меня бумаги есть,

Сначала спрашивал. Добро, что честь
И честность молодца уже в ту пору
Сомнительны мне были. Аудитору
Я отвечал: «Теперь нет никаких,
Но, буде нужно, тотчас при́шлют их».
А сам на чердаке зарыл бумаги.
Поверил он: и трус не без отваги,
Когда бояться нечего,— итак...

Аптекарша

Закрепостить хотел вас? Вот дурак!
Вот глупо!

Священник

Точно; но судить построже:
Не всякий ли, кто долг нарушит, то же?
Платить за что бы ни было душой
(А ею ж грешник платит) счет плохой.

Егор Львович

Не видя боле никакой причины,
Чтобы скрываться, вовсе без личины
Михеич обойтиться положил
И молвил: «Нет охоты, нет и сил
Тебя кормить мне даром. Если хочешь
Не голодать — пускай себя и прочишь
В фельдмаршалы — служи мне. Без слуги
Зачем мне быть?» И тут же сапоги
Мне отдал чистить.

Саша

Что ж ты, друг мой бедный?

Егор Львович

Сперва я вспыхнул весь, а после, бледный,
Трепещущий от гнева и стыда,
Спросил злодея: «В корпус же когда
Меня вы отдадите?» — «Мне нужда,
Мне выгода большая, мой любезный,
Стараться о тебе! Совет полезный:
То делай, что велят; не то — так вон!» —
С усмешкой отвечал нахальной он
И шляпу взял и вышел. «В самом деле,
Чего мне ждать? — подумал я.— Доселе
Была еще надежда, а теперь...»

И в дверь; но, несмотря на речи, дверь
Мучитель запер. Что мне делать было?
Бегу к окну и — отошел уныло:
Наш терем был под самым чердаком,—
Пускай бы был немного ниже дом,
Я чисто выпрыгнул бы из окошка,
Да где тут? А к тому ж, хотя и крошка,
Я рассудил, что худо без бумаг:
«Их должно вырыть. Между тем мой враг
Воротится!» Был труден первый шаг,
Но наконец за рабскую работу
Я принялся. Вот он пришел; заботу,
С какой исполнил я его приказ,
Лукаво похвалил; потом, пролаз,
Про корпус помянул и дал мне слово,
Что станет хлопотать. Дитя готово
Надеяться и верить; в грудь детей
Не может вкрасться ядовитый змей
Ничем не одолимых подозрений.
Так мудрено ль, что сетью ухищрений
Он вновь меня опутал? С сего дня
Холопом быть он приучал меня.
Уже и чувств и мыслей униженье
Грозило мне. Когда бы провиденье
Не пробудило духа моего,
Быть может, я дошел бы до того,
Что лучшей и не стоил бы судьбины.
Так мошка рвется вон из паутины,
Но глубже вязнет в гибельной сети:
Пусть даже выбьется, уж и нести
Ее не могут сломанные крылья;
И вот, недвижна, бросила усилья,
Избавиться уж и желанья нет.
Уж без участья я смотрел на свет
И на свободу. Падая, слабея,
Порой я думал: «Кинуть Чудодея?
Но что в огромном городе найду?
К кому прибегну? Горшую беду,
Наверно, встречу! Мне ль бродить с сумою?
Чем нищим, все же лучше быть слугою».
И я... но что с тобою, Саша?

Саша

Вздор!
Грусть на меня навел ты, друг Егор.

Егор Львович

Охотно верю; да почти иначе
И быть не может: твердость в неудаче,
В страданьи крепость, мужество в бедах
Для слушателя пир: восторг, и страх,
И радость, и печаль, и удивленье
В таком рассказе ускоря́т биенье
Сердец нечерствых. Но бессилье грех,
Который производит или смех,
Когда не важен случай, или скуку,
Уныние и грусть, когда про муку
Мы слышим и не слышим ничего,
Что бы для нас возвысило того,
Кто мучится.

Саша

А твой Пилад? твой Петя?

Егор Львович

Переменился. Вскорости заметя,
Что совершенно я сравнился с ним,
Он счел ненужным прихотям моим
Так угождать, как угождал дотоле:
«Да чем меня знатнее ты и боле?
По крайней мере не лакей же я».
Он даже раз мне молвил, не тая,
Что все рассказы про мое семейство
Считает сказкой. Кажется, злодейство
Ему скорее бы простил тогда,
Чем эту выходку. С тех пор вражда
Едва ль не заменила между нами
Бывалой дружбы. Между тем за днями
Тянулись дни; я стал угрюм и тих;
Последний блеск погас в глазах моих;
Как груз меня давила жизнь. Однажды
(К развязке приближаюсь) бесу жажды
Неистовый Михеич приносил
Усердно жертвы и тем боле сил
Ей придавал, чем боле в горло лил;
Он обо мне в подобном исступленьи
Не помышлял, а в важном размышленьи
Просиживал по суткам где-нибудь,
Вздыхал и облегчал икотой грудь
И с видом совершенного незлобья

На небо очи перил исподлобья.
Вот третий день почтенный ментор мой
Не мыслит даже приходить домой.
Когда бы мне хоть хлеб сухой оставил,
Я не роптал бы, что меня избавил
От сладостной своей беседы. Но...

Аптекарша

От сладостной своей беседы!

Егор Львович

Вам смешно?
Клянуся: вовсе не смешно мне было.
Я голодал, а на меня уныло
Глядел мой голубок: уж и его
Я не кормил. С неделю до того
Меня спросил Петруша: голубочка
Я не продам ли? Если бы не бочка
Большая во дворе (за нею плут
Успел укрыться), я Петрушу тут
Прибил бы за такое предложенье.
Свое единственное наслажденье,
Свою отраду мне ему продать!
И это смеет мне он предлагать,
Он, сын мужицкий, уличный мальчишка!
То было спеси умиравшей вспышка,
Ее живой да и последний свет;
Но он потух, но уж и дыму нет:
Не свой брат голод. Грустью отягченный,
Свирепою нуждою побежденный,
По тягостной борьбе схожу с крыльца
И — к Пете. Бледность моего лица
Петрушу поразила: «Да что с вами? —
Сказал он мне и на меня глазами
Взглянул, в которых не было следа,
Что помнит нашу ссору.— Мне беда,
Когда увижу в ком-нибудь кручину!
Егорушка, нельзя ль узнать причину
Печали вашей? Не больны ли вы?» —
«Нет, Петя! Только от своей совы,
От филина лихого, Чудодея,
Мне голубка не спрятать...— так, робея,
Промолвил я.— Возьми его себе:
Уж лучше друга уступлю тебе,
Чем...» — досказать хотел я; сил не стало.

Обрадовался Петенька немало
И мне полтину отсчитал тотчас.
Напрасно останавливать мне вас
На том, что ощущал я при разлуке
С любимцем; верьте, даже и о муке
Голодного желудка я совсем
Было забыл. «На, Петя! только с тем,
Чтоб ты любил его, берег и холил!
Да чтоб и мне хоть изредка позволил
Кормить его!» — шепнул я наконец.
«Пожалуй! — да не бойтесь: молодец
Сыт будет и у нас». «Так, так! сытее,
Чем у меня!» — я думал и скорее
Отворотился, чтоб тоски моей
Не видел мальчик: слезы из очей
Уж брызнули. Но, голодом томимый,
Я вновь услышал вопль неумолимый,
Который стоны скорби заглушил:
Я со двора за хлебом поспешил,
И вот купил на всю полтину хлеба
И возвращался. Блеск и ясность неба,
Рабочих песни, над Фонтанкой шум
И крик веселый бремя мрачных дум
С души моей снимали; на ходу я
И голод утолил. Грустя, тоскуя,
Но мене, медленно я шел домой:
Все радостно светлело надо мной,
Кругом меня все двигалось, все жило,
Все было счастливо. Я о перило
Оперся, стал и в зеркало воды
Глядеться начал. «Горя и нужды
Мне долго ль жертвой быть?» — я мыслил; что же?
Вдруг хлеб мой бух в Фонтанку! «Боже! боже!» —
Я вскрикнул и — за ним! Схватить ли мне
Хотелось или... Как о страшном сне,
Так чуть мне помнится о том мгновеньи;
Но предо мною и в глухом забвеньи
Какие-то ужасные мечты
Мелькали, будто в бездне темноты,
В ненастной ночи частые перуны;
И, мне сдавалось, лопнули все струны
Растерзанного сердца моего...
Потом уж я не взвидел ничего.
«Что? жив ли?» — вдруг в ушах моих раздалось,
И — холодно мне стало: возвращалось

Мое дыханье; я открыл глаза...
Сперва (и смутно) только небеса
Увидел, узнавал я над собою;
Но вот заметил, что народ толпою
Стоит кругом, что где-то я лежу
На камнях. Поднимаюсь и гляжу,
Но всё еще каким-то плеском шумным
Я оглушен и с взором полоумным
Бег мыслей спрашиваю: «Где я?» — «Где?
На набережной ты, а был в воде»,—
Так голос тот, который и сначала
Мне слышался. Смотрю — и генерала
Какого-то я вижу: весь седой,
Однако бодрый, с Аннинской звездой,
С Георгием, старик передо мной,
Исполненный участья и заботы,
Стоял и напоследок молвил: «Кто ты?» —
«Егор Е....вич».— «Ты Е....вич? нет?
Неужто!» — «Точно так»,— был мой ответ.
«Сын Льва Егорыча?» — «Его». И, бледный,
Он отошел со мною. «Мальчик бедный!
Не бойся, говори! с отцом твоим
Служил я; правда, мы расстались с ним
Давненько, братец, да во время службы
Друзьями были; не забыл я дружбы,
Услуг, прямого нрава старика!»
Рассказывать я начал; он слегка
Покачивал в раздумьи головою
И пожимал плечами, а порою
И взглядывал на небо. Кончил я;
Он молвил мне: «Егор, судьба твоя
Должна перемениться; свел с тобою
Меня недаром бог: тебя пристрою,
Определю тебя. Мне недосуг,
Но по тебя сегодня же, мой друг,
Заеду я, а между тем покушай.
(И втер мне в руку деньги.) Да послушай,
Благодари небесного отца:
От грешного, ужасного конца,
От гибели господь тебя избавил.
Прощай! — Садясь на дрожки, он прибавил: —
И жди меня».

Саша

Ну, слава богу, ты,

Я думаю, теперь из темноты
На свет же выдешь, и, признаться,— время.
Меня давил рассказ твой, словно бремя:
Бедняжка, сколько ж ты перетерпел!

Егор Львович

Довольно; но страдания удел
Не всех ли здесь в подлунной?

Саша

Мене, боле,
По мере нужд и сил, а вышней воле
Угодно так из века, чтобы мы
Все пили чашу горя. После тьмы
И солнце кажется на небе краше,
И только после скорби сердце наше
Всю благость бога чувствует вполне.

Егор Львович

Немного досказать осталось мне.
Приехал вечером мой избавитель
И взял меня. Он, сча́стливый родитель
Детей прекрасных, счастливый супруг,
Меня одев получше, ввел в их круг.
«Вот братец вам»,— промолвил он, и братья
С младенческою радостью в объятья
Пришельца приняли; его жена
Мне стала матерью: добра, нежна,
Заботлива, меня ни в чем она
От собственных детей не отличала.
Вот так-то жил я в доме генерала,
Пока меня не отдал в корпус он.
Но до того еще однажды стон
И слезы мне послало провиденье:
Мы скоро получили извещенье,
Что матушка скончалась, и по ней
Я долго плакал.

Аптекарша

А ваш Чудодей?

Егор Львович

Про Чудодея ничего не знаю,
Да виделся же с ним, так полагаю,
Второй отец мой, добрый генерал:

Был именинник я, и он позвал
Меня в свой кабинет; иду — и что же?
Там ждал меня подарок — боже! боже!
Мои часы, часы, по коим я
Тужил и в счастьи!.. Вот они, друзья.

Он снял часы; рассматривать их стали,
И кончил про минувшие печали
Наш юный витязь длинный свой рассказ.

Совсем ли потеряю я из глаз
Егора Львовича? Еще ли раз
С ним встретимся? А ныне надо мною
Мечты иные резвою толпою
Поют и вьются: к ним склоняю слух...
Над древней Русью носится мой дух...
Не улетай же, легкий рой видений,
Народ воздушный, племя вдохновений!
Пусть в тело вас оденет звучный стих,
Раздался гром над морем нив сухих;
Так! собирается гроза в лазури...
Но не расторгло бы дыханье бури
Напитанных обильем облаков!
Но не развеяло бы вещих снов
Дыханье жизни хладной и суровой!
О! если бы желанною обновой
Обрадовал меня и оживил
Мой верный пестун, ангел Исфраил!

1833—1834

ПРОКОФИЙ ЛЯПУНОВ

Земляной и часть Белого города заняты русскими; Кремль еще в руках поляков.

ДЕЙСТВИЕ I

СЦЕНА 1

В Москве на Арбате. Ночь. В простой избе Прокофий диктует. Феодор Ляпунов и Кикин пишут. На столе шлем Прокофья.

Прокофий

«Разбойный и земской приказ устроить,
Как прежде смут то было на Москве,
А кто кого убьет без приговора
Земского, самого того казнить».
Статья последняя: «Бояр же тех
Для всяких дел земских и ратных мы
В правительство избрали всей землею,
А буде те бояре не учнут
По правде делать дел земских и ратных
И нам прямить не станут, вольно нам
За кривду их сменить и вместо их
Иных и лучших выбрать всей землею».
Вот, Кикин, главное, о чем просить
Земскую думу надоумить должно.

Кикин

Заруцкий взбесится.

Феодор

Пускай себе!

Кикин

И князь не всем доволен будет.

Прокофий

Князь?

Кикин

Князь Дмитрий Тимофеич, твой товарищ.

Феодор

Боярин Тушинский!

Кикин

Так; но в чести
И силе он у всех, кто познатнее,
Кто починовнее, в земских полках;
И, впрочем, добрый человек.

Феодор

Добрейший!
Из тех, которых (только спеси их
Умей польстить) любой злодей и вор,
Что лошадь, оседлает и погонит.

Прокофий

Ты весь в отца: как он, смышлен и боек,
Зато, как он, и злоречив. Где он?
По милости Московского синклита,
Быть может...

Феодор

На отца надеюсь: их
Он проведет.

Прокофий

Гонсевский не дурак,
Не глуп Михайло Салтыков, пронырлив
Андронов, их делец.

Кикин

Да князь Мстиславский
Не даст им веры.

Прокофий

Воли им не даст?
Зарезан ими князь Андрей Голицын,
В темнице душной старец Гермоген,
Вся выжжена с конца в конец столица,
Разграблены сокровища царей;
А что Мстиславский? подписью скрепляет

Доносы королю, на первом месте
Сидит в синклите, кормит и поит
Гонсевского... Однако люди нужны —
Бог не без милости; надеюсь сам,
Захарья ускользнет из их когтей.

Феодор

Володя, говорим и говорим,
А между тем ведь дяде нужен отдых:
Всех впереди он до ночи глухой
Сражался, бился, разгромил злодеев,
Втоптал их в Кремль — и что ж? не сняв и лат,
Идет и за перо — и к свету нам
Устав готов спасительный и мудрый.

Прокофий
(встает)

Рязанцев, Кикин, соберешь, прочтешь
Всем головам и сотникам бумагу,
О мне ни слова, будто от себя.
Признаться, бражничества не терплю;
Да так и быть: пускай зовут на пир
Людей Заруцкого и Трубецкого.
Хозяевам за труд вчерашний дать
Вина и пива.

Феодор

Чтобы лучше им,
Беседуя с гостями дорогими,
Земское дело вместе обсудить?

Прокофий

Прощайте, дети.

Уходят Феодор и Кикин.

На тебя узду
Накину, наглый атаман, грабитель!
Ты выгнан из Литвы; еще вчера
Ты был разбойником, вторым Лисовским,
И резал православных христиан,
А ныне ты защитник православья,
Боярин, вождь, правитель христиан!
Всевышний да не внидет в суд со мною,
Что для спасения родной земли
Не презрел я подобного орудья!

В наш грешный век кто чист? Сравнить нельзя
С Заруцким Трубецкого: князь Димитрий
Не без достоинств — да! но как же слаб
И сколько и на нем бесславных пятен!
Что ослепил нас дерзостный расстрига,
Простительно: святое имя он
Употребил, и первый; сверх того,
И человек-то был, каких немного.
Но родовым быть князем, но гордиться
Своими предками, но знать обман —
И подлому обманщику служить,
Мерзавцу, трусу, Тушинскому вору,—
Вот для меня загадка!

(Сел.)

Впрочем, я
За слабость никому не судия;
Иной, быть может, и меня осудит,
Пред Шуйским, может быть, и я не прав:
Поверил я, что он убийца сына,
А на поверку вышло — клевета;
Увлекся я горячим, бурным сердцем
И согрешил; всё ж не из низких видов.

(Засыпает.)

При последних словах входят Ольга и мальчик.

Ольга

Заснул ли он?

Мальчик

Боярыня, заснул.

Ольга

Да! бурно это сердце, но горит
В нем чистая любовь к земле родимой;
В нем нет и места для любви другой...
Прибежищу, покрову всех скорбящих,
Царице неба, деве пресвятой,
Прокофий, за тебя и день и ночь
Я, грешница, молюсь. А ты, жестокий,
Ты, кажется, меня совсем забыл!
Зачем тоской не делишься со мною?
Скажи мне: Ольга злее ли Литвы
И хуже ль и Заруцкого? О них
Ты мыслишь целый день и, засыпая,
Твердишь о них, о них... Желать почти

Могла бы я, чтоб ненавидел ты
Сиротку Ольгу... Ты бы хоть подумал
Тогда о ней, хоть раз в неделю вспомнил!
О, как глупа я! Мной ли заниматься
Ему, когда на рамена его
С своей судьбой оперлась Русь святая!

Начинает светать.

Голоса за сценой

— Впустите.
— Прочь! не велено: назад!

Ольга

Кто тут шумит? покоя не дадут!

Мальчик
(подходя к дверям)

Боярин почивает: тише!

Голос

Мальчик,
Вели впустить: есть дело у меня
До воеводы.

Мальчик

До утра, земляк,
Повремени: всю ночь писал боярин,
Работал, а вчера до самой ночи
С Литвою бился, не сходя с коня.

Ржевский
(оттолкнув часовых, входит)

Прочь! говорят, впустите! место дайте!

Прокофий
(вскакивая)

А! что такое?

Сотник

Мы его держали.

Прокофий

Да, знать, не удержали: молодцы!
За дверь ступайте. Кто ты? Как ты смел
Войти насильно?

Ржевский
(сбрасывая охабень)

Как я смел, ты видишь.

Прокофий

Защитник Брянска, Ржевский?

Ольга
(вполголоса)

Брат Иван!

Ржевский

Защитник Брянска, тот, кому господь
(За грех ли тяжкий) не дал защитить
Бессрамной, древней части рода Ржевских;
Тот, кто в плену тяжелом изнывал,
А между тем правитель православных,
Избранный на защиту беззащитных,
Сестру страдальца гнусно обольстил
И Ржевских честный дом покрыл бесчестьем.

Прокофий

Мне эта сказка глупая известна.
Но к обольстителю своей сестры
Зачем приходит Ржевский?

Ржевский

В этих жилах
Не кровь, а молоко, когда пришел
Не за твоею кровью я.

Прокофий

Ты искрен
По крайней мере; в польском полону
Ты кой-чему и научился; но —
Мы русские, и поединки, видишь,
Еще у нас в обычай не вошли.
А сверх того, измерь меня глазами:
Под русским небом только одного
Соперника по силе мышц я знаю —
Захарью Ляпунова: он мне брат.

Ржевский

И ты еще смеешься надо мною?

Прокофий

Нимало; только я с тобой не бьюсь.
Сядь, выслушай и будь моим судьею.

Ржевский

Женись на Ольге.

Прокофий

Я на ней женат.

Ржевский

Тогда вели мне голову отсечь
Бессмысленную с этих буйных плеч.
Вопрос последний: где же ныне Ольга?

Прокофий

Здесь.

Ржевский

Здесь?

Прокофий

Бедняжка и дрожит, и млеет,
Рыдает,— слышишь ли? — а всё не смеет
К нам подойти.

(Ольге)

Что, Ольга? что, душа?
От сердца отлегло ли? К нам, в объятья!
Ты видишь: мы опять друзья и братья!

Ольга

Как мог ты?

Ржевский

Прочь! мы братья? мы друзья?
Сестра моя в распутном, буйном стане?
Нет, не солгали же; клянуся: в ней
Нельзя признать мне ни жены твоей
Законной, честной, ни сестры стыдливой
Ивана Ржевского!

Прокофий

Ты, брат, строптивый,
Заносчивый безумец. Но, любя

Жену, как душу, пощажу тебя.
К тому же позабуду ль об услуге,
Какую ты, отважен и удал,
Земле родимой в Брянске оказал?
Так слушай: дряхлый твой отец в Калуге
По приказанью самозванца пал...

Ржевский

Не растравляй хоть старых ран сердечных;
И с новых тяжко.

Прокофий

Выслушай меня!
Ей, Ольге, вымолила жизнь Марина,
Взяла ее к себе. Затем и вскоре
Урусовым обманщик был убит;
И вот Мариной завладел Заруцкий.
Я между тем поднялся, кликнул клич:
Сошлись вожди, в числе их и Заруцкий.
Тут у Марины Ольгу встретил я;
Мне стало больно, жаль ее мне стало;
Я от Марины, кто она, узнал
И настоял и выручил сиротку
И — с нею обвенчался.

Ржевский

Уверяй!
Клевещут? Повод подаешь к злословью:
Зачем жену за войском водишь ты
Не по обычаям отцов и дедов?

Прокофий

Обычаи отцов, без спору, святы;
Но не всегда возможно и тому,
Кто сердцем предан им, в годину скорби,
Разврата, беззаконья, мятежей
Без нарушенья сохранить их святость.
России нужен я; а признаюсь,
Не снес бы плена Ольги: здесь и бурно,
Да безопаснее, чем где-нибудь.

Ржевский

Не верю: отпусти ее в Рязань.

Прокофий

Не так ли? чтоб в пути перехватили?
Глупец ты! не гневи меня, ступай!

Ржевский

Умен ты, посрамитель женской чести!
Прощай: глупец идет; однако вести,
И скорой, от меня ты ожидай!
(Уходит.)

Прокофий

Ты плачешь, Ольга, друг ты мой сердечный?
Несправедлив твой брат; но, даст господь,
Опомнится. Иди в свою светелку,
Молись, и да утешит бог тебя!

Ольга уходит.

Прощай, душа!.. Пойти мне к Трубецкому,
Авось удастся: преклоню его
Уставу не противиться земскому.

СЦЕНА 2

Табор. Заруцкий, Просовецкий, Заварзин, переодетый казаком поляк Хаминский. Слышны песни пирующих казаков и ратников.

Просовецкий

Не удалось: не тайно, не врасплох,
Нет, силою к нему вломился Ржевский.
Прогнали молодца. Теперь дурак,
Хотя не слишком верит, что Прокофий
Женат на Ольге, вздор такой несет,
Что уши вянут: «Жертвовать России
Я всем обязан,— вот он что поет,—
И самой тяжкою обидой личной».

Хаминский

Вот истый римлянин в наш век развратный!
Vir generosus, fortis anima! *
Ха! ха! ха! ха! Привел же бог услышать
Под старость лет такую чепуху,

* Великодушный муж, сильный духом! *(лат.)* — *Ред.*

Какой я и у хитрых езуитов
Не слыхивал. Случалось, патер Чиж
Порой и выхваляет стариков,
Которых жизнь нам описал Плутарх,
Да никогда не опускал примолвить:
«Язычники! и жарятся в аду
За слепоту, за гордость. Всех их выше
Святый Франциск Ксаверий».

Заварзин

Атаман...

Просовецкий

Не атаман — боярин-воевода;
Прошу не забывать.

Заварзин

Пожалуй! Но
Ему, боярину, скажу одно:
Плутарха мы не знаем; впрочем, верю,
Что плут и архиплут, как все ксендзы;
Да дело в том, что ведь казак Мартыныч,
От ереси латинской он отстал,
Так вряд ли ксендз Плутарх ему поможет;
А если не поможет сам себе,
Боярствовать ему не долго.

Заруцкий

Знаю,
Старик, о чем ты хочешь говорить...

Несколько стрельцов и казаков навеселе; есаул Чуп, его поддерживает стрелецкий сотник.

Чуп

Сердит, а молодец, где только схватка,
Где рубятся! Да вот тебе Христос:
И наш не промах! Э! хе! хе! Ты здесь,
Мартыныч, здравствуй!

Заруцкий

Здравствуй, дядя Чуп.
Гуляете?

Чуп

Гуляем и гарцуем!

Москали Ляпуновские поят
Нас на убой... Брат, разливное море!
Ты любишь Ляпунова? а?

Заруцкий

Люблю.

Чуп

Так выпей же и ты за Ляпунова!

Заруцкий

Охотно. Много лет!

Чуп

Спасибо, пане!
И за тебя вот выпьем мы теперь
По чарочке.

Заруцкий

Благодарю вас, хлопцы.

Чуп

И грамотку (ну, знаешь?) подписали
Мы, есаулы. Нас с поклоном всех
Прощали Ляпуновские москали,
И мы не отказали; да и грех
Отказывать: написано красно.
И ты подпишешь?

Заруцкий

Посмотрю.

Чуп

Чай, глазки
Повыпялишь и станешь разбирать?
А мне не надо: я готов за ласки
Сто тысяч, пане, грамот подписать.
Прощай, Мартыныч.

Заруцкий

С богом!

Уходят казаки и стрельцы.

Просовецкий

Про какую,

Скажите, грамотку толкует он?

Заварзин

Про грамотку такую, Просовецкий,
Что сгубит воеводу, да и нас.
Принес я список.

Просовецкий

Подавай: прочтем!

Заварзин

Да как-нибудь придумаем втроем,
Как под подкоп злодея Ляпунова
Нам свой подвесть. Не должно мешкать нам,
Предупредим его; или не дам
(Вот бог тебе, боярин!) ни копейки
За наши три головушки и шейки.

Заруцкий

Бумагу, Просовецкий, можешь взять;
К себе домой ступай ты с нею. Знаешь,
Не грамотей я; ты ее прочти
Внимательно, размысли содержанье,
Потом мне перескажешь. Между тем
По табору побродим мы, посмотрим,
Как молодцы пируют.

Просовецкий

Лестно мне
Доверье воеводы.

Заруцкий

До свиданья.

Просовецкий уходит.

Вот человечек: пуст, как шелуха!

Заварзин

А в атаманы вышел!

Заруцкий

С рук нарочно
Я сбыл его: не для него, о чем
Осталось нам поговорить.

Заварзин

Бумага...

Заруцкий

Я не читал ее и не прочту.
Да нет нужды: о ней давно я ведал
И нынче же к ней руку приложу.

Заварзин

Помилуй!

Заруцкий

Не пугайся. Пьяный Чуп,
Ей-богу, прав: сто тысяч грамот смело
Подписывай; слова еще не дело.
(Хаминскому.)
Решился ли Гонсевский?

Хаминский

Он не прочь,
Да приуныл с вчерашней неудачи.

Заруцкий

Неужто?

Хаминский

И твердит, что казакам
Пристать было в пылу сраженья к нам.

Заруцкий

Конечно, и тогда бы вы, быть может,
Не *уцекали добрже*...* Ха! ха! ха!

Хаминский

Тут не к чему смеяться: нет бесчестья
Такому многолюдству уступить.
Но ты...

Заруцкий

Но я, Хаминский, не намерен
Для пана Александра с головой
Расстаться. Мне пускай спасибо скажет,
Что мы по крайней мере бились с ним

* Хорошо утекали (отступали)... *(польск.) — Ред.*

Довольно плохо. Если бы не я,
Не в Белый город вторглись бы москали,
А в самый Кремль. Я хлопцев удержал
Едва-едва; судом казачьим даже
Грозили мне, а суд казачий, брат,
Короток... С ними я стравлял Прокофья;
Ему и горя мало: в ус не дует!
Околдовал их — мне беречься должно.
Однако... Да! Гуляют молодцы...
Поит их Ляпунов, чтоб подписали
Его премудрость... Хорошо! Ты здесь
Повысмотрел наш табор? На Арбате
Стоит Прокофий: гряньте на Арбат,
Сегодня же под вечерок, дружнее;
Сегодня нас застанете врасплох.
Схватите Ляпунова, изрубите,
От Ляпунова, ради всех святых,
Меня избавьте! — без него, ручаюсь,
И казаков склоню я. Только чур:
Не нарушать условья.

Х а м и н с к и й

Пани Мнишек
Довольна нами будет.

З а р у ц к и й

Сам ты пан.
А в Кремль назад найдешь ли, брат, лазейку?

Х а м и н с к и й

Найду.

З а р у ц к и й

Прощай.

Уходит Хаминский.

Ну, видишь, Заварзин?

З а в а р з и н

Так, атаман; да только если, если...

З а р у ц к и й

Не повезет? Не без запаса я.
Да расскажи, что Троекуров пишет?
Его гонец?

Заварзин

Жить долго приказал.

Заруцкий

Проворен ты... Опять ватага валит.
Пойдем.

Заварзин

Доносит Троекуров, что...

Уходят, вполголоса разговаривая; входят стрелецкий рязанский голова, голова стрелецкий прежних Тушинских дружин, еще стрелец и француз, служащий в немцах, в рати Трубецкого, потом Ржевский, который останавливается отдаль, не замеченный прочими.

Тушинский голова

Что правда — правда: крут ваш Ляпунов,
Веревка у него за ослушанье,
Веревка за насилье, за грабеж,
За буйство та ж проклятая веревка.
Вдобавок горд: бывает, что в прихожей
Прождет и голова, и сын его,
Да и боярин; не велит к себе
Пускать в избу — и только!

Рязанский голова

Тут не гордость:
Дела, заботы — занят день и ночь;
Не хочет, чтоб мешали.

Стрелец тушинский

Чтоб мешали?
Пустое! Он ревнив: ведь у него
Живет красотка; за нее боится,
Ее хоронит.

Второй голова

Что ж, жена его.

Первый голова

А разве видел ты, как их венчали?

Второй голова

Не видел, да слыхал.

Первый голова

То-то и есть!

Ржевский поспешно уходит.

Те часовые живы ли, скажи,
Которых бешеный осилил Ржевский?

Второй голова

И живы, и здоровы.

Первый голова

Мудрено.

Второй голова

Ничуть. Вот что Прокофий говорит:
«Меня пускай обидят — не взыщу.
Обидеть же присягу берегитесь,
Да берегись обидеть земледельцев
Несчастных, разоренных: я за них
Жестокий, непреклонный, грозный мститель».

Француз

Поквально! Sacrebleu! * Henry **, король наш
(Ma foi! *** Большой, славный король)... ему
Служиль я вместе с Jacques de Margéret ****,—
Henry наш то же самое твердиль.
Mais ***** с дамами Henry горaз ушивей.

Стрелец

А что такое дамы?

Француз

Дами? Dames ******.
Боярини по-русску.

Второй голова

Чем же, брат,
Невежлив с ними храбрый воевода?

---

* Черт возьми! *(фр.)* — *Ред.*
** Генрих *(фр.)*.— *Ред.*
*** Ей-богу! *(фр.)* — *Ред.*
**** Жак де Маржерет *(фр.)*.— *Ред.*
***** Но *(фр.)*.— *Ред.*
****** Дамы *(фр.)*.— *Ред.*

Француз

Невежлив. Je comprends *. Сказали мне:
Тот сумасшедша, тот cerveau brulé **,
Буль брат жена Messere *** Прокопа.

Первый голова

Ну?

Француз

Бранились оба ошень, а молшать
Своей бояриня велел Прокопа.

Второй голова

И дело: не вступайся в ссоры мужа.

Француз

En France **** ушив обышай: дами нас
Мирят и ссорят.

Стрелец

Хороши! Да что
И говорить? Сплошь нехристи все немцы.

Второй голова

Бумагу ты подпишешь?

Первый голова

Так и быть;
А только согласись, что крут Прокофий.

Второй голова

Пожалуй, братец, в самом деле был
Приветливей покойный Скопин-Шуйский!

Стрелец

Да! царствие небесное ему!
Сердечный был надежа-воевода.

Первый голова

По нем рыдали самые враги.
Его злодейка тетка опоила?

* Я понимаю *(фр.).— Ред.*
** Сумасброд *(фр.).— Ред.*
*** Господин *(фр.).— Ред.*
**** Во Франции *(фр.).— Ред.*

Второй голова

Не знаю: общий слух; а впрочем, брат...

Входят Захарья, Ляпунов и еще кто-то.

Захарья

Здорово, молодцы!

Второй голова

Захар Петрович,
Тебя ли видим? Ты ли то, родной?
Не чаяли...

Захарья

Увидеться со мной?
Да бог привел. Где брат?

Второй голова

У Трубецкого.

Захарья

Что смотрите? Не на него ль, шального?

Второй голова

Вестимо.

Захарья

Мне приятель дорогой.
Скажи им, Ванька, кто ты?

Ванька

Нет, спою.

Захарья

Так, спой.

Ванька

Как в Московском царстве,
В русском государстве
Жил-был скоморох.
Был плясун проворный,
Был певун задорный
Ванька-скоморох!
Вдруг не стало шуток!
Песен, прибауток;
Только ох да ох!

Ах! с тоски, с кручины
Тоне стал лучины,
Весь исчах, засох!
А с какой причины
Точат грудь детины
Плач, и стон, и вздох?
Али кем обижен?
Белый царь пострижен.
Свел царя холоп,
Свел в тюрьму с престола...
Ох! святый Никола!
Лечь бы в темный гроб!

Захарья

Ты видишь: прежний шут царя Василья,
Теперь же полуумный и блажной.
Сидели вместе в той же мы темнице:
За песни он, которые, шатаясь
По улицам, юродствуя, певал;
Я — не за песни. Смерти ждали мы:
Уж был и день назначен; что же? Я
Стряхнул оковы, выломил решетку,
Освободил и шу́та, и себя.
Признателен мошенник: песню в честь мне
Успел сложить! Да полно вздор молоть —
Пора, пусть кто-нибудь меня проводит
К боярам-воеводам. Их не грех
(Скажу я мимоходом) уподобить
Орлу и лошаку и осетру,
Которых бы в одну впрягли телегу:
Тот тянет вверх, тот вниз, а осетер,
То есть Иван Заруцкий, прямо в воду.

СЦЕНА 3

Великолепный шатер Трубецкого, Трубецкой, Прокофий Ляпунов, Заруцкий, боярин Иван Салтыков, окольничие князь Иван Голицын и Артемий Измайлов, князья Волхонский, Литвинов, Масальский; Просовецкий, Заварзин. Посреди стол с бумагами; за пологом в другой половине готовят обед. При первых словах Трубецкого Феодор вызывает Прокофия Ляпунова, который выходит и шепчется с братом вне ставки.

Трубецкой

Я бы согласен, и никто, надеюсь,

Не обвинит меня в насильях тех,
О коих здесь помянуто.

Измайлов

Никто.
Князь Дмитрий Тимофеич,— бог свидетель!

Трубецкой

Благодарю, Артемий, но...

Просовецкий

К чему
Отдать себя на волю этой думы,
Которая не нами созвана?

Голицын

Не всеми нами.

Трубецкой

Сверх того скажу:
Нет в думе голосов мужей синклита,
Больших, старинных, родовых бояр.

Заруцкий

Ведь Ляпунов нам объявил о них,
Что все они прельстились славой века,
От бога отступили и к врагам
Жестокосердым западным пристали
И обратились на своих овец.

Измайлов

Смеешься, атаман, а прав Порфирий:
Свободный голос трудно им подать;
Они в Кремле в опеке Сигизмунда.

Входят Ляпуновы.

Трубецкой

Нет подписи святителей великих.

Прокофий

Что до святителей, князь Трубецкой...
В темнице страстотерпец Гермоген,
Но вот Захарья, от него посланник...
Бежал из-под секиры из Кремля...
Он сам сидел в оковах, но нашел

К устам и уху патриарха путь.
Желанье думы знает патриарх
И письменно прислал свое благословенье.
Князь, почерк ведаешь его руки:
Тут нет подлога.
(Подает бумагу.)

Трубецкой

Кто же о подлоге
И мыслить может?
(Прочитав, крестится и целует бумагу.)
А! Захар Петрович!
Добро пожаловать! позволь в тебя,
Гость дорогой, всмотреться. Мы давно
(Всему виною старый шубник Шуйский)
С Москвой расстались; в люди вышел ты
Без нас, приятель; много про тебя
Слыхали, да в лицо тебя теперь
Впервые видим... Честь тебе, Захарья!
Ты разом кончил то, что с Шаховским
И Телятевским мы предпринимали,
За что погиб Болотников; ты свел
С престола недостойного Василья.

Прокофий

Оставим, князь. Хотя и сам я был
Клевретом брата, а хвалиться нечем.
Чем отдавать в добычу полякам
Родную землю... Впрочем, царь Василий
Сам виноват — был слишком мягок, слаб:
Срубить бы было голову Захарью
Да голову Прокофью и другим —
Сидел бы и поныне он на царстве.

Захарья

Спасибо, братец!

Прокофий

Не за что.

Заруцкий

Шутник
Наш воевода.

Захарья

Здравствуй, пан Заруцкий!

Мы резались с тобой когда-то.

Заруцкий

Да;
А, кажется, теперь друзьями стали.

Захарья

Надолго ли?

(Измайлову.)
Артемий, старый друг!
Ты лучше новых двух, как говорится.
(Голицыну.)
Челом от брата, князь Иван Васильич!
(Другим.)
Поклон тебе, князь Федор; да и вам
Нижайший, князь Козловский, князь Литвинов!
Да полно: до поры я отложу
Приветствия... Нахмурился Прокофий.
Мешать не должно.

Прокофий

Дмитрий Тимофеич,
Подпишешь ли бумагу?

Трубецкой

Я не прочь;
Но что другие скажут?

Заруцкий

Я согласен,
И мой совет: скорее подписать.

Просовецкий

Заруцкий...

Заварзин
(вполголоса)

Тсс! ни слова, Просовецкий!
Подписывай.

Просовецкий

Да, братец, на себя
Сам нож подам.

Заварзин

Молчи! Заруцкий знает,
Что делает.

Просовецкий

Не понимаю вас.

Заварзин

Поймешь.

Измайлов

Иван Мартыныч, ты согласен?

Заруцкий

И очень.

Измайлов

Искренно. Я от тебя
Никак не ожидал...

Заруцкий

Чего? помилуй!
Отныне никому не уступлю
В усердьи к общей пользе.

Измайлов

Дай-то бог!

Трубецкой
(подходит к столу)

Мне ото всех не отставаться, братцы!
Быть по сему: приложим руку.

За ним подписывает Прокофий.

Заруцкий

Брат,
Моя наука — сабля; не далось
Письмо мне: ты и за меня подпишешь.

Подписывают боярин Салтыков, окольничие Измайлов, Голицын, Захарья, Ляпунов, потом другие прочие.

Трубецкой

Князья! бояре! кончили мы подвиг
Великий, трудный,— вот покорно вас

Прошу отведать нашей хлеба-соли;
Не взыщете: что есть! что бог послал!
Ведь наше дело ратное. Однако
Найдется кое-что: меды, вино,
И даже фряжское и романея.

Заруцкий

Люблю я князя: истинный боярин,
Прямой москвич радушный!

Трубецкой

Что ж, идем!
Нет, правда, у меня, Иван Мартыныч,
Хозяйки ласковой, как у тебя.

Заруцкий

Я — не женат.

Трубецкой

Ах! старый беззаконник!
Нас всё же встретили бы у тебя
С поклоном, поднесли бы чарку, в лоб
Поцеловали бы гостей любезных.
(Прокофью)
Из них у нас, боярин, первый ты
С удалым братом... Бью я вам челом:
Вперед ступайте.

Прокофий

Путь нам укажи,
Князь Дмитрий Тимофеич; за тобою
Последуем.

Трубецкой

Аврамий у меня,
Разумный келарь Сергиевской лавры:
Трапе́зу нашу он благословит.

Уходят все, кроме Салтыкова и Заварзина.

Салтыков

Ты скрытно дернул за кафтан меня...
Чего желаешь?

З а в а р з и н

Тише! не так громко!

С а л т ы к о в

А почему бы? Тайны с казаками
Нет у меня.

З а в а р з и н

Боярин Салтыков,
Тебя Заруцкий просит после пира
Зайти к нему.

С а л т ы к о в

Меня?

З а в а р з и н

Тебя.

С а л т ы к о в

Зайду,
Но, признаюсь, ума не приложу,
Что общего быть может между нами.

ДЕЙСТВИЕ II

СЦЕНА 1

В избе Прокофья Ляпунова. П р о к о ф и й и З а х а р ь я.

З а х а р ь я

Ты победил, Прокофий: поздравляю!
Устав твой обуздает казаков.
Теперь, признаться, ведать я желал бы
Дальнейшие намеренья твои.

П р о к о ф и й

Они, Захарья, и просты, и ясны:
Освободить родимый край.

З а х а р ь я

А тут?

Прокофий

Быть верным подданным царю, кому
Господь наш бог поручит Русь святую.

Захарья

Прекрасно! только это говори
Заруцким, Трубецким... А мне ты мог бы,
Кажись, и без утайки всё открыть.

Прокофий

Да я и не таюсь.

Захарья

Рассказывай!
Помилуй! слухом полнится земля
Неужто даром? Господарь, державец
Рязанский, Белый царь... вот имена,
Какие носишь ты в устах народа.

Прокофий

Нелепый бред, бессмысленный! Мутит,
Терзает душу и меня погубит,
Тогда как не легко вам заменить
Меня иным и лучшим. Впрочем, пусть!
Когда бы только кто привел к концу
Мой труд, урок, назначенный мне богом!
Пусть был бы здесь хоть прежний мой противник
(Он ревностный слуга земли родной)
Пожарский... Я бы менее тужил;
Пусть знал бы я, что по себе ему
В наследство дело рук моих оставлю,
Я был бы рад на отдых в землю лечь;
Его мечу и непорочной вере,
Не оскверненной в омуте злодейств
И бед неслыханных, в котором тонем,
Я завещал бы подвиг свой святой!
(Быть может, подвиг-то и не по мне:
Порой вливаются и страх и трепет
Мне в грудь, когда размыслю я о нем.)
Но, роком непостижным пораженный,
Вдруг отнятый у русских смелых сил,
Пожарский так же пал, как Михаил,
Наш воевода славы незабвенной.
Да! отдыхает от смертельных ран
Младой стратиг, надежда россиян,

На Скопина похожий чистым сердцем
И разумом и доблестью души.

Захарья

Пожарский не умрет. Тебе за пиром
Надолго сам достался Трубецкой,
Хозяин мне — Аврамий, келарь лавры,
Что прибыл к вам недавно. Рад я был:
Товарищ мне по бывшему посольству,
Товарищ и по хитрости, с какой
Он, я и несколько других отстали
От главного посла, чтобы служить
Ему вернее...

Прокофий

Братец, мне ль не помнить?
Как бог свят, многое загладил ты,
И многое тебе господь отпустит
За то, что даже именем своим
Ты жертвовать решился, что решился
Прослыть изменником в глазах друзей,
Чтоб послужить им лучше и верней.

Захарья

Ххмм! я себя (признаться) утешал
Тем только, что в душе пана́м смеялся:
Надуты, чванны, заняты собой —
А легковерны, хуже ребятишек...
Да дело о Пожарском: старику
Соседу был я рад, разговорились...
И он сказал мне, что Пожарский слаб,
Но есть надежда. Иноки героя,
Для безопасности, для тишины,
Для лучшего леченья и покоя,
Подале от тревог и бурь войны
Отправят — может быть, на Волгу в Нижний.

Прокофий

Благодарю за весть: теперь умру
Спокойно, без забот, когда угодно
То будет господу.

Захарья

Вот бог тебе,
Тебя не понимаю! Торжествуешь,

Противники у ног твоих, вся Русь
В твоей руке, к земле родимой Кремль
Вновь припаять готовишься мечом
И кровью поляков; ты наш Сампсон,
Ты наш Давид, ты первый человек
Под русским небом; только захотеть бы —
И без греха (ведь вымер же весь род
Царей московских) можешь взять венец
И бармы Мономаха,— между тем
О смерти мне толкуешь!

Прокофий

Ты в горячке!
Прокофью Ляпунову, дворянину
Ничтожному... Ты не в своем уме!

Захарья

А Годунов? а Шуйский?

Прокофий

Славный род их
К престолу ближе был, но и они
Погибли же!

Захарья

Положим, будто так.
Кто ж нами будет править?

Прокофий

Не поляк;
За это я тебе душой ручаюсь.
Наш долг исполнить только, что на нас,
На недостойных, возложил всевышний;
И жребий свой стократ благословлю
Когда успею; но, чтоб я успел,
Не слишком верю.

Захарья

Ты опять свое!

Прокофий

Знай: под ножами действую; знай: пасть
Мне суждено... Качаешь головой?
Так слушай — согласишься поневоле.
Недавно ночью я бродил по стану
И вот взглянул, и что ж? упал покров

Густого мрака — пламя так и пышет...
Плещеев правил стражей; я велел
Туда немедля, в верное село,
В тылу моих полков, и полагал,
Зажгли поляки... Что же, боже мой!
Нашел Плещеев? все дома пылают,
А от кого? от *наших* казаков!
Их двадцать извергов, напав врасплох
На спавших, всех зарезали мужчин,
И вот поют и пляшут, пьют и воют,
Младенцев делят и бесчестят жен,
И ссорятся заранее за плату,
Какую от татар они получат...
Схватили их; был должен замолчать
Заруцкий, их потатчик; все вожди,
Чтоб страх навесть и на других злодеев,
Решили окаянных утопить.
Преступников Плещеев поутру
Повел на казнь; вдруг взвыл, задребезжал
Набат, и с ревом вольница сбежалась;
Вмиг закипел мятеж: Плещеев пал
Застреленный, весь караул изрублен,
И мерзостных убийц ведут назад
Клевреты в табор с торжеством, а табор,
Как море, колыхается и вопит
И требует, чтоб выдали меня,
Чтоб голову сорвали с Ляпунова.
Я на коня и встретил казаков
И — удалось — смирил; да, видя вялость
И малодушье лучших воевод,
Вражду и ненависть и злобу прочих,
В пылу досады (сам теперь стыжусь)
Покинул было буйную толпу,
Которая срамит святое имя
Отечественной рати... Что ж? Меня
Догнали сами ж казаки и нагло,
Не без угроз, а искренно, кажись,
Молили возвратиться, вновь принять
Начальство. Возвратился, братец, я
И вновь начальство принял, только видишь...

Захарья

Прокофий, вижу, что тебе давно
Захарья нужен. Ты меня умнее,
Искусный вождь, в боях неустрашим,

Великодушен — тьма в тебе достоинств;
Но — неприветлив, слишком строг и горд.

Прокофий

Строг? слишком строг? Или щадить мне было
Разбойников?

Захарья

Что делать, коли нам
Никак не обойтись без них, проклятых?

Прокофий

Захарья, ради бога, замолчи!
Господь свидетель, никогда не буду
Злодеев подлых мерзостным льстецом:
Пусть разразит меня небесный гром,
Когда, за Русь сражаясь, позабуду
И кто я, и к чему обязан! Нет,
Мне лучше не глядеть на божий свет,
Не жить и не дышать, чем пред толпою
Грабителей и шайкою вождей
Презрительных унизиться душою!
Пусть на суду откажет мне Христос
В спасеньи, если, низкий раб боязни,
Их ужасать грозою правой казни
Не стану, если от ножа убийц
Не стану старцев, вдов, сирот, девиц
Оборонять!

Входит сотник.

Сотник

Боярин Салтыков.

Прокофий

Просить.

Входит Салтыков.

Салтыков

Благодарю тебя, боярин,
Что, вопреки обычаю, не час
Прождал я там среди твоих холопий.

Прокофий

К чему насмешки? Ведаешь ты сам...

Салтыков

Я только ведаю, что Делагарди,
Союзник твой и друг, изменой взял
Великий Новгород; что твой посланник,
Разумный, храбрый Бутурлин, бежал,
А на прощанье земляков ограбил...
Да ништо им, злодеям кровожадным!
Мой брат Иван Михайлыч Салтыков...
Всех дел его одобрить не могу,
Но пагубный пример отца, но юность...

Прокофий

Конечно, много и в земских полках
Похуже Салтыкова. Что же с ним?

Салтыков

Посажен на кол.

Прокофий

Боже! быть не может.

Салтыков

Не может быть. Положим, что я лгу;
Однако как твой верный Троекуров
Тебе доносит... Вот его письмо.

Прокофий

В твоих руках?

Салтыков

Мне дал письмо Заруцкий.
Он их гонца к тебе перехватил.

Прокофий

Перехватил и смел сорвать печать!
Я с ним сочтусь.
(Читает.)
«Из Ладожского стана
По целованью крестному людей
Житых и черных в город прибыл он;
Но, целованье преступив, его
Тогда ж схватили и...»
(Роняет письмо.)
Господь свидетель;

Страдальца Салтыкова кровь падет
Не на меня! Мне тяжкий за нее
Ответ дадут убийцы. А тебе,
Иван Никитыч, бьет челом Прокофий
И молит всех святых: да наградят
Тебя, что, и проникнут правым гневом,
И ужасом и горестью объят,
Всё ж к бесталанному ко мне пришел ты,
К бессчастному, которому пора...
Иван Никитыч, где мне взять людей?
Как бог свят! что бы ни предпринял я
Для блага русских, что бы ни придумал,
Все только в пагубу в руках глупцов,
В руках предателей! Но раз еще
Челом тебе строптивый бьет Прокофий,
Надменный Ляпунов готов тебе
Пред всеми поклониться до земли
За то, что без коварства ты пришел
К нему и душу высказал ему.
Клянусь: отныне враг мне Делагарди,
В моих глазах не лучше поляков.

Захарья

Твои сношенья?

Прокофий

С ним? Захарья, долго
Так мыслил я, как старец Гермоген,
Как ты и князь Василий *, что России
Царем быть должен русский.

Захарья

Брат, оставим,
Об этом мы и после потолкуем!

Салтыков

Проникнуть в ваши тайны не хочу,
Тем боле что шатка же наша дружба.

Прокофий

Нет; друг ли, брат ли, русский человек,
Тебе подобный, честный и прямой,

* Знаменитый князь В. В. Голицын.

Пусть знает, чем другой, прямой и честный,
Хотел было служить сынам России!
Итак: держался долго мысли я
Святого патриарха Гермогена,
Но — разуверился. Товарищ наш,
Рожденный здесь, и подданным, как мы,
Не усидит на царстве. Посему,
По зрелом размышленьи, к шведам я
Решился напоследок обратиться;
Сперва отправил к ним Бутурлина,
Потом и Троекурова; у них
Филиппа-королевича просил,
Чтоб государствовать ему у нас,
С согласья, разумеется, земского...
Условья те ж, которых не сдержал,
Да и сдержать не мог поляк-католик.
Но после злой измены Делагарди
Все кончено: на бога положусь;
Бог даст тебе царя, святая Русь!

Салтыков

Не знаю, право, что мне отвечать...
Я не любил покойника и, боле,
Не уважал его, однако он
Родной же мне и звался Салтыковым;
За кровь его я мстить хотел тебе;
Пришел сюда, чтоб навсегда расторгнуть
С тобой приязнь и молвить: я твой враг.
И что же? Этот самый час ты выбрал,
Чтобы меня доверием почтить
И тайну мне открыть, которой, вижу,
Узнать еще и брат твой не успел...
Боярин-воевода! упокой
Спаситель душу бедного Ивана,
И да убавит бог ему грехов
За смерть страдальческую! Так и быть,
Желаю верить, что в его сгубленьи
Не виноват ты; вот моя рука,
И впредь я твой помощник и слуга.

Прокофий

Иван Никитыч, пред святым налоем
Не с большей радостью я принял руку
Жены мне милой, как теперь твою.

Входит Ольга.

Легка ты на помине, Ольга! что ты?

Ольга

Ты занят, а вошла я, не спросясь...
Прости! — но долее не смела я
Не слушаться...

Прокофий

Кого и в чем?

Ольга

Блаженный,
Что нынче прибыл с братцем из Москвы,
Нам всё стужает, просится к тебе.

Захарья

Впусти его: урод, и презабавный!

Прокофий

Не до уродов мне, не до блаженных;
Возиться, брат, мне некогда с шутами.
(Ольге.)
Повесила головушку: отказ
Тебя печалит, огорчает?

Ольга

Нет;
Но не досадуй, а я к просьбе братца
Пристану... Чуден и угрюм и дик,
Почти помешан, а не прост старик;
На нем, не скрою, платье шутовское,
Да — вот вам бог! — с ним страшно; у него,
В усмешке, в голосе...

Захарья

О, хо! хо! хо!
Хоть и боюсь прослыть я святотатцем,
По-моему, он шут, да умный.

Ольга

С братцем
Не спорю. Но не гордым мудрецам
Судьбы свои всевышний открывает,

А детям, а растерзанным сердцам,
Которым детство снова возвращает,
Чтоб боль унять, чтоб скорби их пресечь.
Нескладно говорю; да наша речь,
Бояре, женская; не наше дело
Довóды, притчи... Только молвлю смело:
Недаром к мужу просится старик.

Прокофий

И ты же ведь женат, Иван Никитыч:
Подчас нельзя жене не потакнуть;
Не осуди... Ну, где же твой блаженный?

Ольга

Блаженный старче! потрудись, войди.
Тебя и муж, и деверь ожидают.

Входит Ванька.

Ванька

Здорово, серый!

Салтыков

Почему его
Зовешь ты серым?

Ванька

Он небось прослыть
Хотел бы беленьким. Пустое! поздно
И слишком рано, братец!

Салтыков

Это как?

Ванька

А вот как: поздно, потому что он
Запачкался, и рано, потому
Что вымоют Прокофья, да не здесь!

Прокофий

Ты не совсем дурак.

Ванька

Дурак, дурак,
И пошлый! Умников без нас довольно:

Толстеют и жиреют, жрут и пьют
И вырастают, что твоя сосна!
Потом, подумав, лапу поднимают
И дерзкую, и мерзкую на тех,
Что их кормили, холили, растили.

Захарья

Меня щелка́ешь? а?

Ванька

Тебя? не верь:
Тебе ли верить? Ведь не веришь в бога.
Пространна, широка твоя дорога;
В конце же западня: да ты, мой зверь,
Мой черненький, пожалуйста, не верь;
Не про тебя! глаза зажмурь, сердечный,—
Вперед и бух, веселый и беспечный,
Бух в западню!

Захарья

И это, Ваня, мне,
Приятелю и другу? И не стыдно?

Ванька

Радею, брат, о бедном сатане;
Сам рассуди: ведь было бы обидно,
Когда б ушел ты от его когтей?
Сказать и то: кому же клясть друзей,
Как не друзьям? Да я ж не Еремей,
Я Ванька; «про себя ты разумей»
Не мне у люльки нянюшки певали.

Захарья

А кто тебя избавил, шут? не я ли?

Ванька

В печаль меня ты вывел из печали.
По крайней мере в сытость там давали
Наохаться, нахныкаться, а здесь
Изволь шутить и тешить вашу спесь!

Прокофий

Меня желал ты видеть... В чем тебе я
Могу служить?

Ванька

Служить? Дай напрокат
Свою мне ручку, задуши злодея!
(Указывает на Захарью.)
Не хочешь? жаль, что я не супостат:
Тебя бы соблазнил я. А что, шея
Толста ли у тебя?

Прокофий

Как видишь, брат.

Ванька

Позволь ощупать шейку... Только! только!
Ну, Проня, ты кругом ведь виноват.

Прокофий

Не спорю, Ваня; мне сказать изволь-ко:
В чем именно?

Ванька

Не слышишь ли? Жужжат,
Тебе жужжат, тебе твердят: «Ты хват,
Ты наш Орел Орлович, Сокол ясный!»
А оплошал; вишь, шейки-то запасной
Себе не добыл.

Ольга

Что ты, Ваня?

Захарья

Вздор!

Ванька

Вздор, черненький, вестимо, не топор;
А вот что: пусть и челядь наша бредни,
Так всё же, светик, не твоей передни.

Захарья

Толкуй, а я разделаюсь с тобой!

Ванька

Ой, батюшки! ай! режут! ай! разбой!
(Прячется за Ольгу и поет.)
Не селезень за уточкой,
А шут поплыл за шуточкой;

Не селезня ж и подстрелили,
Нет, дурака поколотили,
Что больно горьки шуточки,
Несладки прибауточки.

Прокофий

Не бойся, подойди: я не позволю,
Покуда жив, чтоб чья-нибудь рука
Тебя обидела.

Ванька

Итак, на волю
Язык отпущен Ваньки-дурака?
Да что ты не́весел? о чем тоска?
О чем кручина?

Прокофий

Друг, назначил долю
Мне славную и тяжкую господь:
Врагов отчизны любо мне бороть,
И душу положить за Русь святую
Готов и рад я; а тужу, тоскую
О том я (да отпустится мне грех!),
Что всё не удается, как на смех,
Размыслить, располо́жить здраво, зрело...
Что ж? Вечно злость и глупость портят дело!
Враги? Добро бы! нет, свои, друзья!
Так, право, начинаю думать я,
Что родился без счастья, без талану.

Ванька

Нет счастья? нет талану? Не достану,
Голубчик мой, до маковки твоей:
Да кто-нибудь из ваших, из друзей,
Взберется, влезет на скамью, на лавку
И с маковки-то сдернет камилавку.

Салтыков

Какую, брат? Кажись, ты не чернец.

Ванька

Нет? мудрено! а государь-отец
Ведь в чернецах же! Ваньке и венец
С поры той, да! венец священный, царский

Сдается камилавкой, клобуком.
Венец же, свет, не то что шлык боярский.

(Прокофью.)

Ты шлык свой назови хоть колпаком,
Тому, в ком нет талану, шапка кстати ль?
О бесталанности твоей трубя,
Сорвут холопи колпачок с тебя,
Как сóрвал Воротынский, твой приятель,
Голицын и твой братец дорогой
Венец державный с головы святой
Царя Василья... А за что? Василий
Вас жаловал не так, как царь Иван:
Он не жалел ни поту, ни усилий,
Он душу отдал бы, чтоб слез и ран
Нигде не видеть... Вы же? Вы твердили:
«Бессчастен, бесталанен!» — а теперь...
Нам что с тобою делать, серый зверь?
Ведь и тебе нет счастья, нет талану?

Прокофий

Не в бровь, а в глаз; и не могу, не стану
Оправдывать себя. Что говоришь,
В ночах бессонных я и сам вчастую
Твержу себе. В твоем лице, старик,
Оделась в плоть моя больная совесть.
Будь близок мне: мне правду говори;
Нужна мне правда. Плачешь, бедный Ваня?

Ванька

Как тут не плакать? вот-то окаянный!
Кто научил тебя? И речи-то
Из уст медовых Васиньки ты крáдешь.

Прокофий

Со мной остаться хочешь ли? Любить
Меня не можешь; всё же, Ваня, помни,
Что Русь святую столь же я люблю,
Как злополучный царь Василий.

Ванька

Знаю!
Ты, светик, любишь до того ее,
Что отнял у Василья и охотно
Запрятал бы в свой собственный карман.

З а х а р ь я

Ха! ха! ха! ха! Мошенник прелукавый!
За выходки такие, Ванька, мне
Никак нельзя с тобой не помириться!
(Целует его в лоб.)

Вдруг несколько выстрелов.

С а л т ы к о в

Что это?

В а н ь к а

Огородники горох
Не в пору сеют.

С а л т ы к о в

Неприятель!

З а х а р ь я

Ляхи!

Выстрелы ближе и чаще. Входит с о т н и к.

С о т н и к

Боярин, защищайся: дом обхвачен.

Г о л о с а з а с ц е н о й

Где Ляпуновы? Режьте их, собак!

З а х а р ь я

Спасай жену; гостей-то примем мы.

Г о л о с а з а с ц е н о й

За гибель сына гибель Ляпунову!
Прокофью ад и муки! мне его!
Схватить, поймать его живого.

П р о к о ф и й
(Салтыкову)

Брат,
Их вождь Михайло Глебович, твой дядя.

З а х а р ь я

Мне душно: на простор! К врагам навстречу!
(Хочет выйти.)

Врываются Михаил Салтыков, Андронов, Хаминский и поляки.

Михаил Салтыков

А! пес проклятый! ты в моих руках!
Вяжите вы его с злодеем братом!

Захарья

Старик, ты бредишь: мудрено вязать
Удалых братьев Ляпуновых.

Михаил Салтыков

Лжешь,
Разбойник! для тебя не ново: разве
Ты не был связан?
(Увидев племянника.)
Ты, Иван Никитыч?
Ты в доме Ляпунова, палача,
Который брата твоего замучил?

Иван Салтыков

Жаль брата! Бог с ним! Я стою за Русь:
За Русь я и с отцом родным сражусь.

Прокофий

Михайло, пал твой сын, твой сын погиб
За грех отца, предателя отчизны:
За кровь его *ты* богу дашь ответ;
Я в ней невинен. Но клянусь, Иуда,
Не попадайся в эти руки ты:
Тебя жестокой казнию замучу
В пример тебе подобным.

Михаил Салтыков

Мне грозишь?
Ты разве слеп, безумный? Ты мой пленник.

Захарья

Ты сам с ума сошел, седой изменник!
Вот доказательство!

(Рубит его.)

Михаил Салтыков

Я насмерть ранен...

Захарья

Да?

Андронов

Убит бояврин; всех их искрошите!

Гонсевский
(за сценой)

Стой! Стой!
(Входит.)
Прочь, говорят! не смей
Никто и пальцем прикоснуться к пленным!
(Прокофью.)
Ты не сдаешься? Все твои стрельцы
Убиты; выруки не жди. Тебе
И всем твоим дарую честный плен.
Ты воин доблестный; но срама нет
Отдаться в плен, когда нельзя сражаться.

Прокофий

Молчи, Гонсевский: плен и Ляпунов,
Что день и ночь — их сочетать не можно,
Умру...
(Взглянув на Ольгу.)
Но, боже трисвятый! она!

Гонсевский

А? это что? Эй, молодцы! схватите!

Ванька

Не подходи, Литва, не подходи:
Укусит Ванька, за нее и Ванька!

Захарья

Я вас, безмозглых! Вот вам раз, вот два,
Вот третий!
(Убивает трех.)

Гонсевский

Застрелите великана!

Выстрел. Захарья падает.

Прокофий

Захарья!

Захарья

Брат, прощай; не поминай
Захара лихом... Свижусь ли с тобой?
Но путь мой темен... Братец, не желаю!

За сценой выстрелы.

Хаминский

Поднялся табор!

Иван Салтыков

Наши! наши! к нам!
На помощь, братцы! к воеводе! к нам!

Гонсевский

Избу зажгите и назад!

Хаминский

Назад!
Казак мерзавец! обманул, собака!

Врываются в избу Ржевский, Федор Ляпунов, Кикин. Прокофий выносит Ольгу; за ним пробиваются другие. Битва продолжается.

СЦЕНА 2

Арбатская площадь. Ночь. Пожар. Поляки бегут. Прокофий, Феодор, Салтыков, Кикин, воины русские и тело Захарьи.

Прокофий

Кто поднял вас?

Кикин

Иван Иваныч Ржевский.

Ольга

О господи, мой боже! он, мой брат!

Прокофий

Я рад, что одолжен ему спасеньем.
Но мой-то брат, Захар мой! Долго с ним
Делил и счастье я, и горе... ныне
Стою один. Крепишься, Федя? плачь

И вместе радуйся; как храбрый воин
Пал твой отец. Всевышний милосерд:
Послал конец Захарье не бесславный.
Счастливей будешь и отца, и дяди:
Ты молод, жить ты будешь в век иной,
В покойный век, под скипетром царя,
Назначенного господом России.
Служи ему усердно: не впадешь —
Не так ли, Федор? — в наши заблужденья.
Но не теперь об них воспоминать.
Меня любил Захарья, был мне верен,
Был предан брату, как никто другой.
Где Ржевский?

Кикин

Гонит польские дружины;
Да реже выстрелы; слабеет битва.
Воротится, и скоро. Но идут.

Трубецкой, Измайлов и другие.

Трубецкой

Товарищ, больно мне: я опоздал;
А? слава богу! без меня отбито
Врагов коварных нападенье.

Прокофий

Так;
Да дорого, князь Дмитрий Тимофеич,
Отпор мне обошелся. Вот! смотри!

Измайлов

Захарья, бедный друг! тебя ли вижу
Здесь без движения и жизни я?

Трубецкой

Был богатырь; такого молодца
Не скоро сыщешь... жаль! Да упокоит
Его спаситель! Исполать ему!
Прямой Болотников: такой же смелый,
Такой же и силач.

Феодор

Князь Трубецкой,
С отцом покойным подлого холопа

Не сравнивай: ты тем его срамишь.

Трубецкой

Не оскорбляйся; только строг же ты:
Болотников был воин знаменитый;
Конечно, Телятевского холоп,
Да Телятевский, Шаховской и я
Товарищем его признали, Федор.
Но ты теперь в печали — я молчу.

Уносят тело Захарьи; входят Заруцкий и Заварзин.

Заруцкий
(вполголоса)

Им помогли, проклятым! Да узнать,
Велик ли недочет?.. Ты жив, Прокофий?
Не ранен ты? и цел и невредим?
Ну, поздравляю!
(в сторону.)
Черт тебя возьми!
Рад? рад душевно! Торопился я...
Да, брат, храпят бездельники с пирушки,
Насилу я, насилу со́брал горсть...
Кто выручил тебя?

Прокофий

Мне бог помог,
Заруцкий, и два друга, от которых
Иной бы и не ждал, что мне помогут...
Спасибо! Одного ты мне прислал.

Заруцкий

Кого, любезный? Право, не припомню.

Прокофий

Великодушный витязь Салтыков
Стал за меня и об руку со мною
Разил врагов, пока не подоспел
Мой храбрый шурин, благородный Ржевский.
Иван Мартыныч, ложь сплести легко
И честных жен бесчестить клеветою,
Не трудно и письмо перехватить;
Да в пользу ли?.. Где мой гонец?

Заруцкий

Гонец?
И не слыхал я про гонца.

Прокофий

Письмо...

Заруцкий

Попалось мне случайно, видно, кем-то
Обронено; мне принесли, а я —
Не из ученых я — к тому ж не ведал,
Что грамотка к тебе... Питаю, брат,
Отличное доверье к Салтыкову,
Так и просил прочесть мне,— вот и все.

Салтыков

Поклон мой за доверье! А скажу,
Чтобы прочесть письмо, к Марине зáзвал
Меня тайком полковник Заварзин.

Заварзин

Вольно же думать...

Салтыков

Говорю: *тайком.*
Замечу, впрочем: грамотей почище
Меня и многих этот Заварзин —
Дьяком когда-то был. А мне пришлось
Письмо прочесть его же атаману.
(Оборачивается к ним спиною.)

Заруцкий

Так точно! и в глаза, и за глаза:
Учен, умен, проворен... Здесь ты, братец?
Сердись, пожалуй! Да, умен, а плут
Мой Заварзин, мошенник, и претонкий:
Вот почему и поверять его
Порой мне должно.

От него отходит и Заварзин; прочие разговаривают между собою; подходит к ним шут.

Ванька

Здравствуй, осетрина!

Заруцкий

Что шут ты — очевидно; но не так
Мне ясно, почему я осетрина?

Ванька

Не ясно? а покойник-то тебя
Все осетриной величал.

Заруцкий

Какой покойник?

Ванька

Да что говаривал: тот тянет вверх,
Тот вниз, а осетр-то прямо в воду.

Заруцкий

Пострел же твой покойник! Как зовут?

Ванька

Теперь не кличут, не зовут. Бывало ж,
Я Черным звал его, а ваш орел
Захаром, братом.

Заруцкий
(дает ему денег)

На, дурак! за весть
За недурацкую... Убит Захарья —
По крайней мере проглотил же ад
Хоть одного из этих Ляпуновых.
(Уходит.)

Трубецкой
(Прокофью)

Боярин-воевода, чем могу
Служить тебе?

Прокофий

Благодарю, боярин.
Покой мне нужен, отдых: должно мне
Собраться с духом, с силою собраться...
Я не дитя, однако брат — всё брат.

Трубецкой

Печаль твоя мне свята... До свиданья.

Прокофий

Еще одно, князь Дмитрий Тимофеич:
Пришли, прошу, Аврамия ко мне;
Он другом был Захарье; пусть положит
Захарью в лоно матери-земли!

Трубецкой

Прощай; Аврамий будет непременно.
(Уходит со своими.)

Прокофий

Ушли... Ты, Федор, не стыдися слез.
Их не скрывай... Ей-богу! мне завидно:
И я хотел бы плакать — не могу;
Здесь тяжело, здесь давит, но отрады
Горючих слез мне, видно, не вкусить.

Входит Ржевский.

А! Ржевский! руку! руку! — Без тебя
И я, и Ольга так же бы лежали,
Как вот теперь мой бедный брат Захар.

Ржевский
(отдергивая руку)

Позволь, боярин... я исполнил долг
И спас не зятя, а вождя, который
России нужен.

Ольга

Братец, ты жесток!

Прокофий

Еще ты веришь клевете презренной?

Ржевский

Не верю ей, но повод к клевете
Не должен быть моей сестрою подан.
Вчера узнал я, как в гнилых устах
Распутных ратников сквернится имя
Сестры моей... Я свой исполнил долг;
Ничем, боярин, мне ты не обязан:
Услышал я тревогу и вскочил;
На треск и вопли битвы поспешил,

Увлек того, другого за собою,
И — посчастливилось,— и вождь спасен;
Но всё я враг Прокофью Ляпунову.

ДЕЙСТВИЕ III

СЦЕНА 1

У Марины. Марина и Лодоиска.

Лодоиска
(поет)

1

Без любви, без славы
Скучны все забавы,
Все беседы глупы,
Все утехи тупы.

2

Без любви девице
В свете, что в темнице:
Я бы без раздела
⟨Счастья⟩ не хотела.

3

Без любви не в радость
Красота и младость.
Без любви и воин
Славы не достоин.

4

«Краков и Варшава!
Что мне ваша слава?
Только бы Людмила
Помнила, любила!

5

Марш! вперед, жолнеры!
В честь любви и веры!
Для похвал Людмилы
Рад я в зев могилы!» —

6

Крикнул Ян и скачет.
Вслед Людмила плачет;
В гром и ужас битвы
Шлет за ним молитвы.

7

Без любви, без славы — *и проч.*

Марина

Нет, Лодоиска! эта песня душу
Терзает мне... Из темной глубины
Минувших дней, как будто из могилы,
Она воспоминанья и мечты
Умершие зовет и воскрешает.
О! было время... эту песню я,
И я певала в счастливом Самборе.
Переменилось, мати пресвятая!
Переменилось много с той поры:
Я, гордая, тогда цвела, блистала;
Тогда искали взора моего,
Гордились все улыбкою Марины,
Роились рыцари и палатины,
Князья и графы вкруг меня... Теперь —
Где ты моя прекрасная денница?
Увяла я; грызет меня тоска
Смертельная; я двух лжецов вдовица,
Бессчетная добыча казака!
Не пой мне про любовь, не пой про славу...
Любовь и слава! Славу и любовь
Я бросила на горе и бесславье.

Лодоиска

Царица...

Марина

Не ругайся надо мной,
Над кралью злополучного расстриги.

Лодоиска

Расстрига или нет, он был царем
Помазанным, венчанным — а вдобавок
Бесстрашный витязь, человек ума
Великого.

Марина

Положим, Лодоиска;
Да можешь ли то ж самое сказать
Про гнусного безумца, про бродягу,
Которого крамольники потом
Назвали тем же именем, который
(Увы мне! стыд неимоверный!) стал
Преемником и ложа, и обмана
Зарезанного мужа моего?
Да ⟨уж⟩ и без того не верх ли срама
Заруцкого наложницею быть?

Лодоиска

Всё это позабудется, всё это
Покроется сиянием венца,
Порфирой царской сына твоего.

Марина

Порфирой сына Тушинского вора!

Лодоиска

Он кровь твоя.

Марина

Так! так! затем-то я
Его и ненавижу.

Лодоиска

Бог с тобой!
Не падай духом; на престол московский
Ты возведешь его...

Марина

Ха! ха! ха! ха!
Утратила я славу и любовь,

Покрылась я позором, поношеньем,
Я буду басней будущих веков,
И (верь мне: не ослепла) уж давно
В груди моей растерзанной засохла
Надежда безрассудная — а вот
Живу же я, я жизнь переношу!
Как? для чего? меня что держит? Мщенье!
Мне мщенье остается; им дышу,
Им существую; с головы до ног
Меня проникло мщенье — вся я мщенье!

Лодоиска

И мщение готовишь?..

Марина

Всем: Москве,
Клятвопреступной, вероломной Польше,
Друзьям коварным, дерзостным врагам,
Литве, и казакам, и Сигизмунду —
Для всех для них я бы желала быть
Неистовой мегерой битв кровавых,
Орудьем гибели, бичом небес!
Обречь бы я желала посрамленью
Их жен, их дочерей, как обрекли
Они меня, царицу, посрамленью;
Желала бы повергнуть в сиротство́
Младенцев их, как ввергнут мой младенец
Еще до дня рожденья в сиротство!..
Душа моя всех, всех их ненавидит.
Всех боле одного!

Лодоиска

И он поляк?

Марина

Что нужды до народа, до земли?
Везде он был бы первым: горд, как я,
Прекрасный, величавый, дивный муж,
Умен, как царь Димитрий, столь же смел
И столь же счастлив, но не легкомыслен,
Не опрометчив, как то был Димитрий!

Лодоиска

Неужто Ляпунов?

М а р и н а

Неблагодарный!
Ему я отдавала руку, сердце;
С его отвагой, с хитростью моей,
С любовию к нему земли московской
От нас бы и венец уйти не мог...
Но пре́зрел он меня — девчонку мне
Ничтожную, мне Ольгу предпочел...
Злодей! узнаешь, какова Марина!
Доселе тщетны были все усилья,
Напрасны все попытки: бунт кипел —
Он устоял; разжженный клеветою
До бешенства, клялся его убить
Отважный Ржевский — что ж? Он устоял.
И этот самый Ржевский спас его,
Когда придумала я новый ков,
Чтобы сгубить счастливца; Салтыкова
Вооружила я — он устоял,
И Салтыков как был, так и теперь
Ему слуга усердный! Но пускай
Не торжествует: нелегко ему
Исчерпать, истощить запас коварства
Марины гневной, оскорбленной им.

Входит З а р у ц к и й.

Что нового, боярин?

З а р у ц к и й

Я к тебе
С веселой вестью.

М а р и н а

Лодоиска, выйди.

Выходит Лодоиска.

З а р у ц к и й

Мы одолеем твоего врага.

М а р и н а

Какого?

З а р у ц к и й

А Прокофья.

Марина

Почему
Ты думаешь, что Ляпунов мне враг?
Я лично не враждую никому;
Конечно, приняла участье в мерах
Против него, но сын мой на меня,
Права и польза сына налагали
Тяжелый этот долг. Пусть к нам сегодня
Пристать решится, пусть мне слово даст.
Что, выгнав из столицы...

Заруцкий

Говори!
К чему витийство тратить по-пустому?
Уверена же ты, что Ляпунов
Ни завтра, ни сегодня не захочет
Содействовать намереньям твоим;
Он враг твой, личный враг твой; это знаю;
И мой, но только потому, что мне
Мешает.

Марина

Грабить не дает?

Заруцкий

Меня
Ведь не рассердишь. Впрочем, и сама
Довольно ясно видишь, что Заруцкий
Не Просовецкому чета, который,
Бедняжка! бьется только из того,
Чтоб не повесил Ляпунов его.

Марина

Однако, право, атаман, не худо
Об этом и тебе похлопотать.

Заруцкий

Не беспокойся: кое-что придумал
Пролаз мой Заварзин...

Марина

Казак невежа!

Заруцкий

Невежа? Не совсем: он грамотей.

Марина

И точно! Это для тебя не шутка!

Заруцкий

Я не таюсь: безграмотный казак,
Да вождь я и глава бояр строптивых,
И я же преученых, преспесивых,
Претонких поляков сажал впросак.

Марина

Скажи: посредством хитростей счастливых
Таких ли, например, с какою ты
Скрепил устав Прокофья Ляпунова?

Заруцкий

Что делать? Я, быть может, и не прав,
А думал, что, скрепив его устав,
Внушу себе доверье.

Марина

И обчелся!
Да, я забыла: что же Заварзин?

Заруцкий

Он за дверьми: сам все тебе расскажет,
Позволь ему войти.

Марина

Пускай войдет.

Заруцкий

И Просовецкий с ним.

Марина

Покорно просим.

Заруцкий

Пожалуйте, друзья.

Заварзин и Просовецкий входят.

Марина

Сердечно я
Вам, атаманы, рада. Слишком редко
Пан Просовецкий посещает нас:

Лисовского отважный победитель
Здесь должен бы быть чаще. Заварзин!
Добро пожаловать, старик разумный!
Поверь мне! цену знаю я тебе.
Прошу же — сядьте.

О б а

Постоим, царица.

М а р и н а

Нет, без чинов: садитесь; здесь не двор,
А стан воинский; да и лучше. Хлопец!

Входит с л у г а.

Подать вина и чару. Заварзин,
Кажись, ты русский.

З а в а р з и н

Бельский уроженец.

М а р и н а

Люблю я русских; всей душою
Обычаи России почитаю.

С л у г а пришел с вином; она встает, сама наливает и подает и целует гостей в лоб.

По русскому обычаю я вас
Приветствую: друзья, здоровы будьте!

О б а
(выпивая)

Дай, господи, царице много лет!

П р о с о в е ц к и й
(вполголоса Заруцкому)

Как милостива, ласкова царица.

З а р у ц к и й

Сказать, что баба! — голову в заклад,
Что за нее теперь в огонь и в воду
Пронырливый старик готов и рад.

М а р и н а

Ты, Заварзин,— так мне сказал боярин,—

Придумал средство, как к нам наконец
Прокофья Ляпунова преклонить.

Заварзин

Когда о средстве говорил боярин,
Могущем Ляпунова преклонить
На нашу сторону, тогда боярин —
Не гневайся! — поболее сказал,
Чем слышал от меня, чем в состояньи
Придумать голова Заварзина,
Чем, вероятно, то и сам желает.

Марина

А почему? По мненью моему,
Он должен быть бы рад такому другу.
Не правда ли, Иван Мартыныч?

Заруцкий

Ххмм!

Марина

В другое время потолкуем мы
Пространнее об этом. А теперь:
Что ты замыслил?

Заварзин

Замысл мой прост;
Но знаю казаков и полагаю —
Подействует: указ бы к городам
За подписью Прокофья нам подкинуть,
Чтобы в такой-то день, в такой-то час
Ударили на казаков и всех
До одного убили без пощады.

Просовецкий

Умна же выдумка! И, не шутя,
Ты думаешь, что кто-нибудь поверит?
Неправду разглядит тут и дитя.

Заварзин

Хитер же ты! да если глупых мерит
На свой аршин такой, как ты, хитрец —
Хитер хитрец, но слишком, мой отец.

Заруцкий

Припомни это.
(Заварзину.)
Ты старик лукавый,
Однако, братец, слишком груб обман.

Заварзин

Где тонко, там и рвется, атаман.

Марина

Заруцкий, Просовецкий, вы не правы,
И я так думаю, как Заварзин;
И мне известна чернь: не позабуду,
Какой нелепой сказкою на нас
Москву вооружил и поднял Шуйский.
Не для слепой толпы пронырства, козни
Преутонченные; не езуит
Придворный, ловкий, например Рангони,
Народ тупой и зверский возмутит.
Кто лист подпишет?

Заварзин

А я сам, царица;
Крапивное я семя: мне легко
Подделаться под руку Ляпунова.

Марина

Прекрасно! Будет у тебя в долгу
Марина на всю жизнь. Да только смерти
Ничьей я не желаю: так устрой
Всё дело, чтоб остался жив Прокофий.

Заварзин

Остался жив?

Марина

(надевает на него золотую цепь)
Возьми на память, друг.

Заварзин

Холоп я твой, царица! Да едва ли...

Марина

Дальнейшее Заруцкому скажи;
Он всё мне перескажет. До свиданья.

(Уходит.)

Заварзин

Чтоб жив остался!

Заруцкий

Брат, не хлопочи!
Сам знаешь: мало ли что говорится.

СЦЕНА 2

Табор. Несколько крестьян.

Первый

С другим боярином по стану ходит:
Мне сказывали так.

Второй

Узнать его
Не трудно: он плечист, высок, осанист;
Глаза большие, голубые.

Третий

Так;
Да станет ли нас слушать, горемычных?
Ведь и с боярами-то больно горд.

Первый

С боярами! А с нами, сват Гаврило,
Он ласков будет; нас ему смирять
Не нужно; мы и без того смиренны.

Третий

Тсс, Ермолай! идут.

Второй

Он, точно он!

Первый

Ретивое забилось и заныло.

Входят Прокофий и Салтыков.

Прокофий

Ты в Лавру хочешь ехать, Салтыков?

Крестьяне бросаются в ноги Ляпунову.

Что это? встаньте, встаньте, земляки!
Чего хотите?

Крестьянин

Бьем тебе челом!
Помилуй нас, кормилец, заступи нас,
Заставь молиться богу за тебя.

Прокофий

Али вас кто обидел?

Крестьянин

Ох! боярин!
В разор, дотла нас разоряют!

Прокофий

Кто?

Крестьянин

А казаки. Поборам нет конца...

Прокофий

Мне жаль вас, братцы; дело разыщу,
Да за поборы мне никак нельзя
Вступаться строго: войско жить должно.
Подводов и довольно; только грех:
Не в срок приходят. Между тем ведь нужны
И корм коням, и людям хлеб и харч.

Крестьянин

За хлеб и харч, родимый, не стоим;
Да денежную подать наложил
На нас их старший: денежек-то нет,
Так подавай последние пожитки,
И лопать, и скотинку,— и грозят,
Что и ребят и баб у нас отнимут
И продадут в неволю, нас побьют,
Как кудринских,— село же наше выжгут.

Прокофий

Село-то ваше?

Крестьянин

Черны Грязи, барин.

Прокофий

Кто атаман казачий?

Крестьянин

Бог его,
Кормилец, знает: с рожья-то румян,
Тебя поменьше, рыжеват, пузан —
И, батюшки! и трое не обхватят.

Прокофий
(Салтыкову)

Приятель Просовецкий. Я ж его!
Грабителя Заруцкий должен выдать,
И непременно.
(Крестьянам.)
Братцы, не тужить!
Давать и хлеб, и корм, но под расписку;
Во всем же прочем: в деньгах и пожитках
Отказывать, и смело, наотрез:
«Прокофий не велел» — и всё тут. С богом!

Крестьянин

Отец ты наш! Утешил ты сирот!
Дай-то господь наш бог тебе здоровье!
(Уходят.)

Прокофий

Вот так-то, так-то, друг Иван Никитыч!
Как только станешь думать о беда́х,
О всех страданьях русского народа,
Об этих страшных следствиях войны,
Так часто сердце кровью обольется.
Несчастный селянин ожесточен
И одичал: в его глазах что ратник,
То душегубец; русский и поляк
Ему теперь почти равны — обоих
Дрожит, страшится, ненавидит он.
А ведь с природы кроток и радушен,
И любит Русь святую, край родной,
И рад отдать бы и рубашку с тела.
Но — о другом. Ты едешь в Лавру, брат?

Салтыков

Так; тело дяди я туда свезти
И там предать святой земле желал бы.
За душу грешника причет и братью
Молиться упрошу: в молитвах он
Нуждается... да, признаюсь, боярин,
Боюсь, не отказали бы ему
И в честном погребеньи. Ведь под клятвой
Церковною скончался.

Прокофий

К патриарху
Доставить постараюсь письмецо:
Смиренный, милосердный христианин,
Он клятву снимет — я уверен в том,
Хотя и оскорбил его покойник.

Салтыков

Ты был врагом Михайлы Салтыкова
И хочешь за него просить?

Прокофий

Врагом?
Противником его я был; но смертный
За смерть дерзнет ли простирать вражду?
Нуждается в молитвах... Кто ж из нас,
Из грешных, не нуждается в молитвах?
Все мы цветем и вянем, как трава:
Его была чреда, он пал сегодня;
А я, быть может, завтра же паду.
И я явлюся пред судом Христовым,
В последнем милосердьи отказав
Клеврету, искупленному, как я,
Христовой кровью, брату своему?
Идет там кто-то.

Салтыков

Просовецкий.

Прокофий

Он?
Останови его.

Салтыков

Эй, Просовецкий!

Просовецкий
(подходит)

Что надо?

Прокофий

Раз: чтобы предо мной,
Бояриным и главным воеводой,
Наемник Просовецкий не дерзал
Стоять так нагло, в шапке.

Просовецкий снимает шапку.

Во-вторых,
Чтоб он и слово обращал ко мне,
Как следует.

Просовецкий

Как следует? Пожалуй,
Ты мне и в землю кланяться велишь!

Прокофий

Не я велю, а сам же Просовецкий
Так станет кланяться, и вот беда:
Ему поклоны эти не помогут.

Просовецкий

В чем не помогут? И зачем бы мне —
Я вольный атаман — так унижаться?

Прокофий

Читал ли ты Земской устав?

Просовецкий

Читал.

Прокофий

И подписал его?

Просовецкий

Ну, подписал;
Да черт с ним!

Прокофий

Слышишь ли, Иван Никитыч?
Возьми его и поручи стрельцам.

Салтыков
(кладет ему руку на плечо)

Истома-Лавр Степанов Просовецкий,
Земли Московской жалованный стольник
И вольницы Черкасской атаман,
Ты пойман богом и Земскою думой:
Отдай мне саблю и ступай за мной.

Просовецкий

Ни сабли не отдам, ни за тобой
Идти я не намерен. Что я сделал?
За что меня берешь под караул?

Прокофий

За хищность и грабеж.

Салтыков

И явный бунт.

Просовецкий

Я вольный атаман, и суд мне Рада
Черкасов вольных.

Салтыков

Русский стольник ты,
И суд тебе Земская дума. Саблю!

Просовецкий

Не слушаюсь: Заруцкий мне большой.

Салтыков

И он,
(указывая на Прокофья)
и князь Димитрий Трубецкой.
А впрочем, ты сюда забрел к рязанцам:
Нам только свистнуть, и в мгновенье ока
Тебя скрутя́т.

Просовецкий

Боярин, дашь ответ
Заруцкому и войску.

Прокофий

Ладно.

Салтыков

Саблю,
Мерзавец!

Прокофий

Не сердись, Иван Никитыч!

Входит Кикин.

А! кстати, вот и Кикин! Дашь ли саблю?

Просовецкий

Ну, на! возьмите! Не по силам мне...
Прокофий Ляпунов, ты, повторяю,
Заруцкому и войску дашь ответ.

Прокофий

Не беспокойся. Отведи же, Кикин.

Уходят Просовецкий и Кикин.

Салтыков

Не постигаю дерзости его!
Как? этот раболепный Просовецкий,
Подлец, дрожащий взгляда твоего...

Прокофий

Да, Салтыков: признаться, это странно.

Салтыков

Я в Лавру не поеду!

Прокофий

Почему?

Салтыков

Недаром этот вор так нагл и смел.
Марина и Заруцкий... Нет, не еду:
Друзьям тебя не должно покидать.

Прокофий

Заботливость твоя, Иван Никитыч,
Отрадна мне; но поезжай, душа:
Уже молва о том, что хочешь ехать,
Успела разнестись; когда же вдруг

Останешься, тогда дремать не станут
Мои враги; язык их ядовит;
Начнутся толки. Бог меня хранит,
И, если в самом деле мне опасность
Грозит какая, отвратить ее
Он может, буде так ему угодно
И буде нужен я родной земле;
А не угодно — и старанья ваши
Напрасны будут. Под щитом его
Стою — и не боюся ничего.

СЦЕНА 3

Глухое место за табором.

Заварзин
(один)

Да! грамотки писать и мы умеем,
И чьи-то чище, хитрый грамотей,
Премудрый воевода? Наши, правда,
Не слишком длинны — но не без затей.
Увидим!.. Не забыл я, Ляпунов,
Твоей боярской ласки, как ты было
Чуть сына моего не утопил;
Я к вашим — и, спасибо! взбунтовались
И вырвали из рук твоих собак
Павлушу; только жаль: ослы потом
Испортили, что начали так лихо;
Ведь с головою выдали его!
И стал я в землю кланяться тебе,
Стонал и плакал, охал — все напрасно:
Ты чуть его опять не утопил.
«И своего-де сына,— ты твердил,—
Не пощадил бы». Хм! велико дело!
Дрянную деревушку запалить!
Насилу-то на просьбу Трубецкого
Сдался злодей и, наказав кнутом,
Из стана выгнал бедного Павлушу.
Да где же Просовецкий? Хлопотун!
Отправиться изволил сам к рязанцам
Сыскать мошенника, который нам
Закабалил за горсть ефимков душу...
Не раз, мерзавец, службы нам служил;

Теперь, кажись, последнюю сослужит:
Пора и сбыть его; уж чересчур
Он много знает; продал Ляпунова...
Пожалуй, плут, и нас ему продаст.
Всё нет их... Будут... Не сошлись бы только
До времени с засадой...

Входит сотник.

Хлопко, ты?

Сотник

Готовы молодцы.

Заварзин

Спасибо, братец.

Сотник

А что прикажешь учинить с гонцом?

Заварзин

Что с прежним.

Сотник

А устав?

Заварзин

Вот пустяки!
Не до устава будет Ляпунову!
Хлопот не оберется он и сам.
Спустя немного с хлопцами засядь
Вот тут и тут! Мои пролазы мне
Шепнули, что гонца отправят скоро.
Ступай.

Уходит сотник.

Все нет их, а пора...
Бояться начинаю.

Входит стрелец.

А! приятель!
Добро пожаловать! Но ты один —
Что это?

Стрелец

Кланяется Лавр Степаныч,
А сам сидеть изволит.

Заварзин

Он сидит?

Стрелец

Не присягну: быть может, и лежит;
Ему теперь спокойно — в теплом месте.

Заварзин

Короче: что с ним?

Стрелец

Взят под караул.

Заварзин

Он? А за что?

Стрелец

Вот от него записка.

Заварзин *(прочитав)*

Ну, братец, знаю, знаю! а досадно:
Какая память у меня! Представь:
Возможно ли? Забыл! — Ведь с Ляпуновым
Мы сговорились, чтобы засадил
Для виду Просовецкого, как будто
Мы с ним еще в разладе; без того
Не проведешь же наших. Нá бумагу!
И отправляйся...

Стрелец

Фрол Андреич!

Заварзин

Ну?

Стрелец

Ведь, право, совестно: боярин мне
Отец и благодетель!

Заварзин

Точно так
И больно мне, признаться откровенно,

И самому, что в грех тебя не раз
Вводил я... Вот же, милый, случай славный:
Загладить можешь все свои вины;
Мы наградим тебя, и наградит
Рукою нескупою сам боярин.
Важнейшая бумага, братец, да!
И видишь ли? Когда ее доставишь,
Боярина от всех врагов избавишь;
Он муж великий; будет он один
Всей нашей рати полный властелин.
И это только, друг ты мой, начаток!
А дале...

Стрелец

Если подлинно...

Заварзин

Иди!
Богатство, честь и счастье впереди.

Стрелец

Прощенья просим.

Заварзин
(дает ему кошелек)

Вот тебе задаток.

Уходит; перед уходом встречается с засадой сотника Хлопка и указывает им перстом на стрельца; они прячутся.

Стрелец
(один)

Они с ним помирились; очень рад.
Да так ли? правда ли? Христе мой боже!
Ах! Если бы!.. Скопил я кое-что;
Война не продолжи́тся; как возьмут
Столицу воеводы — я тотчас
В Рязань к своей Параше, и грехи
Молитвой, покаянием, постом
Очищу — да! — и заживу потом...
Но что бы ни было — пора! пора!
Вперед я не отважуся на дело,
Которое и душу-то, и тело
(И сам я знаю) может погубить.
Ох! стыдно мне и тяжко! Мне ль служить

За деньги этим казакам? Боярин
Меня взрастил, он кормит мать мою,
Сестер пристроил... Как неблагодарен,
Как гнусен я! Его я предаю...
Так предал спаса мерзостный Иуда...
Довольно! полно! только бы оттуда
Здоровым воротиться этот раз,
Даю зарок: отстану от проказ.
Вот бог вам! буду человеком честным!
Мне грустно, больно грустно... Неуместным
Сомненьем, правда, ныне мучусь я:
Они теперь с боярином друзья;
Так, стало, я сегодня не изменник.
Пойду же!

Хлопко
(выскакивает с своими)

Стой!

Стрелец

Да что вы?

Хлопко

Стой, мошенник!
Бездельник, стой!

Стрелец

Пустите!

Хлопко

Ни на шаг!

Стрелец

Чего хотите?

Хлопко

Мы? Твоих бумаг;
Потом же, свет, хотим тебя повесить.

Стрелец

Помилуйте! Побойтесь бога!

Хлопко

Шут!
Кобениться ты вздумал, куролесить?

Э! не ребячься! и с чего бы тут
Так пятиться и вздрагивать и биться?
Тут ничего неслыханного нет:
Со всяким, братец, может то ж случиться,
Тащите!

Стрелец

Дай молвить мне слово!

Хлопко

Свет,
Нам некогда твои рассказы слушать:
Ведь ужин ждет нас; нам-то время кушать,
Тебе висеть. Тащите!

Стрелец

Заварзин
Вам скажет...

Хлопко

Уже сказал нам все, что нужно:
«Не принимайте никаких причин!»
Прощай, сыночек! право, недосужно.

ДЕЙСТВИЕ IV

СЦЕНА 1

У Марины. Она одна.

Марина

Так! есть предчувствия, и этот раз
Мне вещий голос говорит: удастся.
Что ж трепещу? что млею? Час настал,
А я дрожу, колеблюсь. Сердце! сердце!
Никто тебя еще не разгадал...
Давно ль? Казалось, самый труп его
Я, женщина, а зрела бы с весельем;
С какой жестокостью в груди своей
Я заглушала внутренние вопли!
Я очень поняла недоуменье
Кровавое Заварзина — и что ж?
Не отвечала! и мой враг падет —

И вот же в самых этих слабых персях
Любовь, и боль, и жалость! Внять кому:
Любви ли скорбной? дикому ли мщенью?
При прежних замыслах одолевал
Тоску и сострадание гнев: напрасны
Все козни будут. Знаю это, я
С досады разрывалась. Но скажу ль?
Притом была и радость: да! ему
Грозила я, явить ему желала,
Что быть и я опасною могу,
Что презирать меня не должно... только!
Мои орудья были благородны:
Отважный Ржевский, храбрый Салтыков,
Земляк мой доблестный Гонсевский — мужи
Не низкие, способные понять
Величие врага; он непременно,
Я ведала, обезоружит их.
О гибели твердила, правда, я,
О мести, о кровавом воздаяньи...
(Безумные, проклятые слова!)
Но искренно: слова словами были,
Не боле!.. А теперь? Мой гнев потух,
Но между тем беспечный Ляпунов
В руках безжалостных, в руках злодеев
Бессовестных, бездушных... Боже мой!
И я, и я сообщница чудовищ!
Совсем ли добрый ангел мой меня
Покинул? и совсем ли темным силам
Немилосердным я принадлежу?
(После продолжительного молчания.)
Заруцкий! вырву из твоих когтей
Ужасную бумагу; жертву их
Из самой пасти кровопийц исторгну...
Во что бы ни было спасу вождя,
Твою надежду, русская земля!
Твою последнюю любовь, Марина!

Слышны выстрелы; входит З а р у ц к и й.

З а р у ц к и й

Царица, слышишь?

М а р и н а

Слышу я пальбу;
А что такое?

Заруцкий

Хлопцы поднялись,
Мятутся, рвутся, воют, словно звери
Голодные, которых бы с цепи
Спустили. Исполать тебе, Марина!
Заткнула за пояс меня!
Вы оба — окаянный Заварзин
И ты, родная,— заварили кашу
Такую прегустую, что ее
Не сварит и железная утроба.

Марина

Распущена бумага?

Заруцкий

Как же! С нею
Схватили казаки гонца, стрельца
Рязанского; недолго молодца
Сердечные томили: в петлю шею —
И поминай как звали; а печать
Сорвали с грамоты и ну читать!
И начитались — слышишь ли? на славу!
Был нужен подлинник, чтоб и другим —
Вот Трубецкому, например,— забаву
Доставить... Верь, не верь: насилу с ним
Читатели расстались. Ты бледнеешь?

Марина

Заруцкий, поспеши утишить бунт.

Заруцкий

Слуга покорный! Я убил холопа
Прокофьева и должен поддержать,
Что начал, мятежом.

Марина

Себя погубишь!

Заруцкий

До вечера погибнет кое-кто,
Да не Заруцкий: казаки ударят
С лица на Ляпунова, поляки
(Уведомил Гонсевского Хаминский)
С боков и с тыла: сломим молодца!

Марина

А Трубецкой?

Заруцкий

Князь Дмитрий Тимофеич,
Почтенный муж, в большом недоуменьи,
Наверно, так толкует: «Казаков
Мошенников избаловал Заруцкий,
Не держит их в руках!» Тут наша знать,
Иван Голицын, тайный враг Прокофья,
С товарищи,— ну дакать, ну качать
В раздумьи головами,— так и вижу
Друзей сердечных! Салтыкова нет,
Измайлов по запасные полки
Отправился в Коломну; я без них
Врага ухлопаю; потом, пожалуй,
Хоть на́взрыд буду плакать.

Марина

Лист-то где?

Заруцкий

А вот.

Марина

Отдай мне.

Заруцкий

Да тебе на что?
А мне-то он на всякий случай нужен.
Чтоб обличить злодея.

Марина

Не отдашь?

Заруцкий

Нет, не намерен.

Марина

Хорошо ж, разбойник!

Заруцкий

Мне не грози; припомни лучше то,
Что без меня, как застрелил Урусов
Жида, цыгана, мужа твоего,

И ты бы не спаслась с своим исчадьем.
Твой благодетель я; ты мной одним
И держишься.

Марина

О сердце! разорвись!
Ах! заклинаю: разорвись скорее!
(Падает в обморок.)

Вбегает Лодоиска.

Лодоиска

Царица! Боже мой! Стыдись, Заруцкий!
Бесчеловечный!

Заруцкий

Пустяки, пройдет!
Эй, кто там? люди, эй!

Входят слуги.

Больна царица:
В опочивальню перенесть ее.

Уносят Марину. Один.

Нашла коса на камень... чересчур
Перехитрить изволила. Насквозь
Голубушку я вижу... Ляпунов
Ей враг, а между прочим, за него
Отдала б и три дюжины Заруцких.
Но — ожидает мудрый Трубецкой;
Понаскажу ему такие сказки,
Что и Болотникова поминать
Да и про бар больших твердить не станет.

СЦЕНА 2

Табор Трубецкого. Несколько стрельцов и казаков. Слышны выстрелы.

Казак

Всех казаков убить!

Другой

По всей Руси!

Третий

В один и тот же день!

Стрелец

Да так ли, братцы?

Казак

Не верит ничему, Фома неверный!

Другой

Бумагу же читали при тебе.
Али не слышал?

Стрелец

Слышать-то я слышал;
Но не поклеп ли?

Казак

Вот еще! поклеп!
Ведь Просовецкого он засадил же.

Второй стрелец

Проведать бы: за что?

Казак

Что тут проведать?
Известно, что мешал.

Входит Чуп

Второй казак

А, дядя Чуп!

Чуп

Где ваши сотники? где голова?
Стоите здесь без дела... Стыд и срам!
Не отставайте, дурни, от своих!

Стрелец

А на кого? На Ляпунова, что ли?

Чуп

На Ляпунова? Черт тебя возьми!
Когда тебя обидел Ляпунов?

Казак

Он казаков обидел. Казаки...

Чуп

Да! Думали схватить врасплох Прокофья —
Не тут-то было; глядь: стрельцы в ружье!
Пошла сначала с ними перебранка,
Кричали хлопцы: «Выдайте его!»
Молчат, не выдают. Тут удальцы,
Казачья молодежь, народ горячий,
Не вытерпели, принялись стрелять,
И... закипело! — Что же? Как на грех,
Откуда ни возьмись, вдруг поляки.

Стрелец

Как? Поляки?

Чуп

Им, брат, зевать? Не так ли?
«На поляков, ребята! на врагов! —
Тогда завóпил нам же Ляпунов,—
Отложим ссоры; к вам на суд явлюсь.
Вперед! На поляков!» И бросились
Все мы, обиды позабыв, на ляхов.
Меня завидел, подозвал: «Старик,
Скорее в табор, к князю Трубецкому».
Сказать хотел я что-то: он взглянул,
И я — оторопел я,— вот я здесь.
На поляков же, братцы, в самом деле!

Трубецкой
(верхом)

В ружье, ребята! стройтесь! на врагов!

Войско собирается.

Все

Ура! вперед! На поляков безмозглых!

СЦЕНА 3

Арбат. Сражение. Сходят с коней Ляпунов и Трубецкой.

Прокофий

Враги бегут, не смеют и озреться.
Спасибо, князь Димитрий: этот день
Тебе принадлежит.

Трубецкой

Хвала вождя такого,
Как ты, лестна́ мне. Только казаки...

Прокофий

И казаки дрались не хуже наших.

Трубецкой

Не спорю; да горазды бунтовать.

Прокофий

Сегодня, брат, за храбрость им прощаю.
Мы помирились.

Трубецкой

А бумага?

Прокофий

Что ж?
Подложная.

Трубецкой

Конечно, без сомненья;
Однако...

Прокофий

Дале?

Трубецкой

С подписью твоей.

Прокофий

А разве князь Димитрий Тимофеич
Не слыхивал, чтоб подпись чью-нибудь
Подделать можно? Впрочем...

Трубецкой

Друг ты мой!
Я уж сказал и повторяю: верю.
Тебе оправдываться предо мной
Не надобно; но казаки...

Прокофий

Заруцкий
Мутит их.

Трубецкой

Ты опять несправедлив.
Иван Мартыныч, право, добрый малый;
Быть может, он не дальнего ума,
Зато и прям, и честен. У меня
Он был же и с бумагой. Брат, казак!
Невежа! Не сердись! Сначала он
И верил, и не верил... Сам ты знаешь:
Все эти смерды, если даже им
И повезет, глупцами остаются.
Таков был и Болотников. Заруцкий
Еще тупее. Долго бился я,
Но вот же напоследок он сдался.
Мы вышли вместе: я к своим полкам,
Которые сбежались на тревогу,
Заруцкий к казакам, чтоб их унять;
Да ты, удалый, упредил его:
Мятежников свирепых, разъяренных,
Готовых расте́рзать тебя, ты в миг
В воителей послушных претворил.
Сказать, что хват! — одно не хорошо...

Прокофий

Что?

Трубецкой

Слово то: «Иду на суд казачий».

Прокофий

Да и пойду: давно желаю я
Судиться с ними.

Трубецкой

Щекотливо, братец!
Совет мой: лучше слова не сдержи.

Прокофий

Боярин, слово данное мне свято.

Трубецкой

И мне не мене. Все же, Ляпунов,
Есть случаи... Но так и быть: не спорю;
По крайней мере наперед не худо
Их преклонить на сторону свою.

Прокофий

Их преклонить?

Трубецкой

Да; например: сидит
Повеса Просовецкий у тебя.
Так выпусти его, и все, поверь,
Признательны за снисхожденье будут.

Прокофий

Признательны за подлую потачку
Грабителю? Ты шутишь, Трубецкой!
Нет, Просовецкий пусть сидит, пока
Приказ Разбойный не решит законно
Судьбы его.

Трубецкой

Что делать с ним, упрям,
Погибнуть хочет — жаль мне, а погибнет!
(Громко.)
Прощай, товарищ.

Прокофий

Князь, прощай. Тебе
За помощь я сердечно благодарен.

Трубецкой

Не стоит: не за что.
(Про себя.)
И точно я
Боюсь, что не за что! Тяжел сердечный!
Ведь в пропасть так и лезет! Жаль его.

СЦЕНА 4

У Марины. Вечереет. Марина и Лодоиска.

Лодоиска

Наряд мужской тебе к лицу, царица.
Как хорошо, что надеваешь ты
Наряд подобный редко, а иначе
В тебя бы я влюбилась!

Марина

Не шути!
Друг, мне тяжелый подвиг предстоит:
С ним говорить, кого с такою страстью,
С таким безумством я любила, кем
Я пре́зрена, кого я оскорбляла
Так часто и так больно... Говорить с ним!
Добро бы не напрасно! Но, надменный,
Отвергнет мой совет, мои мольбы,
Как им отвержена любовь Марины...
К тебе взываю, боже трисвятый!
О! преклонись на слезы и рыданья,
На слезы грешницы! Моим устам
Пошли ты силу, дай им убежденье!
Он гибнет: попусти его спасти!

Лодоиска

Тяжел твой подвиг; но, царица, вспомни,
На что отваживалась прежде ты...
Ты ведь не то, что мы: мы робки, слабы,
А тут в твоей груди живет душа
Могущая.

Марина

Зачем я не была
Всегда, как вы, робка, как вы, бессильна?

Лодоиска

Наряд твой воскресил передо мной
Чудесный день: надменный, дерзкий гетман,
Наглец Рожинский, изменил; хотел
Предать Марину в руки Сигизмунду;
Но ты в мужской одежде на коне
Из Тушинского стана ускакала...
О! как ты хороша была, когда

Явилась в Дмитрове перед Сапегой!
Прекрасный отрок всех обворожил:
Все на тебя едва дыша взирали.

Марина

Довольно! полно! Пал мой гордый дух,
От сладкой лести отвращаю слух,
Которой слишком я внимать любила.
Но пра́ва ты: нужна, нужна мне сила;
Иду в неимоверно трудный бой!
Смягчи на миг, о совесть! угрызенья,
Нужна мне бодрость; вечность пред тобой...
Дай срок, потом удвой свои мученья!

СЦЕНА 5

У Ляпунова. Прокофий и Ольга.

Ольга

Прокофий! ты ли? Слава, слава богу!
Как я ждала, как трепетала я!
Был каждый выстрел в сердце мне направлен,
Мне прямо в сердце каждый попадал:
Я с каждым умирала.

Прокофий

Друг ты мой!
И я всевышнего благодарю,
Что дал еще мне видеть эти очи,
Что эту руку я прижать к груди
Могу еще! Устал я: сядем, Ольга.
Здесь свет приветный, тихий, здесь тепло;
А за дверьми совсем уже стемнело,
И холодно и бурно — дождь сечет
И ветер свищет... Этот уголок
И эта ночь ненастная мне притча,
Судьбы моей подобье: холод, мрак
И буря за дверьми в быту житейском;
А здесь у сердца твоего мне блещет
Отрадный свет, и душу теплота
Живит и греет. Отчего ты плачешь?

Ольга

Прости мне, глупой! Ах! таких речей

Давно я не слыхала; мне казалось,
Что разлюбил меня ты, что тебя
Я, верно, чем-нибудь да огорчила.

Прокофий

Прощать не мне: я очень виноват;
Мою вину ты отпусти мне, Ольга!

Ольга

Дела, тревоги...

Прокофий

Нет; и средь тревог
Все ж время я бы удосужить мог,
Чтоб доказать, как дорого ценю я
Твою любовь.— Но, Ольга, жребий свой
Связала ты со жребьем человека,
Который от рождения лишен
Завидной легкости и чувств, и мыслей:
Не скоро в старой голове моей
Докучливые мысли засыпают;
Не скоро в жестких персях крик забот
И гнева, и досады может смолкнуть...
С другим бы ты счастливее была,
Чем с этим Ляпуновым.

Ольга

Ради бога,
Супруг и господин мой!

Прокофий

Тяжкий грешник,
В бездонном тайнике души мятежной
Я змия властолюбия вскормил;
Так! с детства самого всегда, повсюду
Быть первым я хотел — и видел бог,
Послал мне власть, и отравила власть
Все наслажденья, все утехи сердца.
(Подходит к окну.)
Заслонено грядою темных туч,
Погасло солнце долго до заката;
Его заката не видал я... Жаль!
Скажи мне: может ли из смертных кто
Назвать своим безвестный, нерожденный,
Грядущий час? Сама ты знаешь: день,

Который звуком *завтра* именуем,
Ни мой, ни твой.

Ольга

Все это знаю, но...

Прокофий

Простертых на земле я видел многих
Сегодня, друг, холодных и немых,
А все считали: «Завтра то и то
Начнем мы или кончим...»

Ольга

Ты из битвы
Не раз без дум подобных выходил.

Прокофий

И был не прав: полезна мысль о смерти.

Входит Кикин.

Кикин

Боярин, на цепи ко мне явился
Какой-то польский латник и спросил,
Не Федор ли я Ляпунов? «Я Кикин,
Рязанский дворянин»,— был мой ответ.
«Рязанский? Так веди ж меня, не медля,
К боярину»,— промолвил воин так,
Что в самом голосе, сдавалось, слышу:
«Покорствуй! я привык повелевать».

Прокофий

Поляк? чего от Ляпунова хочет?
Зовут его?

Кикин

Мне не сказал прозванья,
Да и наличник шишака его
Опущен.

Прокофий

Может быть, переодетый
Земляк наш, пленный, или втайне нам
Усердный из бояр Московской думы?
Качаешь головой?

Кикин

По речи он
Не русский; говорит-то он и чисто,
А все заметно, что не наш.

Прокофий

Впусти.

Ольга уходит. Кикин впускает поляка и хочет идти.

Владимир Кикин, здесь останься.
(Поляку.)
Кто ты?
И с чем пришел?

Поляк

К тебе, пан воевода.

Прокофий

Так говори ж!

Поляк

Пусть выйдет наперед.

Прокофий

Нет, он не выйдет.

Поляк

Или ты боишься
Со мною быть глаз на глаз?

Прокофий

Ты смешон:
И русским я, и полякам известен;
Но Кикин верный сын родной земли,
Он *должен* быть свидетелем беседы
Прокофья Ляпунова с поляком.

Поляк

Ты мне не доверяешь, пан Прокофий?

Прокофий

Тебя не знаю.

Поляк
(подняв наличник)

Знаешь ли теперь?

Прокофий

Гонсевский! и в рязанском стане ты!

Гонсевский

Ты видишь.

Прокофий

Но?

Гонсевский

Другому никому
Не смел я поручить, о чем тебя
Уведомить обязан. Слушай: руку
Охотно правую себе бы дал
Я отрубить, когда бы мог тебя
В стенах кремлевских видеть нашим пленным.
Не скрою: я и с личными твоими
Недоброхотами из здешних был
В сношеньях, чтоб схватить тебя врасплох.
Но низкое убийство гнусно мне;
А уж враги твои острят ножи:
Погибнешь, витязь, ежели отвергнешь
Благий совет мой. Брось ты этот сброд;
В Рязань или Коломну удались,
Или на Волгу в Нижний, там борись,
Когда достанет силы, с мощью Польши.
Но лучше к Владиславу перейди;
Тебе ручаюсь: будешь принят нами
Так, как никто. Для первого начала
Займешь (тебе готов я уступить)
Высокий сан наместника столицы,
Боярство за тобою утвердит
Младой монарх, которому и ты ж,
Прокофий, присягнул,— хотя потом
Присягу и нарушил.

Прокофий

Я присяги
Не нарушал; свою присягу вы,
Жолкевский и король ваш и вся Польша,
Нарушили, попрали: ждали мы,

С дня на день ждали, с месяца на месяц
И — королевича не дождались.
Не станем тратить слов; да ты и сам
Ведь не надеешься меня склонить
К предательству моей земли родимой.

Гонсевский

Так удались.

Прокофий

Наличник опусти.

Гонсевский

К чему?

Прокофий

Прошу тебя.
(Отворяя дверь.)
Войдите все вы.
Весь караул и всякий, кто бы тут
Из посторонних ни случился.

Гонсевский

Что ты?

Прокофий

Не беспокойся: нужно.

Входят стрельцы и переодетая Марина.

Земляки!
Ведь есть и в неприятельских рядах
Честны́е души, помнящие бога.
Вот вам пример:
(указывает на Гонсевского)
нарочно из Кремля
Пришел отважный, благородный воин
И говорит (и верю я), что мне
Грозит опасность, что мои злодеи
В земских полках сгубить меня хотят.
Его совет, чтоб я покинул стан
И на́брал рать иную. Мне скажите:
Что делать?

Стрелец

Головы все за тебя

Готовы положить мы; только нас,
Отец ты наш, не покидай.

Прокофий

Ты слышишь?

Марина
(выступая вперед)

Совет хороший дал тебе поляк.
Не слушай их, не верь им: удались.
Россию любишь? Удались, Прокофий!
Спаси себя хоть для земли родной.
Теперь еще ты можешь: завтра — гибель.

Прокофий
(долго смотрит на нее)

Тебе я благодарен, добрый отрок!
Твое усердье вижу и ценю
Тем выше, что я от тебя никак
Не заслужил участья столь живого.
Дово́дом сильным подкрепляешь речь:
Святой, бесценной пользою России;
Но эта ж польза именно, мой друг,
И требует, чтоб я остался в стане,
Чтоб и погиб, когда так суждено.
Не в укоризну никому́: но мне ли,
Грозу завидев, броситься бежать?
Нет! Русскому народу нужен признак,
Чтоб истинных друзей своих узнать
И отличить от ложных: этот признак
Не верность ли? Да! сам Христос сказал:
«За стадо пастырь душу полагает,
Наемник же бежит», я — не наемник,
Себе я цену знаю, но и знаю,
Что малодушьем упаду в цене.
Да нет и той надменности во мне,
Чтобы себя избранником считал я,
Тем именно, кто господом призва́н
Освободить страдалицу Россию...
Ее и без меня бог не оставит:
Пошлет ей избавителя-вождя,
И будет оный вождь и боле счастлив,
И чище, и способнее меня;
Тот совершит, что только начал я.
Свой долг исполню: друг, предлогом мне

Служить не может и родной страны
Гадательное будущее благо.

Гонсевский

По крайней мере завтра ты нейди
На Раду казаков.

Прокофий

Нельзя нейти!
Я слово дал.

Марина

Тебя я заклинаю:
Нейди!

Прокофий

Не заклинай.

Марина

Рязанцы, мне
И витязю литовскому не верит —
Пристаньте к нашей просьбе... вы ему
Издавна преданы... Ах! умолите,
Склоните — силой, ежели нельзя
Уже иначе, удержите...

Прокофий
(с улыбкой)

Друг,
Из них кто силою меня удержит?

Кикин

Позволь мне с сотней избранных стрельцов
Идти, боярин, за тобой на Раду?

Прокофий

Когда опасность точно мне грозит,
Что значит сотня перед целым войском?

Кикин

Так большее число их устрашит.

Прокофий

А может быть, подаст причину к бою
Меж братьями. Чем к мерзостной резне

Подать вам повод, сто раз лучше мне
Пасть одному. Ступайте.

Уходят стрельцы.

(Кикину)
Ты из стана
За нашу цепь проводишь лично пана.
Прощай, поляк! ты человек с душой.

Гонсевский

Мне жаль, поверь мне.

Прокофий

Верю. Бог с тобой!

Уходят Гонсевский и Кикин.

Племянник мой с тобой пойдет, Марина...

Марина

Ах, Ляпунов! раскаянье, кручина,
Отчаянье.
(Заливается слезами.)

Прокофий

С отчаяньем борись;
Раскаянье благослови; молись,
Молись, прибегни к благости господней
И устоишь пред алчной преисподней.

ДЕЙСТВИЕ V

СЦЕНА 1

По табору прохаживаются Трубецкой, Голицын, Заруцкий. Чуть светает.

Трубецкой

Сердечно рад я, князь Иван, что ты
Сам вызвался присутствовать на Раде.
Ты друг Прокофью; отвратишь, надеюсь,
Опасность, буде там ему опасность
И угрожает. Я было и сам

Хотел туда же; да неловко что-то...
Не правда ли, боярин?

Заруцкий

Точно так.
(К тому ж тебя и трудно заменить.)
Но в этом случае тебя заменит
Благоразумный князь.

Трубецкой

Вполне! вполне!
Теперь, Иван Мартыныч, я спокоен:
Вступиться за Прокофья есть кому —
Вы оба мужи честные; Голицын
Ему приятель; ты ему не враг,
Хотя и были ссоры между вами.

Заруцкий

Что было, то и сплыло. Я его
Люблю и уважаю.

Трубецкой

Знаю, брат.
Не осудите, светы, что я вас
Так рано поднял: не спалось, признаться,
От дум, и попеченья, и забот,
А между тем мне виделись страшила:
Едва глаза зажмурю, не вздремну —
Что ж? Ляпунов стоит передо мною,
Рубаха вся в крови!

Голицын

Господь с тобою!

Трубецкой

Иной бы испугался; я же снам
Не верю — да и верить им грешно.

Голицын

Грешно?

Трубецкой

Не знал ты? В книге Иисуса
Сирахова весьма запрещено
Держаться снов, видений, ворожбы,

Мечтаний и гаданий.

Голицын

В самом деле?

Трубецкой

В какой главе, теперь я не припомню.
Пропели петухи?

Голицын

Пропели, князь.

Трубецкой

Вот мы и прогулялися по стану...
Ведь вам знаком был немец доктор Фидлер?

Заруцкий

А как же.

Трубецкой

Окаянный был умен.
Он мне говаривал, что до зари
Вставать здорово. Братцы, до свиданья.
(Уходит.)

Заруцкий

Поклон мой.

Голицын

Бью тебе челом.

Заруцкий

Сегодня князь Димитрий Тимофеич
Изволил ночью плохо почивать...
Что делать? Выспится и поутру!
И, право, кстати: спишь, так не грешишь;
По крайней мере ближним не мешаешь.
Кого-нибудь к Прокофью, князь Иван,
Порасторопней из твоих. Скорее,
Чем нам, тебе поверит Ляпунов.

Голицын

Был правда к дому нашему всегда
Расположен счастливый этот воин,
Особенно к Василью; да меня

Он что-то невзлюбил по смерти Федьки
И Марьи Годуновых.

З а р у ц к и й

Точно так;
А сверх того порассуди, размысли:
Ему ли, выскочке, повелевать
Боярами, князьями — и какими? —
Иван Голицын...

Г о л и ц ы н

Брат, не говори:
Иван Голицын позабыт, заброшен;
Голицын под рукою у кого?
У Ляпунова. А его отец,
Петрушка Ляпунов, ведь был в холопях
У моего отца. Известно всем:
Он из простых дворян, не из московских,
Не из жильцов. Какая, право, чернь
Выходит нынче в люди!

З а р у ц к и й

Князь Иван,
Нам помоги усторонить Прокофья,
И сан его, и место ты займешь.

Г о л и ц ы н

Вам рад бы помогать я; только что-то
Димитрий Тимофеич скажет?

З а р у ц к и й

Что?
Потужит, и поплачет, и расхвалит
Покойника, потом и замолчит.

Г о л и ц ы н
(зовет)

Толстой! Потемкин!

Они входят.

П о т е м к и н

Что прикажешь?

Голицын

Ступайте к Ляпунову; от меня
Ему ручайтесь (можете и крест
Поцеловать), что будет безопасен
На сходке казаков, хотя бы он
Не оправдался даже; что обратно
Отпустится и цел, и невредим.
Ступайте.

Толстой

Слушаем.

Заруцкий

О Просовецком
Им помянуть ты позабыл.

Голицын

Толстой,
Да что прошу его привесть с собой
И Просовецкого: желает Рада
Узнать вину его и наложить
По ней и наказанье на него.

Они уходят. Входит Заварзин.

Заварзин

Ты здесь, боярин, весь я стан обрыскал,
Искал тебя.
(Вполголоса.)
Настроил я своих.

Заруцкий

Пойдем к весельчакам, Иван Василич.

СЦЕНА 2

У Ляпунова. Феодор и Кикин.

Феодор

Что дядя?

Кикин

Полагаю, скоро выйдет,

С ним только что расстался духовник.

Феодор

Как? духовник?

Кикин

Боярин покаянье
Принес в грехах и приобщился тайн.

Феодор

Знать, сам не чает воротиться с Рады.
Вот он!

Прокофий
(входит)

Уж здесь вы, дети? Добрый день!
Пришли вы кстати рано: порученья
Я изготовил для обоих вас;
Жену мою в Рязань проводишь, Федор;
А ты, Владимир, в Лавру, и тотчас,
Бумаги —
(отдает их)
эти, братец, Салтыкову,
А эти вот Пожарскому. Друзья,
Что смотрите так грустно, так уныло?
Вы мужи; и я не таю от вас:
Иду на суд казачий, а с него,
Быть может, и на страшный божий суд.
Я снарядился в путь. Меня вы, дети,
Простите, буде вас чем оскорбил!
Но оскорбленья лучше, чем соблазны...
Соблазны! я увлек вас за собой
В мятеж безумный на царя Василья...
Вы были молоды; на мне ваш грех;
Вы согрешили только по незнанью:
Виновен я, и тяжко. Благ господь:
Меня спасает ныне милосердый;
За мой мятеж и кровь мою, и плоть
Ему предать мятежникам угодно;
А душу (уповаю на Христа) —
Исхитит он из мятежей житейских
И упокоит в вечной тишине.
Но вас молю: соблазны мне простите,
Забудьте их! Еще одно: не мстите
Моим врагам; с вас клятву в том возьму.

Феодор

О боже! боже! Сохрани его,
Спаси надежду нашу!

Прокофий

Друг, я вам
Вчера доказывал, что я обязан
Не устранять сей чаши: пью ее —
И радостно. Да будет воля божья!..
Бедняжка Ольга!.. утешенье ей
Защита и покров отец небесный...
В дороге, Федор, береги ее!

Феодор

И жизни за нее не пожалею.

Прокофий

Бог, друг мой, наградит тебя. Она!
Глаза утрите.

Входят Ольга и Ваня.

Ты, душа,
Зашла за мной проститься.

Ольга

Я совсем;
Да тяжело мне, тяжело, Прокофий!

Прокофий

Нас, Оля, помирит отъезд твой с братом;
Не навсегда ж и расстаемся мы;
Так, свидимся; я это точно знаю.
(Ване.)
Здоров ли ты, приятель?

Ваня

Так и сяк;
А кое-кто совсем здоровым стал
И стал красавцем. Пусть себе заснет!
Когда проснется, подадут ему
Сорочку белую; в сорочке белой
Еще получше будет; по него
Заедут, повезут его на свадьбу.

Прокофий

Благослови меня, блаженный старче!

Ваня

Христос с тобою: кланяйся Христу.

Входят Толстой и Потемкин.

Добро пожаловать! Не по меня ли?

Потемкин

Поклон от князя; да и повещенье,
Что нечего на Раде казаков
Тебе бояться.

Прокофий
(тихо)

Я и не боюсь;
Но больно мне, что на душу берет
Иван Василич лишний грех.

Ваня

Прокофий,
Твоим гостям я песенку спою.
(Поет.)
Раскричалась галок стая:
«Заклюем мы сокола!»
Слышит их сова слепая,
К ним летит из-за угла...
Закричала галок стая:
«Помоги ты нам, родная!
Примани к нам сокола!»
Шлет она к нему посла...
Кто же совушки посланник?
Отгадаете ли вы?
Филин ли, ее племянник?
Сыч ли, дядюшка совы?
Без ножа он, а убийца,
Дня не любит — мраку рад;
Он не мышь, он и не птица,
С крыльями, а все же гад.
(Кланяется.)
Посланник — нетопырь: с чем и поздравляю.

Потемкин

То-то и есть, боярин! сам спесив,
А домочадцы с велика до мала
Заносчивы: и друга, и недруга
Поднимут на смех.

Прокофий

Не сердись, прошу;
Вот если бы тебя Владимир Кикин
Или мой Федор словом уколол,
Ты сам увидел бы, что не потачник
Я дерзости обидной. Но старик
Не от меня принял святое право
Младенчески высказывать, что дух
Высказывать ему повелевает.
Пора? вы ждете? Оленька, прости!
Прости! молися!

Он целует ее, она лишается чувств.

Поддержи же, Федор!
Не дай упасть ей. Бедная! прости!
Ты с нею, Ваня?

Ваня

Как же, мой сыночек!

Прокофий

Утешь ее.

Ваня
(поднимает руку вверх)

Вон тот ее утешит.

Прокофий

Прощай.

Уводят Ольгу Феодор и Ваня.

Не медли же и ты, Владимир.
Дай руку, братец... С богом! На коня!

Кикин уходит.

Пойдемте.

Толстой

Просит князь, чтобы с тобою
Пришел на суд и Просовецкий.

Прокофий

Нет;
Не казакам его судить; не судьи
Они грабителю. Скажите князю:
Земской устав нарушил Просовецкий,
Земскою думой будет он судим.
(Молится перед иконой и уходит с Толстым и Потемкиным.)

СЦЕНА 3

У Марины. Ржевский и Лодоиска.

Ржевский

К себе просила. После наглой лжи,
Которою так гнусно очернила
В моих глазах и зятя, и сестру?

Лодоиска

Ах! Ржевский! позабудь! не знаешь ты,
Как мучится, терзается царица...
Идет! Иван Иваныч, пощади!

Входит Марина.

Ржевский

Марина Юрьевна...

Марина

Благодарю,
Что ты пришел. В другое время мне
И совестно бы было... Ржевский! Ржевский!
Мы говорим, а гибнет Ляпунов...
Не прерывай! Он сын твоей России,
И сын-то ныне самый нужный ей.
Он враг тебе. Пусть! За Россию ты
И душу положил бы. Есть причины
Не слишком доверять словам Марины;
Но в эти искаженные черты,

В глаза потухшие всмотрись! Спеши же,
Беги! туда, на Раду казаков!
Там гибнет, издыхает Ляпунов:
С мгновеньем каждым ближе смерть и ближе —
Ах! Ржевский, ради всех святых!

Ржевский

Царица!

Марина

Беги! лети! о! почему не птица,
Не ветер ты, не мысль моя?

Ржевский

Иду.
Спасу ль его? Не знаю, но паду
Хоть вместе — тут же.
(Уходит.)

Марина

С богом, храбрый воин!
Закрой его щитом твоей груди!
Великодушный! с ним ты пасть достоин:
С ним пасть завидно. Пасть! О! не пади!
Спаси его.
(Падает на скамью.)

Лодоиска

Как дух ее расстроен!
Ужасен вопль отчаянной любви.
Царица!

Марина

Лодоиска, не зови!
Пресытилась я жизненной отравой:
Не возвращай меня в ваш мир кровавый!

СЦЕНА 4

Девичье поле. Коло казаков. Заруцкий, Заварзин, князь Иван Голицын, Чуп, войсковой писарь, войсковой хорунжий, атаманы, есаулы, сотники, казаки.

Заруцкий

Смотрите, молодцы! Когда мигну,

За дело принимайтесь. Краснобая
Не слушайте: ведь вражий сын речист;
Как раз вас обморочит.

Есаул

Вот еще!
Мы видели бумагу, и — довольно.

Заварзин

И слышали, и писарь войсковой
Заверил и признал, что тут и подпись
Его руки. Не так ли?

Писарь

Точно так;
Не раз случалось видеть почерк мне
Боярина, и я...

Сотник Хлопко

Да и гонец,
Пред тем как стал качаться на осине,
Во всем мне повинился.

Подходит Чуп.

Пане Чуп!

Чуп

А что?

Заварзин

Всех нас известь Прокофий хочет.

Чуп

Не изведет! Пускай себе хлопочет!

Заруцкий

Послушай, дядя!

Чуп

Слушаю, Мартыныч.

Голицын

Совсем не допускать его до слова,
Ей-богу, лучше.

Ч у п

Этого, москаль,
Нельзя: где коло, тут и слово; в коле
Судья или судимый — всё равно
Имеет слово.

З а р у ц к и й

Чуп!

Ч у п

Нельзя.

З а в а р з и н

Злодей
Уж два раза от нас отговорился.

Ч у п

Хотя бы десять раз, а всё нельзя.

З а р у ц к и й
(Заварзину)

Зачем ты, Фролко, старого хрыча
Не напоил, не уложил до кола?

З а в а р з и н

Поил, Иван Мартыныч; да его
Сам дьявол не уложит.

З а р у ц к и й

Молодцы!
Всех нас убить намерен был Прокофий.

К а з а к и

Убить всех нас! Постой же: мы его!
В куски его изрубим, растерзаем,
Руками разорвем!

Входят Л я п у н о в, П о т е м к и н, Т о л с т о й, с другой стороны Р ж е в с к и й.

Идет! Идет!
Злодей проклятый!

Е с а у л

Всходит на могилу.

Заруцкий

Теперь на ней, а скоро ли то в ней?

Хлопко

Смотри, как горд: не кланяется Раде.

Чуп

Кто это с ним?

Заварзин

Один из них Толстой,
Другой Потемкин, а послал Голицын
Их по него обоих.

Чуп

Третий?

Заварзин

Где?

Чуп

Да вот, что прибежал, весь запыхавшись.

Заварзин

А! Это Ржевский: личный враг ему,
Хотя и кровный брат его красотке.

Хорунжий
(выступает вперед и поднимает белый жезл)

Без шуму, атаманы-молодцы!
Без шуму, хлопцы, вольные черкасы!
Открыто коло. Тише! тише! тише!

Писарь
(с свитком)

Стоит на Раде, на суду казачьем
Боярин-воевода Ляпунов,
Чтоб дать ответ на тяжкие изветы:
Он обвинен, ответчик Ляпунов,
В управе самовластной и жестокой,
В чиненьи притесненья казакам,
И, наконец, по грамоте, к которой
Привешена семейная печать
Их рода, Ляпуновых,— сверх того,
При ней видна руки его и подпись,—

В злодейском приказаньи городам:
Напасть на оных казаков, какие
Где обретаются, и всех убить
В один и тот же день и час; и день-то
Число седьмое сентября, а час
Четвертый ночи.

Казаки

Слышишь ли, Прокофий?
Боярин Ляпунов, что скажешь нам?
Чем оправдаешься? Ну, говори же!

Прокофий

Не вы — Земская дума мне судья.

Заварзин

Как? мы тебе не судьи? ведь ты здесь;
На суд, на Раду, в коло ты пришел:
Так, стало, нас и судьями признал.

Прокофий

Я здесь, и в ваше коло я пришел
Не быть судиму, а судиться с вами.

Заварзин

Судиться, то есть спорить? нас учить?
Не думай: не дадим и не позволим.

Заруцкий

Ответ короткий: признаешь ли ты
Своею грамоту? она тобой ли
Написана? твоя ли тут печать?
Твоя ли подпись?

Прокофий

Вышлите ее
В Земскую думу: думе отвечаю.

Хлопко

И отвечать не хочет: вот гордец!

Заварзин

Чего мы ждем? У нас в руках изменник!

Казаки

Злодей! изменник!

Ржевский

Стойте, казаки!

Хлопко

Прочь, Ржевский! и тебе он неприятель.

Ржевский

Я только знаю, что он прав. К нему
Пройдете вы по телу моему,
Не иначе.

Прокофий

Великодушный Ржевский!

Казаки

Пусть оправдается!

Прокофий

Не трудно мне
Пред вами оправдаться.

Чуп

Оправдаться
Он хочет... тише! тише!

Казаки

Говори!

Прокофий

Быть так; но не забудьте: чтоб себя
Очистить от клевет, товарищ ваш
Прокофий слово скажет, а отнюдь
Не покоряется казачьей Раде
Боярин-воевода Ляпунов.

Голицын

Какие, право, тонкие различья!

Прокофий

Ох! жаль тебя мне, князь Иван Василич!
Винят меня в управе самовластной;
Но хоть один мне случай укажите,

Чтоб вопреки уставу поступил?

Заруцкий

Да ты устав не сам ли сочинил?

Прокофий

Ты сам и все вожди его скрепили
И приняла вся Русская земля.
Всегда я действовал в пределах власти,
Мне данной.

Заруцкий

Смело утверждаешь, друг!
Но под тобой ли служит Просовецкий?
А ты его схватил и засадил.

Прокофий

Я избранный, законный защититель
Бессильных, беззащитных; он грабитель,
Он зажигатель: если бы его
Я нé взял, был бы я и сам преступник.

Заруцкий

Тебе бы было на него донесть
Казачьей Раде.

Казаки

Да! донесть! донесть!
А не вязать, как подлого москаля!

Прокофий

Он русский стольник.

Заруцкий

Он казак.

Казаки

Он наш!
Он где? сюда его! где Просовецкий?

Входит Просовецкий.

Ура! вот он! Ура! наш Просовецкий!
(Поднимают и качают его на руках.)

Просовецкий

Потише, братцы! я устал, вспотел!
Ушел я из-под стражи, а за мною
Так и гнались проклятые стрельцы;
Чуть-чуть не затравили... Ух!

Казаки

Ура!

Один из казаков

Прокофий, отслужи молебен Спасу:
Когда бы наш пузатый не пришел,
Тебя бы мы каменьями побили.

Просовецкий

Неужто? жаль же мне, что я пришел!

Прокофий

Истома Просовецкий, ты бежал
Из-под законной стражи: вдвое будешь
Пред думою Земскою отвечать.

Просовецкий

Прокофий, не боюсь твоих угроз:
Прошла твоя пора, ты сам в беде;
А мужиков изветы что мне? ты,
Ты научил их!

Заварзин

Точно! ты не любишь,
Не терпишь казаков: в его лице
Ты был намерен всех нас обезглавить.

Хлопко

Да что и толковать? Он нас хотел
Известь, зарезать... Где его указ?

Казаки

Указ злодея! Грамоту! указ!

Ржевский

Подайте, покажите.

Подают Ржевскому. Ржевский подает Ляпунову.

З а р у ц к и й

Ну, Прокофий!

П р о к о ф и й

И верите вы этой глупой лжи?

З а в а р з и н

Не хочешь, а поверишь! чья тут подпись?

П р о к о ф и й

Как вы достали этот лист?

З а в а р з и н

А так.
У твоего же отняли стрельца.
Стрелец же показал во всем согласно
С тем, что написано в твоем листе.
(Шепотом Заруцкому.)
Опасно мешкать: увернется бес;
Уж хлопцы ведь развесили-то уши!

П р о к о ф и й

Где тот стрелец? Хоть для меня и низко,
Да так и быть: очну́ю ставку мне
С ним дайте.

Х л о п к о

Поздно, брат: стрелец не близко;
Он провалился в ад и ждет тебя.

П р о к о ф и й

И как вы смели?

З а в а р з и н

Полно! нам не время
С тобою рассуждать.

З а р у ц к и й

Твоя ли подпись?

Прокофий

Нет, не моя.

Заварзин

Твоя! я говорю!
Твоя, проклятый! Я тебе за сына!

Ржевский

Заруцкий, бешеного удержи!

Чуп

Да что вы, хлопцы?

Ржевский

Ты без рук, Голицын,
Стыдись! убийцам выдаешь его!
Толстой! Потемкин! стойте, душегубцы!

Заварзин

Пошел, красавец! не мешай ты нам!

Ржевский

Вступитесь, казаки, за воеводу!

Заварзин

Прочь! прочь! не хочешь? Сгинь же, как собака!

Закалывает Ржевского, потом вместе с Заруцким и сотником Хлопко — Ляпунова; Чуп хочет броситься на помощь погибающим — его оттесняют.

Прокофий

Брат, брат Иван! погиб ты за меня!

Ржевский

Нас смерть мирит с тобою, брат Прокофий!
Христе-Спасителю! прими мой дух!
(Умирает.)

П р о к о ф и й

Указ не мой, клянусь царем небесным,
Всесильный! милосердный! о! спаси
Россию и моих убийц помилуй!
(Умирает.)

Казаки с ужасом разбегаются.

СЦЕНА 5

Близ дороги в Троицкую лавру. Две могилы.

В а н я
(один с заступом)

Бедняжечка! Ее ли я забуду
В своих молитвах? Ты ее скорее,
Христе мой боже! прибери к себе!..
(Помолчав.)

Остановились под Коломной мы;
Зачем-то вышел Федя Ляпунов...
Глаз на глаз с нею я в избе остался,
И вот она подходит, в пояс мне,
Рыдая, поклонилась: «Муж блаженный!
Нельзя самой мне: прогневлю его;
Ты воротись: ему грозит опасность;
Храни, оберегай, спаси его!»
И рад бы был, да я старик бессильный
И малоумен я в мирских делах.
«Дает бессильным силу бог всесильный,
Премудрый и младенцам ум дает».
Что было делать? Воротился я,
Да поздно! Уходили Ляпунова,
С ним вместе Ржевского, и я убийц
Насилу упросил тела мне выдать.
Пусть вместе спят! я вместе их зарыл!
Чудны же, батюшка, отец небесный!
Судьбы твои: Прокофья не любил
Ванюша Ржевский, а закрыл собой
И пал с ним вместе. Я царю Василью
Усердным был холопом... Что же? я

Его врага Прокофья схоронил.
Бездомный я, юродивый бродяга;
Он был и мудр, и славен, и могущ,
И воевода, и правитель грозный,
И властвовал над Русскою землей;
А без меня истлел бы в чистом поле;
Да! псы бы растерзали труп его,
И птицы бы остатки расклевали.

1834



ПРОЗА



ЕВРОПЕЙСКИЕ ПИСЬМА

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Архимед говорил: дайте мне точку вне земли, и я сдвину землю с ее оси. Сохрани нас боже от таковой мысли! Но чтоб судить о современных происшествиях, нравах и вероятных их последствиях, должно мысленно перенестись в другое время. В «Европейских письмах» мы предполагаем, рассматривая события, законы, страсти и обыкновения веков минувших, быстрым взглядом окинуть и наш век. Посему мы мысленно переносимся в будущее: американец, гражданин северных областей, путешествует в XXVI столетии по Европе; она уже снова одичала, и наблюдатель-странник пишет к своему другу о прошлой славе, о прошлом величии, о прошлом просвещении.

ПИСЬМО I

Кадикс. 1 июля 2519 года [1].

Наконец я здесь, в стороне, из которой перелились в нашу часть света рабство и просвещение, убийства, грабеж, искусства и науки, инквизиция и кроткое Христово учение,— я в Европе.

Наше плавание было счастливо, и начальник парохода [2], на котором прибыли мы в Кадикс, уверяет, что давно уже не совершал столь успешного пути.

Вчера я представлялся старшине нашей здешней вашингтонской колонии; он меня принял очень ласково и обещал мне дать проводников во внутренность Испании, в которую почти невозможно проникнуть, не подвергаясь величайшим опасностям.

Дикие гверилассы [3], единственные обитатели сей страны, переходят с своими стадами из долины в долину и под предводительством отважных атаманов грабят мирных африканских купцов и путешественников. Единственное средство предохранить себя от их разбоев — у начальника ближайшей шайки брать провожатого, за которого взносить значительную сумму.

Я отправляюсь на следующей неделе; теперь на досуге перечитываю свои испанские и португальские книги. Более прочих обращают на себя мое внимание Камоэнс и творец «Дон Кишота». Конечно, первый далеко отстоит от Гомера, Виргилия и некоторых эпиков золотого века российской поэзии [4], он по изобретению и плану — подражатель, но оригинал по своим смелым и диким изображениям, по своей резкой и мрачной рисовке. Он занимателен особенно для меня потому, что описывает Индию — край, в котором провел я молодость свою, в котором обогатился обширными познаниями и чистою, прелестною философиею. Гордое презрение, с которым поэт говорит об индостанцах, показывает, что он не мог предчувствовать будущего величия их, что он вовсе не имел понятия о древнем их просвещении. Признаюсь, любезный друг, что суеверие и жестокость, ознаменовавшие все предприятия испанцев и португальцев в Индии и Америке, противоречат понятию, которое мы, в счастливый век наш, имеем об истинной образованности. Имена Кортеца, Пизарро и других опустошителей взвешивают [5] имена Ласказаса, Ксименеса [6], Эмануила. Конечно, теперешние испанцы не имеют театра, на котором представляли бы драматические произведения Калдерона и Лопеца; конечно, ни один из атаманов их не в состоянии построить огромного Эскуриала [7]; но в замену у них нет теперь Торквемады, нет костров для людей мыслящих, нет цепей для народов свободных и счастливых.

ПИСЬМО II

Древний Эскуриал. 20 июля.

Заметим, что опасности и трудности в отдалении нам кажутся гораздо бóльшими, нежели они вблизи и на самом деле. Гверилассы, которых мне описывали такими черными красками, меня везде принимали гостеприимно

и дружески — и я теперь живу посреди их в совершенной беспечности. Характер их почти тот же самый, каковой был за 600 лет перед сим. Гверилассс столько же горд, сколько предок его — древний кастилянец. У него то же богатство в именах и титлах: между добрыми пастухами, которых гостеприимством пользуюсь, множество грандов, дюков и графов. Мой хозяин Дон Алваро Фернандо, граф де Мендора, с наслаждением говорит о знатности своего рода и, не умея ни читать, ни писать, чрезвычайно любит, когда я ему рассказываю о подвигах его предков. Иногда, забывая чины и важность, он вскакивает, обнимает меня и говорит дочери своей: «Донна Анжелика! Не угодно ли вам подоить нашу корову, чтоб попотчевать жирным молоком этого доброго господина, который так хорошо знает историю королей Дона Карлоса и Дона Филиппа?» [8]

Вчера я до самой полуночи бродил между развалинами Эскуриала. События минувших времен сопровождали меня. Казалось, я видел пред собою в смутной высоте тени коварного Фердинанда и честолюбивой Изабеллы; Карла, который в своей душе соединял души сих великих предков своих; ужасного Филиппа и несчастного его сына; Ксименеса, Альбы, Дона Жуана Австрийского. Они прошли мимо, и я не заметил недостойных преемников их,— но век Буонапарта пробудил меня. Испания, наводненная необузданными полчищами Мюрата, минутное царствование короля Иосифа, Испания в борьбе за свободу и независимость, за священнейшие права народов — великий и назидательный пример для потомства! Холодный ветер, поднявшийся с севера, прервал мои мечтания, но я еще долго бродил, задумчивый, между развалинами и чувствовал ничтожность свою и всего земного!

ПИСЬМО III

Кордова. 26 июля.

В Гренаде между маврами [9] процветали науки, дух рыцарства, благородство и доблесть; ныне пастух переходит с своими стадами те места, где некогда мудрецы арабские беседовали с философами христианскими, на бурных конях, среди ристалища, могучие витязи Востока, бранные вои Запада летели друг против друга, сокру-

шали копья о грудь железного противника и славили своего бога и обладательницу души своей. Певцы, которые служили образцами и наставниками для провансских трубадуров и менестрелей Англии, вместе нежные и сильные, передавали потомству имена победителей и тех счастливых красавиц, которые властвовали над героями.

Гонзальв покорил Гренаду Фердинандову скипетру — и мавры стали морскими разбойниками, и Испания не воспользовалась наследием их прежнего просвещения. Влияние арабов на характер испанских христиан, даже во время царствования домов Австрийского и Бурбонского [10], было велико и богато следствиями. Испанцы всегда являлись в Европе народом не-европейским: леность, свойственная племенам африканским и азиатским, удержала их на пути гражданского усовершенствования и умственного образования не менее роскоши и нерадивости, порожденных сокровищами обеих Индий [11]. Посреди Пиренейских долин они и в XVI, и в XVII веках были бедуинами, в Толедо и Мадрите — роскошными подражателями жителей Смирны и Дамаска. Несмотря на дух рыцарства и вежливость европейского дворянства, гранды испанские в ревнивости не уступали пашам Сирии и Алджезиры [12]: дамы сердец их не иначе смели являться глазам народа, как в покрывале и в сопровождении строгой дуенны. Супруг говорил с супругою, как с царицею, но запирал ее, как невольницу. Страсть к удовольствиям и к рассеянности — другая черта, которая в испанском характере сходна с чувственностию и беспечностию африканцев. Испанец, точно как мавр и негр, страстный любитель пляски и музыки. Мавры искони любили сказки и рассказы в стихах и рифмах: Алкоран и «История» Абульфеды от доски до доски написаны рифмованными хореями. Испанские исторические народные песни — романсы — явное подражание сим повествованиям.

ПИСЬМО IV

Кордова. 1 августа.

Здесь много памятников арабской архитектуры; я сравнивал их с моими рисунками развалин Эскуриала и нашел большое сходство между теми и другими. Все подтверждает меня во мнении, что так называемая готи-

ческая архитектура, с некоторыми только изменениями, заимствована от арабов. Единственная разница, которую я заметил между памятниками христианского и мусульманского зодчества в Испании,— что круговая линéя более господствует в произведениях последнего.

Я часто бываю на охоте в дремучих лесах, которые окружают город Кордову и которые отделяют владения наших поселенцев от необозримых степей, простирающихся к северу по всей бывшей Гренаде. Люблю бродить в сих диких местах, где вся природа оживлена и говорит воображению.

Вчера я заблудился. Утомленный трудами палящего дня, я искал пристанища и с наслаждением преклонял слух на шум пустынного потока, которого голос пробирался сквозь ветви и обещал мне отдых и прохладу. Я рвался сквозь кустарник и густоту сплетшихся сучьев и вдруг увидел лазурь источника и над ним прелестное, чистое небо, которое во весь день являлось мне, если можно сказать, только отрывками. Над ручьем, на небольшой возвышенности, стояли развалины христианского величественного монастыря. Вечное движение воды и вечное спокойствие сих камней представляли разительную противоположность: я, казалось, видел всю вселенную в сокращении, все временное человеческое и все неразрушимое в природе. Шепот воды заставил меня еще более задуматься: я перенесся в те веки, когда сии стены еще были обитаемы, когда отшельники, вольные и невольные, здесь старались забыть все земное и жить Небесному. Сколько здесь слез было пролито... Это меня пробудило. Я взглянул на развалины — они были освещены лучами заходящего солнца, которого прелестный образ сквозился сквозь ветви дерев, осыпанных розовым блеском. Воды пылали, светлая синева восточного неба улыбалася, и месяц, в виде легкого эфирного облака, носился в неизмеримости.— Как прелестна и вечно прелестна божественная природа! Как мал и превратен человек, гордый и слабый! Но я был утешен, и глаза мои с благодарною слезою поднялись к небу.

Вообще, сколько мне кажется, обязанность всякого мыслящего выводить по возможности из того заблуждения, в котором ⟨находится⟩ бóльшая часть наших историков и политиков в рассуждении мнимого просвещения времен Вольтера и Фридриха. Сколько вещей, кото-

рые бы должны в сем разуверить всякого! Не говоря уже об инквизиции и пытке, о гонениях на людей мыслящих, взглянем только на систему меркантилистов [13], на заблуждение физиократов [14], на то сопротивление, которое встречал Адам Смит даже и в XIX столетии своим простым и мудрым наставлениям, взглянем на коварную политику Наполеона, на беспрестанные нарушения равновесия и священнейших прав человечества,— и мы, живя в счастливое время, когда политика и нравственность одно и то же, когда правительства и народы общими силами стремятся к одной цели, мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе о золотом греческом периоде,— перестанем жалеть о веках семнадцатом и осьмнадцатом.

ПИСЬМО V

Генуа. 3 сентября.

Гиспания теперь за мною: я в Италии, в земле, коей жители в отношениях политическом и нравственном, без сомнения, занимали некогда первое место между народами европейского мира.

Как описать тебе, мой друг, чувства, с которыми я в первый раз вступил на сей классический берег, на сей феатр минувших всемирных происшествий? Тени повелителей вселенной встретили, кажется, меня у самой пристани: я видел призраки древнего могущества, древней славы, древнего просвещения, я искал их развалины — и не мог найти и следа их. Генуа, некогда князь между торговыми городами Италии, Генуа, которая отдавала преимущество одной только Венеции, повелительница через половину тысячелетия западной части Средиземного моря, страшная и уважаемая даже до XVII столетия, ныне не что иное, как бедная деревушка. Могли ли Дории, мог ли Фиэско предчувствовать такой переворот судьбы?

Начало падения Генуи было открытие европейцами нашей части света — Америки. Христофор Колон, или, как его обыкновенно называют, Колумб, генуэзец, первый положил основание гибели своего отечества: он похитил у союза италийских торговых городов их исключительную торговлю с Индиею и с островами Тихого океана. Но и без Колумба Генуа, утратив свою незави-

симость, утратила бы свое могущество, свое богатство, и без Колумба Генуа ныне, быть может, была бы беднолю деревушкою, ибо торговля и изобилие, деятельность и просвещение требуют свободы и вянут под жесткою рукою тирании. Их можно сравнить с нежным пухом, которым осыпаны крылья бабочки: она прельщает, манит блеском своих цветов; безрассудный ребенок — чужеземный завоеватель — хватает ее,— и в руках у него безобразное насекомое!

Меня ждет Рим, ждут развалины Августовой древности, ждут развалины древности другой, более близкой для нас — древности Льва X и — посреди сих останков двух периодов, из которых один составляет давно минувшее для нас, а другой — давно минувшее для живших в первом, посреди сих останков — обелиск, пришлец из Египта, пришлец из туманного времени баснословия, о котором сами римляне говорили с каким-то благоговейным ужасом [15].

Здесь почти невозможно достать италиянских книг. Чтобы узнать словесность и политическую жизнь Италии, надобно не выезжать из Америки. Если бы я не запасся уже в Филадельфии лучшими творениями веков Августа и Медицисов, я совершенно бы был без занятий для ума и сердца. Люблю читать Ариоста: его паладины в диких пустынях древнего мира, кажется, нашли бы Италию в таком же, а может быть, в еще более диком состоянии, в каком ее оставили. Воскреснув, они подумали бы, что только проснулись от богатырского сна.

ПИСЬМО VI

Остров на Лаго-Маджиоре [16].

Я на время совершенно забыл цель моего путешествия и здесь, в объятиях свежей, девственной природы, забыл людей и их минувшую суетность, их отцветшие художества и науки, их разрушенные здания, их перемененную судьбу и никогда не переменяемые слабости. Здесь я живу на безлюдном острове, в небольшом домике, построенном когда-то добрым путешественником, не позабывшим, наслаждаясь здесь прелестями природы, постараться о выгодах своих преемников.

Виды с острова волшебны. Они на меня сильно подействовали, хотя я и видел Ниагарский водопад, хотя

и плыл по великолепным водам Миссисипи и удивлялся северному сиянию в Квебеке и в Исландии. С Изола-Белла [17], говорят, некогда было видно исполинское изваяние святого Барромея, неподалеку от Ароны: оно стояло на подножии вышиною в 25 локтей и само было в 35; в голове огромной статуи могли удобно поместиться 12 человек [18]. Великан обозревал всю Северную Италию и глядел на льдины Альпийских гор, видных с острова.

В первую ночь по моем приезде я не мог заснуть и бродил по острову. Луна освещала окрестности и распространяла какое-то волшебное мерцание по каштановым рощам, по гладкой поверхности вод, по снежным вершинам Альпов — сих современников всех веков и всех событий. Водопады шумели, листья дерев трепетали, сердце мое билось. Так и за сто, так и за тысячу лет водопады шумели, листья трепетали, билось сердце человеческое. Я чувствовал, что природа вечна, что вечны чувства, потому что и они — природа. Солнце взошло и отразилось в огромных зеркалах, которые ему противоставляли отдаленные горы. Возвышенный над водами Лаго-Маджиоре, я был возвышен над всем земным; я был уверен, что человек не мгновенен, что и род человеческий самыми переменами, самыми мнимыми разрушениями зреет и усовершенствуется.

ПИСЬМО VII

Рим. 15 октября.

И я в Риме, в бессмертном Риме! Все пережил он перевороты, все возрасты племен, обитавших в Гесперии [19]. Ни галлы, ни Катилина, ни Спартак, ни Серторий, ни ужасные сыны его Сулла и Марий, ни первые триумвиры, ни вторые [20] не могли его стереть с лица земного. Междуусобные войны раздирали Италию; преторианцы [21] резали цесарей и продавали с молотка багряницу [22] их. Тиберии, Калигулы, Нероны являлись чудовищными пугалищами на престоле Августа под диадемою, которой не хотели видеть Бруты и Кассии на челе великого Юлия; Домицияны платили дань варварам; Арминий истреблял легионы; Цивилис и Марбот угрожали Капитолию клятвопреступным мечом своим — и Рим пребывал неколебим, и Рим-город расширялся над целыми областями. Колосс Империи рушился; вандалы,

готфы, гунны, выходцы из пустынь отдаленной Азии, обитавшие по границам Хины [23], осквернили святую Квиритскую землю [24] своим диким присутствием; разрушение сопровождало каждый шаг их, сокровища расхищались, дворцы и храмы пылали, произведения греков — сих искусных рабов вечного города: картины, изваяния, чудеса зодчества — гибли от рук северных дикарей,— но Рим пережил красу свою и славу.

Настал век Гильдебранда: Рим снова владыка над вселенной. Злополучный друг Петрарки, смелый Риэнзи! вся Европа под свинцовым скипетром ужасного Иннокентия. Ты в Риме, в средоточии, в сердце рабства и уничижения, один восстаешь, мечтаешь, говоришь о Катонах и Туллиях людям, трепетавшим перед камилавкою, преклонявшим колена перед рясою. О, чудо! Твой дух переходит в них. Ты поражаешь перуном изгнания и отвержения римского епископа, покинувшего свое стадо,— да управляет из Авиньона царями земли [25].

Я вижу Льва X. Нравственно-духовная власть Рима подрезана у самого корня; суеверие поражено сильною рукою немецкого монаха [26] (оно было взращено и увенчано самым пышным цветом рукою другого, немецкого же монаха [27]); прошел век владычества коронованных иноков — но Рим остался столицею Европейского мира. Художества, науки, философия цветут под державною рукою первосвященника, грозного повелителя суеверов, отца нетерпимости — для иностранцев, умного и всеми любимого государя — для своих подданных, мудреца между мудрецами и в кругу приближенных веселого собеседника. Карл V, римский император, защитник западного православия [28], вступает в православный Рим с войском из германских еретиков [29], грабит и разрушает не хуже вандалов и готфов, берет в полон папу и повелевает во всех церквах католических областей своих молиться за освобождение верховного пастыря церкви Христовой. Рим стонет, но снова возвышается из развалин!

В Рим со всех сторон стекаются иностранцы; они удивляются памятникам древнего зодчества, созданиям нового, и Рим — все еще первый город в свете. Буонапарте, сей необыкновенный человек, счастливый питомец революции, жертва своего честолюбия и презрения к человечеству, является в стенах Рима [30] — новый Одоакр. Отец римлян — старец Пий увезен в чужбину, державный Рим пал на колена — но вскоре гигант Запада низвержен десницею всевышнего, и Рим отрясает прах

с чела своего. Не стану говорить о том, что еще не изгладилось ни из чьей памяти. События следуют за событиями, города разрушаются, целые народы исчезают с земли, лицо нашего мира переменилось. Рим и поныне утратил только часть своего блеска, не утратил своей славы и стойт посреди Европы, как старец, переживший всех своих современников и потомков, как тот Вечный Иудей [31], которому, по преданию, определено быть свидетелем всех веков и современником всех поколений.

ПИСЬМО VIII

Из Рима.

Рим существует, между тем как города столь же богатые и могущественные, между тем как Париж, как Лондон исчезли с земли. Что же могло быть причиною его целости посреди общего разрушения? Слава на сей раз была хранительницею жизни или, лучше сказать, бальзамом, употребленным судьбою для сбережения мумии древнего Рима.

Здесь нет собственно того, что в других городах называется населением. В Риме живут одни почти приезжие иностранцы. Они, подобно перелетным птицам, посещают древний Рим, поклоняются его развалинам, потом покидают его, чтоб уступить место свое новым пришельцам. Между жителями сего города почти нет ни одного, в котором бы текла кровь не говорю уже древних квиритов, но даже и единоплеменников Кановы и Метастазио. Точно так в окаменелом дубе почти нет древесных частиц: он весь составлен из стихий чуждых, нанесенных тем ветром, тою бурею, которые исторгли из земли гордого исполина лесов, а потом развеяли прах его.

Здесь странное смешение людей всех народов и всех земель: уроженец квебекский нанимает дом возле богатого мандарина из Кантона [32]. Русский торговец живет возле японского ученого, негр из Гаити дышит одним воздухом с своим африканским единоплеменником. Здесь говорят всеми языками, кроме италиянского, но читают почти исключительно италиянские и латинские книги.

Весь день для меня здесь проходит в ученых упражнениях. Меня в особенности чрезвычайно занимают па-

мятники римской живописи; к несчастию, они почти все более или менее претерпели от руки времени. Альфреско [33] все без исключения погибли. Я до сей поры не могу понять, как художник, влюбленный в свое искусство, мог обречь свои произведения на неминуемую смерть, соглашаясь писать на глине. Если бы не немецкие и английские граверы, мы не имели бы и понятия о лучших произведениях кисти Рафаэля и Микель-Анджело.

Храм святого Петра хотя и в развалинах, однако же еще живо напоминает воображению свое прежнее величие. Я смотрел на него и днем, при полном блеске солнечных лучей, и ночью, при тихом лунном сиянии. Признаюсь, что днем сей пышный и тлеющий памятник зодчества сделал на меня болезненное впечатление: мне казалось, что нетленная, всегда торжествующая природа как будто издевается над ничтожным великолепием человеческим. Но ночью я был утешен: тишина великого храма, огромные размеры его, изглаженные следы истребления меня возвысили; все здание мне являлось преображенным. Так, думал я, и род человеческий в ту ночь, которая настанет после его дня, явится преображенным; все его несчастия, все мнимые разрушения утонут в гармонии целого. Мыслящий мудрец, выходец из другого мира, взглянет с благоговением на сие великое создание верховного строителя. Он поймет, что в жизни нашего племени не было ничего потеряно, что не было даже ни одного слова, согретого на сердце доброго, ни одной мысли, ни одного чувства, как бы они ни скрывались глубоко в душе человека самого забытого, которые бы не содействовали благотворительно воспитанию самых отдаленных поколений. Самые заблуждения, самые пороки и злодеяния не были бесполезны — ибо они служили к открытию истины, ибо они доказали людям непреложность того, что было так часто повторяемо, но так редко чувствовано и понято,— что отступить от правил честности и добродетели — значит добровольно отказаться от счастия, что быть справедливым и быть благоразумным — все равно. Не сомневаюсь, что настанет время, когда все народы, все правительства, все люди своими поступками докажут, что они верят сей аксиоме; не сомневаюсь, что настанет время, когда быть порочным и быть сумасшедшим — будет одним и тем же.

Мы уже гораздо менее злополучных предков наших удалены от сего блаженного века. Конечно, пройдут,

может быть, еще тысячелетия, пока не достигнет человечество сей высшей степени *человечности*. Но оно достигнет ее, или вся история не что иное, как глупая и вместе ужасная своим бессмыслием сказка!

ПИСЬМО IX

Из Рима.

Читаю Тацита и благодарю бога, что между нами ныне уже не может родиться Тацит: ибо не могут родиться Нероны и Тиберии. Как тщетны и безрассудны жалобы тех, которые грустят и горюют об отцветших украшениях веков минувших! Они забывают, что богатства прошлых столетий не потеряны: сии сокровища живут для нас в воспоминании, и сим именно лучшею жизнию, в таинственном тумане прошедшего; над ними плачет элегия, и они драгоценны, трогательны, святы для нашего сердца; в существенности они, может быть, оставили бы нас холодными.

Усовершенствование — цель человечества. Пути к нему разнообразны до бесконечности (и хвала за то Провидению!). Но человечество подвигается вперед. Окинем только быстрым взглядом разные феатры, на коих выступал человек в века различного своего образования. Как тесен, как мал феатр, на котором является глазам наблюдателя *художественное* греческое развитие ума человеческого: Аттика, Коринф, некоторые города великой Греции, Сицилии и Малой Азии — и вот все! Век римского образования, подражания греческому, но принявшего силу и суровость потомков Ромула, диких и в самом просвещении, разливается уже над гораздо бóльшим пространством земного шара. Холодное, часто убийственное просвещение квиритов должно было затмиться на время нашествием свежих, девственных сынов Севера, чтобы принять и жизнь, и пламя в их теплых душах, чтобы распространиться над всею Европою. Наконец и европейцы состарились: Провидение отняло у них свет, но единственно для того, чтобы повелеть солнцу истины в лучшем блеске воссиять над Азиею, над Африкою, над естественною преемницею Европы — Америкою.

Заслуживало ли просвещение греческое, заслуживало ли просвещение римлян и европейцев соделаться

наследием всего мира? Бóльшая часть жителей Эллады находилась в самом жесточайшем рабстве, между тем как некоторые, присвоив себе исключительно название граждан, буйствовали и думали, что они свободны, изгоняя Аристида и повинуясь шалуну Алкибиаду? В Риме Катоны не стыдились быть ростовщиками; Цесарь был соумышленником Катилины [34] и назывался супругом всех римлянок, супругою всех римлян; Агриппа и Юлия могли присутствовать при ужасных зрелищах, в коих мечебойцы резали друг друга в увеселение жестокого народа, который называл себя царем вселенной и терпеливо рабствовал бессмысленному Клавдию и чудовищному дитяте — Гелиогабалу. Не говорю тебе уже об европейцах: раскрой их историю и оцепенеешь, подумаешь, что читаешь летописи диких зверей. Но забудем частные заблуждения: их нравы вообще были мягче нравов римских, и люди более пользовались правами людей, чем в греческих самозванцах-республиках, и хотя обыкновенно не соблюдали правил нравственности, по крайней мере признавали ее феорию.

ПИСЬМО X

Из Рима.

Между европейскими народами ни один не был оклеймен такою худою славою, как италиянцы. Скажем, однако же, что они точно были лучше того мнения, которое о них имели их современники. Все почти италиянцы были влюблены в прекрасное, были влюблены в славу своего отечества — а любить прекрасное и славу не может человек, совершенно отверженный природою. Бóльшая часть даже величайших извергов, которые встречаются нам в италиянской истории, но встречаются равно в истории всех народов, бóльшая часть из них в других обстоятельствах, вероятно, представляла ⟨бы⟩ нам героев добродетели, ибо они были злодеями, потому что имели сильные страсти, а человек с сильными страстями необходимо должен иметь свежую душу — в увядшем, слабом негодяе самые страсти вялы и малодушны, он может быть подлецом, но великим злодеем — никогда.

Европейские путешественники обыкновенно называли италиянцев хитрыми, вероломными обманщиками.

Они забывали, что между англичанами, французами, немцами столько же было обманщиков и клятвопреступников, сколько между италиянцами; они забывали, что сказал славный Винкельман, когда его в Германии однажды спросили: много ли в Италии мошенников? «Так! — отвечал он,— мне случалось инде видеть в Италии мошенников, но могу вас уверить, что и в Германии встречался я с честными людьми!» Италиянцы в продолжение тысячелетия не имели бытия народного [35], а без бытия народного трудно не быть коварным, быть благородным и прямым. Италиянцы были хитры по той же причине, по которой у всех народов, во всех веках и во всех странах земного шара женщины были и будут хитрее мужчин: они были слабы и угнетаемы. Несмотря на то, что обыкновенно италиянцев европейские писатели обвиняли в жестокости и мстительности и из сего вообще выводили, что они злы, я смело могу сказать, что, читая их историю, читая картины их нравов в их романах и народных сказках, сих верных изображениях свойств народных, я нахожу в них какое-то трогательное добродушие. Италиянец знает свои слабости, и по сему самому он снисходителен к слабостям других. Он не насмешлив, как француз, ибо знает из собственного опыта, как больно быть предметом насмешки; он не имеет строгости немца в своих суждениях о других, ибо не забывает, что ему самому нужно снисхождение; он и понятия не имеет о гордости испанца, ибо гордость в обхождении с ним возмущает его более всякой обиды; холодное пренебрежение к другим английских эгоистов одно только еще более может ожесточить его, чем самая надменность испанца, ибо италиянец, сын пламенного неба, не в состоянии презирать — он может или любить, или ненавидеть.

Французы — не девятнадцатого и следовавших за ним столетий, а осьмнадцатого и всех предшествовавших революции — могли некоторым образом называться детьми между европейскими народами, но детьми избалованными. Они столько же были легкомысленны, столько же жестоки, столько же опрометчивы в своих мнениях и столько же нечувствительны (ибо чувствительность, *истинная, неподделанная,* развивается в юношеском возрасте, в сем летнем времени человеческой жизни).

Немцы, вечные мечтатели, вечные путешественники в области таинств и воображения, никогда в продолже-

ние всей своей истории не достигали зрелости, никогда не пользовались твердым, надежным гражданским благосостоянием. Дерзкие нередко до безумия в своих предположениях и в феориях, они всегда были робки на самом деле; они никогда не выходили из-под опеки, потому что никогда и нигде не переставали быть юношами.

Северо-западные народы и в особенности англичане могли называться мужами и мужчинами между европейцами: они жили на земле и в жизни, а не в пустых пространствах воздуха и фантазии. Они одни только долгое время исключительно наслаждались правами граждан и человеков, но в то же время, когда в полной мере владели всеми преимуществами мужеского возраста, сии сильные племена имели и все недостатки холодной зрелости — суровость, корыстолюбие, нечувствительность.

Что же касается до италиянцев, я уже заметил, что они в своем характере имели большое сходство с женщинами вообще: они были страстны, как женщины, они были одарены всеми достоинствами и всеми пороками женскими. Сластолюбивы и пылки, они в то же время были постоянны в любви и дружбе; они были чувствительны не по воображению, но по сердцу, были готовы жертвовать всем для того, кто умел приобресть их всегда пламенную привязанность. Но горе тому, кого они ненавидели! Горе ему, если он некогда был предметом их удивления, их обожания! Они в своем мщении, в своей ревнивости были тиграми. Но, подобно женщинам, они медлили ненавидеть: их сердцу больно было отказаться от сладостной веры в достоинство своего любимца.

ПИСЬМО XI

Подножие горы Этны. 15 ноября.

Я видел развалины Неаполя, Мессины, Палермы. Я видел тот волшебный, но обесславленный в истории остров [36], с коего чудовища Нерон и Тиберий смотрели на цветущие берега Италии. Я отыскивал те места, где в XVIII столетии нашли под землею древние Помпеи и город Геркулеса. Ныне не существует и самое Портичи [37], построенное над сими подземными образчиками римских и греческих городов, и самый Везувий уже выгорел — здесь разрушение истребило самое орудие разрушения. Но Этна еще горит, и, кажется, с большею силою, нежели когда-нибудь: я наблюдал ее, и ужас и

удивление проникнули в сокровеннейшие изгибы души моей. Не стану тебе описывать сего зрелища: его уже, может быть, слишком часто старались изображать; до́лжно самому видеть его, чтоб иметь точное о нем понятие.

В Калабрии — земле, которая в европейской истории была известна грубостью и дикостью своих жителей,— в Калабрии я ныне нашел российское поселение. Между сими выходцами много людей истинно просвещенных и образованных. Они дали мне самое выгодное мнение о их одноземцах. Между прочим я познакомился с старшиною тамошней колонии и узнал в нем, так сказать, представителя отличных людей нашего века.

Добров — человек сорока лет. Он находится в том возрасте, в котором редкий переменяет свой образ мыслей, свои правила. Черные глаза его выразительны; они, кажется, желают проникнуть во все тайны души того, с кем он разговаривает. Но как сие желание не ищет укрыться от внимательного взора других, оно не лишает его лица тишины и мира, оно не дает взглядам его той беглости, того лукавого беспокойства, которые примечаем мы в дошедших до нас портретах великих политиков XVIII и XIX столетий.

Он откровенен в своем разговоре, потому что благоразумен, потому что слишком хорошо знает все невыгоды притворства и половинной искренности. Но в то же время, владея неисчерпаемым источником чувствительности, он редко выражает чувства свои словами — не потому, чтобы почитал людей, братий своих, неспособными вполне оценить и разделить его душевное богатство (он слишком уверен в достоинстве человека, чтобы унижать его таким мнением), но потому, что знает, как недостаточно слово для выражения всего происходящего внутри нас, потому, что видит, как озабочены его ближние трудами и обязанностями жизни, отнимающими у них досуг и способность вслушиваться в голос постороннего сердца.

В доме Доброва царствует величайшая опрятность, утонченный вкус, великолепие без пышности, изобилие без расточительности, порядок без принуждения, бережливость без боязливости, без скупости. Слуг не много, но они усердны и, кажется, выжидают и высматривают малейший случай, чтобы оказать услугу, к которой даже не обязаны, чтобы доставить гостям и хозяину удовольствие и выгоды. Добров всячески своим ласковым обращением старается заставить их забыть, что они пожерт-

вовали частию своей личной свободы для насущного хлеба. Но он редко разделяет между ними подарки, ибо подарки по большей части бывают причиною неудовольствия и зависти. Слуге же, одаренному душою, приветливое слово, шутка, которая заставляет его на миг забыть неравенство между господином и собою, приятнее величайших подарков и награждений.

Добров человек самый деятельный, самый трудолюбивый, но у него остается время и для удовольствий. Он наслаждается — потому что наслаждение считает обязанностию всякого, но свое счастие полагает он единственно в наслаждении добродетелию. Все входит в состав феории его высокого эпикуризма. Его правило — во всем и вполне быть человеком. Звериная ловля, дикое препровождение времени отважных полуварваров, удовольствия роскошной азийской купальни, веселия сократической трапезы [38] и изобилие пиров лукулловых [39], музыка — источник духовного, таинственного упоения, умный и выдержанный разговор с человеком просвещенным и глубокомысленным, сладостные, смутные мечтания в уединении на берегу шумного потока или под ропот источника, бегущего в сумраке дерев, резвость и шутки в кругу молодых красавиц и их обожателей, поэзия всех народов и всех веков, но не в оригиналах, а в превосходных отечественных переводах, важная беседа с мудрецами и бытописателями веков минувших — словом, все роды наслаждений душевных и телесных, даже участие в театральных представлениях, даже легкая дружеская насмешка, даже пляска и редкое минутное забвение самого себя за полною чашею — все роды истинных наслаждений знакомы Доброву, все принимаются им с благодарностию из руки Провидения.

Но всему предпочитает он тихий мир и сладостную теплоту семейственной жизни. Супруга Доброва — прекрасная Элиза — идеал женского совершенства. Она росту небольшого. Глаза ее, голубые, исполнены жизни и доброты неизъяснимой. Она, кажется, готова сказать всякому: «Как бы я желала тебя видеть счастливым!» Но «я люблю тебя, неизреченно люблю тебя!» — говорят ее глаза одному супругу. Элиза не слишком заботится о своей наружности, но что бы ни вздумала надеть, к ней верно все пристанет, она верно собою все украсит. До сих пор сохранила Элиза ту младенческую простоту, ту искренность, которые придавали ее детскому возрасту какую-то ангельскую святость. И в то же время она

скромная, но проницательная советница своего мужа в обстоятельствах самых трудных и в случаях самых запутанных. Она прекрасно поет и рисует, не думая быть виртуозом. Она совершенно понимает и — что еще более — совершенно чувствует великих писателей, но никогда не произносит своего мнения, никогда не показывает своего восторга и только иногда противу воли обнаруживает свою прелестную душу переменою в лице, слезою, которая при чтении трогательного места блеснет в очах ее, которую она старается обличить во лжи милою улыбкою, которой она тем более придает цены и небесности. Элиза благотворит; но сначала ни муж, ни даже облагодетельствованные — никто не знал того, и если Добров теперь открыл сию превосходную сторону души ее, он должен был изменить своему характеру, должен был употребить хитрость.

Добров, как правитель народа, естественным образом полагает главное достоинство человека — в гражданственности. Но он не односторонен в своих суждениях. Он всегда помнит, что совершенный гражданин не есть еще совершенный человек, что образованности нравственная, эстетическая, религиозная, ученая, даже физическая имеют такое же право на уважение, как и образованность гражданская, ибо они все — средства к человечности, все ра́вно должны входить в состав образованности истинного человека. Сие самое беспристрастие делает Доброва снисходительным к пристрастиям и односторонности тех, которые просто граждане, моралисты, художники, а не люди: он снисходителен к ним, ибо они полезны — постепенному усовершенствованию целого.

В нашем счастливом отечестве много людей, похожих на Доброва. Перенесися же мысленно в XIX столетие, прочти образованнейшему европейцу изображение моего Доброва. Несмотря на то, что Добров не более и не менее как только истинный человек, он назовет его существом идеальным, невозможным. Суди же, как они были удалены от истинного просвещения, от истинной образованности — от природы. В Европе мафематик был мафематиком и ничем более: он пренебрегал художником, правоведцем, историком. Каждый из них платил ему и всем прочим тою же монетою, каждый ученый присвоивал только своей части исключительное название науки. Толпа или не понимала их, или смеялась над ними, или питала к ним какое-то отвращение, перемешанное ужасом и жалостию,— сожаление, подобное

тому, которое оказывают сумасшедшим. Купец, воин, гражданский чиновник, духовный презирали и ненавидели взаимно друг друга: они не только не были людьми, они даже не были гражданами. Даже те немногие истинные сыны отечества, которые посвящали жизнь, труды и любовь свою благосостоянию братий, последователи Адама Смита и английских экономистов, судили слишком строго и односторонно о людях, которые, быть может, стояли выше их,— о литераторах и умозрительных философах. Отличнейшие и превосходнейшие умы в числе сих последних одни только имели смутное понятие об истинном достоинстве человека. Но в то же время обстоятельства не дозволяли им приобресть силу и твердость души, необходимые к исполнению всего, что они признавали в теплой вере сердца непременною обязанностию человека.

ПИСЬМО XII

Я воротился из Сицилии и живу здесь в доме Доброва. Он приехал сюда из Калабрии, и мы проводим с ним время самым приятным образом. Каждый почти вечер разговариваем об италиянской истории. С самых отдаленных времен обе Сицилии [40] были классическими землями для бытописателей. Все почти народы Европы, Западной Азии и Северной Африки попеременно населяли и опустошали сей эдем [41] Европейского мира. Сколько имен и поколений! Троянцы и прежде еще пеласги [42] и фракийцы, греки, римляне, готфы и другие дикие племена из стран северных и восточных, вандалы и мавры из Африки, арабы, византийцы, аристократы венециянские и генуэзские, наконец норманны, французы, испанцы и австрийцы! Дух рыцарства, перенесенный в Неаполь норманнами и маврами, принял под прекрасным небом Италии какой-то нежный, прелестный характер, не утратив нимало своей смелости, своего мужества. Роджиеро — герой италиянских норманнов, Вильгельм, Гискардо, Роберт и другие витязи Неаполя и Апулии представляют нам как бы идеал всех рыцарских доблестей, всех христианских добродетелей. Из их истории Ариост почерпнул, кажется, характеры великого Орландо и величественного Карла [43]. Роджиеро превосходит всех их и является наблюдателю, самому даже строгому, в числе тех немногих избранных, в коих взор его не находит никаких слабостей.

Хотя не италиянец, хотя не герой, принесший развитый уже лавр на олтарь славы,— Конрадин, последняя несчастная отрасль Гибеллинов [44], принадлежит к лучшим украшениям сицилийских летописей. Шестнадцатилетний юноша, предводитель немногочисленной дружины верных, идет из дальнего отечества свевов и каттов [45] в благословенные края великой Греции сорвать с главы похитителя венец своих прадедов. Счастие ему изменяет. Пехота Карла Анжуйского, гордость и слава Пикардии [46], торжествует, и король Конрадин, внук великого Гоэнштайфена,— в цепях, во власти своего вассала. Он всходит на эшафот и перед смертию еще завещает свой престол своему законному преемнику, государю одного из королевств Испанского полуострова.

Французы владеют Неаполем. Их надменность, распутство и насмешливость каждый день, каждый час оскорбляют народную гордость италиянцев. Самый Карл — невольник своей буйной пикардской когорты. Его наследники слабы и лишены всех достоинств царских и рыцарских; воины пикардские превратились в изнеженных вельмож, в изнеженных угнетателей. Час грозного мщения настал, и в одну ночь в обеих Сицилиях не стало ни одного из французских пришельцев [47].

Но оставим исчисление происшествий. Ни одна земля не претерпела столько переворотов, и ужасных, и занимательных для историка. В Неаполе образовался Тасс. В Неаполе чудесная своею красотою природа, вечная зелень и вечная лазурь, извержения Везувия, необъятное море и прелестные далекие берега Сикулии [48], которые являются взору в прозрачной дали как будто обитель счастия, которые представляются ему, как представляется жаждущему сердцу причина и слез, и восторга, тайная цель всех желаний — вечное спокойствие,— в Неаполе окрылялась молодая душа Торкватова. Его первые произведения были в роде пастушеском. Великая Греция и родственная ей земля Сиракузская должны были сходствовать в своем влиянии на воображение поэтов; Теокрит и Бион, Виргилий и Тасс были созданы одною природою. Ужасные события потрясли воображение юного вещуна. Они дали его фантазии полет смелый — и буколик превратился в эпика, но эпик с любовью останавливается везде, где встречает прелестную природу, и описывает ее ⟨с⟩ наслаждением.

АДО

Эстонская повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Воскресните в моей памяти, леса дикие, угрюмые! Вы, ели, до небес восходящие, сосны темно-зеленые, вековые дщери Эстонии, тундры, блата непроходные,— ныне вспоминаю вас! Тебя, мрачное Ульви; тебя, холм Авинорский, препоясанный извилистым ручьем; тебя, песчаный Неналь; тебя, Чудское бурное озеро! С брегов Невы, из пышных стен Петрополя, пренесенный младенцем на брега Пейпуса [1], вовеки не забуду градищ твоих, земля моих предков, твоего первобытного племени, обычаев, нравов, преданий твоих! Ни Рейн и скаты его, покрытые развалинами замков рыцарских, виноградниками, многолюдными градами и селениями; ни Кавказ, превосходящий Альпы высотою, убеленный вечными снегами, простирающий на юг Арагвский водопад и на север — водопад Терекский; ни сладостный Гурджистан *; ни Прованс, столь же сладостный,— не могли изгладить из моего воображения картин, поразивших меня в те лета, когда начинаешь чувствовать, но еще не понимаешь ни себя, ни мира, тебя окружающего.

Было время, когда сии пустынные места были еще пустыннее, когда пасмурная природа Эстонии являлась еще пасмурнее, когда ее мощные обитатели не знали ни саксонского [2] ига, ни кроткого учения Христова. Сохранились по сю пору сказания о сих веках независимости и силы. Тогда два кудесника, жрецы Юма-

* Грузия.

лы *, жили здесь — один на холме Авиноромского, другой в долине Майцма, у подножия оного. Соседи благоговели пред ними и страшились их; но их имена поглотило забвение. При захождении солнца, говорит предание, вставал кудесник авинòромский, да затворит железные врата своего тына дубового, и скрып их слышался в долине; тогда майцмаский клеврет [4] его вскакивал с ложа и спешил к своим вратам железным же.

Сих исполинов-волшебников давно уже не было. При исходе Тормских лесов в последний раз Адо и Сур, потомки их, еманды ** племен пейпусских, сражались с меченосцами и с латышами, их подручниками. Убальд-Логуз, ненавистный пришлец, и с ним Икскул, крещеный вождь леттов [6], жителей двинских, победили их. Сур был стоптан конем Убальда; плененный, он отрекся от богов своего отечества: Сур стал называться Индриком. Убальд послал его в Ульви своим старостою (кубьясом); маймесы [7] прозвали его Ульви-Графом, и самые саксы, издеваясь, нередко честили его тем же именем. Между тем рыцарь Логуз, наложив дань на племена пейпусские, оставив монаха в Торме и стражей латышских в окрестных селениях, удалился в Ригу к епископу Альберту. Еманд Адо сражался с отчаянием раненого медведя в бою Тормском, сорвал трех меченосцев с коней их, вместе с частью черепа срубил шишак Мадиса, Икскулова брата, прорвался чрез густую толпу латышей, трепетавших его голосу, и, бродив три дня в дебрях и болотах, возвратился наконец в полночь в Майцму, в жилище свое.

Теперь он стоял среди мрака пред своим домом. Окликались караулы: то были летты, рабы саксонские. Луна прорвалася сквозь осенние тучи и осветила обиталища. Нож сверкал в руке еманда; он вслушался в безмолвие, устремил бдительный взор вдоль ручья; казалось, ожидал встречи, но не страшился ее. Вдруг позади, по хрупким листьям развенчанного бора, раздался шелест шагов — он оглянулся и видит: серебреный шитец ***[8] блестит на груди девицы, бусы покрывают шею, черные волоса и ленты разноцветные развеваются по плечам ее. Он всматривается: так это Мая, это дочь его! «Ты ли предо мной, злополучная? Как уцелела ты от руки врагов моих? Где твоя мать и братия?»

---

* Юмала — Зевс чудских [3] племен.

** Старшины [5].

*** По-эстонски: брец.

М а я. Родительница моя преселилась в дом Юмалы; младенцы, братья мои, за нею последовали: их кровь обагрила праг нашей хижины. Меня же исторг из среды убийц Нор, сын Сура, обрученный мой.

А д о. Да возьмет душу его Курат *, мучитель предателей! Почто не умел он сражаться с саксами в полях Тормских? Но он не ведал о нашествии иноплеменников!

М а я. Уже через день после битвы вашей возвратился он из-за Пейпуса, из Новаграда Великого, куда, как знаешь, был послан отцом с добычей осенней ловитвы, с медвежьей и волчьей рухлядью [9]. С ним вместе явились немцы в наше убежище.

А д о. Где же он?

М а я. Тебя отыскивает Нор в глубине бора. Он путь свой направил к градищу Лоресарскому, при восходе солнца будет ждать меня на холме Авинòромском, а мне велел скрываться ночью за ручьем в виду моей родины.

А д о. Идем на холм Авинòромский; возвещу ему пленение Сурово и наше посрамление.

Между тем псы залились лаем, и воин латышский мелькнул между деревьями. Он был обращен к ним спиною, но Адо устремился к нему вихрем и схватил его мощною рукою. «Ни слова, презренный невольник, или в сей же миг свергнут тебя в бездну Парголы! ** Проведи нас чрез селение, окликайся за нас, не помышляй об измене: нож мой касается твоего горла!» И трепетный латыш провел их до конца улицы, вывел из деревни и на оклик земляков своих ответствовал: «св. Иоанн и Германия!» Потом, когда снял с него десницу страшный Адо и пропал в туманах из глаз его, он вполголоса произнес мольбу благодарения Перкуну и Понтримбосу и Пиколю *** — тайным богам своим, которых новый христианин не отвык призывать в опасностях, которых дивные лики чудились леттам еще долго по принятии крещения среди ветвей сенолиственного дуба и широкого орешника.

Адо и Мая ждали на холме Авинòромском и дождались с новым солнцем прихода Норова; они сетовали вместе о гибели отечества и оплакивали плен Сура и падение сынов Эстонии. Адо поселился здесь с дочерью в глухом уединении. Беспредельная среди самого рабства

---

* Злой дух.

** Ад.

*** Идолы латышские.

приверженность маймесов, суеверие латышей и немцев обезопасили приют героя-изгнанника: если до сих и доходили смутные слухи о близком соседстве старого еманда, они не смели отыскивать жилище храброго, считая его грозным кудесником. Нор, прожив с отцом и дочерью дней несколько и соорудив им хижину, переоделся в серый кафтан латышский, обрил бороду и отправился в Ульви, да узнает жребий родителя. Скорбен он возвратился. «Адо,— сказал он товарищу Сурову,— у меня нет уже отца, у тебя нет уже друга верного. Ульви-Граф Индрик не есть прежний Сур: он — раб и кубьяс иноплеменников».— «Да будет проклято имя несчастного!» — ответствовал Адо и погрузился в молчание.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Медленно текло время на холме Авинòромском. Адо и Нор скучали спокойствием. В долгие зимние ночи они беседовали о свободе и отечестве, гнев и отчаяние обуревали сердца их: они вокруг себя зрели одно малодушие. Днем исходили они вместе на бой с медведями, на ловитву лосей и лис. Тогда обвертывали они шуйцу ветхим рубищем и лыком, а десницу вооружали кистенем убийственным. Они знали логовища зверей, стрегли их, когда возвращались, и несли им смерть неминуемую. Напрасно косматый властитель дубравы подъемлется, напрасно двуногий идет им во сретение, превышает их ростом, простирает к ним страшные объятия и, гневный, разверзает пасть свою. Они предают зубам его единую длань обезопасенную, а другую — с мертвящим железом — вонзают и обращают в его растерзанных персях [10]. Не избегнет их олень роговетвистый: они летят на широких лыжах по глубоким снегам, и дротик их поражает его крутую, гордую выю! Горе и хищному сыну Саксонии, когда заблудшись в бору, с ними встретится!

Мая ужасалася сурового своего родителя, но тщилась разгонять тяжелые туманы его горести. Ее усилия оставались тщетными, с дня на день Адо становился мрачнее и безмолвнее. Краткий сон его был прерываем дикими мечтаниями; нередко являлись ему тени убиенной Тио, ее матери, и убиенных младенцев, братьев ее, и он стонал, как бы подавленный Куратом. Иногда ему виделся жестокий Убальд: он сражался с ним, повергал его на

землю, погружал в него нож и вдруг — узнавал в нем прежнего друга, Индрика.

Но чаще провожал он ночи без сна. Тогда и Мая не спала; сидя за самопрялкою, она украдкою всматривалась в черты отца и изредка старалась развлечь его простою песнию, которую тут же слагала по обыкновению дочерей своего племени.— Простые напевы дев Эстонии, почто ныне, чрез двадцать почти лет бурной жизни, отзываетесь в слухе моем? Почто тревожите душу мою, смутные отголоски зимних посиделок их? Быть может, никогда уже не услышу языка чудского, но да сохраню здесь одну из песней Маиных.

Государь ты светлый месяц,
Что сверкаешь в облаках?
Не блистай, отец, над нами,
Не открой пришельцу нас!

Волк за хатой завывает,
Но я волка не боюсь!
Мне ужасен барский голос,
Голос твой, железный муж!

Мадли, дней моих подруга,
В Майцме вместе мы росли.
Ах, убит жених твой, Мадли,
Ты ж — убийц его раба!

Ты для немца ложе стелешь,
На него прядешь и ткешь!
Что ж еще ты, Мадли, дышишь?
Мадли, я бы умерла!

Между тем кубьяс Индрик давно уже знал об авинòромских пустынниках. Не раз встречался он с сыном в глуши лесной, не раз уговаривал его возвратиться в Ульви и разделить с отцом милости победителей, но, пристыженный пронзительным взором юноши, умолкал и без препятствия отпускал его к суровому Адо.

Весною Убальд возвратился из Риги. Епископ и войсковой магистр назначили его своим наместником в странах, прибрежных Пейпусу. Он велел вырубить часть бора и при устьи ручья Авинòромского над озером построил замок Логуз и храм во имя св. Иоанна Крестителя. Убальд расположился на житье в своем поместьи, и вскоре новые христиане стали проклинать его свинцовое владычество.

Неустрашимый Нор являлся нередко и при нем в окрестных селениях. Земляки все его знали, и никто не

изменял ему. Он смело променивал дичь и кожи на соль и хлеб, на железо и мед и пиво русское. Знание языка латышского и более еще — серый армяк латышский, который надевал при своих выходах вместо смурого эстонского, обманывали властителя при нечаянной встрече.

Однажды поздно вечером юноша возвратился бездыханен и трепетен. «Мщение, старец! — воскликнул он, вступая в хижину.— Мщение! Мера злодеяний иноплеменников исполнилась. Я видел отца моего, простертого на земле пред входом храма саксонского: бесчеловечный Убальд велел бичевать его, ибо он ему не предал сестер моих».— «Сур пожинает жатву, им же посеянную!» — промолвил Адо глухим голосом; но гибельный пламень возгорелся в очах еманда, и длань его сжалась судорожно. Они тут же вышли, полночь узрела их в дому Индрика.

Не опишу свидания прежних друзей, разлученных бедствиями, соединенных вящими. Они решились снова восстать на немцев, свергнуть иго их или погибнуть. В следующую ночь совещались они близ градища Лоресарского и с ними старшины тормский, пасферский, майцмаский, ненальский *. Клялись же заговорщики именами Юмалы, Тора, Курата, пламенем и мразами Парголы, клялись хранить тайну союза и признали над собою Адо главным предводителем.

Нор был ими послан в Венифер [11], к гостям новогородским, и на третию ночь в русской ладии поплыл от Неналя по волнам Пейпуса, да взыскует помощь князя и посадников народа, который называет Чудь и поныне венами, т. е. братьями [12].

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Небо было испещрено звездами, челнок скользил по зыбям озера, волны колыхались; весла русских рыбаков мерными взмахами, подобно крыльям, рассекали влагу и воздух. Искони россияне сопровождали песнями труды свои. Вот та, которою, отвалив от берега, огласили они область Чудского озера:

Ах! не чайка, кружася, носится,
Не лебедь крыльями взмахивает;

---

* Названия мест, лежащих на северо-западном берегу Чудского озера.

Плывут мо́лодцы корабельщики,
Корабельщики, гости русские,
Плывут молодцы к Новугороду,
К Новугороду, ко великому!
Гой ты, батюшка, славный Новгород,
Гой ты, город наш белокаменный,
Изукрашен церквями божьими!
Ко святым мощам мы приложимся,
Образам святым мы помолимся;
Мы на девушек полюбуемся,
Полюбуемся на сожительниц,
На младых девиц, на невест своих!
Красным девушкам подареньице —
Серьги светлые красна золота,
Женам ласковым подареньице —
Платье новое, камки хру́щатой! [13]
Гой ты, батюшка, славный Новгород!
Кто поднимется против стен твоих?
Кто восстанет на бога русского?

Нор в глубоком унынии слушал веселую песню плавателей: они возвращались на родину, в отечество сильное и вольное; он покидал отчизну порабощенную.

«Что ты так призадумался, добрый мо́лодец? — сказал ему наконец атаман корабельщиков.— Разгони, душа, грусть свою, кинь кручину на дно озера. Спой, маймес, в свою очередь, и увидишь, как бросит тебя злодей-тоска!» — Нор взглянул на него пристально, снова задумался и начал прерывающимся голосом:

В даль плыву по Пейпусу,
Горестный изгнанник.
Воспою Отечество —
Слушай, слушай, странник!

Наши нивы тучные
Кони немцев топчут,
Под бичом мучителя
Старцы тщетно ропчут;

Девы обесславлены,
Юноши в неволе,
Кости наших витязей
Тлеют в чистом поле!

В даль плыву по Пейпусу,
Горестный изгнанник.
Воспою Отечество —
Слушай, слушай, странник!

Потом Нор замолчал, и никто уже не прерывал его молчания.

На холме Авинòромском и в деревнях окрестных старшины ограждали себя как умели от подозрений Убальда. Они распространяли самые ужасные слухи о градище Лоресарском, обыкновенном своем полуночном сборище. Сюда, говорили они, слетаются при взошествии луны лесные духи и сходятся оборотни, колдуны во образе волков, и псов, и медведей. Суеверный Убальд с трепетом слушал рассказы их, и никто из латышей и саксов не смел проникнуть туда, ни взойти на холм Авинòромский, который обезопасили эсты подобными же баснями.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Нор прибыл в Новгород. Его исканию сначала благоприятствовали торг, который с давнего времени еманды эстонские вели с Республикою; покровительство, оказываемое чудским племенам русским князьями со времени Ярослава Законодателя [14] и еще до его владычества; зависимость от России, в коей они себя признавали; и старания промышленников [15], раздраженных притеснениями немецких хищников. Держикрай, атаман гостей вениферских, полюбил юношу еще в переезд его. Известный князю Ярославу Всеволодовичу, он нашел средства представить Нора сему государю, давно уже недовольному рижанами. Ласковый князь новогородский принял его благосклонно и приветливо. Он входил во все причины, которые молодой эст приводил ему, да вступится за новогородских данников, да смирит строптивых похитителей.

Нор не верил своему счастию: ему все казалось приятным, но суетным сновидением. Между тем князь послал в Переславль, в удел свой наследственный, и велел набирать пеших и всадников, а на вече объявил мужам новогородским: «Хочу идти на Ригу ратию и посылаю в Переславль по воинство; да и вам бы быть всем готовыми!»

Нор гостил в семье Держикраевой. С веча проводил он великодушного князя до дому Ярославова, целовал руки спасителя Эстонии, называл его отцом своим, клялся положить за него живот свой, не знал, как изъявить ему благодарность беспредельную. Князь смотрел на пламенного юноша, улыбался и безмолвствовал.

Возвращаясь в сумерки в свое пристанище, Нор ле-

тел: его окрыляло восхищение. Он нашел старика на дубовой скамье под липою, у ворот его дома тесового. С ним разговаривали несколько человек, в богатых кафтанах, в высоких шапках, наружности сановитой, но пасмурной. Увидев юного иноземца, они взглянули на него с усмешкою, встали, не допив кружки меду сладкого, промолвили Держикраю: «Не бывать тому». Еще раз взглянули на Нора, поклонились хозяину и скрылися.

Восторженный Нор и не заметил их странного обращения. Едва удалились они, как он припал до земли пред гостеприимцем своим, обеими руками обнял колена и облобызал полу одежды его. «Великий государь,— воскликнул он,— в самом деле вступается за мою родину. Не помню себя от радости; твоему предстательству, милосердый господин, обязаны мы спасением,— да воздаст тебе всещедрый Юмала!» Держикрай отвечал ему: «Благодари бога, умерь радость свою, дождись окончания!»

Между тем Нор проводил жизнь в Новегороде в самых приятных ожиданиях. Он уже прежде изрядно знал язык своих покровителей, теперь он еще более успел в нем усовершенствоваться. В скором времени добродетели Держикраевы сильно на него подействовали; он в нем видел доброго отца семейства, друга верного, примерного гражданина, соседа миролюбивого, снисходительного даже к своим неприятелям. Простой сын природы, Нор несколько раз не обинуясь говаривал своему благодетелю: «Удивляюсь тебе, мой отец; в твоих жилах течет не кровь, а млеко агницы! Твоя душа чище росы утренней и безмятежнее дремлющего в вёдро [16] Пейпуса. Ты не таков, как другие человеки! Кто возвысил тебя над смертными, муж праведный?» Тогда старец уводил его в óбразную, распростирался при нем пред распятием и вещал: «И я испытал бури сердечные! Их усмирил искупитель, наставник мой и твой, если взыщешь благодать его!» Нор, безмолвствуя, смотрел на знак божественный и однажды возразил вполголоса: «Ему поклоняются и наши угнетатели, во имя его терзают нас и проливают кровь нашу! Не прельщай меня, старец: не променяю на бога врагов моих — богов моего отечества!»

Д е р ж и к р а й. Он бог любви и милосердия. Они бесславят имя его своими злодеяниями, он отвращает от них лицо свое и не есть бог их; но да отпустит им грех

их: не ведают, несчастные, что́ творят! Ты ж не упорствуй и узнай закон его.

Нор часто бродил по улицам великого града, дивился его великолепию, многолюдству и кипящей повсюду деятельности. Однажды — в день воскресный — шел он мимо св. Софии. Из растворенного храма проливалось чудное пение. Любопытство и нечто другое, похожее на невольное благоговение, влекли юношу вступить в собор; он очнулся в нем, окруженный народом бесчисленным.

Служил сам владыка [17]; литургия совершалась со всем великолепием, блеском и торжественностию церкви православной. Пение — самая выспренная, самая смелая служительница божия: оно глаголет языком дивным, сверхъестественным, громко восклицает, воспаряет в небо и утопает в радужных волнах и молниях у подножия Неизреченного. Глас священного бурного лика — пламенный, величественный — катится, как рокот грома по хребтам гор заоблачных. Он подобен духам бесплотным, славящим всевышнего в странах невидимых трубою суда и жизни. Но вдруг раздалось смиренное, глубокое, трепетное: «Господи, помилуй!» И тогда растаяла в долгом, медлительно исчезающем вздохе душа Норова. Служба кончилась. Юный эст задумчивый возвратился в семью Держикраеву. Домовитая хозяйка и ее дочери удалились, дабы уготовить пир для дорогих гостей, родных и ближних своих.

Нор остался сам-друг с своим благодетелем и наконец сказал ему: «Был я в церкви, где вы богу своему служите, и был в изумлении и не ведал, на небеси ли был, не ведал, на земле ли: ибо нет на земле такой красоты и благочиния! Воистину, бог тамо с вами пребывает! Я же ни пересказать, ни забыть не могу вашего благочестия и дивного служения создателю. Кто однажды вкусит сладкое, чуждается горечи; научи меня чудному закону [18] вашему!»

Держикрай потом часто с ним беседовал об высоких истинах христианства, а спустя два месяца был его восприемником при принятии святого крещения.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К Иванову дню [19] собрались в Новегороде воины переславские. Ярослав Всеволодович поднимался в поход; посадники [20] же всё еще медлили, граждане всё еще не вооружались. Нередко слышался ропот по стогнам[21]; на-

род казался недовольным и встревоженным. Юрий (так стал называться Нор, омовенный водою искупления) несколько раз представлялся князю и просил, да получит позволение возвратиться к землякам своим, чтобы возвестить им наступающую помощь великого города. Он слышал ответы нерешительные, оставлявшие его в величайшем недоумении: самая благосклонность к нему Ярославова, казалось, уменьшилася. Держикрай сколько мог утешал и поддерживал своего сына крестного. «Друг мой,— говорил он ему,— помни слова царя-пророка [22]: не надейтеся на князи, ни на сыны человеческие! Возложи свою надежду на всевышнего!»

Однажды ночью прибыли послы иногородние. Остановились же послы не в устроенной для их приятия гостинице, но в дому Никифора Дурова — надменного посадника, всегдашнего врага власти княжеской и рода Всеволодова. До самого рассвета горели огни в терему его, входили туда и выходили люди житые, именитые граждане, тысяцкие [23], бояре новогородские и гости чужестранные. Едва занялась заря — и ударили в набат. Бурные волны народа хлынули со всех сторон и покрыли торжище; собралось вече. Посадник открыл оное следующею речью [24]:

«Господин князь Ярослав Всеволодович и вы, мужи-братия, люди новогородские! Созвал ты, князь, в город наш своих ратников переславских, а нам поведал: се прислали ваши данники, Чудь и Ямь и Ливы [25], к вам по помощь на купцов рижских и рыцарей немецких,— ибо те гнетут их и себе в неволю обращают и берут с них дани неправые. Слова же твои, господин князь, не оправдалися; не на немцев хотел ты идти ратию, но еще до прибытия Юрия Норова, сына старосты чудского, велел трубить в поход в земле Переславской, и в области Перемышлской, и в странах низовых: то поведали нам наши лазутчики. А полк твой — на псковичей, наших братаничей, дядей и сродников; мы же тебе не выдадим нашей братии. И не реки нам: лживое на меня возводите поношение! Помним мы, господин князь, как на Филиппов пост [26] пошел ты из Новагорода во Псков и хотел взять город их лестию, псковичи же не впустили тебя, и возвратился ты и вещал нам и преосвященному владыке нашему: пошел было я во Псков с миром и любовию, хотел дарить псковичей — и они меня избесчествовали; се днесь на них печален и скорбен я. Вслед за тем (никто еще не помышлял здесь об чудских наших данни-

ках), вслед за тем, повторяю я, стал ты на войну готовиться. Мы же видели мысль твою и потому неспешно творили твоего повеления, Ярослав Всеволодович; и когда псковичи на тебя заедино, убоявшись, с рижанами совокупилися, утвердились стоять вместе в единомыслии и пролить друг за друга кровь свою, когда прибыл сюда Нор, сын Индрика, и ты изведал силу псковичей, наших братиев; тогда ты послал к ним боярина, вещаючи: хощем идти с новогородцами на Ригу, идите с нами! Но и тут не отложил ты коварства и пагубы наших сродников! Ныне услышь, что они ответствуют на твое послание!»

В продолжение всей речи посадника лицо князя изменялось: он то краснел, то бледнел, от ярости его брови соединялись, глаза сверкали, уста сжималися. Несколько раз хотел он вспрянуть и сорвать крамольника с холма Вадимова [27], но он зрел себя окруженным буйною чернию, отделенным от своей переславской стражи. Верный боярин Феодор шепнул ему, что она частию обезоружена, частию уже изшла из города,— и князь пребывал на своем седалище. Главный посол псковичей сменил посадника и обратил слово к князю новогородскому [28]:

«Господин наш, Ярослав Всеволодович, ты ведаешь, все мы — единое Адамово племя, и верные и неверные; но и с неверными неправо без вины брань творить! Будем и с ними жить в мире; только к безверию и беззаконию их не приложимся: пусть узна́ют они наше житие, любовь и смирение и приидут в богоразумие — и все спасены будем благодатию Христовою и пречистой его матери! А ты, князь, столь мудрый и благомысленный, велишь нам воевать рижан, нас ничем не обидевших!»

«Вы мне ругаетесь, изменники! — воскликнул Ярослав, побежденный негодованием.— Вы мне за то дорого заплатите! Мужи новогородские, или потерпите, чтобы здесь союзники врагов моих сыпали хуления на князя вашего?»

Тысяцкий Иван Смелый прервал гневного: «Мы служим пречистой богородице, господин князь, и друг за друга главы свои складываем! Вам, князьям, кланяемся, но с братиею своею, с псковичами, живем мирно. Ныне псковичи не хотят с тобой на Ригу идти ратию, и мы, князь, нейдем. Распусти свое воинство, не крамольствуй на наших сродников!» И в один голос все торжище повторило: «Нейдем на Ригу! Распусти свое воинство!»

Тогда князь, безгласный, смущенный, трепещущий

от негодования, оставил шумное вече. В лице Юрия новогородцы почтили посла иностранного: никто не обидел его ни делом, ни словом, и он без препятствия вступил в дом своего гостеприимца.

Все надежды несчастного юноши были разрушены. Кто опишет его отчаяние? Оно превышало всякую меру; слово человеческое слишком слабо, дабы изобразить его; но слово божественное, утешения веры не дали совершенно пасть душе злополучного. Скажем мимоходом, что в посаднике и в тысяцком, сокрушивших все его упования, он узнал двух из тех мужей, которых при начале своего пребывания в земле русской однажды застал беседующих с Держикраем и которых немилость к себе мог бы уже тогда узнать из их поспешного удаления. Держикрай давно уже предчувствовал неудачу, грозившую его юному другу, но он еще надеялся и посему, хотя увещевал его быть готовым ко всему, не открывал ему своих опасений.

Вечером услышали в городе, что прибыли к князю гонцы и уведомили его о насильствах, учиненных псковичами его подданным, жившим между ними,— услышали, что Ярослав еще раз совещался с старшинами новогородскими, но не успел преклонить их и выехал в Переславский удел свой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Осень наступила; жатву с окрестных полей уже убрали; уже дикие гуси проносились длинными станицами над Новым-городом от озер Онежского и Ладожского и от моря Белого; листья на древах редели, и цвет их изменялся. Юрий стал тосковать по отечестве, но рыбаки русские все еще не отправлялись на зимний промысел к брегам Пейпуса.

И для Руси настало время грозное: язык незнаемый, о коем никто не ведал, кто он и откуда — племя, к которому применяли древнее пророчество, вещающее: «В конце лет и времен изыдут из пустыни варвары и попленят всю землю от Востока до Севера и до моря Понтийского» [29],— люди странного лиценачертания, неукротимые в набегах, страшные в самом бегстве, бесчисленные, как тучи пруг, ниспадающих на ниву грешника, словом — татары явились близ рубежей Русской области. Их первое нашествие минуло: холмы и долины,

омываемые Калкою, намокли кровию россиян, обитателей стран полуденных; князья их или пали на поле битвы, или, плененные, скончали жизнь в неслыханных мучениях; но Север и Восток по сю пору только по слуху знали неистовых и (ослепление непонятное!) ослабевали в междуусобиях. Ныне же татары снова ворвались в православную землю, и чреда гибели уже наступила и для княжеств, лежащих к полуночи [30]. Брат Ярославов, великий князь Суздальский, принял венец мученический [31]; до него погибли князья Рязанские, Муромские, Пронские, и во Владимире — все семейство его. Недоумение, страх и трепет нашли на всех, и поглотилася премудрость могущих, и сердца крепких преложились в слабость женскую. Вся земля исполнилась ужаса. Полчища злодейские разрушили Дмитров, Переславль, Тверь, Торжок и се уже двинулись к Новугороду. Истории принадлежит повествование о незапном и чудном отступлении Батыя от стен богом хранимого града [32].

Юрий еще находился в оном при распространении первых слухов о приближении варваров; и сии слухи замедляли отъезд промышленников и его отбытие в Эстонию, куда стремился он в мечтах мучительных, да умрет по крайней мере участник покушений великодушных соотчичей.

Что происходило между тем в стране запейпусской? Несколько месяцев заговорщики умели сокрыть свою тайну от подозрений Убальда и его подручников. Но мало-помалу стала доходить до него смутная молва об их сходбищах, об отлучках старейшин деревень, ему подвластных. Кроме того, между немцами и латышами распространился и вскоре подтвердился слух, что кудесник холма Авинòромского — не кто иное, как Адо, считавшийся доселе убитым вождь эстонский.

Как скоро рыцарь в том уверился, он престал страшиться того, в ком предполагал грозного, могущего волшебника, но познал врага побежденного. Наконец он открыл градище Лоресарское, проведал об назначенном там сборище, дождался в засаде прихода тайных идолопоклонников, соорудивших в сей дебри истуканы свои и пришедших ныне туда для жертвоприношения; выскочил при самом начатии их обрядов; первого Сура поразил насмерть дротиком и полонил прочих, безоруженных незапным ужасом, не веривших глазам своим, что среди сонма своего видят грозный гребень шишака,

белый плащ и вышитые на нем крестообразно красные два меча кавалерские. В числе несчастных пленников находился и Адо, в жреческом облачении, совершавший приношение.

По обыкновению того времени, продолжавшемуся в отечестве латышей курских даже до самого их приятия под российское подданство [33], посреди каждого двора рыцарского находилися плаха и топор. Каждый помещик, не относясь ни к кому, мог без всякого суда предавать смерти любого своего подданного, навлекшего на себя его негодование.

Пред замком Убальда пески логузские испили кровь главных заговорщиков. Главы их были восхищены на копья и выставлены пред въездом в те селения, в коих они прежде начальствовали. Их сродников тиран повелел повесить на деревьях в лесу Авинòромском. Одного Адо сберег бесчеловечный, да предаст ведуна и жреца идолов пылающему костру по приговору духовному.

Председателем суда, долженствовавшего решить участь злополучного, был доминиканец, приор дерптского Мариинского монастыря. Он тогда находился в Риге, при дворе епископском,— вот что замедляло казнь Адову.

Заутра по пленении отца ее Мая ждала, ждала и не дождалась прибытия родителя; вместо его явились латники латышские, схватили ее и повлекли к жестокому повелителю. К счастию, сотник их был юноша, который до нашествия немцев, еще младенцем, пользовался однажды, в сопровождении своего отца, гостеприимством Адовым. Михаил — так назывался он теперь — знавал Маю еще в пеленах; теперь узрел ее снова совершенною, прелестною девою. Сердце его воспылало незапным пламенем; он решился спасти ее.

Воины прибыли в Логуз. Михаил предстал лицу своего властителя и вещал ему, указывая на пленницу: «Милосердый господин, в Тормском бою я дважды отбил секиру эстонскую, несшую тебе смерть; сопровождая тебя на ловитву, мне удалось удушить подшубного старца * — огромного медведя, уже стащившего тебя с коня. Ты мне тогда благоволил сказать: если чего пожелаешь, Михаил, от меня смело требуй! И вот на-

---

* Название, которое по сю пору многие финские племена дают медведю.

стала пора, государь мой; я узнал желание: пощади сию девицу, не казни ее, но выдай ее за меня, за твоего слугу верного!»

Зима жизни, суровая старость уже убеляла власы Убальда. Он с своего девятогонадесять года находился в полку неискусобрачных [34] витязей, воителей Христовых, но он осквернял сан свой, ежедневно нарушал клятву, налагающую на него целомудрие иноческое, и разливался распутством. Ветхий сластолюбец взглянул на Маю, и кровь его взволновалась; но он Михаилу рек с улыбкою: «Мой друг, сия неверная ненавидит наш божественный закон; ты сам еще недавно утвердился в нем; страшусь, да не вовлечет тебя в отступление, в грех, ничем не искупимый! Я твой восприемник, я пред богом отвечаю за душу твою и не могу согласиться тотчас на брак ваш! Но жизнь ей дарую — пусть она пробудет в замке моем; мой духовник обратит ее в веру истинную, потом она будет тебе женою!»

Михаил понял своего властителя, устремил на него взор пылающий, принудил его потупить пристыженные очи и в душе поклялся ему в непримиримой ненависти, но прикрыл на время ярость свою личиною покорности.

Между тем Мая находилась во власти изверга. Он сначала был уверен в легкой, неминуемой победе, но неожиданно встретил отчаянное сопротивление. Гнев и вожделение попеременно волновали и делили перси Убальда: он то грозил своей пленнице, то пресмыкался пред нею, но всегда встречал равное презрение. Наконец он ей предложил свободу отца наградою за ее посрамление. Тогда злополучная смутилася. «Убальд! — сказала она,— я принадлежу моему родителю: веди меня к нему!» Их свидание было ужасно: она застала несчастного старца, неукротимого сына вольности, в глухом, смрадном погребе, обремененного оковами.

Когда узнал Адо, для чего пред ним дочь его, он ее обнял, впервые в жизни зарыдал и вещал, лобзая руки ее: «Дитя мое! Ты оказала силу, превышающую пол твой! Признаюсь, я считал тебя уже погибшею для чести! Будь тверда! Своим бесславием не спасешь меня, умри свободною, чистою моею дщерью!»

Их беседу подслушал Михаил. Он видел, как тюремщик — его дядя — привел девицу, и предложил ему проводить ее обратно к Убальду. Сей, зная благосклонность

к нему рыцаря, без затруднения согласился и оставил племянника у входа темничного.

«Ты не умрешь, великодушная! — воскликнул он, врываясь к ним.— Во что бы то ни стало спасу тебя! Дождись моего возвращения!» С сими словами он снова бросился вон из подвала и в два мига возвратился с мужскою одеждою. «Теперь ты свободна, девица! Кафтан сей обратит тебя в отрока — никто не узнает тебя!» — сказал он ей.

Мая. Избавь моего родителя! Не помышляй обо мне, юноша!

Михаил. Твой отец тремя толстыми железными обручами в обхват прикован к стене, наши соединенные усилия не сломят их. Скорее тебя его откроют при выходе!

Мая. Еще раз молю тебя: не помышляй обо мне! Будь его хранителем! Знаю твою милость ко мне. Злополучная, не могу отвечать на любовь твою: мое слово дано, ни за что не изменю ему! Оставь меня, великодушный юноша!

Михаил взглянул на прекрасную. Его взоры темнели и сверкали, он готов был удалиться; наконец сказал ей трепещущим голосом: «Найди средства избавить своего родителя; верь, во мне найдешь помощника! Жизнь его на два, на три месяца обезопасена: его должен судить приор дерптский, который возвратится из Риги не прежде, как при наступлении зимы! Ищи друзей и покровителей в России!» Мая еще долго упорствовала, долго еще заклинала предпочесть ей родителя. Увещания и просьбы Михаиловы, просьбы, приказания самого Адо в первый раз на нее не действовали; она только тогда решилась изыдти за своим избавителем, когда убедилась, что нет другого средства спасти старца.

Она опомнилась на брегу озера — Михаила уже пред нею не было. Долго стояла она бездыханна, трепетна, наконец пошла вдоль по Пейпусу и в полночь узрела Неналь и рыбачьи суда русские. Полновесный кошелек, подарок Михаила, который нашла в своем кармане, чрез три дня доставил ее в Новгород. Не зная языка, она не могла отыскать Юрия и уже, быть может, начинала думать, что в узах какой-нибудь прекрасной русачки он забыл и несчастное отечество, и бедную Маю.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Однажды за городом, при потухающей заре вечерней, Юрий сидел на склоне покатых брегов Волхова и, задумчивый, следовал глазами за его течением. Давно уже не говорил он языком своей родины, давно уже звуки оного не ласкали слуха юноши. Ныне в уединении напевал он заунывную песнь эстонскую:

На брегу чужой реки
Одинок тоскую,
Грустно в дальной стороне
Воду пить чужую!

Ах, зачем я не сокóл?
Полетел бы к милым!
В их дремучие леса,
К их холмам унылым!

В те места, где злой пришлец
Зрит, смеясь, их слезы,
Где одна глухая ночь
Слышит их угрозы!

Полетел бы я туда,
К ним, к родным, в объятья!
На пришельцев бы восстал!
С вами б умер, братья!

Едва он кончил последний стих своей жалобы, как вдруг поразил его голос знакомый и сладостный; он пронесся над водами, как невидимый дух, как ветерок, струящий зеркало ручья ему знакомого, как тужащая душа плененного отечества:

На брегу чужой реки
Ты почто тоскуешь?
Нор, воздвигнись! потеки!
Вспомни край родимый!

Что ты медлишь, храбрый Нор?
Нас пришлец терзает!
Варвар долы, луг и бор
Кровью напояет!

Юрий вскочил, озирается, рукой касается чела и очей, не знает — спит или бодрствует. Но он еще раз устремляет взоры: пред ним прекрасный юноша, по одежде — его соотечественник. Мягкие, черные, как смоль, локоны падают на рамена из-под круглой синей шапочки, плотно касающейся главы его; темный кафтан

опоясан широким ремнем, украшенным большими сребренными пряжками; шея блестящей белизны открыта, грудь плотно застегнута, ноги покрыты обувью из коры древесной. В третий раз Юрий всматривается в юношу и узнает его: пред ним Мая, дщерь Адова!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Юрий привел своего друга в дом Держикрая; поведал ему и вместе с ним оплакал жребий своего отца, сказал опасность, в которой находится отец Маин, и объявил, что, не медля, отправляется в Логуз для его избавления.

«Благословляю тебя, сын мой! — вещал ему старец.— Иди, куда зовет тебя долг твой! Выслушай меня: бог послал тебе неожиданных союзников. Хищный сосед наших отдаленных волостей — Пургас, князь мордовский, учинил, как знаешь, набег на страну нашу [35]. Нашим витязям удалось одолеть его, он отступил и с своею дружиною побег в землю Ямскую. Ямь сопредельна вам. Иди в стан народа, говорящего с вами языком, для вас понятным [36], народа вам одноплеменного; прельсти вождя их богатствами замка Убальдова, убеди его освободить отца Маина!»

Восходящая заря застала Юрия и подругу его на пути в стан Пургасов.

Между тем в Логузе царствовало веселие. Рыцарь угощал приора дерптского, возвратившегося из Риги, приехавшего гостить к нему. Соседственные дворяне и братья Ордена съехались в замок Убальдов. Вино, мед и пиво лились рекою; ристалище для турниров открылось — храбрые состязались, победители получали награды из рук красоты — боярышни Аделаиды Анреп, племянницы рыцаря, прибывшей в Логуз с своими родителями. Залетный посетитель — певец явился в сонме неукротимых воинов и на миг смягчил железные души их. Даже Убальд, казалось, забыл свирепость свою и отложил суд и казнь несчастного Адо к самому отъезду настоятеля; или, может быть, считал их лучшим празднеством, долженствующим возложить венец на все прочие, и для того берег для окончания.

Однажды рыцари, боярыни и боярышни собрались в сумрачном терему и обстали певца-странника, рожден-

ного при благословенных водах Неккара[37]. Юноша хотел им воспеть любовь и счастие, но его волновало смутное предчувствие: поэт всегда пророк. Ветер завывал и ныл в высоких трубах замка, облака преждевременно потушили светильник солнца — и томный день, проливавшийся в остроконечные, покрытые живописью окна, превратился в бледное мерцание. Чудно выставляли из мрака лики свои предки Убальдовы, вызванные из гроба дикою кистью младенчествующего художника: они, казалось, хотели провещиться [38] языком иного мира. Все оружия, висевшие между сими изображениями, в неверном свете являлись, будто вмещают ожившие, дышащие тела богатырей минувшего времени, готовых шагнуть в среду веселящихся потомков своих. Невольная боязнь прокралась в сердца всех. Певец долго безмолвствовал; наконец несколько резких, угрожающих чем-то звуков предвестили голос его; глава его склонилась на перси, снова подъялась, вдохновенные очи вспылали, восторг и ужас подъяли власы его.

Душа моя полна боязни!
Однажды долгу изменив,
Злодей не минет поздней казни:
Суд божий справедлив!

Пусть был решителем сражений,
Высокой башней среди сеч:
Вдруг сломится, как лед весенний,
В его деснице меч!

Как жатву зрелую, Каратель
Пожнет главы его друзей,
Их жизнь неведомый предатель
Погубит в цвете дней!

Увы! почто певец оставил
Твои струи, родной поток?
Почто в чужбину путь направил?
Я раб твой, грозный рок!

Деля беспечно хлеб надменных,
Смиренный делит жребий их —
Судьбу на гибель обреченных,
Возданье дел чужих!

Вдруг струна на арфе лопнула, — он вспрянул, бледный, трепетный. Вслед за ним, объятые быстрым страхом, вскочили витязи, боярыни, боярышни.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вверх по крыльцу, за высокими стеклянными дверьми, незапно услышали вопль, стук и грохот оружия. Рыцари не успели обнажить мечи, как уже вторглась густая толпа Пургасовых диких воинов и мятежные подданные Убальда. Их вожатыми зрелись Юрий, Мая, Михаил, исчезнувший из замка в день освобождения дщери Авиноромского пустынника, и ужасный Адо, обезображенный полугодовым заточением, вооруженный топором и оборвью оков своих.

Первый пал певец, пораженный самим Пургасом. Думал ли потомок каттов[39], возрастая среди виноградников своей отчизны, что погибнет от секиры уроженца приволжского?

Михаил устремился на Убальда. Их чингалища [40] взвились и звукнули. Летт, пронзив перси своему наставнику в военном деле, был им пронзен в тот же миг в перси же,— оба пали; Михаил испустил последнее дыхание, рыцарь восстенал, но жизнь его еще не покинула.

Адо поверг на землю обмирающего от ужаса настоятеля. Вдруг кто-то отвел смертоносный удар его. Он оглянулся яростный и узрел Юрия, всмотрелся в него, объят изумлением, но снял с трепещущего инока шуйцу, которою придавил его к помосту, готовясь исхитить жизнь его.

«Сдайтесь! — потом воскликнул юноша,— сдайтесь, мужи саксонские! Сопротивление бесполезно: вы и ваши ратники вдесятеро слабее нас! Отвечаю вам головою, что ваша жизнь, что честь жен и дочерей ваших будут для нас священными». Рыцари бросили мечи к ногам Юрия. Мордва окружила безоруженных.

Пургас подошел к сыну Сурову. «Как смеешь, дерзкий отрок, ручаться им за сохранение жизни, единственно от моей воли зависящей?» — вопросил он его дрожащим от бешенства голосом. «Государь милосердый! — ответствовал Юрий,— я радел единственно о твоей пользе. Сии иноплеменники владеют сокровищами несметными; выкуп, который взнесут за себя, обогатит весь род твой! Прости слугу своего, что не предварил тебя, что не узнал заранее твоего хотения!»

«Ты человек мудрый! — ответствовал разбойник,— я доволен тобой!»

«Пургас! — прервал его Адо,— исключи из общего

выкупа монаха и злодея Убальда: дай мне напиться крови их!»

Пургас. Здесь мне никто законов не придписывает. Старик, для тебя я прошел леса Ижорские [41] и Ямские; твоя казнь была уже назначена! Прими, признательный, милость мою; судьбу же сих рабов — я решу!

Потом он подошел к мертвому Михаилу и ногою пнул труп его. «Этот неверный домочадец господина своего приял заслуженное возмездие: он первый встретил нас в бору Авино̀ромском и возвеселился о гибели своего благодетеля. Он провел нас путями тайными, он ввел нас сюда на собственную смерть: если бы не наказал его булат Убальда, я бы велел его повесить на первой сосне — в пример и в ужас всем предателям!» Пургас при сих словах вышел, велел рассадить пленников по подвалам замка и вынесть все сокровища владетеля.

Испуганная Мая долго смотрела вослед свирепому, потом преклонила колена пред трупом злополучного юноши и облобызала его охладевшие руки. С помощию своего отца и Юрия она его вынесла. В полночь Мая, Адо, Юрий на брегу озера предали тлению тело своего благодетеля.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Отец, дочь и обре⟨т⟩енный сын его возвращались в Логуз, шумный от буйной радости упоенных победителей. Вдруг Адо стал и вещал Юрию: «Я понимаю, Нор, почему ты удержал над монахом мстительную длань мою: тебе не довольно смерти его и злого Убальда; их казнь должна быть мучительна! Но погаси во мне последнее сомнение: ты властен над душою Пургаса, клянись, что убедишь его предать мне врагов моих, клянись страшным именем Юмалы!»

Юрий. Клянусь святым именем Христа Спасителя, что служитель его, хотя недостойный своего священного сана, будет невредим и цел, что ни один влас на главе Убальда не погибнет, пока я дышу еще!

Адо. Матерь-земля, поглоти меня! Нор изменил своим богам и отечеству!

Юрий. Нет, нет, Адо! Я не изменил, вовеки не изменю моему несчастному отечеству, ему принадлежит до последней капли вся кровь моя! Но я познал бога

истинного — его заповедь гласит: любите враги ваши! Вооруженного угнетателя моих братиев смело встречу лицо к лицу в сражении; безоруженный, он найдет во мне заступника. Прости меня, Адо! Он найдет во мне заступника даже против отца Маина. И ты, старец,— надеюсь на господа,— и ты некогда познаешь божественный закон его; твоя великая душа непременно должна наконец постигнуть его святость!

Адо хотел негодовать на Юрия, но вдохновенное лицо юноши пролило в него невольное, непонятное некое благоговение.

Юрий был посредником между Пургасом и его пленниками. Они выкупились и, оставляя замок, дали клятвенное обещание сыну Индрика щадить своих подданных. Станем верить, что бо́льшая часть исполнила оное, ибо люди вообще лучше, нежели обыкновенно думают.

Убальд-Логуз умер от полученной раны. В последнее мгновение раскаяние терзало его. Кончина преступника пролила трепет в сердце доминиканца, друга его, и сей потом примерным, строгим житием привел в забвение свои прежние заблуждения. Мордва с богатою добычею возвратилась в степи приволжские, а с нею удалилась и бо́льшая часть прежних подданных Убальда. Тщетно Юрий вызывал земляков и удалых их одноплеменников воздвигнуться войною на немцев и освободить Эстонию; первые пали духом повторенными неудачами, вторые жаждали объятий жен и детей своих, давно уже ими покинутых.

Адо долго оставался в недоумении. Он сегодня хотел бежать в Мордву, на другой день не мог решиться на разлуку с отчизною и говорил, что здесь останется при гробе Тио, верной жены своей, на страх снова повергнуться в узы саксонские. Всего позже и по долгом, упорном сопротивлении, побежденный наконец слезами Маиными, он дал жениху ее слово с ним искать приюта в Новегороде, в ненавистном ему Новегороде, ибо его обитателей он называл обольстителями любимца души своей.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Между тем наступила уже зима, когда Адо с дочерью и Юрием отправился в Новгород. Пейпус превратился в огромное зеркало. Сани их вихрем мчались по звон-

кому льду; белые облака над ними пролетали. Они прибыли в великий город, и Адо расстался с Юрием. «Жить в дому Держикраевом не могу! — говорил он ему.— Мне противен лукавый старик, он оторвал тебя от сердца моего; тебя осуждать не хочу, но дочери моей не быть твоей женою!» При последних суровых словах изменял ему голос. Он на прощание крепко пожал руку того, кого привык считать сыном, и с Маею поселился в небольшом загородном домике, который купил за деньги, стяжанные им когда-то от датчан, обитателей Талины, названной немцами Ревелем [42]. Сии деньги вырыл он из земли, куда сокрыл при нашествии меченосцев.

Крестный отец Юрия принял его радостно, утешал сколько мог, велел ему уповать на бога и часто говаривал: «Не горюй! Перемелется рожь — мукою будет!»

Между тем Мая грустила, и отец, глядя на нее, кручинился. Наконец от печали и перенесенных трудов, насилий и горестей он слег и занемог тяжкою болезнию, которая при самом начале лишила его чувств и памяти. Едва Держикрай узнал о недуге старого еманда, как стал за ним ухаживать вместе с Юрием. Зная средства врачебные — простые, но действительные, он вскоре доставил ему облегчение, бред покинул больного, но за ним последовала крайняя слабость.

Однажды у одра страждущего Держикрай вполголоса беседовал с Юрием об истинах святой веры нашей; он считал Адо спящим. Он рассказывал своему питомцу об святых страстотерпцах Христовых, об их твердости в испытаниях и среди мук, об прощении обид; раскрыл Писание, которое сопровождало его повсюду, и даже в дом язычника, и стал читать ему страсти Спасителя по Евангелию от святого Матфея. Мая довольно уже разумела язык русский; она сидела на полу у подножия ложа своего родителя,— сильно взволновали ее стихи: «Прискорбна есть душа моя до смерти. Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет мене чаша сия: обаче не яко аз хощу, но яко же ты» [43]; она взрыдала, когда услышала: «Тогда ученицы [44] вси, оставльше его, бежаша».

Адо встрепенулся. Держикрай закрыл Писание. «Что не продолжаешь? — спросил его тогда больно,— я не спал, я слушал тебя!»

Адо выздоровел. Встав с одра, он стал примечать глубокую задумчивость во всех чертах Маиных. И не тоска любви томила ее: она снова была счастливою не-

вестою Юрия, дочери Держикраевы уже своими песнями нередко приводили в краску девицу, пророчествуя ей близкое празднество брачное.

«Родитель и господин мой! — наконец она отвечала старцу на вопросы его.— Дозволь мне умыться водою искупления, давно уже втайне исповедую Спасителя! Да присоединюсь к стаду божественного пастыря!»

Адо не отвечал ни слова, но вышел и велел ей за собою следовать. Робко девица шла за строгим отцом своим, но не колебалася; она готова была умереть за сладостную веру Иисусову. Они вступили в дом Держикрая. «Старик! — вступая, вещал Адо хозяину,— ты отъял у меня дочь мою, мое единственное дитя, мое последнее утешение. Но се возьми ее, она твоя; омой ее водою крещения. И я понял и на сердце согрел слова вашего учителя: *любите враги ваши!*»

Адо в первый раз по своем прибытии в Новгород преступил чрез праг дома Держикраева и уже хотел один, без Маи, возвратиться в сирое свое уединение, но вдруг остановился, пожал руку изумленному старцу и едва слышно изрек ему: «Но нет, отец Юрия, ты не враг мой!» Потом, закрыв лицо руками, он вышел; Держикрай проводил его до дому.

На другой день Мая в святом крещении назвалась Мариею. На третий был девичник ее брака с Юрием, и сенные девушки пели ей между прочими свадебными песнями:

Что ты, Машинька, призадумалась?
Что, голубушка, пригорюнилась?
Ах, пришла пора тебе, Машинька,
Пора бросить житье дéвичье,
Расплести свои косы черные,
Дом покинуть родного батюшки!
Не затем ли ты пригорюнилась?
Не на то ли, свет, призадумалась?

Молодицы отвечали красным девушкам:

Уж вы, дéвицы, вы, затейницы,
Вы, головушки неразумные!
Что вы шутите над невестою?
Что смиренницу в краску вводите?

Вы зачем сами льете олово?
Петуха овсом зачем кормите?
За ворота те, за широкие,
Вы зачем вечор выбегаете?

Имя мо́лодца зачем просите:
«Расскажи ты нам, добрый мо́лодец,
Как зовешься, сударь, по имени,
Как по отчеству, сударь, кличешься?»

Прошел день, прошла неделя, другая, и месяц, и еще месяц. Мария была счастливою женою Юрия, отец навещал их, часто звал к себе и наслаждался их благополучием. В Держикрае, казалось, воскреснул для него друг его Сур — и Держикрай был отцом его Нора, которого, однако же, долго не мог привыкнуть называть Юрием.

Недавно князь Ярослав Всеволодович в третий раз возвратился в Новгород. Он не забыл вражды своей к немцам. Ныне обстоятельства ему благоприятствовали — он объявил им войну, и его дружина переславская, войско суздальское, полки ростовские и владимирские, а с ними вместе и новогородцы двинулись в Ливонию [45]. Сердце Адово вспылало, но его уже обессилила старость. Вспылало и сердце Юрия, и он однажды вступил в терем жены своей в шлеме, покрытый кольчугою, препоясанный мечом. «Не сетуй, Мария! — сказал, обнимая ее,— меня зовет Отечество; быть может, пробил час его освобождения!»

Бедный юноша ошибся: несчастия, постигшие Россию целые пятьсот лет, препятствовали ей воздвигнуть народ, с которым была соединена узами приязни еще до времен Рюрика.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Спустя потом месяц было веселие в Новегороде, но печаль в дому Адовом и в дому Держикраевом. Ярослав быстро шагнул в Ливонию до Юриева [46]; у стен его сразились новогородцы с рыцарями, и вспять побегли мужи железные. С толпой удальцов сын Сура ворвался уже во врата, уже водрузил знамя свободы на мосту реки Аможивы [47], нарицаемой германскими пришельцами Эмбахом,— но вдруг пал, засыпан стрелами их. Его дружина пробилась сквозь густые полчища неприятелей, тело же вождя досталось в добычу немецким ратникам. Приор дерптский по заключении мира торжественно похоронил оное, много сетовал над великодушным своим врагом и благодетелем и в произнесенной над ним речи вещал: «Уповаю на милосердие божие, что чистая душа сего

витязя будет принята в царствие небесное, хотя он и умер не в недрах церкви римско-католической!»

Известие о смерти Юрия поразило тестя его. Убежденный с некоторого уже времени в истине веры Христовой, и он наконец всенародно принял ее и вслед за тем под именем брата Адама постригся в иночество. Скорбная Мария осталась по муже беремененною. Родив сына, она прешла от сей жизни многосуетной и тленной в жизнь вечную, куда друг ей предшествовал. Держикрай по завещанию отца и матери велел окрестить младенца во имя святого архангела Михаила — в память злополучного юноши, погибшего за его родителей.

Увижу ли тебя еще раз в жизни, Чудское озеро? Удастся ли мне бродить по песчаному твоему брегу? В восторженных мечтаниях голос духов — обитателей вод услышу ли над зеркалом Пейпуса?

Может быть, мне привидится призрак Михаила, погибшего за любовь свою, или тень пришельца от холмов Неккарских, тень певца-странника!

ЗЕМЛЯ БЕЗГЛАВЦЕВ

Ты знаешь, любезный друг, что я на своем веку довольно путешествовал. Часть моих странствований тебе известна [1], другую я отлагал сообщить тебе, опасаясь, что даже ты, уверенный в моей правдивости, сочтешь ее если и не ложью, по крайней мере произведением расстроенного, больного воображения.

Но недавно возвратился в Москву мой приятель — лейтенант М... [2] Он столько мне рассказывал чудесного об Сибири, об мамонтовых рогах и костях, об шаманах и северном сиянии, что несколько ободрил меня насчет моего собственного путешествия. К тому ж на днях я перечел всему свету известные, дивные, но справедливые похождения англичанина Гулливера [3]. Ужели в моем повествовании встретишь более невероятностей?

В мою бытность в Париже однажды, апреля ...ого дня 1821, в прекрасный весенний день, из улицы Св. Анны, где жил, отправился я на гулянье. Тогда праздновали крестины дюка Бордоского [4]. В числе затейников, тешивших зевак Полей Елисейских, нашелся воздухоплаватель, преемник Монгольфьера. Я набрел на толпу, окружавшую его. Он готовился подняться и вызывал кого-нибудь из предстоящих себе в сопутники. Друзья мои, парижане,— не трусы, но на сей раз что-то колебались. Подхожу, спрашиваю, о чем дело, и предлагаю смельчаку свое товарищество. Мы сели, взвились, и в два мига огромный Париж показался нам муравейником. Как описать чувство гордости, радости, жизни, которое тогда пролилось в меня! Исчезло для меня все низменное; я воображал себя духом бесплотным. Казалось, для меня осуществились мечты одного из Пифагоровых последователей: «По смерти буду бурею, с конца земли пронесусь в конец земли; душа моя обретет язык в завываниях, найдет тело в океанах воздуха! Или нет, буду

звездою вовек восходящею: ни время, ни пространство не удержит меня; воспарю — и не будет пределов моему парению!»

Усилия моего вожатого спустить челнок прервали мои сладостные думы и видения. Газ, исполнявший шар, был необыкновенно тонок и легок; мы поднялись на высоту необычайную, нам дышать стало трудно; вдруг обморок обуял обоих нас. Когда очнулся, я увидел страну, мне вовсе неизвестную. По горло в пуху, лежал я возле француза, не пришедшего еще в чувство; челнок наш носился над нами — игралище ветров. Мало-помалу мы встрепенулись и стали спрашивать друг у друга, где мы. «Ma foi, je ne le sais pas!» *— воскликнул наконец мой вожатый. Мы находились уже не на земле. Перелетев в беспамятстве за пределы, где еще действует ее притяжение, мы занеслись в лунный воздух, потеряли равновесие и наконец выпали в пух месячный, который, будучи не в пример гуще и мягче нашей травы, не дал нам разбиться вдребезги.

С товарищем другого племени, быть может, я бы впал в крайнее малодушие; но француз никогда не унывает. «Courage, courage, monsieur!» ** — повторил он несколько раз. Я вспомнил наше родимое *небось*, поручил себя богу и отправился с своим сопутником искать похождений и счастия!

Вскоре прибыли мы в довольно большой город, обсаженный пашкетовыми и пряничными деревьями. Мы узнали, что это Акардион [5] — столица многочисленного народа Безглавцев. Он весь был выстроен из ископаемого леденца; его обмывала река Лимонад, изливающаяся в Щербетное озеро.

Ни слова, любезный друг, о произведениях сей страны: отчасти достопримечательности оной изгладились из моей памяти, отчасти столь чудесны, что покажутся тебе неправдоподобными. Вспомни, однако же, что луна не есть наш мир подлунный.

Войдя в город, француз остановил обывателя и попросил нам указать гостиницу. К моему удивлению, Безглавец его очень хорошо понял и вступил с нами в разговор. Товарищ мой клялся, что слышит самое чистое парижское наречие; мне показалось, что Безглавец говорит по-русски. Мы отобедали, сняли со стола, слуги вышли, и я спросил своего спутника: «Как и чем мы

* Ей-ей, я этого не знаю! *(фр.) — Ред.*
** Смелее, смелее, сударь! *(фр.) — Ред.*

расплатимся»? — «Il faut voir!» * — отвечал беспечный клеврет [6] похождений моих. Входит мальчик и на вопрос мой отвечает: «Пятьдесят палочных ударов и четыре пощечины, которые принять от вас немедленно явится сам хозяин.— Надеюсь, что и меня, сударь, вы потрудитесь наделить пинком или оплеухою!» Мы расплатились. «Скажи,— спросил я потом у содержателя гостиницы,— каким образом в вашем городе вы все знаете языки наших отечеств?» — «Не мудрено, милостивый государь,— отвечал он мне,— Акефалия [7] граничит с Бумажным Царством, с областями человеческих познаний, заблуждений, мечтаний, изобретений! Мы отделены от них только Чернильною рекою и Стеною картонною!» По сему известию я тотчас решился туда отправиться, ибо Акефалия и в особенности столица Акардион стали мне уже с первого взгляда ненавистными.— Рассуди сам, друг мой: не прав ли я?

Бо́льшая часть жителей сей страны без голов, более половины — без сердца. Зажиточные родители к новородившимся младенцам приставляют наемников, которые до двадцатилетнего их возраста подпиливают им шею и стараются вытравить сердце: они в Акефалии называются воспитателями. Редкая выя может устоять против их усилий; редкое сердце вооружено на них довольно крепкою грудию.

Я вспомнил о своем отечестве и с гордостью поднялся на цыпочки, думая о преимуществе нашего русского воспитания перед акефалийским: мы вверяем своих детей благочестивым, умным иностранцам, которые хотя ни малейшего не имеют понятия ни об нашем языке, ни об нашей святой вере, ни о прародительских обыкновениях земли нашей, но всячески силятся вселить в наших юношей привязанность ко всему русскому.

Одной черни в Акефалии позволено сохранять сердце и голову, совершенно излишние, по их мнению, части тела человеческого,— но и самые простолюдимы силятся сбыть их с рук и по большей части успевают в своих покушениях.

Естествоиспытатель, без сомнения, из примера акефалийцев стал бы выводить весьма глубокомысленные опровержения предрассудка, что для существования необходимы голова и сердце. Я — человек темный и не в состоянии вдаваться в слишком отвлеченные умозрения. Рассказываю только, что́ видел. Одно меня поразило:

* Посмотрим! *(фр.)* — *Ред.*

с потерею головы сей народ становится весьма остроумным и красноречивым. Акефалийцы не только не теряют голоса, но, будучи все чревовещателями, приобретают, напротив, необыкновенную быстроту и легкость в разговорах; одно слово перегоняет у настоящих Безглавцев другое; каламбуры, эпиграммы, нежности взапуски бегут и, подобно шумному, неиссякному водопаду, извергаются и потрясают воздух.

«Посему,— скажешь ты,— их словесность, без сомнения, находится в цветущем состоянии!» Не ошибешься. Хотя я в Акардионе и недолго пробыл, однако мог заметить, что у них довольно много политических и ученых ведомостей, вестников, модных журналов. Племя акардийских Греев и Тибуллов особенно велико; они составляют особенный легион. Между тем элегии одного несколько трудно отличить от элегий другого: они все твердят одно и то же, все грустят и тоскуют о том, что *дважды два — пять*. Эта мысль, конечно, чрезвычайно нова и поразительна, но под их пером уже несколько обветшала, по крайней мере так уверял меня один из знатоков их поэзии.

Как истинный сын отечества, я порадовался, что наши русские поэты выбрали предмет, который не в пример богаче: с семнадцати лет у нас начинают рассказывать про свою отцветшую молодость. Наши стихотворения не обременены ни мыслями, ни чувствами, ни картинами; между тем заключают в себе какую-то неизъяснимую прелесть, не понятную ни для читателей, ни для сочинителей; но всякий не славянофил, всякий человек со вкусом восхищается ими.

Избавившись от голов и сердец, акефалийцы получают ненасытную страсть к палочным ударам, которые составляют их текущую монету. Сею жаждою мучатся почти все: старцы и юноши, мужчины и женщины, рабы и вельможи. Впрочем — что город, то норов, что деревня, то обычай; но Безглавцы омерзели мне по своему нелепому притворству: они беспрестанно твердят о головах, которых не имеют, о доброте своих сердец, которыми гнушаются. Получающие самые жестокие побои, ищущие их везде, где только могут, утверждают, что их ненавидят.

Я оставил своего товарища в Акардионе и на другой день рано поутру отправился к пределам Бумажного Царства.

(Продолжение когда-нибудь)

ПОСЛЕДНИЙ КОЛОННА

Роман в двух частях
1832 и 1843 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ
ОДОЕВСКОМУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИСЬМО 1

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Ницца, в конце января 183. года.

Итак, я в Италии, любезный Владимир... и какой-то насмешливый демон меня так и тянет в описательную поэзию, которую так любишь, так и жужжат мне в уши восклицания, которые так жалуешь!

Но успокойся: до поры до времени обойдется без возгласов и восклицаний. Я даже не сообщу тебе за новость Филикаевых стихов:

Italia! Italia! o tu, cui feo sorte; etc...*[1] —

раз, потому что их можешь прочесть в любом сборнике, а во-вторых, потому что я в Италии и не в Италии. Здесь, в Ницце, пожалуй, проживешь сто лет — и ни однажды не почувствуешь нужды в италиянском языке: здесь англичане, французы, русские, немцы — выходцы изо всех стран Европы, только италиянцев почти не видишь; в околотке крестьяне говорят по-провансальски, горожане все знают по-французски, и чуть ли не лучше,

* Италия! Италия! О ты, чья судьба так жестока; и т. д. ... *(ит.) — Ред.*

чем по-итальянски. «А темно-голубое небо? А рощи агрумиев? [2] etc., etc., etc.?» Мы с тобой видели в Крыму, в Адрианополе [3], в Грузии небо ничуть не хуже италиянского, а гранатовые рощи, сто верст южнее Тифлиса, стоят здешних лимоновых и померанцевых [4]. Все же скажу откровенно: и мое сердце бьется сильнее при мысли, что я в Италии. Но оставим писать: об Италии, о которой столько писано, без общих мест — невозможно; общие же места для меня почти страшнее турецких пуль, по милости которых живу в Ницце и лечусь. Эту последнюю фразу отошли прямо в какую угодно повесть вашего модного писателя — Марлинского.

Ты, впрочем, не большой охотник ни до фраз, ни до модных писателей. Скажу же тебе просто, что мое здоровье поправляется. Головная рана совсем уж закрылась; однако ношу еще повязку: врачи велят мне остерегаться простуды, чтобы не приобресть такого ревматизма, с которым едва когда и расстанусь. Верю им; но более ревматизма пугает меня чрезвычайная раздражительность нервов: она во мне противится всем усилиям искусства и даже рассудка... (рассудок, по-моему, в этой болезни гораздо действительнее всех возможных врачебных пособий). Особенно смутила меня одна чудная встреча... Только ради дружбы, не показывай никому этого письма: было бы досадно, если бы кто подслушал, как ротмистр Пронский рассказывает сны другу своему — Горичу. Дело вот в чем: на днях заснул я, прочитав сорок первых страниц Шиллерова «Духовидца» [5]. Мне мечталось, будто в прекрасный летний вечер прохаживаюсь с моей Надинькой в роще близ нашей деревенской церкви. Мы говорили о тебе: она желала, чтобы ты, брат ее по крови, мой — по сердцу, приехал к нам и счастливейшему дню нашей жизни — к нашей свадьбе. Вдруг проливной дождь: церковь, сдается, отперта; мы к ней, но церковь будто убегает; она в двух шагах от нас, она перед нами, да добраться до нее никак не можем. И вот дождь все сильнее и сильнее; гром, молния — удар за ударом, блеск за блеском; мы промокли, продрогли, устали. Смотрим — и перед нами молодой человек, закутанный в альмавиву, росту небольшого, бледный, а красавец и с такими черными, пламенными глазами, каких мне мало случалось видеть. «До церкви далеко», — говорит он нам, и в самом деле, церковь чуть-чуть видится. Потом мне показалось, что мы все-таки были в церкви, но вдруг опять очутились с тем же моло-

дым человеком под открытым небом и дрожали от холода. Тут он нам сказал: «Вот мой плащ: в нем небось согреетесь!» Я набросил плащ на Надиньку: вдруг светло-серый плащ превращается в дым, малиновая подкладка в багровый пламень — и Надинька в огне... Проснувшись, я почувствовал, что меня бьет лихорадка. Далее: третьего дня я засиделся в кофейном дому на Piazza di Vittorio *. Вдруг, запыхавшись, вбегает мой la jeunesse ** и докладывает: «Quelqu'un a apporté une lettre pour monsieur» ***. Хочу выйти, но на улице льет как из ведра, а второпях мой француз забыл принесть мне шинель или зонтик. Посылаю за ними: что же? Ко мне подходит молодой человек, которого я до тех пор не заметил, и предлагает мне плащ свой. Всматриваюсь — невольная дрожь пробежала по мне: это тот самый, кого я видел во сне; черты его слишком значительны, чтобы возможно было забыть их. Только потому, что мне стало стыдно самого себя, я не отказался принять его услугу. Подают плащ: и тот точно такой, какой был в страшную ночь на таинственном незнакомце.

С ним я после того уже не встречался, а сказал мне слуга, отнесший ему в кофейню альмавиву, что он живописец из Рима; спросить же, как зовут, молодец не догадался.

Очень чувствую, что я должен казаться тебе глупым. Да и объяснить этот случай не слишком трудно. Верно, уже раз и прежде сна наяву я видел живописца, хотя и не могу припомнить где. К тому же здоровие мое, которое не совсем еще поправилось, раздражительность, мысли, занятые Надинькой, самое чтение Шиллерова романа — вот те нити, из коих проказница фантазия соткала мучительный сон мой. Но что твержу себе теперь, о том я тогда не мог вспомнить: меня слишком поразило странное повторение наяву части того, что мне приснилось.

Из Рима, надеюсь, получишь что-нибудь позанимательнее этого письма: в Риме намерен я провесть масленицу, если только лекаря позволят; а потом назад, на святую Русь, в объятия твои и той, что мне и жизни дороже. Целую тебя... и пр.

---

* На площади Витторио *(ит.)*.— *Ред.*

** Молодой человек. Здесь: малый, слуга.— *Ред.*

*** Принесли письмо для господина *(фр.)*.— *Ред.*

ПИСЬМО 2

Тот же к тому же

Рим. 5-го апреля.

Масленицу только хотел я провесть в Риме, а вот живу здесь уже третий месяц и — оторваться не могу. Я не в силах успокоиться, опомниться от всего, что привлекает здесь мое внимание, возбуждает удивление и наполняет сердце вместе и благоговением, и печалию. О многом я тебе уже писал; о несравненно бо́льшем не в состоянии еще писать: мысли мои еще не оселись; чувства слишком еще взволнованны; впечатления от всего, что видел, что вижу каждый день, не преобразились еще в ясные понятия, в сведения. Дай мне, друг, прийти в себя; теперь в моей голове все смешано, все сбито: века древние, средние, наш, церкви и виллы, Наполеон и папы, капуцины и цесари, Пульчинелло [6] и Катон Утический, конфетти [7] и развалины, и сто других предметов, сходных и несходных между собою, так и рвутся под перо мое. Не знаю, с чего начать, на чем остановиться. Лучше бы было всего, если бы ты мог сам перенестись ко мне в гостиницу синьора Бенедетто, откуда к тебе пишу: тогда бы ты сам бродил со мною из Ватикана в Колисей, из Колисея в собор св. Петра, оттуда в Кампо-Вакчино, в Кампидольо, в виллу Боргезе и — пересказать не успею куда. Я не в состоянии заочно быть твоим чичероне [8], потому что, пробыв здесь около десяти недель и каждым днем пользуясь, по сю пору теряюсь в этом лавиринфе. Проезд через Германию успокоит меня; ворочусь в Петербург и стану вам рассказывать о вечном Риме подробно, ясно, отчетливо; между тем Рим, хаос величия и нищеты, кладбище славы, оставляю не без сожаления; пишу это смело — вы не поймете меня криво, ты и Надинька. «Рим,— отвечаешь ты мне,— очаровал тебя; ты не можешь скоро оторваться от него: это понятно. Описания чудес Рима также от тебя еще не требуем. Да полно начинать письма свои антитезами! они ни к чему не ведут и ни о чем не могут дать понятия. Скажи нам слова два о самом себе — и рассудительно. Рим очень занимателен, но в Риме сердечное наше участие возбуждает один Юрий Пронский». О самом себе — когда вся личность моя заглушена и подавлена, когда все мое бытие поглощено великими остатками древности и еще величайшими воспоминаниями, та-

кими, каких никакое другое место в целом мире не представляет воображению?..

На слова о моем здоровии: оно совершенно поправилось. Портрет, который посылаю Надиньке, покажет вам, что сбросил уж и повязку. Широкий рубец на лбу — единственный памятник того сабельного удара, который было меня чуть не навсегда разлучил с вами, друзья мои. Портрет этот писан в подарок любви рукою дружбы. Так, Володя, дружбы; тебя, конечно, никто мне не заменит; никто в моем сердце не займет того священного уголка, который я отвел исключительно тебе; с тобою я вырос, тебя люблю с той поры, как начал чувствовать, буду любить, пока не перестану чувствовать. Но ужели сердце человеческое так бедно, что не может быть предано в одно время двум, даже трем, хотя и не с одинаковым жаром, не в одинаковой степени? Способность удивляться всему прекрасному, дорожить всем благородным и высоким не единственное ли право мое и на твою дружбу?

Помнишь ли, что еще из Ниццы я писал тебе о живописце, который встретился мне в кофейне на Piazza di Vittorio? Стыжусь и вспомнить, как на меня подействовала эта встреча, потому что этот живописец — мой Джиованни. Три дня после того письма я отправился в Рим. На первой неделе великого поста выставка картин в Академии: я посетил ее. Не стану много толковать о произведениях нынешних римских художников: италиянцы кое-как влачатся по следам Батони и Менгса. Немцы все почти метят в Луки Кранахи; и должно отдать им справедливость: их кисть деревянная, сухая, точно вызывает из гроба младенчество искусства, но только труп его — души, которая одна в глазах истинного любителя придает неотъемлемое достоинство старинным картинам, души-то именно в их подражаниях и нет. Французы, хотя и очень хвастают своею новою школою, вообще по-прежнему театральны. Об англичанах и говорить нечего. *Наши*, хотя и есть исключения, не жалеют голубой и алой краски и в этой расточительности полагают главное достоинство живописца.

Бродя по залам, где все было или дурно, или посредственно, я сетовал об упадке искусства, досадовал, что этой жалкой выставке пожертвовал временем, которое нигде так не драгоценно, как в Риме, и совсем уж было собрался оставить Академию. Вдруг внимание мое при-

влекла картина, перед которою стояло несколько милордов инглезе [9] и какой-то синьор профессоре, объяснявший им ломаным французским языком, почему картина никуда не годится. При первом взгляде на это чудное создание высокого, заброшенного таланта меня поразило удивление. Сначала подумал я, что гляжу на одно из лучших творений Сальватора Розы. Рассматриваю, сравниваю с тем, что осталось у меня в памяти из картин неаполитанца: нет! художник не просто счастливый подражатель Сальватору — он его соперник, свободный, самостоятельный. Приемы, правда, почти те же, но рисовка точнее, идеала и чистоты более, и более того, что и гению не всегда дается, что только тогда покоряется фантазии, когда с нею сопряжено и сердце великое. Предмет: Риэнзи перед смертью. Сцена у подножия Капитолия. Народ, возмущенный дворянами, восстал на трибуна; тысячи рук было вооружились, тысячи голосов только что проклинали того, перед кем за час еще благоговели, кого за день еще превозносили над величайшими мужами древности. Но первый удар еще не нанесен; нанесть его никто не дерзает. Риэнзи пользуется минутою недоумения, начинает говорить — и мечи, копья, каменья выпадают из рук свирепой черни. Его правая рука указывает на Капитолий, левою он обнажает свою грудь; чело спокойно, величественно. И что же? здесь юноша бросается к ногам воскресителя Рима; там другой обеими руками покрывает лицо, в отчаянии, что мог быть игралищем властолюбивых патрициев. Далее несколько зверских лиц совершенно в роде Сальваторовых, в самых фантастических лохмотьях: они спешат удалиться, чтоб не заплатить жизнью за неистовство, в которое вовлекли народ и которое не удалось им увенчать убийством. Трое престарелых вельмож в великолепной одежде XIV века, бледные с ужаса и гнева, смотрят на толпу, готовую или разойтись, или напасть на них же, зачинщиков бунта. Трибун настоящий антик: [10] он в белой мантии, которой роскошные складки напоминают древнюю тогу, а чистый простой цвет резко противоположен яркости красок, какими пестрятся одежды всех прочих. Он торжествует. Но — позади победителя стоит его черный ангел [11], рыцарь с опущенным забралом, в вороненых доспехах, росту исполинского; булат его поднят: миг — и не станет Риэнзи.

Вот, друг, содержание картины, коей выразитель-

ность, изобретение, отделка, таинственное освещение на время заставили меня все забыть, все, даже глупый лепет профессора и бездушное «yes! yes!» *, каким отвечали на его выходки румяные чада Британии, которых был он оракулом. Удерживаясь даже от улыбки негодования, я спросил профессора, как зовут живописца, который навлек на себя по всей справедливости его строгую критику. «Несмотря на это уродливое произведение,— отвечал мне оратор,— из него, быть может, вышло бы что-нибудь, если бы он только хотел следовать советам людей опытных, со вкусом».— «Таких, как вы!» — прервал я его.— «Но, синьор, не в том дело: откажитесь исправлять чудака, которого, кажется, исправить невозможно».— «Имя его?» — «Имя его — Джованни Колонна».— «Он живет?» — «Живет, если то нужно знать вам, близ Палаццо Сакетти, на берегу Тибра, в виду моста Систо — в таком-то доме...» Я не дал договорить ему и бегу туда, куда влечет меня сердце. Вот дом; взбираюсь по крутой темной лестнице в четвертое жилье; вдруг несутся мне навстречу звуки истинно небесные: в них изливается душа, тоскующая о том, что может дать одно отечество бессмертия. Приближаюсь робко, отворяю дверь, вхожу в комнату бедную, но опрятную, что в Риме не последняя редкость. Художник фантазировал на скрыпке: шум моих шагов привлек его в дольний мир из области света и гармонии, где дух его ширялся. На прекрасном лице его мелькнуло мгновенное неудовольствие; глаза засверкали: я узнал своего незнакомого знакомца из Ниццы. Что сказать тебе об этом первом нашем свидании? Неисчерпаемое сокровище пламенных чувств, глубоких дум и самого чистого восторга постепенно открывалось мне в душе дивного юноши. Он рожден быть великим: в нем воскреснет для Италии Рафаэль, только бы огонь, горящий в груди его, не расторг до времени сосуда, в который влит и из которого беспрестанно порывается возвратиться туда, откуда упал на землю. Впрочем, мы не скоро сблизились. Меня (смейся надо мною!) удерживал какой-то невольный трепет, проникавший меня всякий раз, когда я встречался с молнией его взора, и этот взор еще и ныне изредка напоминает мне зловещий сон мой; его? — он художник, беден и носит славное имя: *Колонна* [12]. Колонны, ты знаешь, ведут свой род от Сципионов. К счастью, слу-

* Да! да! *(англ.) — Ред.*

чай опрокинул стену, стоявшую между нами. Он спас мне жизнь, и с той поры он меня не чуждается: он понимает, как тягостна одолженному благодарность, когда тот, кому хочешь принесть ее, от нее отказывается. Вот как это было.

Самый Рим меня так занял, что окрестности его, о которых я, однако же, много читал и слыхал, долго оставались для меня совершенно неизвестными: у меня не было времени посетить их. Наконец я выбрал прекрасное весеннее утро — и отправился в рощу, где источник Эгерии [13]. Мне говорили, что это место не совсем безопасно; но я худо верил рассказчикам. Роща, скажу мимоходом, столь дика и уединенна, как во время Нумы: поэт Августова века, досадовавший на пышность построек, которыми осквернили священные воды, теперь не нашел бы причины к жалобам. Все было мирно, все навевало какое-то неизъяснимое спокойствие и склоняло к мечтам о будущем, к думам о минувшем. Я сел на берегу ручья на обломок архитравы, поросшей мхом и повиликой. Вдруг выстрел; пуля жужжит мимо ушей моих и ударяет в дерево прямо против меня на другом берегу источника. Не успел я вскочить, как слышу второй выстрел, потом стон — и передо мною Джиованни с пистолетом в руке. «Как неосторожны вы! — было его первое слово.— Вы иностранец, здесь, один, без оружия... Посмотрите! — и, взяв меня за руку, он отвел меня за куст, а там огромный мужчина, достойный товарищ Фра-Диаболо, лежит с простреленною головою.— Выстрел мой недурен! — сказал Колонна, собрал кисти, краски, портфель.— Пойдемте!» — и пошел, как будто ни в чем не бывало. В городе я почти насильно привел его к себе; но при прощании он в первый раз сам пожал мне руку и — сегодня четвертый день, как живет со мною. Доселе мы говорили почти об одних искусствах и истории; но и тут узнал я богатство и красоту его души. Сокрушает меня глубокое уныние, которое в нем примечаю. Он несчастлив, но причины его страдания я не дознался.

Не ревнуй, Владимир! Для дружбы нужно равенство, а преимущество Колонны над собой я слишком чувствую, чтобы быть чем иным, как только его усердным почитателем. Следующее письмо ты получишь из Германии, вероятно из Мюнхена или Дрездена.

ПИСЬМО 3

Victor la jeunesse к брату своему Теодору, магазейнщику в Петербурге

Дрезден. 10 майя.

Вот, мой милый Теодор, я опять в Дрездене, где мы когда-то с нашим маленьким капралом так храбро отражали союзников [14]. Недель через шесть надеюсь тебя обнять и рассказать тебе свои путевые похождения. Знакомых здесь никого не нашел. Толстый харчевник, что потчевал нас уксусом и уверял, будто это самое лучшее рейнское вино, а свои ужасные котлеты из конины выдавал за говяжьи, по выходе нашем из Дрездена вдруг стал патриотом и союзникам вздумал служить шпионом; но брал он деньги и с нас и по мере сил и возможности старался угодить обеим сторонам. За то казачий генерал Платон велел его повесить. Этот Платон шутить не любил, хотя, впрочем, был человек очень ученый, потому что воспитывался в школе известного Сократа, а до войны был митрополитом [15].

Прекрасная Аннетта, к которой я так ревновал, вышла замуж, а сестра ее Луиза умерла. О других приятелях и приятельницах наших нет и слуха. Барином я очень доволен: он добрый малый; люблю его почти больше, чем девицу Розу, которой я отдал свое сердце. Да напрасно только связался он с каким-то итальянцем, живописцем, и обходится с ним так почтительно, как и с нашим фельдфебелем никогда не обходился. Мне и старику Карпову велено слушаться италиянца как самого барина; а сверх того, для него наняли еще особенного слугу, италиянца же, потому что ms-r Колонн (imaginez vous l'impertinence! *) не любит говорить по-французски! У меня не лежит сердце к этому гордецу. Пронский совсем не горд: нередко шутит с нами, меня расспрашивает про мои походы, с Карповым разговаривает о домашних; словом, часто забываешь, что он наш барин, ротмистр, что у него около полумильона ежегодного доходу. А Колонь [16] вот уже второй месяц живет с нами и не удостоил меня и десяти слов... Забыл он, как во дни наших успехов подобные ему перед нашим братом и пикнуть не смели! Глаза же у него, Теодор, так тебя и видят насквозь: мне таиться не в чем — я веселый парень, но

---

* Подумай, какая наглость! (*фр.*) — *Ред.*

честный, да все-таки неприятно, когда кто на тебя смотрит, как будто выузнает твои сокровеннейшие мысли. Впрочем — пожалуй! угодно ему спросить меня — я не трус: выскажу ему все, что о нем думаю; только сомневаюсь, чтоб услышал он много лестного. И Карпову (который, между прочим, тебе кланяется) он не слишком полюбился. Старик считает меня ветреником, да и он, как только заведу речь об итальянце, покачивает головой и охает.

У старой барыни, матушки ротмистра, в деревне сумасшедшая девка — Настя, по-нашему Anastasie; сумасшедшая, да умнее многих умников: хотелось бы мне знать, что скажет она о нашем живописце. Барин говорит, что Каронь [17] красавец... И в этом я не согласен: раз, он никак бы не мог служить в гренадерах — я головой его выше; во-вторых, бледнее, чем ты был после лейпцигской своей раны [18], — настоящий покойник. То ли дело мой ротмистр: статен, высок, румян, а рубец на лбу придает ему особенную привлекательность в глазах всякого старого солдата! Однако и бесу надобно отдать справедливость: храбр итальянец и славный стрелок. В бытность нашу в Риме убил он одним выстрелом разбойника, который за городом напал было на Пронского. Впрочем, на руку свою и я надеюсь: если бы тут случился, быть может, не дал бы и я промаха. До небес барин потом превозносил равнодушие итальянца; а дело-то вот в чем: отправив несчастного на тот свет, где молодца, по всем догадкам, примут не слишком ласково, он о нем говорил менее, чем об издохшей собаке. Право, мне кажется, что у ms-r Шаронь [19] рука не дрогнет и не на разбойника. Сужу по его картинам. У него их довольно, но по большей части только начатые; а везде в них резня: ни одного женского личика; все какие-то бородачи, в широких епанчах, с растрепанными волосами; кинжалы, топоры, копья... Мастер он играть на скрипке: только при *его* музыке веселые водевили и на ум нейдут; скорее от нее завоешь.

Хотелось бы мне еще порассказать тебе кое-что; да, право, не знаю что? Фарфор здесь хорош, хоть и не лучше севского [20]; духи — гадкие, помада никуда не годится. Зато немочки очень милы, а вино недурно и дешево. Поклон мой жене твоей и девице Розе. Крестнику своему посылаю гостинец: три аршина английского сукна на куртку. Прощай! Слышу колокольчик барина.

ПИСЬМО 4

Джиованни Колонна к Филиппо Малатеста

Дрезден. 12 майя.

Могу представить себе, друг, твое удивление, когда, воротясь из Неаполя, ты уже не застал меня в Риме и услышал, что нелюдим Колонна согласился отказаться от своей дикой независимости и отправился с иностранцем, с русским, в холодное его отечество! Долго я боролся с самим собою: гордость, отвращение пользоваться благодеяниями, привязанность к несчастной, неблагодарной, но всё дорогой мне родине, а главное — долгая, быть может вечная, разлука с тобою, который один еще удерживает меня на земле, где все, кроме тебя, растерзало мне сердце... Но суди сам: мог ли я наконец не уступить просьбам и настоянию Пронского, человека — скажу мимоходом — прямо благородного и знающего мне цену? Меня взорвало хладнокровие, с каким приняли — не в Академии (ожидал ли я когда общего смысла от Академии?), но в публике, но в Риме мою картину. Ты ее видел почти конченною: ты, строгий, неумолимый судья, смотрел на нее с восхищением, ты пророчил мне успех самый блистательный... Знай же: моего Риэнзи заметили: «я человек не без дарования, у меня кисть довольно бойкая; я не из дурных подражателей Сальватора!» Зачем лучше не обругали меня? не назвали пачкуном, невежею, маляром вывесок? Стыжусь: на миг я было усомнился в себе и подумал, что не ангел вдохновения, а насмешливый демон-искуситель подал мне кисть и палитру. Филиппо! Этот миг... О, я долго не забуду его!

Вот из какого ада вырвал меня Пронский: он был на выставке и прибежал ко мне, заброшенному, принес мне дань восторга непритворного. Чем далее на север, тем люди должны быть холоднее, тем труднее должно быть расшевелить их. И что же? Человек, воспитанный среди льдин и снегу, русский, гиперборей [21], удовлетворил самым взыскательным требованиям моего самолюбия. Рожденный в земле, где совсем иного роду успехи дают право на уважение, он смотрит на меня не с спесью покровителя, нет! С выражением удивления. Потом я узнал его короче. Судя по Пронскому, у русских нет нестерпимого важничанья англичан, судящих обо всем по-печатному. Для англичанина *Торзо* [22] не более как кусок мра-

мора; но англичанин вменит себе в непременную обязанность превозносить его, потому что Торзо славится. Колисей для уроженца берегов Темзы груда камней; но перед Колисеем милорд непременно пробормочет сквозь зубы несколько из тех условных фраз, которые стали отвратительно приторны от бесконечного повторения; потом посмотрит на часы, скажет: «It is dinner time» * — и отправится в гостиницу, чтобы там за обедом сказать соседу: «Я сегодня был в Колисее. I do confess, it is very grand, very beautiful» **. Не найдешь у русских и умничанья немцев, хотящих все знать лучше нас, старинных питомцев искусства, соотечественников красоты и вдохновения. Немец готов предпочесть уродливое произведение XIV века лучшим творениям Урбинского [23] и Микель-Анджело, а почему? Он высмотрит, выищет в них тусклый луч высокого и, обрадованный своею находкою, забывает, что в бессмертных созданиях наших гениев это же высокое, но в гораздо высшей степени и ничем не помраченное. В характере русские всего более склонны с французами, только они столь же скромны, сколь французы хвастливы и заносчивы; притом же в русских более глубины, более способности чувствовать и понимать прекрасное. Они, кажется, менее других европейцев удалились от природы, хотя и на них наведен уже тот лоск, под которым так часто скрывается ничтожество и бездушие. Пронский добр, прост, любит учиться, не стыдится своих чувств, охотно признается в ошибках, не гордится ни богатством, ни знатностью и обходится со мною благородно, нежно, бережно.

Так! Колонна гордый, горячий, мстительный, готовый везде подозревать ковы [24] и козни, надеется ужиться с своим варваром и лучше, чем с земляками, пронырливыми, завистливыми. Этих-то земляков хочу принудить раскаяться в том, что не хотели угадать, чем могу быть. Чувствую, сколь мало еще у меня прав говорить таким языком: мне двадцать четыре года, а еще я ничего не сделал для бессмертия [25]. Легко осмеять меня и назвать слова мои бредом безумца, беснованием несчастного, который лишен хлеба насущного, а между тем мечтает о недоступной, недосягаемой ему славе. Но и Рафаэль был когда-то неизвестным; но и Корреджио почти умер с голоду; но и Тассо зависел от покровителя — а мой

* Пора обедать (*англ.*).— *Ред.*

** Я признаю, что это очень величественно, прекрасно (*англ.*).— *Ред.*

покровитель (больно мне называть его этим ненавистным мне именем!) ужели не перевесит на весах беспристрастия бесчеловечного князька Ферарского, которого певец Иерусалима называет великодушным Альфонзо? [26] Итак, вот последний Колонна, чтобы не стоять в рубище на священных гробах своих предков, покидает свое отечество! Клянусь всеми святыми: буду достоин их — или погибну! Последний Колонна! Зачем и поныне не называюсь Лонна, как то назывался целые пятьдесят лет слепой арфист — бродяга, отец мой? Он считал, что ему нейдет носить имя, с коим в целой Италии ни одно не сравнится ни древностию, ни знаменитостию.

Сто раз, Малатеста, я тебе рассказывал, как старик при последнем издыхании открыл мне, кто мы; как вручил мне неоспоримые доказательства, что в моих жилах точно течет кровь покорителя Карфагена [27]. Взять ему было в гроб свою роковую тайну: она-то меня лишила и счастья, и покоя, и наслаждения успехами... что такое обыкновенные успехи для Колонны? У Колонны не должно быть совместников; первым, единственным должен он быть на поприще, которое избирает,— или ничем. Мне было тогда шестнадцать лет: но в одну ночь из отрока я стал мужем; я перескочил возраст юношества, возраст любви, радости, доверчивости, упоения. Чего же странствующий арфист надеялся? Или несчастный Джиованни лучше его? Африканский! Взгляни на внука своего: он на жалованье у варвара; москвитянин считает, что оказывает честь последнему Колонне, называя его приятелем, а в сердце своем, быть может, называет его — своим холопом! Но жребий брошен...

Поговорим о чем-нибудь другом: для чего дотрогиваться струны, которая издает одно разногласие? Привыкай, впрочем, к противуречиям бедного Джиованни: ведь и сам он звук, нарушающий гармонию мира. Ты часто удивлялся, Филиппо, каким образом я, итальянец, кому скоро исполнится пять люстров [28], не любил по сию пору ни одной женщины. Одно чувство поглотило во мне все прочие: тебе ли неизвестна моя любовница, идол мой? И не дай бог полюбить мне женщину! Любить, как обыкновенно любят, предоставляю другим; вялою взаимностию, какою обыкновенно довольствуются, я бы был ввергнут в отчаяние. Полюблю — и все прочее с меня смоется, во мне умрет и уничтожится. Если когда-нибудь услышишь, что Джиованни любит, считай его погибшим без спасения. Кровавый призрак всякий раз

восстает передо мною, как только подумаю о страсти, мне незнакомой, но коей власть надо мною будет ужасна, беспредельна, если только ей подвергнусь. Надобно мне успокоиться, да о чем бы я ни стал говорить, везде найду нечто, что взволнует меня. Об искусствах? Я был в здешней картинной галерее... О, Филиппо! я видел Рафаэлову Деву [29], видел на руках ее сердцеведца, судию помыслов человеческих в образе божественного младенца: на меня дитя-громовержец устремлял строгий взор свой — и я готов был возопить к горам: «Покройте меня!», безднам: «Поглотите меня!» Почти столь же нестерпимы для грешника и небесная чистота, дивное спокойствие, кроткое величие самой Мадонны. Не верю басням о распутстве Урбинского: кто мог постигнуть *эту* непорочную святость, тот и сам был непорочен; или же чудо совершилось — и один из тех двух ангелов, что покоятся у ног владычицы Девы, сошел из радужного селения и водил рукою смертного. После того я проходил мимо прочих картин, стоял перед ними, глядел на них, но все еще видел только ее единую, единственную, ни с чем не сравненную царицу небесную. Корреджиев св. Севастиан наконец пробудил меня: перед ним наконец я мог плакать и молиться ей, чтобы смертию, подобной его смерти, даровалось мне омыть скверны больной души моей! — Италия! Италия! и эти два бесценные перла своего венца ты тедескам [30] продала за горсть золота!

Милый брат! все, повторяю, все здесь давит, душит сердце мое. Самая откровенность, самое радушие Пронского мучат меня. Мрачные предсказания встретили мое рождение и до времени положили в могилу ту, которая дала мне бытие. Друг! и меня мутят предчувствия чего-то страшного, чудовищного. С переезда нашего за Альпы перемена лиц и мест, новые нравы и обычаи заглушили было несколько во мне голос убийственной мечты, хотя она и тут никогда меня совершенно не покидала. Здесь, в Дрездене, она проснулась с новой силою. Однажды мы с Пронским разговаривали о том, до какой степени искусство может согласить выражение характера с идеалом, рассматривали мнения натуралистов, слегка коснулись того, что сделали лучшие из них, перешли к эклектикам, наконец дошли до новейших, до Менгса, который подчинил высокое красоте, а в самой красоте видел одно пригожество, и до его последователей, которых бесхарактерная изнеженность равно да-

лека и от природы, и от идеала, и от красоты истинной. Неприметным образом разговор наш остановился на физиогномике. Мы рассуждали о чертах, по которым можно узнать вспыльчивого, гордеца, скупого, завистливого, труса. Вошел между тем молодой саксонец, знакомый Пронскому, и стал слушать нас со вниманием. Пронский спросил: «Каково должно быть лицо человека, который бы испытал все страсти и в котором все они заменились мертвым отчаянием, когда перегорели и потухли?» — «На такое лицо могу достать вам случай взглянуть»,— подхватил тут саксонец.

Пронс. Шутите!

Сакс. Нимало. Вообразить не могу человека, чья наружность более бы соответствовала тому, что предание заставляет ожидать от вечного жида [31].

Пронс. Кто же этот таинственный?

Сакс. Лет пять его знаю, встречал и здесь, и во Франкфурте-на-Майне, говорил с ним более двадцати раз; а по сию пору не знаю: немец он или нет, богат ли или беден, какого звания, какого происхождения? С первого взгляду ему лет сорок пять; но по некоторым обстоятельствам (на речи он скуп), право, подумаешь, что он живет не года, а веки, чтоб не сказать — тысячелетия.

Пронс. Стара шутка! St. Germain *[32] предупредил его в этой выдумке.

Я. Нас, италиянцев, нелегко ею проведешь: мы еще помним своего Кальёстро.

Сакс. Большая разница между Кальёстро, St. Germain и тем, о ком говорю: первый сам распространял о себе такие слухи; второй по крайней мере потворствовал им; а мой чудак тогда только может быть выведен из своей бесчувственности и обнаружить что-то похожее на досаду, когда доходят до него подобные догадки.

Я. Он их оспаривает, опровергает?

Сакс. Он считает не стоящим труда опровергать что бы то ни было. Но во Франкфурте богатый перекрещенец из евреев, у которого нанимал он комнату, убежденный просьбами любопытных, решился наконец сказать ему, какая молва о нем носится. Постоялец молча вышел, хлопнул дверьми, и в тот же день его не стало в городе.

Пронс. Какого он исповедания?

Сакс. Он довольно прилежно посещает христианские церкви, не разбирая, католические ли они или про-

---

* Сен-Жермен (*фр.*).— *Ред.*

тестантские; но всегда из них выходит перед начатием совершения таинств. Во Франкфурте бывал он и в синагоге; однако тамошние жиды не признают его своим собратом, хотя некоторые и полагают, что он точно еврей, только не талмудист, а караим [33].

Пронс. Поведение, совершенно приличное роли Агасвера, которую, кажется, ваш фигляр вздумал разыгрывать! Это или безумный, или самый тонкий плут.

Сакс. Скорее первое: плутуют же для какой-нибудь выгоды, а он...

Пронс. Разве не считаете выгодой обратить на себя внимание, служить другим предметом толков и любопытства? Впрочем, уверен, что он и не без других признаков шарлатанства. Не так ли? Он предсказывает будущее, лечит средствами, неизвестными другим врачам; великий алхимик, магнетизёр и проч.

Сакс. Во всем почти ошибаетесь. Единственное необыкновенное знание обнаруживает он именно только по той части, по которой сам служит примечательным феноменом.

Пронс. То есть он второй Лафатер?

Сакс. Лафатер схватил одну тень науки, а он проник в ее сокровеннейшие изгибы.

Пронс. Люблю вас, господа немцы! Между вами родился Шеллинг, величайший умствователь нашего времени; ни в какой земле, ни у одного народа просвещение не распространялось так на все состояния и звания, как в Германии, а между тем вы не отказались ни от одной глупости, какою когда-нибудь тешились и бывали приводимы в содрогание ваши прабабушки.

Сакс. Пусть это так; но самая склонность народа, который и вы же признаете одним из умнейших и просвещеннейших в мире,— склонность, ничем не победимая, общая, впрочем, более или менее всему роду человеческому...

Пронс. Говорит в пользу суеверия?

Сакс. Что такое суеверие? There are more things in heav'n and earth!*[34]

Пронс. Оставим! Искренно скажу, и я не совершенно свободен от слабости, противу которой вооружаюсь; споря с вами, я некоторым образом спорил с самим собою. Да! и в моей жизни был случай...

---

* Много в мире есть того! *(англ.) — Ред.*

Тут Пронский как бы украдкою взглянул на меня: глаза наши встретились. Преодолев свое смущение, он продолжал:

— Физиогномика, впрочем, все же не то, что астрология, алхимия, магия; она как магнетизм, не вовсе без основания, хотя правила ее и довольно шатки. Вот почему и желал бы я видеть вашего чудака и поговорить с ним, если только он не обидится моим посещением.

Сакс. Не знаю, в состоянии ли он обидеться чем бы то ни было; да не ручаюсь, не обидитесь ли вы его приемом?

Пронский обещал равнодушно перенесть все его странности, и саксонец дал нам слово наведаться в Фридрихштадте у сапожника, в чьем доме живет чудак, когда можно застать дома *серого человека* (так обыкновенно называют его по его серому кафтану). На другой день вечером, в десять часов, саксонец зашел за нами, и мы отправились в Фридрихштадт. Мы пробираемся по тесным, темным улицам этой беднейшей части Дрездена, почти сплошь заселенной нищими, и останавливаемся у старого каменного дома. Сапожник ожидал нас и повел по крутой ветхой лестнице в верхнее жилье. У дверей наш провожатый постучался, и мы услышали громкое: «Herein» *. Входим и застаем *нашего* Агасвера за работою, за которою никто бы не ожидал найти его: он подчинивал свои сапоги.

«Эй! Эй! Господин Грауманн! [35] — улыбнувшись, сказал хозяин.— Вы перебиваете у меня хлеб! — и, посмотрев на сапоги: — Да, кажется, и не за свое дело принимаетесь!»

«Разве ты недоволен тем, что от меня получаешь?» — спросил Грауманн, не обращая на нас внимания.

Сапож. Помилуйте! вы благодетель мой: я только осмелился шутить с вашею милостию. Вот господа, которые...

Граум. Подождут. Почему говоришь, что я взялся не за свое дело? Работа моя разве дурна?

Сапожник взял один сапог и стал рассматривать: «Прочна, чрезвычайно прочна! Никто у нас в городе не подкинет лучших подметок; да только более пятидесяти лет никто не носит сапог такого фасону».

Граум. Быть может. *(Потом, обратясь к нам.)* Прошу садиться! Ведь так ваша светская вежливость требу-

---

* Войдите *(нем.).— Ред.*

ет, чтобы всякий порядочный человек приветствовал людей, до которых ему дела нет и которые не дурно бы сделали, если бы без околичностей убрались домой и занялись чем-нибудь пополезнее, чем прийти зевать на того, кого не поймут и кого понимать нет для них надобности.

Все это проговорил он голосом, в котором не было ни насмешки, ни досады, точно как будто подает совет, да только не надеется, чтоб совет приняли. Между тем я глазами успел окинуть его комнату. Стены почти голые: нигде нет и следа кровати, софы или хоть широкой лавки, чтобы ночью отдохнуть; вся мебель — стол и два-три ветхих стула; в одном углу распятие, но лик Спасителя завешан; над стулом Агасвера несколько портретов, писанных на стекле теми живыми красками, которых состав потерян уже несколько веков, но которые и поныне возбуждают наше удивление на окнах готических соборов. Представь мое изумление: портреты времени очень недавнего. Под тем, который мог быть древнейшим, я прочел немецкую подпись: «Ганс Сакс из Нюренберга, сапожник и стихотворец», а Сакс — современник Лютера. Под другим имя Якова Бёме, сапожника ж и мистика XVII столетия. Третий — Джона Фокса, также сапожника, основателя секты квакеров [36]. Все три, казалось, писаны одним и тем же художником — и превосходным; только трудно причислить его к какой-нибудь известной школе. Отделка и точность истинно фламандские, но вдохновенные лица обоих энтузиастов и поэта не могли быть представлены, ниже постигнуты человеком, который бы никогда не восходил до созерцания красоты идеальной, незнакомой и самому Рубенсу. Другой вопрос: как мог один и тот же художник списать лица и Ганса Сакса, и Якова Бёме, когда между обоими — столетие? Далее: как осталось в безвестности искусство этого расцвечения, им или другим кем вновь открытое? Вот сомнения, какие толпились в голове моей, когда я наконец сел возле Агасвера, Граумана или как угодно будет назвать то непонятное существо, которое тут присутствовало. Он отвечал на вопросы моих товарищей, не глядя на них, продолжая свою работу. Наружность его? Возьми голову Лаокоона, только привыкшего уже к страданиям, одеревеневшего от них; дай этому Лаокоону силу Геркулеса Фарнесского [37], но пусть покой его будет не после победы, а после трудов непомерных, которых и Геркулес не одолел, но которые

оставил после многих суетных попыток и усилий; одень своего полубога в серый камзол с стальными пуговицами, в серое исподнее платье, заставь обнажить до локтя мощные руки и пусть при бледном свете ночника подчинивает старые сапоги: вот гротеск, который дает тебе понятие о чудном зрелище, какое представлялось глазам моим. А голос его... нет! Лишенные акцента ноты этого голоса не принадлежали обыкновенному порядку вещей; в них что-то противоречило общим законам природы. Пронский, садясь, сказал ему: «Извините нашу нескромность; мы помешали вам».

Граум. Мне никогда ни в чем не мешают.

Сакс. Вы знаток в физиогномике: мы пришли к вам, чтобы попросить вас сказать нам, к каким страстям мы всего более склонны.

Граум. Вы пришли не себя показать, а меня посмотреть. Да и какая тебе будет польза, если назову тебе страсть, которая наложила неизгладимую печать на лице твоем? Ты жертвуешь ей и будешь ей жертвовать до последнего своего издыхания.

Сакс. От вас не спрячешься. Так! признаюсь, я сам отчаиваюсь победить свою влюбчивость.

Граум. Стало быть, у вас ныне зовут влюбчивостью, что в старину называли скотским сластолюбием.

Сакс. А друг мой?..

Граум. Этот человек тебе не друг: ты его едва знаешь; он оставит Дрезден, и ты никогда уже с ним не свидишься.

Сакс. Вы говорите так утвердительно... мало ли, что может случиться? Ротмистр, легко станется, опять побывает в Саксонии, или я поеду в Россию.

Граум. Не всегда случается то, что может случиться.

Пронс. Вы, кажется, проникаете во внутренность человека. Итак, вероятно, видите, что не обманываю вас, когда скажу, что и теперь, в возрасте мужа, искренно желаю исправиться от своих недостатков. Назовите мне их! Быть может, самолюбие ослепляет меня; многие за собою знаю, но неравно самый опасный для спокойствия собственного и милых мне ускользнул от глаз моих.

Граум. Ты мечтатель, легкомыслен, тщеславен; нет в тебе больших пороков, да подчас слабости не лучше пороков.

Тут я подошел к прорицателю. Он, повторяю, отвечал моим товарищам, не взглянув на них ни однажды; но

на меня он поднял взор свой, уставил в меня свои безжизненные, оловянные, страшные глаза; потом подозвал меня еще ближе и шепнул мне на ухо: «Каин!»

ПИСЬМО 5

Фра Паоло к Джиованни Колонна

Рим. 10 июня.

Малатеста, опечаленный и встревоженный, полагал, что не нарушит твоей доверенности, если покажет письмо твое мне, отцу твоему духовному. Сын мой, и меня оно опечалило. Никогда я не переставал молиться за тебя; я всегда взывал к духу-утешителю, да ниспошлет и тебе утешение — он, единый достойный желаний твоего сердца. Ныне усугублю свои молитвы, денно и ночно буду призывать к тебе на помощь силы небесные. На краю бездны скользишь, злополучный юноша: тот черный ангел, который некогда угнетал душу Саулову [38], гнетет и твою душу. Много получил ты из рук божиих: но как употребил ты не талант, а десять, тебе вверенных? Раб лукавый и неверный подвергся осуждению за то, что зарыл единый, ему данный [39]: чему же подвергнешься ты за то, что не зарыл, а принес их в жертву врагу твоего господа? Искуситель предстал тебе в образе самолюбия: но сего ли мира слава успокоит твое сердце, алчущее благ неисчерпаемых, томимое беспредельною жаждою наслаждений, какие дать одно небо ему может? Преклони колено, смиренно восхвали того, кто даровал тебе сию жажду: она служит тебе порукою, что можешь быть сосудом избранным; ибо, очищенная ото всего земного, она преисполняла тех, которых лики чтит святая церковь наша. Но вместе трепещи: не она ли, худо понятая, отравою страстей бывала и орудием гибели? Творит она святых, но творит и чудовищ. Отшельник, я ежедневно умерщвляю плоть свою, ежедневно стараюсь умереть миру: но и я не считаю грехом любви к тем прекрасным искусствам, которые смертному иногда служат истолкователями, переводчиками небесного. Перголезе и Моцарт были на земле живыми отголосками гармонии надзвездной; Рафаэль озарил юдоль тьмы отблеском красоты вечной. Но «аще соблазняет тя рука твоя, аще соблазняет тя око твое»... [40] Фра Бартоломео был славный живописец; он обессмертил, как выражаются люди

светские, имя свое; но, говорят, он был худой монах, нарушал, говорят, святые обеты чина ангельского: если это так, лучше бы было не родиться ему. Не требую, чтобы ты бросил искусство свое, чтобы пренебрег своим редким дарованием: «Всякое даяние благо и всяк дар совершен, исходяяй от отца светов» [41]; но решись употреблять полученное тобою не для стяжания призрака земной славы, а для прославления чудес подателя благ нетленных. Тогда суждения справедливые и несправедливые, похвалы и хулы пронесутся мимо ушей твоих и не возмутят твоего спокойствия.

Считаю нужным побеседовать с тобой и о странном человеке, которого и наружность, и слова, равно таинственные и страшные, так тебя поразили. Мне мало известны простонародные суеверия и предания трансмонтанов [42]. Вот почему, прочитав твое письмо, я и полюбопытствовал расспросить молодого немца, живописца, что такое его земляки рассказывают о так называемом вечном жиде. Он передал мне легенду, которую сообщаю тебе. «Во время странствования господа нашего на земле жил в Иерусалиме некто Агасвер, ремеслом сапожник. Дом его стоял за городом по дороге к Голгофе. Более чудеса, чем божественное учение Спасителя, заставили Агасвера признавать в нем обетованного; но сердце иудея, подобно сердцам бо́льшей части его братий, было прилеплено к праху, не постигал он, что мессия пришел в мир для основания царства чисто духовного; ожидал и он от сына божия освобождения от временных уз, а не искупления от уз вечного рабства. В день торжественного вшествия Христова во врата Иерусалимские Агасвер ревностнее всех оглашал воздух кликами: осанна! Всех усерднее устилал ваиями [43] путь грядущего во имя господне. Недальновидный думал, что настал час, когда сын Давида исторгнет скиптр своих предков из рук язычников. Вскоре иудей увидел, что ошибся,— и вот досада, презрение, ненависть вдруг заменили в груди его восторг обманутой надежды. Через несколько дней тот, от кого чаял он спасения Исраилева, Исраилем же предан в руки грешников; могущий, от слов уст коего воскресали мертвые, осужден на казнь поносную. Агасвер слышит, что он не употребляет никаких средств к своему избавлению, что даже отказал четверовластнику [44] в знамении, которого тот, казалось, только и ждал, чтобы его выручить. Негодование кипит в сердце сына праха.

Вдруг раздаются дикие вопли; римские воины, окруженные бесчисленной толпою черни, приближаются. Агасвер стал у дверей своего дома, смотрит — и что же? изводят на казнь рабов того Иисуса, которого тот самый народ, что ныне вопиет с таким остервенением: „Распни его!“, дней за несколько назад хотел провозгласить царем Исраильским. Ближе и ближе подходит шествие; согбенный под крестом, окровавленный, поруганный, в венце терновом, искупитель уже в глазах бывшего своего почитателя. Телесные силы божественного изнемогли, ему нужен краткий отдых, да совершит свой горестный путь, он остановился под навесом дома Агасверова. Даже суровые ратники ощущают нечто похожее на соболезнование: они не понуждают страдальца, дают ему собраться с силами. Отступник жесточе их: он отталкивает от прага своего того, кого некогда любил, кому некогда удивлялся. И бог-человек воззрел на безумца, и что же? С этим взором пронзила Агасвера мысль: „Я не дал ему успокоиться, не знать и мне успокоения, требовал я от него временной славы, буду же свидетелем ее до скончания веков!“ И с той поры странствует иудей из царства в царство, из столетия в столетие, без отдыха и пристанища; и странствовать ему, и не примет его самая земля до того часа, как распятый и поруганный паки прийдет на облаках, окруженный тьмами ангелов, да судит живых и мертвых».

Много высокого и поэтического в этом сказании; но нет ему основания ни в книгах Нового завета, ни в творениях святых отцев, ни в преданиях нашей церкви: итак, оно изобретение человеческое. Того, кто в наши дни вздумал представлять, кажется, лицо Агасвера, считаю, чем с самого начала счел его приятель твой Пронский, т. е. обманщиком или сумасшедшим. Не чудо отвергаю я; но гораздо большее чудо, которому мы все свидетели, которое ныне перед глазами всех уже восемнадцать столетий совершается, соделывает это чудо вовсе ненужным и ничтожным: не одно лицо — нет! — целое многолюдное племя предпочло земную славу небесной, отвергло, распяло принесшего миру искупление от уз греха и смерти — и вот же оно странствует из царства в царство, из века в век и не знает успокоения. Не вдавайся, сын мой, в суеверие, противное и здравому рассудку, и вере истинной, суеверие, которое в наше время (странное явление!) нередко ходит рука об руку с безверием. Да! мудрецы и нашего времени, подобно евреям

и эллинам, современникам апостола, называют юродством и соблазном божественное учение Евангелия, а между тем заносчивый и вместе немощный ум их не отказывается верить суетным басням. Сказание о вечном жиде пусть будет тебе только притчею: оно резкими чертами изображает пагубу величайшего из смертных грехов — гордости, ею же пали и ангелы, пагубу слепоты, которая отказывается видеть нечто высшее мира сего, не признает ничего другого достойного исканий наших и не хочет вспомнить, что творец создал нас по образу своему и подобию не для того, чтоб узниками мы были праха и брения. О сын мой возлюбленный! борись с гибельною страстью, обладающей тобою! Призови на помощь господа — и он не оставит тебя, и ты одолеешь врага и обличишь во лжи мрачные свои предчувствия и обманщика, дерзнувшего назвать тебя ужасным именем. Молись и бодрствуй и будь уверен: исчезнет как дым то, чего боишься ты и что только тогда может постигнуть тебя, когда не воспротивишься искушениям. Теплейшие и мои молитвы будут сопутствовать тебе всегда и повсюду. Поручаю тебя покрову божию и до конца жизни пребуду, чадо мое о Христе, верным другом твоим.

Павел, недостойный брат Ордена св. Франциска нищенствующих.

ПИСЬМО 6

Надежда Горич к Эмилии Дюваль, своей воспитательнице

С.-Петербург. 14 июня.

Спешу вам, единственный друг мой, сообщить свою радость: вчера поутру возвратился мой Юрий. Он тотчас прискакал к нам на дачу, провел с нами весь день, а сегодня поехал в Красное Село повидаться с братом Владимиром. Мы ожидали Пронского; но полагали, что он будет не ближе как через неделю. Постараюсь пересказать вам наше свидание; да едва ли удастся мне написать что-нибудь путное. Мы за завтраком перечитывали его последнее письмо, которое получили третьего дня, и батюшка долго рассуждал о том живописце, с кем Юрий подружился в Риме. По словам Пронского, этот молодой человек что-то необыкновенное, наделен дарованиями, каких мало, образа мыслей самого возвышенного, с са-

мыми пламенными чувствами, но мучимый мрачным, диким унынием: Пронский опасается, чтоб это уныние наконец не переродилось в совершенную ненависть к жизни.

Батюшка заметил, что такое расположение души встречается довольно часто между молодежью нашего времени; он это приписывает нашему удалению от природы и говорит, что законы ее никогда ненаказанно не нарушаются. Что до меня, я только радовалась, что тот, кто будет на пути жизни моим другом и покровителем, не принадлежит к тем существам, которые отжили для всех наслаждений и почерпают во всем и везде отраву и горести: Юрий и в 28 лет еще свеж и молод; на все смотрит взором ясным, безоблачным; сердце его горячо и чисто; умен и добр, быть может, он не гений, но зато в нем нет и причуд, которыми нередко гении, а еще чаще самозванцы-гении бывают в тягость самим себе и всему, что окружает их. Вместе я немного и досадовала на Юрия, что привязался к человеку, столь несходному с ним нравом, и даже опасалась, чтоб итальянец не навел туч на светлое небо души Пронского. После завтрака я сошла в сад: мне стало что-то грустно; невольно проронила я несколько слезинок и, когда послышала позади себя шаги, наклонилась к кусту роз, чтоб стереть их и оправиться... Вдруг кто-то закрыл мне глаза; я ахнула и — очутилась в объятиях Юрия!

Переменился ли он? Да, но в пользу свою. Вы помните, что перед походом Пронский был на лицо немного слишком нежен, слишком моложав, так, что шалун Володя иногда, шутя, называл его m-elle Pronsky *. Теперь и следа этого нет. Поверите ли? рубец на лбу служит Юрию истинным украшением: он теперь и во фраке смотрит героем. В глазах его прежнее радушие, прежнее чистосердечие; кажется, они и теперь еще говорят: «У меня нет на душе тайны». Он посмуглел: впрочем, и это ему к лицу. Долго всматривалась я в каждую его черту; долго оба мы не могли произнесть ни слова, кроме он — моего, я — его имени; вдруг он опомнился и, взяв за руку молодого человека, стоявшего от нас в десяти шагах, представил его мне: то был его приятель — Колонна. Взглянув на италиянца, я почувствовала, как непонятный трепет пробежал по мне. Показалось мне, будто все это не в первый раз со мною сбыва-

---

* Мадемуазель Пронский (*фр.*).— *Ред.*

ется; будто на этом самом месте, в виду этих же кустов, в такой же точно час, когда солнце выглядывало, как теперь, вот из-за этой яблони,— некогда я точно так же из сладостного забвения вдруг была пробуждена присутствием человека, которого взгляд предсказал мне нечто таинственное и страшное.

Что же? и на бледном лице Колонны на миг вспыхнул румянец, подобный тому, который иногда горит на лице чахоточного, и столь же скоро заменился прежнею бледностью. Он поднял на меня черные, огненные глаза и потупил их; хотел что-то сказать — одни невнятные звуки вырывались из уст его. Пронский шепнул мне, что Колонна не терпит французов и язык их; а я было заговорила с ним по-французски. Таких людей и безделица раздражает. Делать было нечего: хотя и худо знаю его отечественный язык, однако стала продолжать разговор по-италиянски. Колонна скоро преодолел свое замешательство, стал развязнее и отвечал мне умно, тонко, с большою любезностию. Мы воротились в дом, где матушка и сестры бросились с криком радости к Юрию. Послали по батюшку, который между тем по делам уехал в город. Через час и он был в кругу нашем. Вот бурные приветствия кончились; вот успели расспросить Юрия и о походах, путешествии, здоровии, высказали ему, как часто о нем думали, как беспокоились, с какою жадностью читали его письма. Мы отобедали, и после обеда удалось мне полчаса провесть с Пронским глаз на глаз. Музыка прервала разговор наш: она неслась из беседки — италиянец там фантазировал на фортепьяно. Матушка, Лиза, Вера молча слушали его. Никогда я не слыхала игры, в которой было бы более души. Колонна совершенно успел обворожить матушку и сестриц; особенно романтическая Вера видит в нем истинного Чайльд-Гарольда [45] и чуть не плачет, когда говорит о его страданиях, несчастиях, между тем как их вовсе не знает. Она находит даже, что он необыкновенный красавец, что у него голова Аполлона Бельведерского и пр. Пожурите ее за вздор, каким вздумала набить себе голову. Впрочем, это при Верином нраве неопасно: у нее горячится одно воображение; сердце, слава богу, спокойно и даже, кажется, не слишком и способно любить. Буду беспристрастна: правильностию черт и полуденною выразительностию Колонна точно превосходит Пронского; но несмотря на то, я всякий раз должна употребить усилие, когда захочу с ним быть ласковою, когда

должна просто смотреть на него: в этих правильных чертах, в этом выразительном лице, особенно во взгляде что-то такое, что меня невольно отталкивает.

Как бы я желала, моя Эмилия, чтобы вы были с нами, чтобы посмотрели на моего Юрия! Он целует ваши ручки и поручает себя вашей памяти.

ПИСЬМО 7

Колонна к Филиппо Малатеста — в конце июля

Поздно, друг мой, получил я письма ваши, твое и приложенное к нему отца Паоло. Вы лечите меня от болезни, которой у меня уже нет... Долго меня мучила горячка славолюбия; она прошла, прошла совершенно; исчезли и суеверные страхи мои. Ты радуешься, ты поздравляешь меня... не так ли, верный мой Филиппо? Но какое же чудо исцелило меня так скоро, так неожиданно? Малатеста! Малатеста! твой Джиованни любит! Постигаешь ли всю силу этого слова? Станешь ли после того еще спрашивать? Странная игра случая! Тот, кто в отечестве прекрасных женщин, под сладострастным небом Италии, там, где все располагает к неге, воспламеняет воображение и вливает в сердце желания, считал себя неспособным любить, тот должен был удалиться на север, где красота — явление редкое, в страну спокойствия, рассудительности, холода, чтоб испытать все могущество любви! И в ином, совершенно ином виде узнал я эту любовь, как предполагал и страшился: нет! Она не погубит меня (как мог я написать такую хулу святотатственную?); она преобразила меня, сотворила из меня иного, лучшего человека! Только с того мгновения, как заронилась она в сердце мое, могу назвать жизнь свою жизнью, с того только мгновения бодрствую и вижу день светлый и отрадный. Ах! все мое минувшее — ночь тяжелая, ненастная, дикое, бессмысленное сновидение! Но, благодарю всех святых,— ночь растаяла от лучей жизнедатного солнца, чистое дуновение утра свеяло сон безобразный! Не стану тебе описывать той, кого люблю; посылаю тебе ее портрет: это тень с ангельского образа, призрак всего небесного, невыразимого, высокого и вместе младенческого, что слито в лице ее. Ты видишь, я не ревнив: делюсь с тобой хоть частию своих наслаждений и, клянусь, желал бы ими поделиться и вполне со всею вселенною; всю вселенную я желал бы видеть у ног ее!

Бедный Малатеста! ты должен довольствоваться грубым списком с оболочки того, чего никакие усилия искусства не выразят!

Я упомянул о ревности: но может ли существовать ревность там, где нет желания? Может ли тот завидовать, кто вкушает блаженство совершенное? Не пугайся же, мой Филиппо, когда назову ту «che sola me par donna...» *. На коленях прошу прощения у Петрарки, что некогда издевался над ним за то, что он был в состоянии любить или, как говорил я тогда, хотел уверить других, будто любит женщину, отдавшую руку другому... «Он любил, говаривал я, видел свою Лауру в объятиях другого и не пронзил его тысячью ударами!» Безумец, как худо понимал я любовь и *что* осмелился называть ее священным именем! Вот и я же люблю, и та, которую люблю, никогда не будет моею... Но ужели она не моя, когда никто так, как я, не постигает ее превосходства? Кто вырвет из моей души этот образ — вечно юный, не подверженный никаким изменениям времени? Люблю в ней идеал красоты, который она для меня в себе осуществила, которого я долго искал, который носился в тумане перед моим взором. Распустился туман: на один миг выступил из него идеал мой, на один миг сошел на землю из своей надзвездной родины; я его узнал, и навеки поселился он в моем сердце; его и самая смерть не исторгнет из этого сердца; им одним оно преисполнено, оно все его. Какая мне нужда, что ангел, который явился мне, назвался невестой Пронского? Или невесту Пронского любит Джиованни? Не Джиованни ли всегда питал неодолимое отвращение ко всему ничтожному? Невеста или жена Пронского через год, через два уже не будет тем, что она теперь; опадет ее молодость, проза жизни зальет пламень поэзии, который ныне сияет в ее взорах; рано ли, поздно ли, она будет обыкновенной женщиной. Но *моя* владычица всегда одна и та же; сберегу ее в святилище души моей. Не бойся же за друга своего: клянусь, если б и сама она отдала мне руку свою и отец и жених сказали мне: «Она твоя»,— я и тогда бы ее не взял: в моих огненных объятиях Юнона стала бы облаком и растаяла бы. Так! ныне все бытие мое любовь; но и ныне считаю себя неспособным к тому, что *вы* называете любовью: я и в любви не перестаю быть художником, жрецом красоты вечной.

* Которая кажется мне единственной в мире женщиной... (*ит.*) — *Ред.*

ПИСЬМО 8

Фра Паоло к Филиппо Малатеста

Рончинглионе. В сентябре.

Рикардо, слуга твой, вручил мне письмо твое и письмо к тебе нашего Джиованни: сегодня Рикардо хочет воротиться в виллу Боргезе; тороплюсь отвечать тебе. Ты радуешься, сын мой, перемене в расположении души Колонны и благословляешь любовь, будто бы исцелившую его от необузданной страсти славолюбия, с которою вотще боролась дружба наша. Желал бы я согласиться с тобою, но не могу. Он по-прежнему и не думает умерять свои чувства; он предается им со всею своею прежнею необузданностию: предмет только другой; они те же — столь же горды, пламенны, слепы, как были.

Ныне он еще себя обманывает, ныне еще силится уверить себя, что новая страсть его чужда земных желаний. Да долго ли продлится это очарование? В жилах его течет кипящая кровь Италии. В течение восьмидесятилетней жизни однажды только случилось мне встретить юношу, любившего без надежды и почти без примеси чувственности. Но тот был тедеск, сын строгих родителей, воспитанный в страхе божием, с самого детства привыкший сражаться с своими страстями. Он укреплял душу свою примерным благочестием и в беспрерывных трудах старался находить своим скорбям утешение. Но видишь: страдал же и он! Нередко он приходил поверять мне свои мучения: тогда слезы текли по бледным щекам его, отрадою ему была одна мысль о другой, лучшей жизни, куда просилось его больное сердце. Он умер на моих руках в цвете лет своих. По крайней мере безнадежная любовь не вовлекла же его в преступление; чист был огонь, горевший в душе его, и без угрызений совести, под щитом веры перешел он из юдоли плача в обитель радости. Таков ли Колонна? Правда, и он благоговеет перед святым учением церкви и гнушается лжеумствованиями нечестия; но когда же призвал это учение на помощь противу бури страстей? «Вера без дел мертва»,— говорит св. Писание[46]. Колонна с редкою решительностию характера мог бы быть героем добродетели; но он этой решительности никогда не употребляет на борьбу с самим собою. Он в высшей степени художник; телесная красота предмет его искусства; самый

идеал, которого ищет, о котором столько с нами рассуждает, не представляется ли ему облеченный в покров телесный? И ты надеешься, чтобы любовь юноши пламенного, необузданного, итальянца, художника осталась всегда духовною? А отзыв его о Петрарке ужели не испугал тебя?

Он, конечно, теперь раскаивается в этом отзыве; но, если он уже тогда говорил так, когда еще не любил,— что же будет, как скоро спадет завеса с его глаз, как скоро снимется первый обманчивый покров со страсти, которая прокралась в его грудь под личиною чувства благородного, высокого, неземного, но наконец обнаружит же свое очень земное происхождение? Трепет объемлет меня при мысли, чем может сделаться Колонна, когда страсть, овладевшая им, взлелеянная раскаленною фантазиею, беспрестанно питаемая его занятиями, кровью, мечтаниями, страсть — тиран сердца, привыкшего быть рабом своих хотений,— превратится в совершенное неистовство. Гордость, ревность, скорбь, отчаяние — увы! сын мой возлюбленный! дай бог, чтобы предсказания мои не сбылись; но теперь, теперь начинаю опасаться: не заслужит ли Колонна и впрямь страшное имя, данное ему дрезденским обманщиком! Ты знаешь, сколь мне дорог этот злополучный юноша; знаешь, чего я от него надеялся, что обещал умиравшему отцу его... Употреблю все средства, данные мне Провидением, чтоб спасти его; но — не скрою от тебя — слаба надежда моя на успех. По крайней мере если бы я был с ним, если бы он слышал слова мои, видел мои слезы... Но он далеко за горами: между нами целые царства, а воля моих начальников и обязанности, возложенные на меня Орденом, удерживают меня в Италии. Письма? что значат письма? Как ничтожны они в сравнении с живым словом человека, который любит нас, которого взор встречается с нашим взором, которого самый голос иногда более выразит, чем слова самые красноречивые! К тому же, быть может, письма мои уже тогда дойдут, когда все, все будет кончено. На днях возвращусь в Рим и тотчас извещу тебя о своем прибытии. Тогда на досуге побеседуем о нашем Джиованни, и, статься, Милосердый и благоволит нам открыть средства, как отвлечь от краю бездны его, готового в нее ринуться. Теперь остались мне покуда молитвы, подобные тем, какими Самуил молился о гибнувшем сыне Кисовом [47]. Да сохранят хоть тебя, любезный сын мой, силы небесные!

ПИСЬМО 9

Колонна к Филиппо Малатеста

Санкт-Петербург. В ноябре.

Несколько раз принимался я за перо, чтоб отвечать тебе на последнее твое послание, и несколько раз перо выпадало из рук моих; в груди моей странное смешение чувств: досада, признательность, стыд, гордость, раскаяние, негодование. Так и быть: пусть замолчат досада, и гордость, и негодование; вы меня худо понимаете, но любите и беспокоитесь о моем счастии и добродетели; бедный Джиованни в вас только нашел бескорыстную дружбу... Впрочем, это письмо к тебе одному: если не желаешь, чтоб я перервал всякую связь с тобою, не показывай того, что пишу, монаху; строгость его правил и предрассудки звания не позволят ему с настоящей точки смотреть на мои поступки. Как бы кто добр ни был, какое бы ни принимал участие в судьбе ближнего, во всяком из нас, грешных, самолюбие поневоле возбуждает ощущение почти приятное, когда узнаем, что сбылось зло, нами предвиденное, нами в таком случае предсказанное, если не последуют тем советам, которыми премудрость наша так щедро снабжает всех и каждого, не рассуждая: мы сами не забыли бы собственных правил наших при подобных обстоятельствах? Несчастный гибнет, потому что он — он, а не другой кто, а друзья его восклицают: «Не говорили ли мы, что все это точно так случится!» Это торжество ныне и я могу доставить вам, хотя и не вполне, потому что вы все-таки кое в чем ошиблись. Часть пророчества фра Паоло оправдалась на деле: мое очарование исчезло — я проснулся. Монах не солгал: не для нашего народа, а всего менее для меня та духовная любовь, к которой способны одни наши заальпийские соседи. Так! я люблю со всеми теми мучениями ревности и чувственности, какие только можете предполагать в италиянце, художнике, во мне. Судьбу свою знаю: страсть, сожигающая меня, положит конец моему безотрадному бытию, но никогда не заставит меня забыть правила чести. Буду ее жертвою, но ты никогда не будешь вправе отказать мне в своем уважении. Теперь знаешь, чего бояться, чего надеяться.

Остается только пересказать тебе, как произошла та роковая перемена, которой — ты видишь — от тебя не скрываю. Она обращалась со мною холодно: сначала

я приписывал это ее застенчивости; но напоследок не мог не заметить в глазах ее тайного ко мне отвращения, хотя она и силилась, особенно при женихе своем, быть со мною приветливою, даже ласковою. Вот первый шаг к моему разочарованию: ее несправедливость возмутила меня; невеста Пронского перестала быть для меня идеалом совершенства. Ты легко поймешь, что должно было быть следствием этого: она стала для меня просто смертною; мой восторг потух, но вместо его возгорелся огонь менее чистый, менее бескорыстный, зато не в пример сильнейший. Долго, однако же, гордость не позволяла уступить ему: мне казалось унизительным вздыхать жалким, безнадежным Селадоном [48] у ног надменной красавицы. Реже и реже стал я ездить к ним в дом и отговаривался то тем, то другим, когда мне пенял за то Пронский; наконец объявил ему, что хочу воротиться в Италию. Он не стал меня растакивать, только просил побывать с ним на другой день у Горичевых. Приезжаем. Более недели я у них не был. Отец, мать и две младшие сестры, несмотря на то что у них были гости, в один голос вскрикнули: «Колонна!» — и обступили меня. Старик взял меня за руку и, сжимая ее с видом истинной приязни, стал меня спрашивать, зачем я их чуждаюсь, чем недоволен, почему не хочу, чтоб они считали меня своим. Не помню, что я отвечал; кажется, он ожидал другого ответа, потому что долго смотрел на меня, а потом сказал: «Вы не искренны». Между тем Пронский отвел свою невесту в сторону и начал с ней разговаривать с жаром. Она отвечала слезами; их разговор был похож на любовную ссору, да только не она, он одержал победу. Вдруг он подходит ко мне и уводит меня в другую комнату, где Надина ожидала нас. Я к этому не был приготовлен; подхожу к ней в смущении; она встала, закраснелась, взглянула на меня взором, в котором прочел я прелестное сияние стыдливости, сожаления и — самоотвержения, и пролепетала дрожащим голосом: «Я перед вами виновата; я с вами обходилась не так, как должно было с другом моего Юрия, с тем, кто необходим для его счастья!» Я молчал и не смел встретиться с ее глазами. «Как она его любит!» — вот то, что всего яснее представлялось мне в хаосе дум и чувств моих — смутных, сладостных, горьких.

С той поры я бываю у них каждый день: она старается прочесть в моих взорах мои желания, предупреждает их, устраняет все, что могло бы мне нанесть малей-

шее огорчение. Боже мой! и это все для Пронского! потому что Пронский этого требует! Малатеста! голова моя кружится... о! если бы она меня так любила! Он? Постигает ли он всю меру своего счастия? Он хладнокровно ожидает окончания каких-то дел, чтоб обладать тою, при которой забываю самого себя и всю вселенную; разлучается с ней на целые дни, знает, что я посещаю ее без него, и — благодарит меня. Не понимаю этих ходячих льдин севера! Но как бы то ни было, не употреблю во зло его доверенности: еще раз, ты никогда не будешь вправе отказать мне в своем уважении.

P. S. Я хотел запечатать это письмо, как вошел ко мне Пронский и объявил, что едет в Малороссию к своей больной матери. Не вовсе я еще лишился ума: еду с ним; один здесь не останусь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПИСЬМО 10

Колонна к Филиппо Малатеста

(Отрывок черновой, найденный в бумагах Колонны, без обозначения числа, когда писан)

...в последнем твоем письме, которое мне переслали сюда из Петербурга, ты меня расспрашиваешь о русских, об их языке, нравах, обычаях и, между прочим, говоришь: «Уверен, что ты не воротишься из этой примечательной земли, подобно бо́льшей части французов и наших соотечественников, путешествующих словно во сне и потом пересказывающих не то, что в самом деле видели, что точно существует, а только что им привиделось». Понимаю цель твоих вопросов и понял бы ее, хотя бы ты о ней и не проговорился довольно ясно в двух или трех местах твоего статистического, филологического, глубокомысленного послания, которое — буде сказано между нами — более похоже на программу ученых задач какой-нибудь академии, нежели на письмо художника к художнику, друга к другу, на письмо, какого бы Джиованни мог ожидать от своего Филиппо. Но еще раз: понимаю цель этих вопросов! — отвлечь ты желаешь мое внимание от предмета, которым оно исключительно занято, который — по твоему мнению — погло-

щает все мои чувства, мысли, силы, способности. Ты согласишься, что тут не без хитрости; а где хитрость, тут уже рушилось равенство, главнейшее, необходимое условие истинной дружбы: отношения уже не те; кто надеется перехитрить своего друга, кто надеется дать его уму и желаниям незаметным образом иное направление, тот считает себя умнее его, перестает быть товарищем, участником всех его скорбей и радостей и берет на себя должность его опекуна и воспитателя. Это, Малатеста, мимоходом, единственно для того, чтобы доказать тебе, что если я и обезумел, зато вполне обладаю тою проницательностью, какую подчас встречаешь у сумасшедших, которые довольно тонко и с довольно большим присутствием духа отгадывают и нередко даже умеют совершенно уничтожить премудрые намерения своих благоразумных и благомыслящих надзирателей. Впрочем, не полагай, любезный мой Филиппо, чтоб я рассердился на тебя; напротив, я очень тебе благодарен за твое нежное обо мне попечение: надобно же быть благодарным, когда видишь, что желают тебе добра, а сердиться — не так ли? — во всяком случае, глупо. Итак, чтоб оправдать хоть несколько все то, чего ты ожидаешь от своего бедного Джиованни, чтоб не совсем посрамить лестное мнение, какое имеешь о моем наблюдательном уме, дарованиях и пр., и пр., и, наконец, чтоб убедить тебя, что я точно не сержусь и всегда буду вменять себе в обязанность по мере сил своих исполнять все, что бы ни вздумалось тебе возлагать на меня... Не знаю, дорогой мой Филиппо, как бы покруглее и поплавнее покончить этот период, который, если бы только был доведен до точки, надеюсь, не испортил бы никакого письма в любом письмовнике. На досуге подумаю об этом; а теперь читай далее: следует эпистолия, начиненная замечаниями всякими: географическими, историческими, эстетическими, физическими и метафизическими,— олла-потрида [49] предметов самых занимательных и разнородных; она, верно, придется тебе по вкусу, тем более что в ней ни слова ни о Джиованни, ни о скучной любви его.

Прекрасная выдумка — сравнения: они, собственно, ни к чему не ведут, ничего не доказывают, а между тем где же блеснуть остроумием, как не в сравнениях? Итак, нас, италиянцев, и вообще жителей стран полуденных на сей раз сравню с летом: тот же зной, те же грозы и в этом времени года, и в душах наших; хотя между нами и довольно наберется людей холодных и спокойных, но

их можно уподобить прохладе и тишине после гроз и зною в летние ночи; того же, кто скажет, что тишина и прохлада летних ночей несколько приятнее холода и спокойствия флегматиков,— не удостою ответа. Немцев не грех сравнить с осенью — не по плодородию их умственных сил (они ими не превосходят других), но по туманам, которыми изобилуют и дни осенние, и немецкие головы. Русских же можно назвать ясною, светлою зимою: между ними наш брат, выходец из Италии, немного и зябнет; зато, спасибо, у них не встречаешь той неопределенности, неясности, мглы, какою бываешь окружен в Германии. В Венеции я выучился языку словаков: русские с словаками одного племени, вот почему понимаю довольно хорошо язык русский и даже начинаю читать русские книги. Их словесность вообще бедна; поэзия, впрочем, несколько богаче других отраслей. О простонародных их песнях, особенно о песнях малороссиян, которые говорят особенным наречием, предоставляю себе говорить в другой раз; теперь только скажу, что между ними есть истинно прекрасные; голоса многих, преимущественно заунывных, очень приятны. Русские дворяне — европейцы, т. е. и они на лицах своих носят печать того скучного однообразия, которую видим на лицах высших сословий во всех землях нашей части света с исключением Турции и, быть может, нашей Италии. Мало еще знаю простой народ, но я намерен узнать его покороче.

Хотелось бы мне продолжать в таком духе письмо свое и в самом деле поделиться с тобою запасом сведений, какие успел я собрать о России: но, Филиппо, нет моей мочи — писать к тебе, как пишу теперь. Не лучше ли вместо обещанной длинной эпистолии, в которой ничего не будет нового, прислать тебе выдержку из любого путешествия по России, да и вперед заменять такими выдержками письма мои? Если тебе это не противно, только объяви — и будешь получать с каждою почтою по отрывку из любопытного творения какого-нибудь умного француза или глубокомысленного немца: от них узнаешь столько же, сколько от меня, и столько же справедливого, потому что, правду сказать, я, вопреки твоему лестному отзыву, в России знаю только Пронского и семейство той, о которой запрещаю себе говорить с тобою.

ПИСЬМО 11

Колонна к Филиппо Малатеста

(Такой же отрывок, как предыдущий)

Благодарю, что, несмотря на мое последнее письмо, желаешь остаться моим другом; благодарю за все, что говоришь мне в своем ответе, особенно, что твердо хочешь верить моей чести. Так, Филиппо! честь не пустой звук без всякого значения: в наш положительный [50] век энтузиазм потух; чисто нравственные пружины ослабли; софисты проповедуют одну пользу [51], одна польза — кричат они — должна руководствовать нами, быть мерилом всех наших дел и поступков — и что же? Вот среди общего разрушения, как будто одна среди развалин прекрасная колонна, стоит божественный предрассудок — *Честь!* Не пугайся слова *предрассудок*; всякое верование без доказательств есть предрассудок, потому что *предшествует рассуждениям*, потому что поражает нас очевидностью, не дожидаясь доводов и разбору критики. Беда, когда заповеди начнут уступать место доводам: тогда сердца отцвели; теплую, животворную веру никогда не заменят холодным, мертвым убеждением ума: не ум творит героев и мучеников. Итак, слава богу, что честь по сю пору еще предрассудок! Пусть же хоть она над нами властвует, сильное, безусловное, безотчетное чувство: в ней почти одной нашло теперь приют бескорыстное начало, без которого человек — умствующий зверь, а не дух, только временно связанный с плотию. Благодарю еще раз, что веришь моей чести: и я сын своего века; я не лучше, однако же и не хуже большей части из вас; честь свята вам — она будет свята и мне...

ПИСЬМО 12

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Село Прелёво. В декабре.

Если кто провел несколько лет в полуденных краях, где не знают ни снегу, ни морозов, тому при возвращении в наше ледяное отечество непременно должно прожить хоть первую зиму в Москве или Петербурге. В столичных гостиных, так же как в Италии, зимы не заме-

чают. Для светских людей все навыворот: ночь стала днем, зима лучшим временем года. Но люди светские чуть ли не правы: и для меня после Булгарии, Адрианополя, Италии, конечно, было бы приятнее переждать стужу то в ложе Михайловского театра, то где-нибудь на балу с моей Надинькой, то с тобою в радушном кругу твоих сослуживцев, чем в нашей милой Малороссии, которая вовсе не рай земной, особенно «в последних числах декабря» [52]. Здесь у меня перед окнами тянется необозримая снеговая степь; в так называемом саду торчат сухие остовы черешен и яблонь; суметы [53] в полдерево; вороны каркают по кровлям; по полю пляшет вьюга.

Наших соседей не стану описывать: кому, порядочному человеку, не надоели в наших романах и повестях до невозможности однообразные, бесконечные изображения уездных бар, барынь, барышень? Наши не лучше и не хуже тех, которых знаешь по этим красноречивым изделиям русской книжной промышленности. Со стороны Колонны, право, было великодушно, что он решился в нынешнюю пору года сопутствовать мне в деревню. Матушке, слава богу, лучше: она мне очень обрадовалась, и эта радость подействовала благотворно на ее здоровие. Я почти никуда не выезжаю и провожу время с своей старушкой и Джиованни, который теперь что-то пристрастился к музыке. Он иногда два-три часа и более забывается за нашим роялем. Как хорошо, что Провидение дало Колонне хоть это средство высказать свою душу! Малороссияне, особенно простолюдимы, любят и понимают музыку: вот почему мой приятель своими заунывными фантазиями успел привлечь к себе сердца всей нашей дворни, особенно женщин и девушек. Когда начинает играть, у матушкиной горничной выпадает из рук шитье; она встает и на цыпочках подходит к дверям; наш fac-totum [54] роняет счеты, с которыми шел было к барыне; густые его брови спускаются еще ниже; да, верь или не верь, а случается, что слезинка капает на его седые усы; самая даже Настя (я рассказывал тебе про эту бедную девку, что сошла с ума, когда ее коханого сослали в Сибирь за убийство), самая Настя в это время будто что-то вспоминает, подкрадывается в зал к гостю, садится на пол позади его стула и грозит пальцем всякому, кто бы ни вошел: вот и она же боится, чтоб ему не помешали.

Один только мой Карпов недоступен для чар нового Орфея; зато дивчины и паробоки и прозвали его в на-

смешку: «мякий москаль», т. е. нежный, чувствительный русак; а если он, когда Колонна играет, чуть чем брякни,— беда! — ему и просто скажут: «Эх, який ослоп!» За эту полицию, которую сами они завели в прихожей, я им очень благодарен, потому что раздражительность и пылкость моего приятеля мне довольно известны. Однако одна из самых ревностных его почитательниц, а именно Настя, чуть было нам не наделала гораздо больших хлопот. Третьего дня Колонна взял себе в тему requiem Моцарта и, опираясь на вещих звуках этого, по-моему, самого глубокого изо всех созданий величайшего из композитёров, в своих варияциях то пламенною молитвою возлетал на небо, то нырял в бездну гробового мрака, холодную, страшную, безответную; то в унылых, тихих напевах тужил о прекрасной жизни, которую, казалось, покидает, которая было ему так много сулила и сдержала так мало. Он был истинным чародеем. Матушка тихонько велела перенесть себя на креслах в зал, слушала и — плакала. Люди стояли в дверях как вкопанные. Я не сводил глаз с Колонны: его чело было вдохновенно; взоры то вперялись в потолок, как будто ищут радужного селения праведных, то с ужасом устремлялись на клавиши (там под руками своими он, сдавалось, видит отверстую могилу), то обращались над роялем к портрету Надиньки его же работы: в ее-то ангельских чертах олицетворялась для него жизнь, и в cantabile фантазии слышалось унылое, умоляющее: «Не улетай! помедли хоть мгновение!» Вот он перестал играть; минуты с две сидел он неподвижный: я ими воспользовался и махнул рукою людям, чтобы вышли. Потом он медленно встал, повел рукою по лбу, будто пробуждается ото сна, и хотел что-то сказать матушке. Вдруг Настя вскочила, схватила его за руку, поцеловала ее и шепнула, что и она хочет пропеть ему песню. У ней в самом деле необработанный, но прекрасный голос. Мы спросили Джиованни: желает ли ее послушать? Он попросил, чтоб ей позволили.

Она запела:

1

По полям ли я ходила,
У ручья ль сидела я,
Белой ручкой я манила,
Призывала соловья.

2

Соловью я говорила:
«Соловей мой, соловей!
Ветру выскажи кручину,
Боль, тоску души моей!»

3

Ветер, ты метешь равнину,
Пыль метешь с горы крутой:
Замети мою кручину
В край далекий и глухой!

4

Не черешни, и не вишни,
И не груши там растут:
Там растет и медь, и злато,
Там копают и куют.

5

Там и он, сокол мой ясный:
В клетке мой сокол сидит,
А кафтан на нем-то красный,
А на ножках цепь бренчит.

6

Долго я ждала певичку,
Ту певичку — соловья...
Приманила же я птичку:
Вот послушалась меня!

7

Ай, спасибо, соловейко!
Прилетел, да и в мороз:
Душу, светик, обогрей-ка
И возьми от наших слез;

8

Понеси их ты в гостинец,
В память другу моему;
Ведь шепнул же мне мизинец:
Улететь тебе к нему!

Колонна хотел, чтоб я ему перевел песню. Это сделать было нелегко: ты видишь, вся она какой-то дикий бред, в котором чувство и мысль вдруг принимают призрачный образ, как будто в сновидении, и в котором смысла не более, чем в сновидении. Кое-как я, однако, успел растолковать ему, что она хочет сказать, да и прибавил, смеючись: «Умна же наша Настя! посылает тебя к Нерчинским рудникам на край света! Если бы ты был хоть пейзажистом... там, говорят, бесподобные виды... а то что тебе делать в Сибири?» Колонна угрюмо спросил: «Amorato * ее разве был пейзажистом?» — вышел и заперся на целый день. Люблю Колонну, а, откровенно признаюсь, часто не понимаю: он человек светский, просвещенный, не вольнодумец, но иногда рассуждает о злоупотреблениях своей церкви так, как бы, кажется, строгому католику не следовало, хвалит многое и в нашей, и даже в протестантской, вооружается противу притязаний пап и пр. Между тем Карпов уверяет, что Колонна носит власяницу; а я сам, *сам*, собственными глазами как-то однажды видел у него плетку с иглами, точь-в-точь такую, какою себя бичуют их иноки. И он точно бичует себя: да! он бичевал себя в ночь после Настиной песни; на полу перед его распятием нашли капли крови.

Много говорят о сплине англичан; ей-богу, пылкий сын полудня, католик, втрое несчастнее англичанина,

* Возлюбленный (*ит.*).— *Ред.*

когда им, италиянцем или испанцем, овладевает хандра! Англичанин скорее решится на самоубийство; да это что доказывает? эти островитяне нередко бросаются в Темзу так, просто от скуки, от пресыщения; сверх того, между ними гораздо более зараженных безверием. Но те впадают в меланхолию от истинных, нешуточных ударов судьбы: от природы они не склонны к задумчивости. Страдать же будут они более всякого северного европейца, потому что и живее чувствуют, и рассудок у них слабее. Простолюдим, римлянин или неаполитанец, в таком случае схватит нож разбойника; земляк его, граф или князь, адвокат, ученик Филанджиери, светский аббат,— пристанут к какому-нибудь заговору; только глубоко религиозный энтузиаст, такой, каких во всех землях мало, наденет на себя рясу картезианца и станет приучать язык свой произносить одно страшное, монотонное: memento mori *. Но и этому, если он итальянец, нужно что-то извне, но и он не захочет жить сам-друг с своею грустью: в эпитимьях, в положенном числе механически затверженных молитв и земных поклонов, в всенощных бдениях, в самом копании своей могилы он будет искать себе занятия и развлечения. Всем им движение, деятельность, внешний мир необходимы, чтобы перекричать боль внутреннюю: иначе она б была для них невыносима. Знаменитое il dolce far niente ** возможно не для страдальца, сына Италии. Иное дело немцы или наши стихотворцы на стать тех, что еще недавно были у нас в такой моде. Их, сердечных, хлебом не корми, а дай им в сытость наплакаться о своей отцветшей молодости, о своем разочаровании и пр. Джиованни не таков: настоящей вины его тяжелого уныния я по сию пору не мог дознаться; но тут должны участвовать и суеверие, и обманутое честолюбие, и бедствия его отечества, которое обожает, хотя подчас и кроваво над ним издевается,— всего же более, кажется, безнадежная любовь к женщине, которая не хочет принадлежать ему. Деятельность, деятельность — вот лучшее лекарство для моего бедного друга: он недаром итальянец. Жаль, право, что у вас нет под рукою какой-нибудь войны: я бы тогда присоветовал ему вступить в твой экскадрон и уверен, что ты в нем приобрел бы отличного товарища. Прощай, Владимир! Mille et mille choses à Надинька! ***

* Помни о смерти (*лат.*).— *Ред.*
** Сладостное безделье (*ит.*).— *Ред.*
*** Тысяча и тысяча приветов Надиньке! (*фр.*) — *Ред.*

ПЕРВАЯ ВЫПИСКА
ИЗ ДНЕВНИКА ДЖИОВАННИ КОЛОННЫ

10 декабря. Писать к ним? да о чем стану писать *к ним?* Они меня любят, конечно, по-своему, т. е. учат, и мучат, и силятся излечить от болезни неисцелимой, но все же любят... Мне ли не платить за любовь признательностию? Я ведь так мало в жизни встречал искреннего участия! А между тем писать к ним — и не воздержусь от сарказмов... Я заклятый враг всякого деспотизма, а паче деспотизма дружбы: не знаю ничего ненавистнее умничанья самозванцев-опекунов, которые под предлогом человеколюбия хотят отнять у человека драгоценнейшую принадлежность человека — свободу его воли. Читал я где-то про гордеца, пожелавшего владеть на мгновение перуном, чтоб разразить беззаконников... И вот он на облаке был восхищен на небо и среди туч узрел мужа, одеянного в свет белизны необычайной, и сияние зрака того мужа было невыносимо для очей смертного, и был перун в его поднятой деснице. Когда же безумный простер руку к перуну, сам он, весь опаленный, был стремглав сброшен с неба в бездну ночи вечной. В моих глазах еще преступнее богохульная самонадеятельность тех, которые на счет других, хоть бы любимцев своих, думают разыгрывать роль святого божия Промысла или, лучше сказать, языческого рока таинственного, непостижимого, неизбежного, лишающего свои жертвы всякого достоинства, потому что превращает их просто в марионеток. А фра Паоло, а Малатеста ужели не сбиваются никогда на этих непрошеных помощников Провидения? Ужели они никогда не бывают похожи на ту *добродетельную* женщину, которая спасала душу своего мужа противу воли его, даже без его ведома, потчевая его по середам, пятницам и субботам самыми лакомыми блюдами, только все постными? Бог премудрый, преблагий и вдобавок всемогущий тут гораздо более оказывает уважения к своему благородному и свободному созданию; он устами заповедей и совести просто говорит человеку: «Перед тобою два пути: один ведет к свету, ко спасению, другой — к темноте и гибели; выбирай!» Неаполитанский князь Б..., которого вовсе не знаю, которого я никогда и в глаза не видал, вдруг почувствовал ко мне незапное, необычайно нежное участие, в очень учтивом письме предлагает мне вступить в службу его сицилийского величества и, очертя

голову, отправиться курьером в Вену с очень нужными депешами. Как хотите, а это дело монаха или питомца его — премудрого Филиппо! По крайней мере *мне* так кажется, а это *мне так кажется*, которого не подкреплю доводами, но которое во мне равносильно совершенному убеждению, непременно отзовется в письмах моих и непременно когда-нибудь несчастное перо мое напитает желчью. Они меня любят, а рано ли, поздно ли я кроваво уязвлю их самолюбие и в раны те пролью горечь и яд своего озлобленного сердца! Нет! лучше не писать к ним!

---

20 декабря. Предчувствия, предзнаменования, сны вещие нисколько не предостережения. По словам одного из поэтов севера:

Неизбежное приидет
И грозящее сразит... [55]

Итак: к чему они, эти предзнаменования, предчувствия, сны вещие? Себялюбивый, бессмысленный вопрос былинки, едва одаренной существованием, а между тем во всех членах и жилах с головы до ног проникнутой гордостию гигантскою! Баснословный Атлас поддерживал свод неба; пигмей человек превосходит и Атласа притязаниями, он говорит: «Небо и земля, весь мир создан для меня одного!» Ей-богу, тут есть с чего расхохотаться духам бессмертным, если бы только бессмертные духи были способны хохотать над безумием червя! В мире вещественном, в мире пространства и размеров о необходимом следствии причины естественной, об явлении, неразлучном с каким-нибудь действием, ужели кто спросит: к чему они? Бодро путник шагает по дороге, им избранной; позади светит вечернее солнце, и собственная тень предшествует путнику; люди стоят и смотрят или же и сами идут ему навстречу; все они видят тень огромную, фантастическую, предтечу, предвозвестницу того, кто близится, а между тем никому и в голову не приходит суетная мысль, будто тень — предостережение; еще менее кто скажет: «Если тень не предостережение, так к чему она?» В этом безотчетном равнодушии, право, более мудрости, нежели в дерзкой пытливости того, кто спрашивает: «Если

Неизбежное приидет
И грозящее сразит,

к чему предзнаменования?» Предзнаменования — просто тени мира духовного: они отбрасываются в поле, в

дорогу времени событиями, из века предопределенными, а потому и неизбежными.

---

21 декабря. Лютеране считают нас суеверами за то, что мы обязаны беспрекословно и слепо верить всем преданиям и чудесам, какие нам рассказывают св. отцы и учителя церкви... А я осмелюсь сказать спесивым последователям виттенбергского расстриги [56], что настоящие суеверы — они. Прямое отечество всех смутных, неопределенных боязней и страшил таинственных, неосязаемых, именно то вечно мрачное, вечно туманное королевство, которое для них и поныне осталось тем, чем некогда для нас была Испания: Швеция — центр их православия, почти столь же инквизиционного и неодолимого, хотя и гораздо менее логического, сколь когда-то был жесток и неумолим католицизм запиренейского полуострова. В Швеции родился Сведенборг, феномен необычайно странный: вельможа утонченной светскости, глубокий ученый, проницательный математик, счастливый естествоиспытатель, муж государственный, человек честный, добродетельный, даже философ, и что же? духовидец! без сомнения — сумасшедший, но перенесший в мир своих бредней холодную последовательность строгой методы, ясную диалектику здравого рассудка... Наш фигляр Кальёстро не мог проникнуть в Швецию: для него, паписта, это святилище протестантства было обведено оградою неприступною; но, если бы Кальёстро решился на отступничество, уверен, что в Швеции он нашел бы еще гораздо более адептов-олухов, нежели в обеих Саксониях, Пруссии, Курляндии, землях того же исповедания, но более полуденных. Швеция до XI века была кровожадною хранительницею безобразного, дикого, свирепого многобожия Одинова, а тогда остальная Европа давно уже искупилась благодатию креста из-под ярма языческого. В Швеции еще в прошлом столетии королева Ульрика имела какие-то страшные видения; в Швеции масонские мистические ложи и поныне еще входят в состав государственного управления, между тем как это обветшалое учреждение в других странах просвещенного мира давно уже стало посмешищем людей мыслящих; в Швеции до сих пор, и в высших слоях общества, есть чудаки, которые полагают, что колдуны и кудесники не просто обманщики и безумные.

И русские — народ северный, но они все же отрасль славянского, т. е. полуденного племени. К тому же вера их не беднее нашей великолепием, обрядами, таинствами, чудесами: человеку в душу вложена потребность веровать; счастлив, если в религии своей находит пищу этой потребности. Буде же религия представляет ему одни отвлеченности и умствования, он непременно вдастся в суеверие. И по религии, и по нраву, и по темпераменту сангвистическому русские гораздо более похожи на народы романские, нежели на соседей своих — финнов, скандинавов, тедесков. Русская *чернь*, может быть, и суевернее простолюдимов шведов и немцев (чему причиною всеобщая почти безграмотность русских крестьян); но нет сомнения, что *вообще* русские гораздо менее склонны к мутному, беспредметному мечтанию, нежели соседи их тевтонского происхождения. Русские окружены природою безотрадною, неумолимою, грозною; вот почему иногда испуганное воображение поневоле увлекает их в пространства безрубежные, нерассветные, в хаос, уму не доступный, отечество страшилищ и призраков; но очень редко русский предается этому влечению con amore *, с наслаждением, с сладострастием, столь обыкновенным даже между лифляндцами, не столько уже обрусевшими. Конечно, есть в русской литературе отголоски этой наклонности; но найдутся эти отголоски и в созданиях французских и даже наших поэтов второй четверти XIX века: и здесь и там они более дело моды и подражания, нежели отзывы требований сердца. Отдаю справедливость русским; однако они все же жители стран полуночных, преемники гипербореев: их окружают сосновые леса, темные, дремучие, печальные дебри, степи необъятные, тяжелая мгла, унылое ненастие, а в продолжение шести, семи, в некоторых областях даже восьми и девяти месяцев на них дышит мороз жестокий; их взор блуждает по снеговым сугробам, им в лицо хлещет вьюга, их слуху напевает жалобную песнь ветер, исшлец из тундр, прибрежных ледовитому морю. Все это располагает к мечтам — к суеверию: на севере трудно, особенно зимою, совершенно избегнуть этого влияния...

И я от него не спасся: между тем как в сердце моем, обуреваемом страстями, слабеет голос веры отцов моих, воображение начинает наполняться какими-то облачными, огромными, дикими óбразами, в груди моей вос-

---

* С увлечением, охотно (*ит.*).— *Ред.*

стают голоса убийственных предчувствий и темных ужасов.

---

26 декабря. Настя воображает, что я непременно и скоро увижусь с ее amorato. С некоторого времени она стала необыкновенно прилежною и беспрестанно что-то шьет и кроит из лоскутьев, какие выпрашивает у горничных. «Для него! для него! — шепчет она.— Для бедного моего Пе́труша! Соловейко торопится: надобно шить и в праздники, не то улетит, не возьмет с собою Пе́трушу моих подарочков!» Все это я выведал от старой генеральшиной компаньонки, которой Джиорджино за пересказы строго и горячо выговаривал.

---

27 декабря. Теперь у русских святки [57]: все в доме и селе гадают, льют воск и олово, подслушивают у окошек, кормят петуха счетными зернами и пр. Гадают и про Джиорджино и его невесту... про нее, невесту Пронского! Есть минуты, в которые жалею, что в роще Эгерии я застрелил того разбойника... Слава богу, здесь не найдешь браво́, который бы...

---

28 декабря. Старушка-компаньонка лила олово самому Пронскому. Меня, разумеется, хотели уверить, что это одна шутка; но вылилось что-то очень похожее на гроб: мадам Перепелицына смешалась и побледнела, генеральша улыбнулась, однако задумалась и не скоро одолела невольное уныние. Один Джиорджино был необыкновенно весел, шутил, задирал девушек своей матери, переряжался, ребячился, как школьник, как дитя...

Странно только то, что ему (он почти вовсе не пьет) вздумалось распить со мною бутылку крепкого вина, и не за здоровие своей невесты, и что во весь вечер видимо избегал встретиться глазами с моими глазами. На прощание он пожал мне руку крепче обыкновенного.

---

1 января поутру.

О! я провел мучительную ночь!
Видений страшных, снов зловещих столько,
Столь грозный ужас наполнял ее,
Что вновь подобную перетерпеть,
Как верный христианин, не решусь,
Хоть тем купил бы веки дней счастливых!

* * *

«Не бойтесь, государь,
Теней!» — «Святой мне Павел! Нынче ночью
Сразили тени ужасом мой дух,
Каким вовек не поразят его
В доспехах бранных, Ричмондом ничтожным
Ведомых тьма и тьма живых мужей!»

Замеч. издателя. Этими стихами оканчивается первый небольшой отрывок из дневника несчастного Колонны, отрывок, который вместе с другим позднейшим, еще меньшим, составляет все, что уцелело из бумаг италиянца. В подлиннике стихи писаны размером versi sciolti *: мы передали их белыми ямбическими. В какой они связи с отметками, которые предшествуют, решить не беремся. Быть может, это только перевод знаменитых стихов из 1-го и 5-го актов Шекспирова «Ричарда III»: «O! I have pass'd a miserable night» ** [58] и пр.

И: «Nay, my good lord, be not afraid of shadows» ***.

Быть может, в дневник они внесены просто на память. (Мы достоверно знаем, что Колонна занимался переводом Шекспира на язык италиянский)... Однако может быть и то, что тут намек на какой-нибудь страшный сон самого страдальца. Все это читатель сам решит по следующим ниже письмам особ, знавших его лично.

ПИСЬМО 13

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Село Прелёво. 7 января.

С месяц, друг Владимир, я к тебе не писал. Между тем наступил Новый год... Шепни ты мне сам: чего пожелать тебе к новому году! Придумать не могу, чего бы тебе недоставало: ты добр и благороден, умен и здоров, красавец, пользуешься общим уважением, служишь счастливо и хотя в богатстве несколько уступаешь братьям Ротшильдам, а в учености профессору Сенковскому,

---

* Белые стихи (*ит.*).— *Ред.*
** О! я провел ужасную ночь (*англ.*).— *Ред.*
*** Милорд, не бойтесь призраков (*англ.*).— *Ред.*

по крайней мере принадлежишь к тем счастливцам, которые ни в чем не нуждаются, к тем немногим русским молодым людям, которые схватили не одни верхи современной образованности. Разве пожелать тебе встретить на пути жизни такое же верное и чистое сердце, каково сердце нашей Надиньки? Но, Горич, Надинек на белом свете очень немного; тебя, брата ее, заклинаю: влюбись в девушку хоть несколько на нее похожую или же вовсе не влюбляйся! С сердечным, почти благоговейным трепетом я вижу, как приближается минута, которая соединит мою жизнь с ее жизнью, душу мою с ее душою... Матушка, слава богу, совершенно выздоровела: через неделю ворочусь в Петербург, только уж не один, а со своей милой, доброй старушкою; она пламенно желает увидеть и прижать к груди своей избранную моего сердца, и тогда... Боже мой! прилив блаженных ощущений давит, душит меня; в одном уже ожидании я болен от избытка счастия; что же будет, когда в самом деле обниму в ней *свою*, вечно свою, свою и здесь, и за пределами гроба! Сказать ли тебе, Владимир? иногда мне кажется, будто не доживу до этого мгновения или по крайней мере не переживу его! Всякий, кто ожидает от судьбы чего-нибудь великого, становится суевером. Близкое мое счастье так восхитительно, что невольные страхи вкрадываются мне в душу. Ты знаешь, мой Владимир, что я не трус: не раз я глядел смерти в глаза; но *теперь* умереть я боюсь, умереть теперь, когда мне в ее объятиях предуготовлено небо на земле!.. Верно, уж для того, чтоб заставить меня поплатиться за не заслуженное ничем блаженство, мысль о каком-то бедствии, мысль о гибели преследует меня. Борюсь с этими малодушными опасениями и надеюсь одолеть их, хотя они с некоторого времени и беспрестанно во мне возрождаются.

Всего более смущает меня, что и матушка что-то задумчива: и ее что-то тревожит! Мы таимся друг перед другом: при мне она разговорчива и весела; в одних только изъявлениях необычайной ко мне нежности обнаруживается что-то необыкновенное; она ныне как раз такая, какою была, когда снаряжала меня в поход в Турцию. Слов: вы, сударь, Юрий Львович, m-r de Pronsky, с акцентом на де,— от ней почти никогда уже не слышу. Я опять стал для ней Юринькой; нередко она по-тогдашнему схватывает меня за голову и целует в лоб и в глаза; она вот и теперь, как тогда, любит рыться в волосах моих, любит их переглаживать, любит трепать меня по ще-

ке. Матушка страстно любит французский язык: она знает его чуть ли не лучше русского; но теперь она со мною что-то все разговаривает по-русски и порою даже вмешивает в разговор чисто областные слова нашей родной Украйны. И откуда, братец, у ней, воспитанницы Смольного монастыря [59], берутся самые простонародные, самые задушевные выражения, такие, которые я слышал только в своем младенчестве и то от одной своей старой няни? При матушке я резов, шалун, ребенок: только в совершенном уединении, в своем тихом кабинете, перед портретом Надиньки, в долгие свои бессонницы, сижу иногда по целым часам молча, с трепетной молитвою в душе взволнованной...

Уж посмеемся же мы, милый друг, когда-нибудь с тобою вдвоем над этим глупым унынием, которому нет видимой причины! Ты сбереги, Володя, нынешнее письмо, пристыди им меня, когда в медовый наш месяц в третий или четвертый раз посетишь свою сестру и меня, счастливца, своего брата. Но до тех пор ни слова, всего менее ей, моей Надиньке! Целую тебя.

P. S. Приложенное здесь письмо ты сам лично свезешь к князю Б...; оно касается нашего Джиованни, в котором и ты принимаешь же участие, потому любишь меня и дорожишь всем, что мне дорого.

ПИСЬМО 14

Отставной гвардии ротмистр Пронский к князю Б..., полномощному посланнику его величества короля обеих Сицилий [60]

7 (19) января.

Светлейший князь,
Милостивый государь.

Спешу отвечать на письмо от 23 декабря (4 янв.), которым вашей светлости угодно было почтить меня. Вы, по-видимому, изволите принимать живое участие в молодом художнике, римском подданном, проживающем в моем доме, и подробно расспрашиваете об его поведении, занятиях, образе мыслей. Г-н Джиованни Колонна — артист [61] самых редких дарований и человек души прямо благородной. Не смею догадываться, по чьим внушениям ваша светлость входите в такие подробности в своих рас-

спросах о нем; желаю верить, что тому причиною одна природная наклонность ваша обращать внимание на все необыкновенное и прекрасное, а не вмешательство и наущения людей непрошеных и некстати услужливых. Предметом же подозрений и опасений каких бы то ни было г-н Колонна никоим образом и ни в каком случае быть не может. Далее ваша светлость, кажется, изволите полагать, что г-н Колонна у меня на жаловании в силу какого-нибудь изустного или даже письменного обязательства... Напротив: я считаю себя у него в долгу; согласясь не из каких-нибудь видов, а единственно по усиленной моей просьбе и приязни ко мне последовать за мною в Россию и жить со мною под одной кровлею, он тем оказал мне такую честь, за которую я никогда не буду в состоянии воздать ему достойно; а принять на жалованье гения, в котором легко, быть может, воскреснет для Италии Рафаэль Санцио,— не мне, простому русскому дворянину. Между тем считаю священным долгом благородного человека поручиться вашей светлости словом русского дворянина и верноподданного императора, государя моего, что г-н Колонна выехал из Италии не по политическим каким-нибудь причинам, в чем может удостоверить вас и правительство его святейшества, высокого союзника государей моего и вашего. После всего здесь сказанного излишним было бы распространиться о поведении, характере и правилах такого человека, каков г-н Колонна. Он совершенно предан своему искусству; для него одного он живет и дышит. На короткое только время отвлекли его от его любимых занятий новые впечатления в первые месяцы его бытности в России; но теперь его гений проснулся: он опять принялся за кисть и палитру. Я еще не видал картины, которую он пишет; но сужу по той, которая в прошлом году была украшением римской выставки, и ожидаю чего-нибудь превосходного. Считаю себя наперед счастливым, что в моем доме создастся творение, которым, вероятно, будет гордиться XIX столетие, столь поныне еще бедное картинами истинно гениальными; а вашу светлость, просвещенного любителя искусств, смею, как италиянца, наперед поздравить с тем, что вскоре прибавится новый прекрасный листок к лавровому венку, украшающему чело вашего отечества. С глубочайшим почтением и пр.

ПИСЬМО 15

Глафира Ивановна Перепелицына к титулярной советнице Лукерье Петровне Сковрода в Полтаву

Село Прелёво. 12 января.

Завтра, ma cousine, мы с генеральшей отправляемся в Петербург: Юрий Львович и Иван Иваныч Колонна уехали еще вчера. Свадьба Юрия Львовича с Надеждой Андреевной Горич решительно назначена в последнюю неделю мясоеда. Генеральша еще в Рождество писала к дворецкому, чтоб он велел очистить и непременно к тому времени убрал по приложенным рисункам сызнова bel étage в большом доме на Английской набережной. Рисунки самого Юрия Львовича: прелесть, ma chère! Я уверена, что и m-r Колонна не нарисовал бы лучше. Мебель велено заказать у Гамбса: рококо; это теперь опять очень в моде в Париже. Обои в спальне темно-зеленые, в уборной gris de lin *, в гостиной голубые, в кабинете ponceau **, в салоне и столовой бледно-фиолетовые с золотом; прихожую и швейцарскую выштукатурить под мрамор; окна везде цельные зеркальные; дерево употребить самое дорогое — не помню уж каких названий. Вся меблировка обойдется тысяч в 70, с прибавкою. Денег не велено жалеть и как можно более поторопиться. Одни только собственные покои генеральши останутся совершенно в том виде, в каком были при покойном Льве Петровиче; их никогда и не отдавали внаем, а запирали и берегли на случай приезда в город самой старухи или сына. Впрочем, молодые — идея довольно странная! — намерены тотчас после венца уехать на дачу: там они проживут до самого разгара масленицы. В четверг на масленой у них в городе большой бал, в субботу сделают все визиты, а в воскресенье — бал. Вот вам, ma bonne cousine, и новости!

Сердечно радуюсь переезду в Петербург: мне, право, надоела ваша Полтавская губерния, а пуще знаменитое село ее высокопревосходительства — Прелёво! Село

* Серовато-голубые (*фр.*).— *Ред.*
** Темно-красные (*фр.*).— *Ред.*

Прелёво — и зимою, куда, кажется, и ворон костей не заносит, потому что соседи почти вовсе перестали к нам ездить! Они как-то при Аграфене Яковлевне слишком связаны, им что-то слишком при нас неловко, хотя, впрочем, Пронская, сколько может, старается приноровиться к ним и быть с ними ласковою. К нам не ездят, а мы подавно. Если даже случится дело, отправляем к вашему мужу письмецо на имя губернатора — и оно во сто раз действительнее сотни личных свиданий, просьб и поклонов других искателей. Итак, и в Полтаву не для чего, тем более что сам губернатор у нас непременно два раза в год бывает, чтоб засвидетельствовать нам свое почтение... После того сиди себе с больною старушкой с утра до вечера, играй с нею в пикет, корми ее моську, перечитывай в сотый раз романы Вальтера Скотта и вечную «Федру» Расина, а для разнообразия, пожалуй, гадай хоть в карты или лей о святках олово... Куда как весело! A propos: мы и в самом деле нынче о святках лили олово, разумеется, для одной шутки. Я было и отговаривала Аграфену Яковлевну: «Судьба де Юрия Львовича известна, а нам, сударыня, вам на 65, мне на 54 году, уже не выйти же, кажется, замуж». Генеральша до упаду хохотала моей выдумке, да настояла на своем, и я должна была вылить олово Юрию Львовичу. Вы меня, ma cousine, знаете: я вовсе не суеверна, но скажу вам по секрету: ведь бедному Юрию Львовичу вышло... ах! ma chère, страшно и сказать что!.. Представьте: гроб, ну настоящий гроб, а вдобавок Адамова голова [62] и крест! Конечно, это все пустяки: да если (от чего боже упаси!) случится что-нибудь... Вообще, скажу вам, ma bonne Лукерья Петровна, мы что-то все смотрим не по-свадебному, а сумасшедшая Настюшка, которую знаете, городит такой вздор, что и разобрать трудно: «Свадьба,— говорит она,— свадьбушка на славу; будет тут и люминация. На свадьбу-то уж даром, взяли бы Настюшку с собой хоть на люминацию! студено Настюнке: погреться хочет!»

После отъезда Юрия Львовича я девок при себе заставила убирать и мести в комнате италиянца. Ах! Лукерья Петровна! какие я тут страсти нашла!.. Нажаловалась я вам на скуку прелёвскую, а, надеюсь, вы все не усомнитесь в беспредельной моей преданности добрейшей Аграфене Яковлевне и несравненному Юрию Львовичу, которого я просто обожаю.— Je l'adore, ma

chère! * Я ведь у них в доме выросла да и постареть успела; Юриньку я нянчила, и учила азбуке, и за уши-то дирала, а теперь бог привел его, моего голубчика, видеть мне молодцом и красавцем, словно брат мой (дай бог ему царствие небесное!) Степан Иванович; да Юринька теперь и жених, и невеста его, говорят, такой же, как он, ангел! Эта-то именно и преданность, собственно, и заставила меня писать к вам, Лукерья Петровна. Вы хотя меня и помоложе, да дела-то лучше моего знаете; к тому же и Матвей Матвеевич ваш, даром что только титулярный советник,— делец [63], скажу вам без лести, каких немного, секретарь — правая рука губернатора. Не знала я только, как начать: почему и написала вам предварительно много пустяков, много вовсе ненужного; а то, ma chère, что осталось мне вам досказать, по моему глупому разумению,— совсем не пустяки: ведь им, моим милым, право, угрожает опасность, и все от этого страшного италиянца, которого Юрий Львович (бог его ведает зачем!) с собою возит! Мы, изволите видеть, убирали в его комнате. Девки вытащили из-за печки несколько покрытых паутиной и слоем пыли свертков и лоскутов толстой александрийской бумаги. Гляжу: с полдюжины эскизов картины, которую писал или по кр⟨айней⟩ мере собирался у нас написать m-r Колонна. Никто ее в доме не видал: только с самого нового года он для этой картины запирался на 8 и более часов в сутки. Юрий Львович строго-настрого заказывал всем нам не мешать италиянцу, не прерывать, как говорил, вдохновения своего друга... Славное же, признаться, вдохновение! Да и друга-то Юрий Львович сыскал себе редкого! Полюбопытствовала я пересмотреть эти начерки, набросанные на бумагу карандашом и тушью. Что же, ma chère? Везде одно и то же с небольшими только переменами: Каин убивает Авеля; Каин, как две капли воды, сам m-r Колонна, а Авель, Авель, ma pauvre cousine **, Авель — кто бы вы подумали? — наш Пронский, наш добрый, милый, единственный Юрий! Сцена на горе: облака тумана поднимаются из пропасти и опоясывают гору; в этих облаках или, лучше сказать, вместо их — какие-то чудовищные хари. Из них одна как раз похожа на того серого человека, о котором при вас, помните, в Николин день вечером

* Я его обожаю, милая! *(фр.)* — *Ред.*
** Моя бедная кузина *(фр.)*.— *Ред.*

рассказывал Юрий и которого причудливый профиль * тут же на карточке начеркнул нам Колонна. Другая образина еще ужаснее: и сатану я не в силах вообразить себе страшнее и отвратительнее. Серый будто бы указывает ему на Каина; демон протягивает к братоубийце руку длинную, костлявую и, кажется, хочет стащить его с утеса. На одном лоскутке по другую сторону носится чуть-чуть видная фигура какого-то арфиста: арфист закрывает себе лицо рукою и, по-видимому, плачет. На другом эскизе видно что-то очень похожее на старого капуцина, а с ним призрак прекрасного юноши: оба они, сдается, хотят схватить Каина за поднятую уже с палицей руку. На третьем, между прочим, тень римского, кажется, полководца в лавровом венке, в латах, с жезлом консульским. Слова: somno orribil, somno di inferno ** — несколько раз написаны на полях, а на втором еще что-то, но зачеркнуто. Впрочем, потрудитесь с Матвеем Матвеевичем сами рассмотреть эти рисунки: я их при сем к вам препровождаю; и, если рассудите, что по ним можно заключить о каком-нибудь злодейском умысле италиянца насчет Пронского, пусть Матвей Матвеевич скажет о том губернатору, который, я уверена, доведет все до сведения правительства, а там уж примут надлежащие меры для спасения почтенного семейства

---

* *Замеч⟨ание⟩ издателя.* Читателям, которым любопытно узнать еще кое-что о загадочном сером человеке, мы предлагаем следующее известие и небольшую выписку из письма нашего друга la jeunesse к его приятелю Теодору. Начнем с выписки: «Noùvelle bonne à savoir! ⟨Приятная новость! (*фр.*)⟩. Ведь серый человечек, который три раза являлся Наполеону, а именно накануне взятия Аркольского моста, перед египетскими пирамидами и в самый день битвы при Ватерло [64], проживает здесь, в Дрездене. Говорят, он большой ворожея и предсказатель, точно наша мамзель Ленорман. Отправлюсь к нему спросить: женюсь ли я на девице Розе... Был я у этого проклятого жида; сам он ко мне не вышел, а выслал хозяина, сапожника, да вот еще с каким ответом, что-де я ветеран старой гвардии „der sehr grosser Narr“ ⟨большой дурак (*нем.*)⟩. Я с тобой с мерзавцем разделаюсь!» Действительно, la jeunesse выпросил у Пронского в зачет своего жалования три талера для ночного, как выразился, предприятия. Пронский, не предвидя тут ничего опасного, дал ему деньги. La jeunesse все три талера превратил в три бутылки рейнвейну и, выпив их для подкрепления сил душевных, отправился ночью в Фридрихштадт, чтобы поколотить Граумана, но, к своему крайнему изумлению и ужасу, он не только дома, где жил фигляр, но и улицы его найти не мог; пробродил всю ночь и на рассвете очнулся, дрожа от усталости и холода, перед гостиницей, где жил Пронский. Здесь он проспал весь день, а на другой с своим барином отправился в Россию: вот как Грауманн избавился от обещанных ему побоев.

** Сон страшный, сон адский *(ит.).— Ред.*

от предприятий того, кто недаром земляк всех тех мрачных злодеев, которые, ma chère, в нашей молодости нас так пугали в страшных романах г-жи Ратклиф. Прощайте, ma cousine, обнимаю вас и детей ваших; Матвею Матвеевичу мое искреннее почтение. Пишите ко мне, пожалуйста, поскорее, да особенно, что обо всем об этом скажет Матвей Матвеевич.

P. S. Не считаю нужным предварить вас, что генеральша ничего не знает о письме моем.

ПИСЬМО 16

Титулярный советник Сковрода к маиорской дочери Глафире Ивановне Перепелицыной

Полтава. 18 января.

Милостивая государыня
Глафира Ивановна!

Жена сообщила мне почтеннейшее письмо ваше от 12 января. Вы изволите изъявлять в нем лестное для меня мнение, что могу подать вам хороший совет в щекотливом деле, тут изложенном. Вот почему и принимаю смелость сам отвечать вам вместо Лукерьи Петровны, которая поручила мне сказать вам искреннее свое почтение и просить, чтобы вы ее на сей раз великодушно извинили: у нас, доложу вам, также затевается свадебка; крестница кузины вашей Пашенька Федерштрих, дочь короткого моего приятеля Густава Карловича, губернского стряпчего, выходит за молодого человека отличных качеств и хорошей фамилии, гарнизонной артиллерии поручика Перепалкина Афанасья Николаевича, того самого, который в последний ваш приезд в Полтаву во время ярмонки с вами у нас обедал и имел счастье заслужить ваше внимание. Мать невесты — покойница, а потому все хлопоты и пали на мою Лукерью Петровну, так что у ней, право, голова кружится: минуты нет свободного времени. Вдобавок Лукерья Петровна по преданности к вам слишком увлекается вашими опасениями, чтобы судить о них хладнокровно и беспристрастно. Эти опасения делают честь вашему и ее сердцу. Между тем, хотя я человек простой и без притязаний на обширный ум и глубокие сведения, хотя и в другом чем, вероятно, и не был бы в силах оспаривать даму столь проницатель-

ную и просвещенную, как вы, милостивая государыня, однако же в настоящем случае надеюсь убедить вас в несправедливости ваших подозрений. Не говорю уже о том, что на них никоим образом нельзя основать донос, не подвергаясь неминуемому и строгому взысканию от начальства, от людей же праздных и злословных насмешкам и обвинению (простите мне жестокость этого выражения) в подысках и ябедничестве. Люди мы с Лукерьей Петровной небольшие, и буде в самом деле и пользуюсь некоторым к себе благоволением его превосходительства, то имел счастье приобресть таковую милость единственно прилежанием и усердием к пользам службы, преимущественно же скромностью и устранением себя ото всего, за что могли бы взять на замечание как человека нраву беспокойного.

Итак, милостивая государыня, ради бога не гневайтесь, а я вас, как добрую приятельницу и близкую нам родственницу, покорнейше и нижайше прошу, дабы и впредь не изволили требовать ни моего, ни Лукерьи Петровны участия в делах, которые до нас совершенно не касаются и которых важности и опасности Лукерья Петровна, как женщина, конечно, не понимает, но в которых ни я, ни она, с моего согласия, никоим образом вам помочь не можем. Да и вам, как друг и человек, несколько знающий законы, я, Глафира Ивановна, советовал бы все это оставить. Вы, без сомнения, насчет господина живописца Колонны ошибаетесь. Он осыпан милостями Юрия Львовича, а ведь известно, что и собака не кусает того, кто ее кормит и ласкает. (Извините, что я тут так просто выразился.) Как же предполагать, чтобы человек такого отличного воспитания мог ненавидеть своего благодетеля или (что и вымолвить страшно) чтобы желал даже его смерти. А что до картины: *Смерть Авеля*, то это одна игра воображения. Поверьте, что оно истинно так, да и быть не может иначе. Покрывать Ивана Ивановича мне не из чего: он мне ни брат, ни сват; а ежели всю правду сказать, не вправе ожидать от меня и особенно дружеского расположения: спесивый, извольте сами знать, такой, что нашему брату и головой кивнуть порядочно не хочет; между тем мы хоть люди не знатные, а все-таки служим богу и государю верой и правдою, состоим в капитанском чине, имеем крестик св. Станислава 4-й степени и пряжку за беспорочную тридцатилетнюю службу, не то что какой-нибудь иностранец.

Но — как бы то ни было — Варвара мне тетка, а

Правда — сестра: подозревать г-на живописца в злодейском умысле единственно по приложенным картинкам никак невозможно. В свободное от службы время люблю заглядывать в современные (как нынче выражаются) издания, особенно после хорошего обеда, лежа у себя в кабинете на диване и запивая кофейком со сливками трубку жу́ковского [65]. Это, скажу вам, сударыня, истинное наслаждение: тут попеременно и читаешь, и дремлешь, и узнаешь разные диковинки: про пятипольное хозяйство напр., или про железные дороги и чугунные дома и паровые машины да про сиамских близнецов, и как г-н Булгарин, несмотря на то что ругал г-на Полевого в продолжение десяти почти лет в каждом листке своей газеты, всегда питал к нему, Полевому, глубокое уважение, всегда восхищался его выспренними дарованиями, а тем паче ныне ими восхищается, когда Полевой стал его товарищем в одной и той же спекуляции по части книжной промышленности [66]. Все это, милостивая государыня, крайне удивительно и заманчиво; читаешь и словно опять переносишься во дни своего детства и слушаешь сказку старушки-нянюшки, как в некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик, а у того старика было трое сыновей; двое умных, а третий — дурак, и пр. Крайне, повторяю, удивительно и заманчиво, да не менее и назидательно. Очень я благодарен г-ну полтавскому исправнику, что снабжает меня иногда этими книжками и листочками, хотя сам их не выписываю, потому что, признаться, считаю неприличным человеку солидному тратиться на пустяки.

Да не о том дело!

Прочел я, между прочим, не помню уже где, историю про какого-то живописца же Спинелло [67]: эта история как раз пояснит вам все странное и необыкновенное в рисунках его товарища по ремеслу, г-на Колонны. Представьте, сударыня: Спинелло написал образ св. архангела Михаила, и что же? попираемому архистратигом дьяволу придал, не зная того и сам, черты своей невесты! Не скажете же вы тут, что он ненавидел девицу, с которой только что еще сбирался вступить в законный брак? Добро бы, если бы она была уже его сожительницей, а то возможно ли и предполагать, чтоб он хотел надругаться над тою, которую, по достоверным сведениям, страстно любил, будучи и сам любим ею взаимно? Г-н сочинитель истолковал все это весьма остроумно и удовлетворительно: Спинеллово воображение, говорит он, день и ночь бы-

ло занято лицом бесценной ему девушки; вот почему это лицо и легло противу воли его под его кисть, когда вздумал он представить духа тьмы, не на стать других живописцев, отвратительным чудовищем, а существом страшным, но вместе и прекрасным. Что-нибудь подобное, вероятно, случилось и с вашим господином живописцем Колонною. Каков бы он ни был, нельзя, полагаю, отнять у него преданности к Юрию Львовичу; быть может, эта преданность даже живее, чем думаем. Обожаемой им красавицы мы за ним не знаем, да и трудно вообразить, чтобы была таковая у человека, совершенно посвятившего себя тому искусству, которое дает ему хлеб насущный. Пронский посему должен быть самое главное, а если судить по угрюмому нраву и нелюдимости живописца, может быть, единственное существо, к которому Колонна привязан. Ничего нет мудреного, что именно потому и написал он ветхозаветного мученика похожим на Юрия Львовича. Так легко статься может, что самого себя изобразил в лице своего Каина потому только, что в тайне собственного гордого сердца самому себе шепчет: «От Пронского отстою, как Каин от Авеля». Вдобавок по побочным фигурам видно, что все это аллегория, хотя несколько и темная: напр., демон и страшный призрак с ним рядом изображают, кажется, растерзанную угрызениями совесть Колонны, римский воин в лавровом венке — его честолюбие, арфист — любовь к изящным художествам, юноша и капуцин — добрые начала, которые борются в нем с дурными наклонностями и которых не вовсе же лишен человек и самый порочный и пр. Чувствую, Глафира Ивановна, что я взялся не за свое: иной, пожалуй, скажет, что не мне быть истолкователем произведения искусства, которое навсегда осталось мне чуждым. Но о творениях живописи, ваяния, зодчества, даже стихотворства может же, кажись, судить всякий, одаренный рассудком и некоторым вкусом: это ведь не то, что занятия более важные и полезные, в которых встречаются и запутанности, и затруднения, и вопросы казусные и требуется основательное знание форм и законов. В искусствах, напротив, нужен один навык, а не тщательное изучение и труды постоянные и всегдашние.

Знавал я во время своего служения в Петербурге коекого из этих господ сочинителей, которых теперь более величают поэтами и литераторами: ни один из них не умел написать порядочную деловую бумагу, да и судить

о достоинстве таковой не был в состоянии. Между тем наш брат смело судил и рядил и спорил о картинах Шебуева, Егорова и Кипренского, о бюстах и статуях Мартоса и Демута, о стихах Ив. Ив. Дмитриева, Крылова и Жуковского, а в случае надобности под веселый час сумел бы сложить и песенку, небось не хуже их... Единственно нелицемерная дружба к вам, милостивая государыня, и ревностное желание успокоить вас заставили меня приняться за перо и пуститься в рассуждения о предмете, право, того не стоящем. Ваше собственное редкое благоразумие подает мне надежду, что успею в своем намерении. За сим нижайше прошу вас поручить меня благосклонной памяти милостивцев моих Аграфены Яковлевны и Юрия Львовича, за здоровие и благоденствие коих не перестаю денно и ночно взывать со всею семьею к милосердому господу; вместе же примите уверение в моем совершенном высокопочитании и готовности к услугам, с чем и имею честь быть, милостивая государыня, и пр.

Замеч⟨ание⟩ издателя 1. Это письмо получено г-жею Перепелицыною уже после страшной катастрофы, которую она предупредить хотела. Глафира Ивановна дрожащею рукою отметила внизу: «Бездушный трус! не на одной душе изверга Колонны смерть твоих благодетелей... Зачем не родилась я мужчиною? Я бы знала, как отвратить опасность от головы тех, кого люблю! недаром я дочь храброго маиора Перепелицына: о! зачем не родилась я мужчиною?»

Замеч⟨ание⟩ 2. Здесь, кстати, сообщим последний отрывок из дневника Колонны. Тут, особенно под конец, заметно возраставшее помешательство ума, доведшее его напоследок до того зверского неистовства, которое... Но пусть читатель потрудится добраться до последней страницы нашей повести! Здесь мы только укажем на очень любопытный психологический факт: временное сумасшествие Колонны, которое, впрочем, едва ли может служить ему перед человеческими законами в извинение, потому что было плодом произвольной необузданности страстей, тем не менее не подлежит, кажется, никакому сомнению. Что же? невзирая на это, мономан[68] Колонна судит обо всем, что только чуждо погубившей

его страсти, не только здраво, но даже с проницательностию и глубокомыслием. Такова, например, его отметка о дуэли, хотя, по-видимому, она написана с тем, чтобы послужить ему поощрением к преступлению ужасному и бесчестному. Говоря о Сведенборге, Колонна утверждает, что знаменитый духовидец был маниак, перенесший в свое сумасшествие всю холодную последовательность строгой методы, всю диалектику здравого рассудка. Самому Колонне суждено было перенесть все это не в простое сумасшествие, а в бешенство, превратившее наконец его в совершенное чудовище.

ВТОРАЯ ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА ДЖИОВАННИ КОЛОННЫ

20 января. Я ее опять увидел, увидел ее тогда, когда вскоре все должно между нами кончиться, так или иначе... Свадьба их назначена через 10 дней... Уехать? Покинуть ее? Должно! Я погибну — это так, а ведь обличу во лжи все страхи монаха, недоверчивость недостойного Филиппо, мрачные предсказания дрезденского фигляра, обличу во лжи и тебя, страшное, адское сновидение! Человек свободен: он не раб предопределения. Кальвинисты лгут [69]: чувствую, что могу спасти по крайней мере душу свою,— только бы захотеть: да откуда взять это *хотение?* Разве принесть эту кровавую жертву, хотя бы только для того, чтоб не перестать уважать самого себя?.. Да точно ли *он* достоин этой ужасной жертвы? Он должен же что-нибудь и для меня сделать: должен по крайней мере отложить свою ненавистную свадьбу: да! отложить ее, покуда я не выехал! Одна уж мысль, что она в моих глазах отдается другому, в моих глазах начнет телом и душою принадлежать другому,— эта мысль, эта мысль приводит меня в совершенное бешенство, толкает мне в руку нож убийцы!.. Придраться бы к чему-нибудь? вызвать его на поединок? Ради самого дьявола, к чему же придерусь я? Он обходится со мною как друг, как брат, так благородно, так нежно, что тут есть с чего в отчаяние прийти!

21 января. Я бросил в огонь свою гадкую картину. Когда холст стал корчиться и свертываться на пылающих углях, тогда там в камине образовалось что-то похо-

жее на горящий дом. Мне стало будто легче, когда сгорела картина. NB. Рожа Агасвера испепелилась последняя. Завтра буду говорить с Джиорджино. Только — если согласится — признайтесь же, что он ее не любит! Я бы и за царствие небесное не согласился отложить блаженство обладать ею: а я, кажется, верующий христианин, добрый католик!

22 января. Приготовления к свадьбе продолжаются. Я еще не мог решиться объясниться. Завтра! А между тем ему с каждым днем труднее будет назад.

23 января. Все кончено... Под выдуманными именами (себя я назвал испанцем Родериго, его — французом Адольфом) пересказал я ему всю нашу историю, выговорил требование испанца и дребезжащим от волнения голосом спросил: «Как поступил Адольф?» — «Адольф,— отвечал Пронский с расстановкою, не сводя с меня унылого взора,— Адольф принужден был, чтоб не показаться подлецом и трусом, двумя днями раньше назначенного обвенчаться с своею невестою». Итак, синьор Пронский, чтоб не показаться чем-нибудь, вы прольете муки ада в грудь того, кого называете своим другом? Напоследок же вы противу меня не правы... и... и... все между нами кончено!

24 января. Вчера, и третьего дня, и всякий раз с приезду нашего, сряжаясь к Горичевым, он приглашал меня с собою. Сегодня мы сидели вместе в его кабинете; ему, видимо, было что-то неловко; он встал, взял шляпу и, дошед до дверей, надевая уже шубу, вдруг будто что-то вспомнил, оглянулся и спросил: «Amico mio *, пойдешь ли со мною? иду к Горичевым». В другие раза я почти всегда отказывался, но тут, не отвечая ни слова, отправился вслед за ним и провел у них весь вечер. Он обходился с нею во все время с нежностью, но осторожно, как будто опасался раздражить меня. Напротив, она была с ним необыкновенно ласковою, ласкалась к его матери, сажалась рядом с ним, сжимала ему руки и притом быстро и смело на меня взглядывала... Corpo di Bacco! **

* Мой друг (*ит.*).— *Ред.*
** Черт побери! (*ит.*) — *Ред.*

она надо мной издевается! Не пришлось бы только раскаяться, не пришлось бы только ей *оплакивать* свое безвременное торжество?..

25 января. После моего рассказа про Родериго и Адольфа у меня есть по крайней мере какая-нибудь причина завязать с ним ссору, хоть вроде тех, что французы называют querelles d'Allemand *. Но чем же ссора и дуэль лучше того, что бродит в душе моей? Дуэль не то же ли убийство? В моих глазах даже разбойник, который зарежет путешественника, чтоб обобрать его, менее виновен поединщика. Разбойнику хоть то служит кое в какое извинение, что решается на дело кровавое, почти всегда увлеченный крайностию: нужда, голод, дурное воспитание, сила пагубных примеров, озлобление, загрубелость души, отчаяние — вот что объясняет злодейства разбойника; тут по крайней мере есть какая-то логика, что-то понятное. Но принадлежать к высшим слоям общества, мастерски владеть собою, когда того требует тщеславие, не увлекаться страстьми, не быть под увлечением ни мщения, ни корыстолюбия, порою пользоваться и неотъемлемою, на самом деле доказанною славою бестрепетного воина,— а такая слава могла бы же, кажется, дать право пренебречь варварским предрассудком, когда, вдобавок, стоишь на такой степени просвещения, что можешь судить о всей нелепости этого предрассудка,— нередко еще не по одному крещению, а по убеждению сердца называться христианином,— быть всем этим и между тем (повторяю: не из жажды мщения, напротив, иногда разрываясь от сострадания и скорби) нарушить все законы божии и человеческие, с пистолетом в руке стать в пяти шагах противу того, кого любишь и уважаешь, и застрелить его спокойно, хладнокровно, как бы ты застрелил бешеную собаку... И для чего? для того только, чтобы какой-нибудь дурак или подлец, которого от души презираешь, не мог сказать, что ты не соблюл сумасбродных условий какой-то чести! Не говорите же вы, европейцы, что вы лучше людоедов или что вы не идолопоклонники! Ваш идол, ваш Молох [70], эта чудовищная честь: ей лучший из вас готов принесть в жертву совесть, душу, самого бога! «Но поединщик смотрит смерти в глаза». А разве не смотрит ей в глаза и разбойник, да

* Ссора из-за пустяков (*фр.*).— *Ред.*

еще какой? — мучительной, поносной, на народной площади! Что бы я ни замышлял, а Пронского не вызову на поединок. Если уж губить душу свою, не хочу губить ее так пошло и глупо.

26 января. Теперь я опять бываю счастлив, и счастлив несказанно. Ведь я начинаю жить двойною жизнию: в одной я ненавижу, терзаюсь, мучусь; в другой люблю — и, боже мой! — любим, да еще как любим! пламенно, с самоотвержением, с самозабвением! в этой другой жизни я роскошествую, блаженствую, утопаю, исчезаю, уничтожаюсь в восторгах невыразимого наслаждения! Зато когда очнусь — ад со всеми своими фуриями, со всеми своими пытками в груди моей, изнемогающей и раздавленной.

27 января. Сумасшествие... А как вы думаете, синьоре Малатеста: ведь этим счастливым сумасшедшим можно бы и вашему брату, рассудительному человеку, несколько позавидовать? О! прости мне, мой бедный Филиппо, верный, добрый ты друг моей ненасытной юности! ужели я, неблагодарный, вздумал издеваться над тобою? На коленях, со слезами умоляю: прости мне!

28 января. Послезавтра они венчаются... «To be, Гуильельмо Шекспир,— to be or not to be?» * Есть минуты, когда мне кажется, что у меня тут в голове не совсем в порядке. Ночь моя проходит или совсем без сна, или наполненная сновидениями об ней. Бывают изредка и другие, да только страшные: так, напр., недавно я был диким, голодным зверем и грыз другого зверя, а этот был — Пронский. Я проснулся от боли: гляжу — левая рука моя вся в крови; я сам изгрыз ее зубами. Днем я везде вижу ее одну. Я ее и теперь, в эту самую минуту, вижу, как будто живую, взгляните: вот она тут, а вот опять там подалее! хотите ли? расскажу вам малейшую подробность ее наряда!.. Вчера, уже очень поздно, без шляпы, без шубы очнулся я на кладбище: пришел я в себя от холодного прикосновения черепа к губам моим, а ведь мне казалось, что целую ее! Как я попал на кладбище, не

* Быть или не быть? [71] (*англ.*) — *Ред.*

знаю. Я взбесился на Пронского, что не зовет меня к Горичевым; потом мне мелькнула мысль: «Отчего мне и одному не сходить к ним? Прежде я ведь к ним хаживал и без Джиорджино». Потом уже ничего не помню, кроме ее ангельского образа, который, впрочем, уж никогда со мною не разлучается. Был ли я у них, нет ли? Верно только то, что я с нею разговаривал, и много, и долго, и дружески... Да только с самою ли с нею, с настоящей, живою Надиной, с гордой невестой Джиорджино Пронского? Или же с милым, прелестным ее двойником, который меня не презирает, не боится, который жалеет меня?.. Если судить по взору ласковому и меланхолическому — он и теперь еще мне видится, или по звуку ее мелодического голоса — он и теперь еще звучит в ушах моих,— это был двойник: сама Надина ведь любит Пронского; она никогда не была и не может быть со мною так ласкова, так ко мне сострадательна. Однако тут точно был Уальдемаро Горич, да и маленькая Вера о чем-то рыдала. С кладбища меня привезли Пронский и мой Бернардо. Пронский сегодня спал в моей комнате: перед рассветом я проснулся — две горячие капли упали мне на руку; Джиорджино стоял на коленях у постели моей, целовал мою руку и плакал. Это все хорошо; он точно славный человек: да только отчего же Адольф не отложил своей свадьбы? Представьте же себе: ведь зверский испанец в самую брачную ночь сожег их! да, сожег Адольфа и Надину в их загородном доме! Это случилось в 1-м льё от Парижа, в 1636-м году, когда во Франции царствовал Луиджи XIII. Испанца колесовали: и прекрасно! Дураки же эти московские варвары, что перестали колесовать испанцев!

29 января. Смейтесь, ради бога! мне сегодня пришла идея самая сумасбродная: я, клянусь вам самим Вельзевулом, я самый, известный вам испанец Родериго, несколько раз уже колесованный и четвертованный за то, что люблю жечь женихов с невестами,— я было сегодня вздумал молиться, как, бывало, маливался дурак Джиованни Колонна, которого скучная история давно уже кончилась. Спасибо, вечный жид и мадам Перепелицына стали выплясывать менуэт à la reine *: я расхохотался до упаду и бросил это ребячество. А уж меня никто не разу-

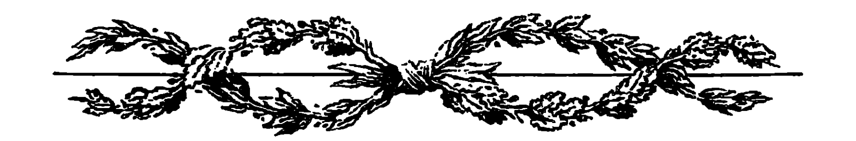
* Королевы (*фр.*).— *Ред.*

верит, чтобы нельзя было и в русский мороз согреться при хорошеньком пожаре, особенно когда они... О! я бы разорвал их когтями! Not to be, не так ли, Гуильельмо Шекспир?

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ

31 января. В самую полночь с вчерашнего на сегодняшнее число проживающий на даче графа С... крепостной его человек Андрей Потехин, вышед случайно из дому, увидел зарево по направлению Выборгской дороги. Он немедля дал об этом знать в часть. Примерная исправность столичной пожарной команды всем известна; но пожар случился в 3 верстах за заставою на даче вдовы генерала от инфантерии Пронского, и, когда приспели трубы, было уже поздно. Прекрасный дом г-жи Пронской сгорел, а, к несчастью, в нем соделались жертвою пламени единственный ее сын, отставной гвардии ротмистр Пронский, и молодая ее невестка, урожденная Горич, которые в этот самый день только что сочетались браком. Полиция схватила близ самого дома проживавшего в доме Пронских римского подданного Ивана Колонну. Собственное его признание не оставляет никакого сомнения, что он был злоумышленным виновником этого страшного преступления. Кроме несчастных Пронских погибла крепостная их девка Настасья Кравченко; все прочие спасены.

3 февраля. Сегодня скончалась в С.-Петербурге в собственном своем доме на Английской набережной всеми уважаемая за редкие свои добродетели вдова покойного генерала от инфантерии Льва Петровича Пронского Аграфена Яковлевна, урожденная княжна Сицкая.



СТАТЬИ

ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ».

ОПИСАНИЕ ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕИ

ПИСЬМО XIX

(отрывок из путешествия)

Дрезден. 14 (2) ноября 1820.

Как описать картину так ясно, чтобы другой о ней получил точное, верное понятие? Как притом избежать скуку и единообразие? На словах какое-нибудь главное отличие одной картины от другой нередко кажется слабым оттенком, чертою неприметною. Глубокомысленный пламенный юноша, с которым не смею себя сравнивать, но на которого бы желал быть похожим,— Форстер встретил почти те же трудности, когда хотел дать своим друзьям понятие о Дюссельдорфской и других галереях, славных в тогдашнее время. Он разрешает задачу следующим образом: «Совершенным может назваться всякое описание,— говорит он,— возбуждающее в читателе те же чувствия, которые возбуждает в зрителе самая картина» [1]. Передо мною Рафаэль, Корреджио, Тициян, Корраччи, Гвидо, Рубенс, Ван-Дейк: могу ли думать, что мое воображение достигнет до их творческой фантазии, могу ли надеяться, что слово сравнится с их волшебною кистию?

По крайней мере расскажу вам, друзья, чувства, которые вам передать не в силах, те чувства, которые составляли мое наслаждение и на время сближали меня с гениями, поэтами живописи. Я с лишком неделю каждое утро был в галерее; смотрел, сравнивал, учил наизусть картины; но, приступая к их описанию, должен просить вас быть снисходительными.

Не входя в святилище внутренней, Италиянской, галереи, я два утра провел в наружной, Фламандской, чтобы себя совершенно успокоить и некоторым образом приготовить к созерцанию таинств, к созерцанию чудес

небесной Гесперии [2]. — Отличительная черта Фламандской школы вообще прилежание и верность; высшей поэзии вы напрасно будете искать в ее произведениях: высшею же поэзиею, идеалом называю соединение *вдохновения* и *прелести*. Рубенс силен, нельзя не признать в его произведениях вдохновения, но не имеет никакой прелести. Пламенное, мрачное воображение Рембранта также знакомо с полетом поэзии, но в нем восторг мутен, как мутны краски его; душа его не устоялась; в ней отражается идеал, но в искаженном виде, как будто бы в возмущенном, волнующемся потоке. Ван-дер-Верф прилежен, тщателен, его изображения миловидны; но он не возвышается до красот высшего рода, т. е. до соединения прелести и вдохновения. В *поэзии сло́ва* есть род, приближающийся к земной, обыкновенной жизни, к прозе изображений и чувств; писатели, посвятившие себя этому роду, бывают стихотворцами, но не поэтами; между ними есть таланты, но нет гениев. Они обыкновенно слишком славны между современниками, но умирают в течение веков; таковы были Боало, Поп, Фонтенель, Виланд и почти все предшествовавшие сему последнему и жившие в его молодости немецкие стихотворцы. Есть другой разряд писателей — одаренный пылкостию и дерзостию воображения, но лишенный той чистоты и нежности, того чувства, которые необходимы, чтобы украсить создание творческого гения прелестью, одним из главных условий бессмертия. Если в стихотворцах-прозаиках слишком много слов, воды и старания, в творениях поэтов без вкуса истинный огонь почти гаснет в дыму; их пламя трещит, а не греет, сверкает, а не светит и нередко вдруг потухает, потому что они не считают нужным питать его прилежанием, образцами, критикою. В их произведениях есть черты разительные, но почти никогда нет прекрасного целого: самое бессмертие отличнейших между ними похоже на бессмертие славного Гераклова туловища [3]. Природа в своих разнообразных явлениях везде одинакова; и между живописцами существуют художники этих двух родов; они составляют так называемую Нидерландскую школу, которая имеет большие достоинства, но, как мы видели, почти никогда не возвышается до того идеала, о коем упоминали выше.

Первое место, по общему мнению и по самой строгой справедливости, занимает между нидерландскими живописцами славный Рубенс. Смелость, сила, роскошь воображения, разительное сходство и верность в портре-

тах, необыкновенная живость красок — вот его главные достоинства; но Грации не посещали Рубенса: его женщины тучны и отвратительны; его Венеры — голые голландские мещанки; его боги — переодетые купцы, матрозы и школьники. Ни слова здесь о некоторых превосходных лиценачертаниях работы Рубенса: их должно видеть и восхищаться ими; описать их может только Лабрюер или Лафатер; приступим к его вымыслам.

Особенно поразили меня следующие: Геркулес в сообществе вакханта и фавна: пьяный, он лишился своей силы, он идет, опираясь на них, он шатается [4]. Задача трудная! Как представить полубога в унижении, но необходимо с печатию, с остатками прежнего величия? Рубенс не затруднился ее разрешением: он, кажется, имел в виду в своей картине Фарнезского, или покоящегося, Геркулеса [5]. Но где же спокойствие, где же тишина, истинный признак силы,— характер сего превосходного творения древности? Скажут: «Эта тишина должна была исчезнуть в пьяном Геркулесе» — и не вижу необходимости! Представь его лицо веселым, ясным, смеющимся; но к чему разрушить гармонию его огромных размеров? Исполинские его члены, кажется, готовы отделиться от тела, туловище обременено мускулами, но лишено энергии. Одним словом: по моему мнению, Геркулеса можно было представить в веселом забвении от даров Вакховых, но не в скотском унижении. Рубенс здесь изобразил не Геркулеса, а плотника, дикаря или другого мощного сына земли, обессиленного грубым упоением.

В своей львиной охоте [6] Рубенс резкими, ужасными чертами представил борьбу человеческой дерзости с отчаянным бешенством царя зверей. Напрасно спешите вы на помощь к несчастному товарищу, храбрые витязи! Конь тотчас сбросит его, а лев сзади с грозным напряжением уже держит его в своих убийственных объятиях. Вот смотрите: здесь другой уже сделался жертвою другого, гневного льва, которому негр, его соотечественник, готовит верную смерть; он скоро ляжет возле сего убитого тигра. Вся картина исполнена силы, движения, дерзости и сжимает сердце судорожным трепетом: она, по мне, одна из лучших Рубенсовой кисти; но можно ли назвать наслаждением чувство, с которым смотришь на нее?

С удовольствием перехожу от этих ужасов к картине в истинно древнем вкусе, которую можно бы назвать

идиллиею, вроде идиллий Феокритовых. Старый сатир [7] выжимает виноградный сок в чашу, которую держит другой, маленький; позади их стоит еще третий, молодой сатир с гроздием в руке: лица их чудесны, особенно последнего, который — одушевленное лакомство; в ногах у них покоится тигрица с своими маленькими. Краски самые живые, смелость кисти совершенно достойна Рубенса: он здесь превосходен, потому что не имел нужды в красивом идеале.

В своей славной картине, известной под названием «Quos ego!» * [8], Рубенс доказал, что, если ему и навсегда осталось чуждым прелестное, он мог постигнуть и создать нечто высокое. Точно таким я воображал себе Нептуна, когда читал Виргилия, когда видел, как он одним словом успокоивает море и укрощает буйных слуг Эоловых. Сей гневный, но в самом гневе величественный исполин, точно бог, точно Кронион пучин, брат царя богов: его власы летят, его лицо в движении, но стан спокоен и тих, будто утес посреди валов, и он легко скользит в раковинной колеснице по поверхности вод, которые улегаются под его мощными конями. Мастерскою кистию изображены ветры: неопределенные, мутные краски, черты и очерки острые, но в то же время сливающиеся с облаками, длинные одежды: все это придает им что-то воздушное, нетелесное!

В Дрезденской галерее находится очерк Рубенсова «Страшного суда»: самая картина в Мюнхене. Здесь-то гений Рубенса является во всей своей огромности. Особенно поразили меня воскрешающие: сон смерти отягчает еще вежды некоторых, они преодолевают его с усилием; другие, вставая от одра могилы, дивятся божией славе; третии, кажется, уже предчувствуют суд его. Форстер, описывая Дюссельдорфскую галерею, где до перенесения в Мюнхен находилась и эта картина, справедливо замечает, что воображению трудно представить себе соединенными на одном холсте обитель смерти и воскресения — землю, место суда и блаженства — небо и, наконец, ад — жилище мучения, и что посему в этой картине нет единства. Как бы то ни было, она не без больших красот в подробностях и мне особенно дорога, потому что некоторые ее части живо напоминают «Сошествие теней» [9] — бессмертное произведение нашего Толстого.

---

* Вот я вас! (*лат.*) — *Ред.*

Кроме упомянутых картин Рубенса, их около двадцати в Дрезденской галерее: они не одинакого достоинства.

Остановившись довольно долго на Рубенсе, я некоторым образом освободил себя от необходимости подробно исчислить все достоинства и недостатки его славного ученика Ван-Дейка, который соединяет в своих немногих исторических картинах в уменьшенном виде все красоты и все пороки своего учителя, а в лиценачертаниях, которые почти одни составляют здешние его произведения, превосходит Рубенса по тщательной обделке.

И Рембрантовой кисти здесь несколько картин и портретов. Между его произведениями нет ни одного вовсе без достоинства; но мрачные его краски, его неверная рисовка, его мутное воображение оставляют по себе одно *туманное* воспоминание. Впрочем, нет правила без исключения: его «Жертвоприношение Монои» [10] живо у меня перед глазами и не скоро изгладится из моей памяти. Моноя с женою на коленах перед горящим костром; ангел господень в белой одежде исчезает за оным и к молящимся обратился спиною. Рост его выше человеческого, черты туманны, длинная одежда как будто сливается с дымом костра. На лице Монoиной жены царствует тихое, трепетное благоговение: руки ее сжались, несколько повыше колен, голова приклонилась к груди, все положение тела показывает радость и тот священный ужас, который наводит явление сверхъестественное. Освещение всей картины волшебно: багровый блеск мрачного пламени как будто оттеняет снежное сияние ангела.

Лучшая картина Ван-дер-Верфова здесь [11] — изгнание Агари из дома Авраамова: я не иначе могу об ней вспомнить, как о происшествии, мною виденном. Авраам проводил до дверей Агарь, закрывающую лицо рукою; ее прекрасные льняные волосы распущены: она держит за руку маленького Измаила, который, оборотясь, с болезненным чувством смотрит на своего брата Исаака; все тело его сильно наклонено в сторону; на лице резкими чертами написана та привязанность к Исааку, которую так часто чувствуют подчиненные несчастные к неблагодарным счастливцам. Маленький Исаак ухватился за платье отца и смотрит на брата: приметным образом любовь к доброму, умному Измаилу, услаждавшему, может быть, их общие забавы своими затеями, своим воображением, борется в молодой душе его с наставле-

ниями хитрой матери и с очуждением, поселяющимся нередко в сердца детей к тем, кто перестает жить с ними под одною кровлею. Авраам ласковым сожалением в последние минуты расставания желает загладить свою жестокость, но не смеет обнаружить всех чувств своих: Сара, стоя у дверей с едва приметною, коварною, самодовольною усмешкою, замечает малейшие его движения.

Превосходны фламандцы в представлении сцен из обыкновенной сельской и хозяйственной жизни. Они создали в этом отношении к живописи род, который можно сравнить единственно с идиллиями в новейших нравах Фосса и некоторых других немецких писателей.

Как, например, не остановиться перед этою лакомою девушкою! Она растворила окно; в одной руке у ней горящая свеча, освещающая чудным образом лицо ее и зеленую занавес; другую протянула она за окно, чтоб сорвать кисть спелого, светлого винограда. Далее, как терпеливо добрая старушка связывает нитку, которая оборвалась у ней! Ей глаза несколько изменяют, у ней дрожат руки, ее губы сжались, ей уже нелегко найти и связать концы при свете лампы. Эти две картины Герарда Дау [12].

Наслаждайся своим превосходным созданием, новый Пракситель! освещай его тем светом, при котором, может быть, в час уединенного размышления, в час вдохновения блеснула в тебе творческая мысль вызвать из камня Венеру, соперницу вышедней из пены морской: белый мрамор алеет при алом сиянии свечи, будто бы согревается, будто бы оживает. Галатея, кажется, потупила глаза. Пигмалион пожирает ее взорами [13]. Здесь ученик Герарда — Шалькен превзошел своего учителя.

Гавриил Метсю (Metsü) в трех различных картинах [14] представил почти один и тот же предмет, но с какими отличительными оттенками! Под открытым небом продают и покупают съестное. Здесь торгуются две женщины; одна из них держит в руке зайца и к нему прицениваются. Они обе спокойны, и на лицах их нет большого движения. Тут молодая кухарка очень бы желала купить подешевле кусок баранины: она уже запрятала его в свой короб, но упрямый продавец, сидя прехладнокровно на бочке и даже не глядя на нее из-под огромной шляпы, не соглашается на предлагаемую цену, продолжает курить трубку и, кажется, ворчит сквозь зубы: «Как

угодно! а я не отступлюсь от своего слова!» Наконец, там старик, на чьем лице написаны все свойства проворного купца, обеими руками приподнял живого петуха, выхваляет его и, запросив сначала непомерно много, вдруг перерывает пригожую хозяйку, которая, качая головою, удивляется его бесстыдству и уже хотела его усовещевать — предлагает ей петуха по крайней цене и, кажется, говорит, что сам остается в убытке. Все три идиллии списаны с природы: дичина, куры, зелень, коробы лежат передо мною в самом деле; чем более гляжу, тем более забываюсь.

К лучшим изображениям, выражающим душевные движения, принадлежит большая картина Фердинанда Бола, известная под названием Уриева письма [15]. На лице царя Давида, вручающего с зеленого престола Урию роковое письмо, с чудесною живостию борется беспокойство с желанием, чтобы Урия не заметил оного. Пониже царя сидит его секретарь или министр, устремляющий глаза на обоих: я уверен, он знает, что такое в письме; если бы и не свидетельствовала знания его стоящая перед ним чернилица, если бы он и не держал пера — боязливое ожидание и преступная таинственность, сжимающие рот его и приподнимающие подбородок, могли бы служить доказательством, что он был поверенным, орудием, а может быть, и советником царя при его злом умысле.

Квентин Мессис, сын антверпенского мещанина, один из искуснейших кузнецов своего отечественного города, влюбился в дочь некоторого тамошнего живописца. Отец решительно отказал ему в руке ее, потому что не хотел выдать ее ни за кого, кроме живописца же. Мессис, воспламененный любовию, променивает молот на кисть, наковальню на палитру и вскоре превосходит своего тестя. В Дрезденской галерее видел я одно из его лучших произведений. За столом сидит ростовщик: перед ним раскрытая книга приходов и расходов и кучи золота; возле стоит человек, который желает его убедить к чему-то. Но посмотрите на лицо жреца Плутуса: он с неколебимым мужеством пожимает плечами; ничто не в состоянии смягчить его, ничто не может его тронуть! Неподалеко дочь его торгуется с разносчиком [16].

В наружной галерее, кроме исторических картин и портретов Фламандской школы, есть некоторые картины школ Немецкой и новейшей Италиянской.

Семейство базельского бургомистра Иакова Мейера,

работы Ивана Гольбейна, может назваться произведением превосходным и выдержит сравнение с картинами лучшего времени школ Нидерландов и Италии. По мне, это лучшая изо всех мною виденных старинных немецких. Мейер и его семья стоят на коленях перед Богоматерью [17]. Изображение царицы небесной величественно, прекрасно: она в белой, сияющей одежде с венцом на главе и с младенцем Спасителем на руках; на лице ее владычествует кроткая, теплая любовь к бедным, но столь драгоценным ей земным ее братьям; это лицо достойно кисти того, кому, кажется, сама Божественная являлась, достойно кисти Рафаэля! * Благоговение преображает черты Мейера и жены его: они в черной древней германской одежде. Рисовка их стана, рук, платья верна и тщательна, но несколько жестка и боязлива. Прелестен голый мальчик, который прислоняется к молодому человеку, сыну Мейера. В одном только изображении Гольбейн принес жертву своему веку: в длинной богатой белой одежде — одна из дочерей Мейера обезображивает несколько целое: тело ее чахоточно, лицо некрасиво, рисовка очерка жестка и угловата.

Дрезденская галерея богата прелестными видами кисти Рюйсдаля, Клод-Лоррена, Дитриха, Бергема, Ван-дер-Нира. Меня особенно привлекали сколки Рюйсдаля; я не мог наглядеться на его славную ловлю [19]: редкий лес; сквозь него проглядывает палевый свет утреннего солнца и отражается в реке; деревья освещены волшебным образом; их призраки полосят воду, куда спасается олень от преследующих его всадников. Но к чему описывать виды, произведения живописи: они меня очаровывали, потому что напоминали мне природу; теперь же передо мною сама она, божественная! Скоро минет осень, скоро пройдет зима, и она в своем вешнем одеянии примет меня в свои объятия — может быть, под небом благословенного Прованса!

Ни слова также о славных картинах Теньера, Вувермана, Розы-ди-Тиволи, Снейдерса, которых здесь довольно большое число: вы, друзья, их знаете, хотя и не

* Прекрасно описано у Тика (Phantasien) явление во сне Божией матери Рафаэлю [18]. Мы постараемся сообщить сие описание нашим читателям. *(Издатели.)*

видели. Теньер, всегда однообразный и отвратительный, в Дрездене тот же, что в С.-Петербурге: у него везде пьяные мужики, растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые пляски, карты и вино. Вуверман неутомим в представлении дыма, пальбы, беспорядка, белых лошадей, желтых кафтанов и голубых перевязей. Роза-ди-Тиволи, или, правильнее, Филипп Роз, в двадцати картинах представляет одно и то же: темно-синий воздух, коров и горы, горы, коров и темно-синий воздух. Снейдерсовы изображения животных и растений превосходны, но, видевши одно, можно сказать: я видел все.

ПИСЬМО XX

Дрезден. 6 (18) ноября.

В последние часы нашей бытности в Дрездене я беседую с вами, мои милые! Надеюсь, что мне удастся описать вам еще хотя часть внутренней галереи: я ей принес большие жертвы, не успел видеть ни славного зеленого свода, где, как у нас в московской Грановитой Палате, хранится царская утварь — венец, скипетр, алмазы Электоров [20] и королей Саксонских, ни собрания древностей, ни оружейной палаты, которая, говорят, важна и занимательна. Каждое почти утро был я в галерее, смотрел и учился; чувствую, что влияние картин на мое воображение было благодетельно: призраки и мечты, которые являлись душе моей, тревожили ее, но исчезали в туманах, когда устремлял на них взоры; эти призраки носятся теперь передо мною, как прежде, но, кажется, получили более ясности, более определенности.

Наконец вижу самое тебя, труженица, чудное создание Баттониевой кисти! [21] я любил тебя, восхищался тобою и в слабых списках и подражаниях: здесь ты сама передо мною! взгляните на шелк ее бледно-золотых волос, которые падают на светлую шею и благоуханное лоно! Взгляните на розовые персты, на руки, сжатые с чувством глубоким, истинным, трогательным, на свежие пурпуровые уста, на прелестную складь (драпировку) ее голубого одеяния! Здесь чистое выражение раскаяния, скорби, задумчивости во всех чертах! Магдалина, простершись в уединенной пещере, оплакивает свои заблуждения: отказываясь от них, она переносит в свое святилище то же сердце, которое было, может быть, при-

чиною ее падения, но и в самом падении возвышало ее над толпой тех, коих добродетель — одна мертвая холодность. Отец любви ее принял с милосердием!

Мила, очень мила головка девушки, которая стоит на коленах перед умирающей Лукрецией в картине Франциска Молы [22]. С красноречивым отчаянием она смотрит на ту, которая уже не будет ей сестрою, другом, наставницей; с страстным, судорожным чувством она ломает руки: к такой печали и к такой привязанности способны одни женщины, зато только и им так к лицу горесть! Признаюсь, это смуглое личико с своими живыми полуденными глазками, с своими каштановыми волосами, которые прелестным беспорядком округляют все ее очерки, несколько раз удерживало меня перед довольно посредственным, впрочем, произведением.

Заметим мимоходом смелое наклонение тела Спасителева и смелое падение одежды его в «Вознесении» Бастиана Рикчи: в самом деле, здесь что-то сверхъестественное, парящее, и остановимся перед изображением Афродиты и ее сына [23] кисти сладостного Гвида Рени!

ПИСЬМО XXI

Лейпциг. 8 (20) ноября.

Остановитесь перед картиною Гвида Рени; рассматривайте ее; а я, друзья, должен на время вас оставить, должен попросить вас подождать, пока мое тело будет в Веймаре; тогда воображение досужным часом может опять перенестись с вами в Дрезденскую галерею и быть вашим чичероне. ⟨...⟩

ПИСЬМО XXIII

12 (24) ноября.

Довольно долго стояли вы, друзья, перед Афродитою Гвидо Рени; пора и мне перенестись к вам и разделить ваше удовольствие. Богиня наслаждения, простертая на роскошном ложе, облокотилась на левую руку, а правою испытывает острие стрелы, которую сын подает ей с коварною улыбкой. По насмешливой радости, которая во всех чертах матери и сына, я узнаю вас,

Киприда и Ерот, мучители сердец!..[24] —

но при всем лукавстве вашем как вы прелестны, какая круглота, какая мягкость во всем вашем теле! Все вокруг вас дышит негою и вливает в душу несказанную сладость.

Вот картина Петра делла Веккия: старуха сражается с своими детьми[25]. Она туфлею замахнулась на одного, двое других ее упрашивают и удерживают. По комическому содержанию приближается здесь делла Веккия к Нидерландской школе; но его выражение гораздо благороднее: страх, изображенный на лице битого мальчика, не лишает его прелести; кудрявая головка его и живой взгляд напоминают нам, что перед нами природа полуденная; самая старуха не карикатура, но скорее облагороженный идеал злобы и старости.

Здесь я во вторый вижу раз Микеля-Анджело. Вы помните его первую картину: мы удивлялись ей в Берлине в Джюстиянской галерее[26]. Та, к которой подходим теперь, без сомнения, важна для живописца, но не станем в ней искать поэзии: она изображает молодого голого человека[27], руками и ногами прикованного к дереву; игра напряженных мышц (мускулов), знание анатомии и смелость в очерках должны в этой картине быть чрезвычайно поучительными для молодого художника. Впрочем, расцвечение и обделка те же, каковы в Ганимеде.

ПИСЬМО XXIV

13 (25) ноября.

Молодая соперница Апеллова[28] сидит перед холстом и пишет спящего бога любви: одежда ее вымышлена, но показывает вкус и чувство красоты! Старик, может быть отец и учитель ее, внимательно рассматривает рисунок той самой картины, которую она пишет; она к нему обратилась и, кажется, слушает его замечания. Расцвечение прелестно; характер, данный художником Гверчино да Ченто старику, показывает, что италиянцы иногда превосходят нидерландцев даже в изражении тех чувств и душевных движений, которые я бы назвал семейственными, домашними, хотя они и немного занимались ими и более увлекались предметами священными и героическими. Вижу почтенного семьянина: на лице его написаны ум и добродушие. Его седая борода богата; прекрас-

ные глаза и тихое благородное лицо свидетельствуют, что он был в свое время красавцем, а сходство с молодою женщиною — что она от крови его.

Мы подошли теперь к произведению великого Корреджио. Четыре раза Корреджио переменял свое мнение о том, что почитал обязанностью, свойствами, достоинствами великого художника, и каждый раз более приближался к совершенству *. Шиллер представляет нам подобный пример в драматическом искусстве [30].

Да научимся из истории сих великих мужей жертвовать своими любезнейшими правилами, привычками и мнениями тому, что принуждены будем признать лучшим; не будем никогда противиться своему внутреннему убеждению по упрямству и самолюбию и предпочтем всему истину и совершенство. Корреджио учился постепенно у Бианки и Андрея Монтеньи, двух художников старинной Италиянской школы, имеющей свои достоинства, но жесткой и лишенной всякой прелести **. Будучи еще молодым человеком, он чувствовал недостатки своих наставников и решился проложить себе дорогу собственную: он начал замечать размеры человеческого тела, начал просто глазами и без руководителя учиться остиологии [31] и анатомии и наблюдать краски и тени в самой природе. Таким образом составил Корреджио себе свой первый род, имеющий гораздо более правильности и точности, нежели картины его предшественников, но в то же время не лишенный теплоты — вдохновения и чувствительности, которые дышат в самых даже безобразных произведениях школ старинной Италиянской и старинной Германской. Его святый Франциск [32] дает нам полное понятие о всех достоинствах и недостатках сего

---

* . . . . Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ:
Мы любим и чрез час мы ненавидим;
Что славим днесь, заутра проклинаем!
Аргивяне [29], дейст. III, явл. 3.

Если бы меня ныне, в 1824 году, спросили, считаю ли по сю пору каждую перемену в образе мыслей Корреджио новым шагом к совершенству, меня привели бы в большое недоумение! Мимоходом только замечу, что через 9 месяцев, в мою вторую бытность в Дрездене, св. Франциск по величественной простоте целого казался мне творением гораздо высшего разряда, нежели св. Георгий.

Замеч⟨ание⟩ авт⟨ора⟩.

** И в рассуждении ее я во многом стал иначе думать.

Замеч⟨ание⟩ авт⟨ора⟩.

первого периода его самобытной эстетической жизни. Содержание картины следующее: Богоматерь сидит на высоком престоле и держит на коленах младенца Спасителя; благословляющий взор ее покоится на святом Франциске, и десница простерта над его головою; сам праведник в одежде основанного им духовного чина преклонил колена перед царицею небесною и весь погрузился в самого себя; позади Франциска мы видим св. Антония Падуйского с книгою и лилеею в руках; по другой стороне впереди стоит св. Иоанн Креститель: он, кажется, смотрит на нас и указывает нам на того, чьим был предтечею и кому уготовил путь в своем земном странствовании. Возле него св. Екатерина с пальмовою ветвию, окруженная орудиями своей смерти. На подножии престола изображены некоторые события Ветхого Завета. Все сии образы величественны, смелы; впрочем, кроме самого Франциска, они не имеют той легкости, которую замечаем в произведениях современных, но Корреджио тогда еще вовсе были неизвестны творения римских художников. Несмотря на жесткость, богатый вымысел и строгая важность всей картины вселяют благоговение в зрителя.

Корреджио, будучи еще учеником Бианки и Анд. Монтеньи, не знал, но предчувствовал уже ту прелесть, которая столь пленительна в творениях четвертого его возраста. Решившись идти собственным путем, быть творцом, а не подражателем, Корреджио недолго обращал все свое внимание только на усовершенствование живописи, царствующей в его родине; он вдруг устремился искать новых красот, тревоживших его душу в смутных видениях. Тогда уже он видел небесных дев, Харит, хотя туман еще и скрывал от него их таинства, хотя их появление, для него новое, восхитительное, и заставило его забыть на время строгость и величие, коих они страшатся только по видимому, но собственно едва ли не всего более любят украшать своими свежими цветами.

Таким образом произошел вторый период Корреджиева искусства. В нем художник еще только ловит Грацию, нередко слишком страстно, и потому иногда выпускает ее из рук своих. К произведениям сего времени жизни Корреджиевой принадлежит его святый Георгий [33]. Расположение сей картины чрезвычайно сходствует с предыдущею: мы снова видим на высоком престоле святую Деву с ее божественным сыном; перед нею стоит

победоносный воитель господень, от коего вся картина заимствует свое название: он прикрыт светлым панцирем и держит в правой руке копье; левая нога его попирает сраженного дракона. Перед ним четверо голых детей играют его мечом и шлемом. За ним стоит св. Петр Мученик. С другой стороны являются св. Иоанн Креститель и св. Геминиян; последний готовится вручить Богоматери образец построенной им в Модене церкви, которую подносит улыбающийся мальчик. Голова святой Девы была бы неподражаемо прелестна для простой смертной; но красота царицы небесной должна быть величественнее. Святый Георгий превосходен и смелостию своих очерков живо напоминает изображения мужей великого Корраччи. Мальчик, держащий над своею головою моденскую церковь, соединяет в себе все, что Корреджио тогда разумел под прелестным, и в самом деле заслуживает по своей милой, приветливой улыбке, чтоб мы его отличили от прочих четырех детских изображений, на чьих не слишком правильных лицах эта самая улыбка близко подходит к кривлянию. Впрочем, прежняя Корреджиева жесткость здесь уже в гораздо уменьшенной степени и только несколько видна в положении тела и в движениях рук, не слишком свободных. Если бы Корреджио продолжал писать в этом роде, может быть, он впал бы в театральную принужденность, с коею познакомили нас италиянские и французские живописцы веков XVII и XVIII и удалился бы навсегда от истинной прелести, неразлучной с простотою.

Но Корреджио был гений; но Корреджио около сего времени узнал Микеля-Анджело и творения римской живописи. Он возвратился к простоте своего первого периода и удержал все истинно превосходное второго; кроме того, научился такому расцвечению, к которому подходят цветы редкого живописца позднейшего времени; к сему третьему периоду Корреджиевой жизни принадлежит его славная картина «Святая ночь». Когда мы в первый раз навестили галерею, А. Л. [34] подозвал меня к ней и несколько раз повторил: «На колена! На колена!» И в самом деле, освещение меня так поразило, что я был готов пасть на колена. Содержание этого известнейшего Корреджиева творения — поклонение пастырей. Свет исходит от самого младенца Иисуса; солома под ним как будто превратилась в связку лучей солнечных; блеск его преображает черты матери, которая лицом склонилась на ясли, а с другой стороны ослепляет трех пастухов,

пришедших обожать дивного младенца; но не только они, и облако, ниспустившееся с ангелами в смиренную обитель Спасителя, и сии ангелы сами — все вокруг заемлет сияние от него, от отца света. Позади виден в мраке св. Иосиф, занятый кормом осла, и еще далее вне вертепа несколько пастухов при стаде: очерки их оттеняются от темно-синего воздуха; край небосклона белеет, а слабый рассвет едва только рождается. Чем долее смотришь, тем более забываешься, тем более сердце готово верить сверхъестественному!

Но рассмотрим порознь каждое действующее лицо сего чудного представления: пастухи, пришедшие обожать Спасителя, могут быть отец, сын и мать. Сия последняя, слабая женщина, поражена священным ужасом и с трепетом, заслоняя лицо руками, отступает назад. Сын, не постигающий совершенно всего, не чувствует боязни матери, но любопытство не допускает до его души того благоговения, которое бы его исполнило, если бы знал, что здесь совершается; он обращается с вопросом к отцу: этот вопрос видишь во всех чертах, во всем положении его тела. Старик, который столько же превышает своих товарищей душою, сколько превосходит их величественных ростом, стоит к зрителю боком и склонился на посох: все черты его, хотя видны только вразрез, выражают тихую, глубокую задумчивость; судьба, кажется, разоблачается перед взором сего мудрого пастыря. Темнота не позволяет распознать лица Иосифа; но наклонение его тела показывает, что и его занимают великие мысли. Черты ангелов являют радость и благоговение.

Что мне сказать о тебе, святая Матерь? Какое чувство исполняет в сие дивное мгновение твою божественную душу? Всмотритесь в нее: она вполне матерь, она вся любовь. Неувядаемая святость расцветает на сих бледных ланитах и веждах, которые ослабели от страдания, но его не заметили! В выражении лица неисчерпаемый источник самоотвержения, любви и смирения! К чему после того черты и размеры, которые бы были строже и правильнее и более подходили к красоте лиц греческих? Можно ли после того заметить, что и в этом чудесном произведении художник изредка впадает в недостатки своего второго периода, что чувство, может быть, слишком резко говорит на лице жены пастыря, что ангелы тяжелы, ноги их длинны и их движения могли бы быть свободнее?

Прекрасная Магдалина Корреджиева[35] принадлежит к сему же третьему его периоду, но уже составляет переход к четвертому. Несмотря на простоту всего вымысла, в этой картине приметно, что Корреджио уже более уверен в себе, что он уже знает истинную Грацию и потому смелее может следовать ее вдохновениям. Подобно Баттониевой Магдалине, Корреджиева в уединении занята размышлением. И та и другая в голубой одежде; но Баттониева писана почти вразрез, а Корреджиева к нам обращена лицом! Локоны сей последней мягкостью и нежностью превосходят даже локоны Баттониевой.

Наконец, мы перед последнею картиною Корреджио. Она называется св. Севастияном и по своему вымыслу напоминает первую и вторую из находящихся здесь картин художника. И здесь св. Дева благословляет ратника за слово божие, но св. Севастиян не в мирной одежде священника, не в блестящих доспехах воина: он привязан к дереву и готов принять смерть мученическую; небесная, младенческая радость на лице святого юноши! прелестное видение исполнило всю его душу, и он, кроме него, ничего не видит. Впереди на коленах св. Геминиян в священническом облачении, он указывает на мученика. Возле него опять мальчик с моденскою церковью. С правой стороны представлена смерть святого Роха. На небе по обеим сторонам Богоматери преклоняют колена два младенца; а трое других, из коих один верхом на облаке, кружатся в невинной резвости, подав друг другу руки. Мы имеем уже понятие о выражении, о характере св. Севастияна. Св. Геминиян почтенный старец: в чертах его живое благочестие. Но всего милее, всего прелестнее дети, окружающие царицу небесную, особенно двое первых. С каким чистым чувством они простерли к ней свои маленькие руки; сколь несказанно просты и невинны их личики, которых никогда не искажали ни страсти, ни вина, ни печали, которые знали одну любовь и радость! Как прелестно падают с чела вперед их длинные каштановые локоны! Как мило склонились головки их! Здесь все: свобода, легкость, правильность, воображение, чувство! Сами Грации водили кистию Корреджио, когда писал он этих божественных младенцев. Надеюсь, что не слишком долго останавливался на произведениях Корреджиевых: история успе-

хов и заблуждений великого художника с примерами из его собственных творений показалась мне занимательною и удобною развить некоторые истины, важные в феории изящных искусств и поэзии, входящ⟨ей⟩ в состав всех их.

Теперь станем продолжать свою эстетическую прогулку.

Перед нами великолепное торжество Бахуса [36]; рисунок оного — руки Рафаэля и находится ныне в Англии, картина же писана художником Бенвенуто Гарофило, прозванным Тизио. Здесь каждое изображение должно быть предметом внимательного, глубокого учения для молодого художника; но превосходнейшее изо всех — пьяный Силен, которого фавны и сатиры держат надо львом. Блаженное расслабление, которое розлито по его членам, приводит в отчаяние всякого описателя.

Теперь мы стоим у преддверия святая святых: друзья! вы видите Мадонну ди Сан-Систо, дивное создание Рафаэля! Вы смотрите, и на лицах ваших что-то похожее на ропот неудовлетворенного ожидания; вас удерживает изъявить неудовольствие одно опасение показаться людьми без вкуса.

Утешьтесь: может быть, то же было со всеми, взглянувшими в первый раз на сие простое и при всей своей простоте божественное творение! Признаемся, что его расцвечение слабо, что оно гораздо живее не только во всех произведениях Корреджио, Тицияна, Гвида, Корраччи, но и в картинах многих второстепенных художников. Вымысл Рафаэлевой картины прост: но ужели в нем нет ничего необыкновенного? Богоматерь спускается на облаке со своим божественным младенцем; святая Варвара и один из патриархов римской церкви стоят по обеим сторонам на коленях. Два покоящиеся внизу ангела, которые видны только по грудь, обратили взоры вверх, к небесной Матери. Зеленая занавес поднята с обеих сторон, и все небо составлено из бесчисленного множества голов херувимских: каждая из сих послед-

них образцова, каждая из сих носит на себе печать совершенства! Но тайный трепет прокрался в душу мою! Передо мною видение — неземное: небесная чистота, вечное, божеское спокойствие на челе младенца и Девы; они исполнили меня ужаса: могу ли смотреть на них я, раб земных страстей и желаний? Что же? Кротость, чудная кротость на устах Матери приковала мои взоры: я не в силах расстаться с сим явлением, если бы и гром небесный готов был истребить меня, недостойного! Посмотрите, она все преображает вокруг себя! с младенческим благоговением взирает на нее сей священный старец, сложивший перед нее тиару! Глубокомысленно, с высоким чувством устремляет к ней свои прекрасные очи сей ангел-младенец, опершийся на одну руку; внимательно и тихо смотрит даже товарищ его, который, кажется, только что перестал кружиться по воздуху: он вдруг увидел Божественную и невольно забылся в ее лицезрении! Святая Варвара, отблеск чистоты и кротости небесной царицы, стоит перед нею с потупленными взорами и в тишине сердца принимает влияние ее благодати. Мысли и мечты, которые озаряли и грели мою душу, когда глядел на сию единственную Богоматерь, я описать ныне уже не в состоянии; но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда возвращался от нее домой! Много видел я изображений чистых дев, нежнолюбящих матерей; в глазах их веру, вдохновение и ту скорбь, которой я готов был сказать: ты неизреченна! Мне говорили: они представляют Мадонну; но она одна и явилась Рафаэлю!

«Кто однажды вкусил небесное,— говорит один из св. отец,— тот уже чувствует отвращение от земной пищи!» Но то же самое вдохновение, которое исполняло Рафаэля, ниспускалось в душу и других художников, хотя было и слабее, хотя и отражалось в них не во всей чистоте первобытной. Станем его отыскивать и порадуемся, где найдем следы его!

В св. Матфее Аннибала Корраччи [37] сильная кисть художника смело представила образец величественного мужа: положение его поднятой вверх головы превосходно; он скрижаль свою держит свободно и восторженно.

Не менее прекрасен в своем роде св. Иоанн Креститель, стоящий по другую сторону престола Богоматери и указывающий на младенца Спасителя: все его тело говорит, и кажется, слышу слова его: «Се агнец божий!» Св. Франциск, лобзающий ногу Спасителя, несколько слабее, хотя его голова хороша, расцвечение и склад одежды совершенны; но не смотрите, особенно после Богоматери Рафаэлевой, на эту Мадонну и на младенца ее: в них ничего нет высокого. Корраччи не часто постигал красоту, хотя редкий подобно ему владел силою и смелостию.

Вот два изображения по пояс Карла Дольче [38], принадлежащего к лучшим живописцам XVII столетия: он менее других удалился от простоты средней Италиянской школы. Здесь дочь Ирода и св. Цецилия, его работы; в обеих расцвечение гораздо темнее его обыкновенного, рисовка гораздо свободнее и естественнее. Особенно прелестна Цецилия: ее опущенные длинные ресницы придают ей что-то таинственное, неизъяснимое; лицо чрезвычайно нежно и писано с большим старанием (con amore *), а губы так душисты, мягки и алы, что разлучаешься с ними только поневоле, только для того, чтобы остановиться на перстах ее чудных рук, которые, кажется, единственно для того и созданы, дабы вызывать из клависей звуки волшебные; под густыми каштановыми локонами мы видим высокое, мыслящее чело, которому столь же знакомо вдохновение, сколь знакомо чувство душе, разливающейся по всем чертам ее.

Вот картина, которая имеет и непременно должна иметь большое достоинство для живописца; но поэта, старающегося отыскать в произведении художеств идеал, она оставляет равнодушным. Говорю о картине Джюлия Романо, известной под названием Марии с ванною [39]: молодая мать моет своего робенка; другой, побольше, стоит на столе возле ванны и приливает воду; все фигуры в некотором отношении превосходны: они правильны, свободны, мягки, красивы. Но где здесь св. Дева, Иисус, Иоанн? Где и тень того, что требуешь от их изображе-

---

* Дословно: с любовью *(ит.)*.— *Ред.*

ния? Картины такого рода похожи несколько на стихотворения, писанные для одних стихотворцев, т. е. такие, из которых поэт может учиться слогу и гармонии, которые представляют его воображению свежие, новые краски, смелые, необыкновенные обороты, но в которых нет богатых, глубоких мыслей и общей для всех занимательности.

Заглянем на минуту в галерею пастелей и остановимся только перед прелестным Амуром Рафаэля Менгса [40], а потом посмотрим, не получим ли из всего нами виденного таких общих следствий, которые бы просветили нас в рассуждении феории изящных художеств и матери их поэзии. Какие картины должны быть признаны лучшими, образцовыми в большом множестве разных родов, художников, земель и времен, нами рассмотренных? Без сомнения, те, которые, удовлетворив главным требованиям искусства, в то же время удовлетворяют вкусу и потребностям души лучшей части зрителей, т. е. одаренных чувством, воображением, рассудительностию и постигающих вдохновение; другими словами — те, которые в большем совершенстве соединяют чувство, воображение, обдуманность и плод вдохновения,— идеал с правильностию и красотою рисовки, анатомии, размеров, перспективы и свежестью красок — те, которые в большем совершенстве соединяют поэзию с искусством. Нидерланды по большей части знали одно искусство, а художники старинных школ Италиянской и Немецкой одну поэзию, и она, именно потому, что была только поэзия, не могла у них возвыситься до идеала: одни лучшие живописцы лучшего времени Италии постигали и чувствовали совершенство, и никто более Рафаэля. В словесности точно таким образом: можно разделить писателей на поэтов и слогоискусников, к которым последним причислим и тех стихотворцев, коих единственное достоинство хороший слог и гармония; в Англии много поэтов, но мало стилистов; Франция изобилует стилистами и едва ли может назвать нам двух или трех истинных поэтов; Гомер соединяет в себе поэзию с искусством писать в той же степени, в которой Рафаэль поэзию и искусство изображать.

О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ, ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ, В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Решаясь говорить о направлении нашей поэзии в последнее десятилетие, предвижу, что угожу очень не многим и многих против себя вооружу. И я наравне со многими мог бы восхищаться неимоверными успехами нашей словесности. Но льстец всегда презрителен. Как сын Отечества, поставляю себе обязанностию смело высказать истину.

От Ломоносова до последнего преобразования нашей словесности Жуковским и его последователями у нас велось почти без промежутка поколение лириков, коих имена остались стяжанием потомства, коих творениями должна гордиться Россия. Ломоносов, Петров, Державин, Дмитриев, спутник и друг Державина — Капнист, некоторым образом Бобров, Востоков и в конце ⟨пред⟩последнего десятилетия — поэт, заслуживающий занять одно из первых мест на русском Парнасе, кн. Шихматов [1] — предводители сего мощного племени: они в наше время почти не имели преемников. Элегия и послание у нас вытеснили оду. Рассмотрим качества сих трех родов и постараемся определить степень их поэтического достоинства.

Сила, свобода, вдохновение — необходимые три условия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное что, как необыкновенное, т. е. сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя. Из сего следует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над событиями ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновения. Всем требованиям, которые предполагает сие определение, вполне удовлетворяет одна *ода*, а посему, без сомнения, занимает первое место в лирической поэзии или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии лирической. Прочие же роды стихотворческого изложения собственных чувств — или подчиняют оные повествованию, как-то гимн, а еще более баллада, и, следовательно, переходят в поэзию эпическую; или же ничтожностию самого предмета налагают на гений оковы, гасят огонь его вдохновения. В последнем случае их отличает от прозы одно только стихосложение, ибо прелестью и благозвучием — достоинствами, которыми они по необходимости ограничиваются,— наравне с ними может обла-

дать и красноречие. Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу Неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя. Сверх того, в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд Промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга.

В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит об самом себе, об *своих* скорбях и наслаждениях. Элегия почти никогда не окрыляется, не ликует: она *должна* быть тиха, плавна, обдуманна; должна, говорю, ибо кто слишком восторженно радуется собственному счастию — смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а бешенство. Удел элегии — умеренность, посредственность (Горациева aurea mediocritas *) **.

Son enthousiasme paisible
N'a point ces tragiques fureurs;
De sa veine féconde et pure
Coulent avec nombre et mesure
Des ruisseaux de lait et de miel,
Et ce pusillanime Icare
Trahi par l'aile de Pindare
Ne retombe jamais du ciel! ***

Она только тогда занимательна, когда, подобно нищему, ей удастся (сколь жалкое предназначение!) вымолить, выплакать участие или когда свежестью, игривою пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его. Последнему требованию менее или более удовлетворяют элегии древних и элегии Гетевы, названные им римскими; но

---

* Золотая середина *(лат.).— Ред.*

** Вольтер сказал [2], что все роды сочинений хороши, кроме скучного; он не сказал, что все равно хороши. Но Буало — верховный, непреложный законодатель толпы русских и французских Сен-Моров и Ожеров — объявил: Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème! [Сонет без промахов стоит длинной поэмы! *(фр.) — Ред.*] [3] Есть, однако же, варвары, в глазах коих одна отважность предпринять создание Эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, триолеты [4], шарады и — может быть, баллады. *Соч⟨инитель⟩.*

*** Его мирный восторг далек от трагических неистовств, из его плодотворного и чистого порыва проистекают, ритмично и размеренно, ручьи млека и меда, и этот малодушный Икар, которому изменило крыло Пиндара, никогда не падает с неба! *(фр.)* [5]

наши Греи почти * вовсе не искушались в сем светлом, полуденном роде поэзии.

Послание у нас — или та же элегия, только в самом невыгодном для ней облачении, или сатирическая замашка, каковы сатиры остряков прозаической памяти Горация, Буало и Попа, или просто письмо в стихах. Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что — слава богу! — здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались! [6] Уже легче, если по крайней мере ретивый писец вместо того, чтоб начать:

Милостивый государь NN,

воскликнет:

...чувствительный певец,
Тебе (и мне) определен бессмертия венец! —

а потом ограничится объявлением, что читает Дюмарсе, учится азбуке и логике, никогда не пишет ни *семо*, ни *овамо* и желает быть ясным! [7] Душе легче, говорю, если он вдобавок не снабдит нас подробным описанием своей кладовой и библиотеки [8] и швабских гусей [9] и русских уток своего приятеля.

Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду на элегию и послание?

Жуковский первый у нас стал подражать *новейшим* немцам, преимущественно Шиллеру. Современно ему Батюшков взял себе в образец двух пигмеев французской словесности — Парни и Мильвуа [10]. Жуковский и Батюшков *на время* стали корифеями наших стихотворцев и особенно той школы, которую ныне выдают нам за романтическую.

Но что такое поэзия романтическая?

Она родилась в Провансе [11] и воспитала Данта, который дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго рабского подражания римлянам, которые сами были единственно подражателями греков, и решился бороться с ними. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, народную стали называть романтическою. Суще-

* Барон Дельвиг написал несколько стихотворений, из которых, *сколько помню*, можно получить довольно верное понятие о духе древней элегии. Впрочем, не знаю, отпечатаны они или нет. *Соч⟨инитель⟩*.

ствует ли в сем смысле романтическая поэзия между немцами?

Исключая Гете, и то только в некоторых, немногих его творениях, они всегда и во всяком случае были учениками французов, римлян, греков, англичан, наконец — италиянцев, испанцев. Что́ же отголосок *их* произведений? что же наша романтика?

Не будем, однако же, несправедливы. При совершенном неведении древних языков, которое отличает, к стыду нашему, всех почти русских писателей, имеющих некоторые дарования, без сомнения, знание немецкой словесности для нас не без пользы. Так, напр., влиянию оной обязаны мы, что теперь пишем не одними александринами и четырехстопными ямбическими и хореическими стихами.

Изучением природы, силою, избытком и разнообразием чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих творений великие поэты Греции, Востока и Британии неизгладимо врезали имена свои на скрыжалях бессмертия. Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которому идем теперь? Переводчиков никто, кроме наших дюжинных переводчиков, не переводит. Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и ощущения. Сила? — Где найдем ее в большей части своих мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведений? У нас все *мечта* и *призрак*, все *мнится*, и *кажется*, и *чудится*, все только *будто бы*, *как бы*, *нечто*, *что-то*. Богатство и разнообразие? — Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуём и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях *. Если бы сия грусть не была просто ритори-

---

* Да не подумают, однако же, что не признаю ничего поэтического в сем сетовании об утрате лучшего времени жизни человеческой, юности, сулящей столько наслаждений, ласкающей душу столь сладкими надеждами. Одно, два стихотворения, ознаменованные притом печатью вдохновения, проистекшие от сей печали, должны возбудить живое сочувствие, особенно в юношах, ибо кто, молодой человек, не вспомнит, что при первом огорчении мысль о ранней кончине, о потере всех надежд представилась его душе, утешила и умилила его? Но что сказать о словесности, которая *вся* почти основана на сей одной мысли? *Соч⟨инитель⟩*.

ческою фигурою, иной, судя по нашим Чайльдам-Гарольдам [12], едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины везде одни и те же: *луна*, которая — разумеется — *уныла* и *бледна*, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения *Труда*, *Неги*, *Покоя*, *Веселия*, *Печали*, *Лени* писателя и *Скуки* читателя; в особенности же — *туман*: туманы над водами, туманы на бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя [13].

Из слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный *для немногих* [14] язык, un petit jargon de coterie *. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его *архитравами, колоннами, баронами, траурами,* германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами. О мыслях и говорить нечего. Печатью народности ознаменованы какие-нибудь восемьдесят стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина [15].

Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии перед так называемою классическою позднейших европейцев. Родоначальники сей мнимой классической поэзии более римляне, нежели греки. Она изобилует стихотворцами — *не поэтами*, которые в словесности то же, что бельцы ** в мире физическом. Во Франции сие вялое племя долго господствовало: лучшие, истинные поэты сей земли, напр. Расин, Корнель, Мольер, несмотря на свое внутреннее омерзение, должны были угождать им, подчинять себя их условным правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны, носить их огромные парики и нередко жертвовать безобразным идолам, которых они называли вкусом, Аристотелем, природою, поклоняясь под сими именами одному жеманству, приличию, посредственности. Тогда

* Кружковый жаргон *(фр.).— Ред.*
** Белец, или альбинос, белый негр.

ничтожные расхитители древних сокровищ частым, холодным повторением умели оподлить лучшие изображения, обороты, украшения оных: шлем и латы Алкидовы [16] подавляли карлов, не только не умеющих в них устремляться в бой и поражать сердца и души, но лишенных под их бременем жизни, движения, дыхания. Не те же ли повторения наши: *младости* и *радости*, *уныния* и *сладострастия*, и те безымянные, отжившие для всего брюзги, которые — даже у самого Байрона («Childe Harold»),— надеюсь, далеко не сто́ят не только Ахилла Гомерова, ниже́ Ариостова Роланда, ни Тассова Танкреда, ни славного Сервантесова Витязя печального образа,— которые слабы и недорисованы в «Пленнике» и в элегиях Пушкина, несносны, смешны под пером его *переписчиков?* Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Лагарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»; но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро бо́льшим перед ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества!

Всего лучше иметь поэзию народную. Но Расином Франция отчасти обязана Еврипиду и Софоклу? Человек с талантом, подвизаясь на пути своих великих предшественников, иногда открывает области новых красот и вдохновений, укрывшиеся от взоров сих исполинов, его наставников. Итак, если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания? Между тем наши живые каталоги, коих *взгляды*, *разборы*, *рассуждения* беспрестанно встречаешь в «Сыне отечества», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Благонамеренном» и «Вестнике Европы», обыкновенно ставят на одну доску словесности греческую и — латинскую, английскую и — немецкую; великого Гете и — недозревшего Шиллера [17]; исполина между исполинами Гомера и — ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара и — прозаического стихотворителя Горация; достойного наследника древних трагиков Расина и — Вольтера, который чужд был истинной поэзии; огромного Шекспира и — однообразного Байрона! [18] Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римлянином или греком, освященным приговором Лагарпова «Лицея». Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо

французы и по сю пору не перестали быть нашими законодавцами; мы осмелились заглядывать в творения соседей их единственно потому, что *они* стали читать их.

При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей.

Но не довольно — повторяю — присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности.

Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие надежды. Я не обинулся смело сказать [19] свое мнение насчет и его недостатков; несмотря на то, уверен, что он предпочтет оное громким похвалам господина издателя «Северного архива» [20]. Публике мало нужды, что я друг Пушкина, но сия дружба дает мне право думать, что он, равно как и Баратынский, достойный его товарищ, не усомнятся, что никто в России более меня не порадуется их успехам!

Сеидам же, которые непременно везде, где только могут, провозгласят меня зоилом [21] и завистником, буду отвечать только тогда, когда найду их нападки вредными для драгоценной сердцу моему отечественной словесности. Опровержения благонамеренных, просвещенных противников приму с благодарностию; прошу их переслать оные для помещения в «Мнемозину» и наперед объявляю всем и каждому, что любимейшее свое мнение охотно променяю на лучшее. Истина для меня дороже всего на свете!

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

> Вы на воде, на прозе взрощены:
> Для вас поэзия и мир без глубины...
> *(Вечный жид, гл. 3* [1]*)*

В наш век, или, точнее, в наши дни (*ныне* то, на что прежде были нужны годы, совершается в месяц, в неделю, в день),— в наши дни с первого взгляду нет уже ничего постоянного. Все потряслось, все движется, изменяется. На Западе тают формы, которые даже средь вихря государственных потрясений признавались неприкосновенными, необходимыми: бури не сломили якоря, но ржавчина его перегрызла. Католицизм, омытый и вновь оплодотворенный кровью своих недавних мучеников, процвел было снова, а ныне опять вянет, опять опускает к земле ветви: гроза оживила его, но на срок короткий, ибо червь подъел корень, гниль проникла в сердцевину его. Одно наше отечество исключение: алтарь и престол святы народу русскому. Но перейдем в область философии, наук, критики; тут и мы почувствуем, что не стоим уже на вечной, неколебимой земле Гомеровой, а несемся непостоянною планетою Галлея [2], которой жизнь и сущность — перемена и движение; тут и мы услышим голос разочарования, правда, слабый только отголосок безверия соседей наших, да все же нерадостный.

Так, напр⟨имер⟩, и у нас распространяется мнение, что время поэзии минуло, и у нас громче и громче требуют прозы — дельной, я чуть было не сказал: *деловой* прозы. Утилитарная система [3], для которой щей горшок вдесятеро важнее всех богов Гомера, всего мира Шекспира, и у нас с дня на день приобретает новых поклонников. И у нас занятия словесностию перестают считать призванием (vocation), священством, трудом бескорыстным и чистым, великим, возвышенным.— Лет пятнадцать назад молодой человек, начиная свое литературное поприще, бился не из многого: если журналист удостоивал принять его статейку о том, другом, третьем, его стишки, конечно, еще слабые, его перевод с французского или немецкого — юноша был доволен; он был совершенно счастлив, когда вдобавок редактор в коротком замечании отзывался о нем с похвалою покровителя как о таланте, подающем хорошие надежды. Тогда еще редко брали плату за сотрудничество писатели даже опытные; корыстолюбием оживлялись одни

почти хозяева (и то не все) наших немногих повременных изданий — порою, конечно, взиравшие на тщеславную, но великодушную молодежь с улыбкою покровительства и сожаления; они одни, быть может, издевались над явлением, которого они не способны были понять, но которое истинно было прекрасно.— Ныне едва ли найдут повод к подобным насмешкам: народ *поумнел*; ныне и восемнадцатилетний стихотворец очень хорошо знает цену деньгам и продает свои элегии.

Еще хуже: и у нас хотят превратить литераторов не в ремесленников (это было бы еще сносно), нет — в гаеров [4], ломающихся в угоду и для развеселения толпы бессмысленной. И у нас писатель даровитый, учености редкой, любимый публикою, писатель, при *других понятиях* достойный бы быть ее вождем и наставником, не постыдился подписать имя, конечно вымышленное, но уже всем известное, под словами, которых, признаюсь, я никак бы ⟨не⟩ ожидал от человека, не чуждого иногда вдохновения. «Стихотворения,— говорит Барон Брамбеус,— стихотворения, то есть поэмы в стихах, и поэмы в прозе, то есть романы, повести, рассказы, всякого рода сатирические и *описательные* (?) творения, назначенные к *мимолетному* услаждению образованного человека,— вот область словесности и настоящие ее границы».

Что до меня, я бы лучше согласился быть сапожником, чем трудиться в *этих* границах и для *этой* цели. Далее видим, что светский разговор для барона — прототип изящности и что публика, по его мнению, состоит из жалких существ, которые ни рыба ни мясо, ни мужчины ни женщины. «Увы! — восклицает он в конце своего разглагольствия,— кто из нас не знает, что в числе наших *нравственных истин* есть много оптических обманов?» После такого *«увы!»* и *таких* понятий о словесности считаю позволительным несколько усомниться в искренности нападок Брамбеуса на новых французских романистов и драматургов. Однако это только мимоходом.

В том же журнале (в статье о посмертных сочинениях Гете) [5] попалось мне мнение Больвера, разделяемое издателями: проза, говорит англичанин,— «проза *сердца́* просвещает, трогает, возвышает гораздо более поэзии...» «Самый философический поэт наш, преложенный в прозу, сделается пошлым. «Чайльд-Гарольд», кажущийся таким глубокомысленным творением, обя-

зан этим глубокомыслием своему метрическому слогу: в самом деле, в нем нет ничего нового, кроме механизма слова... Стих не может вместить в себе той нежно-утонченной мысли, которую ⟨выражает⟩ великий писатель в прозе; рифма всегда ее увечит» [6].

Ни слова уже о прекрасном слоге *нашего* великого писателя в прозе, т. е. русского переводчика; но почему же, если стих увечит мысль, «Чайльд-Гарольд» кажется глубокомысленным творением? У меня нет Байрона в подлиннике: перечитываю его в прозе — и в дурной французской прозе,— а все же удивляюсь изумительной глубине его чувств и мыслей (хотя тут мысли и второстепенное дело). Сверх того: сам я рифмач и клянусь совестью, что рифма очень часто внушала мне новые, неожиданные мысли, такие, которые бы мне не пришли бы и на ум, если бы я писал прозою; вдобавок мера и рифма учат выражать мысль кратко и сильно, выражать ее молнией, у *наших* же великих писателей в прозе эта же мысль расползлась бы по целым страницам.

Другой вопрос: может ли существовать поэзия слова без стихотворства? Или, лучше, скажем: должна ли она существовать без него? В стихах и в поэтической прозе, в музыке, в живописи, в ваянии, в зодчестве — поэзия все то, что в них не искусство, не усилие, т. е. мысль, чувство, идеал. Можно ли отделить идеал Аполлона Бельведерского от его проявления в мраморе? Поймешь ли чувство, внушившее Моцарту его «Requiem», сняв с этого чувства дивное тело звуков, в какое оно оделось творческим воображением божественного художника? Найду ли чем выразить мысль, ожившую в Мюнстере Страсбургском [7], когда разрушу самый Мюнстер? «Но твои сравнения ничего не доказывают: стихи действительно заменялись, и удачно, прозою: Шатобриан, Жан-Поль, Гофман, Марлинский — поэты же, хотя и не стихотворцы; даже и то, что сам ты сказал выше про перевод Байрона в прозе, говорит против тебя». Но и медь употребляют же вместо мрамора; однако когда Фальконет хотел выразить не одну общую мысль величия, как в Петре, а целый ряд мыслей, полную, особенную физиогномию, он предпочел мрамор и создал своего Амура [8]. В своем «Преображении» Мюллер достиг всей высоты совершенства, до какой только может дойти гравер, а между тем сошел с ума, потому что слишком живо чувствовал, как слабо его оттиски передают бессмертное творение Рафаэля [9],— и это помешательство,

признаюсь искренно, в глазах моих приносит Мюллеру более чести, чем все его произведения. И Шатобриан и Жан-Поль, Гофман и Марлинский ужели потеряли бы что, если б их высокие мысли, живые, глубокие ощущения, новые, неожиданные картины выразились в стихах мощных, поразили воображение, врезались в память с тою краткостью и силой, которых у них (что ни говори) нет, которые даются только стихом? «Но кто станет читать длинный роман в стихах, волшебную сказку, очерки вроде очерков Марлинского?» — «Онегин» — роман в стихах, не короткий, да и по своему содержанию гораздо менее способный к стихотворным формам, нежели «Атала» [10], а его читают же, и едва ли не больше «Аталы». Кто не знает наизусть волшебных сказок и баллад Гете? А что же очерки Марлинского, если не подражание подобным очеркам в поэмах Байрона?

Еще одно: ужели самые формы, в которые Шатобриан, Жан-Поль, Марлинский облекают то, что у них истинно поэзия, могут назваться прозою? — Что общего между дикими, гармоническими напевами «Аталы» и обыкновенным хорошим разговорным языком французов? Полиметры [11], которыми Жан-Поль расцвечивает все свои творения, ужели не стихи? — Гофман и Марлинский несколько ближе к языку ежедневному, но и у них те места, которыми они хотят потрясти нервы читателя, требуют, чтоб произнесли их вслух, чтоб поняли их музыку; итак, и в них пение, а где пение, там и стихи.

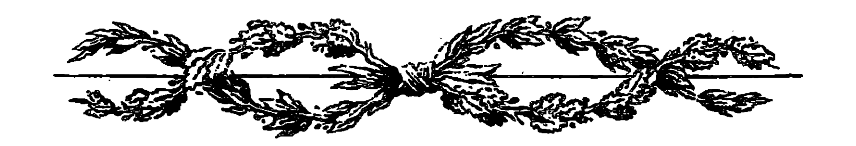
Так! раз и навсегда: язык печали
И вдохновения — язык тех дум
Таинственных, которых полон ум,—
Мне кажется, от посторонней силы
Заемлет на мгновенье мощь и крылы,
Чтобы постичь и высказать предмет,
Для коего названья в прозе нет,—
Язык тех дум не есть язык газет.

(«Сирота», гл. 3)

«Да не смущаются же сердца ваши!» Поэзия не умирает и не умрет; не умрет и искусство, без которого поэзия на земле на нашла бы средств и стихий к проявлению.



ДНЕВНИК
ПИСЬМА



ДНЕВНИК

⟨1831 год⟩

17 декабря.

Давно уже у меня в голове бродит вопрос: возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков? «Беппо» и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина — попытки в этом роде,— но, надеюсь, всякий согласится, попытки очень и очень слабые, если их сравнить с «Илиадою» и «Одиссеею»: не потому, что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), но главное, что они смотрят на европейский мир как судьи, как сатирики, как поэты-описатели; личность их нас беспрестанно разочаровывает — мы не можем обжиться с их героями, не можем забыться. Тысячелетия разделяют меня с Гомером, а не могу не любить его, хотя он и всегда за сценою, не могу не восхищаться свежестью картин его, верностию, истиною каждой малейшей даже черты, которою он рисует мне быт древних героев, которою вызывает их из гроба и живых ставит перед глаза мои; ювеналовские, напротив, выходки Байрона и Пушкина заставляют меня презирать и ненавидеть мир, ими изображаемый, а удивляться только тому, как они решились воспевать то, что им казалось столь низким, столь ничтожным и грязным. Нет, Гомер нашего времени — если он только возможен — должен идти иною дорогою.

20 декабря.

Тяжелый день! «Доколе, господи, забудеши мя до конца? Доколе отвращаеши лице твое от меня? Доколе

положу советы в душе моей, болезни в сердце моем день и нощь?»[1] — вот слова, которые исторглись из души, верно, столь же измученной, как моя; боже мой! когда конец? Когда конец моим испытаниям? Несчастные мои товарищи по крайней мере теперь спокойны: если для них и кончились все надежды, то кончились и все опасения; грустно им — они горюют вместе; а я один, не с кем делиться тоской, которая давит меня; к тому же нет у меня и той силы характера, которая, может быть, поддержала бы другого. Не знаю за собой никакой вины, но боюсь за тех, которые были ко мне сострадательны: ужасно подумать, что они за человеколюбие свое могут получить неприятности[2]; я бы охотнее подвергся всему, чем воображать, что заплачу им такою монетою. А между тем, что мне делать?

21 декабря.
Поутру.

Я бы не должен давать волю перу моему, не должен бы поверять бумаге чувства мои: но что утешит меня? Мысль, что это прочтут, может быть, поймут иначе... Но мне скрываться нечего: эти новые неприятности единственно произошли от моего несчастного положения, от одиночества, на которое я осужден; между тем если бы у меня был товарищ, кто скажет, не был ли бы я подвержен другого рода огорчениям? Господи боже мой, даруй мне терпение, на меня одного излей сию горькую чашу, да не буду я поводом страдания для других! Боже мой, тебе известно каждое помышление мое, каждое чувство, прежде чем оно даже мне самому ощутительно! Ты знаешь, чего прошу, чего требует сердце мое: укрепи и утеши меня, мой господи, и не вниди в суд с рабом твоим, яко не оправдается пред тобою всяк живый!

Вечером.

И над ними бог: они не постраждут за доброе дело — хочу верить и надеяться. Буду за них молиться со всем усердием: господь не презрит молитвы моей!

1832 год

22 января.

В Бутурлине прочел я описание Полтавской битвы: в самых тактических действиях оной много для воображения, много такого, чем бы поэт мог воспользоваться. У нас отличные два стихотворца, Шихматов и Пушкин, *прославляли* это сражение [3], но не *изобразили*, ибо то, что у них говорится о Полтавском сражении, можно приноровить и к Лейпцигскому [4], и к Бородинскому, и к сражению под Остерленкою [5], стоит только переменить имена собственные. Полагаю, что Ломоносов, если бы довел свою «Петриаду» [6] до сей катастрофы, не впал бы в этот недостаток не потому, чтобы был бóльшим поэтом, чем Шихматов или Пушкин, но потому, что даже в одах его заметно большее знание тактики, чем в их эпопеях; такое знание или выказывание такого знания, быть может, в лирической поэзии не совсем у места, но в эпической было бы очень кстати.

26 января.

Не знаю, удастся ли мне ясно выразить мысль, которая с некоторого времени носится в голове моей и мне кажется довольно основательною. По Шеллингу, искусство есть не что иное, как Природа [7], действующая посредством (durch das Medium) человека. Итак, всякое произведение искусства должно быть вместе и произведением природы вообще, природы человека в частности, природы творящего художника в особенности: оно должно быть зарождено в душе того, кто производит, должно быть *необходимым* следствием его способностей, наклонностей, личности; должно соответствовать потребностям его века и отечества (времени и местности, составляющих в совокупности *частное* проявление человечества); наконец, должно быть основано на мировых, непременных законах творческой силы и творимого естества. Истину сего правила относительно к моему лицу я испытал в течение всей моей поэтической жизни: чем хладнокровнее, чем точнее мои планы были обдуманы, тем менее они мне удавались; напротив, всякий раз, когда я следовал голосу мысли, зародившейся в глубине моего Я, поразившей меня незапно, когда сообразовался с теми мгновенными вдохновениями, которые наве-

вались на меня обстоятельствами, и только не терял из виду главной меты своей,— тогда успех неожиданный и непредвиденный увенчивал труд мой.

8 февраля.

Что такое *humour?* Понятия не совершенно ясные всего лучше определяются отрицаниями; итак: humour не есть просто насмешливость, не есть одно остроумие, не есть vis comica * без всякой примеси; humour не выражается исключительно ни прямою сатирою, ни ирониею; насмешник, остряк, комик холодны, их обязанность, ремесло их — устраняться, избегать чувства; сатирик-саркастик ограничивается чувством гнева, негодования. Юморист, напротив, доступен для *всех* возможных чувств; но он не раб их: не они им, он ими властвует, он *играет* ими,— вот чем он с другой стороны отличается от элегика и лирика, совершенно увлекаемых, порабощаемых чувством; юморист забавляется чувствами и даже над чувствами, но не так, как чернь забавляется над теми, над которыми с грубою и для самой себя неприятной надменностию воображает превосходство свое; но как добрый старик забавляется детьми, или как иногда в дружеском кругу трунишь над небольшою слабостию приятеля, которого любишь и уважаешь. Юморист вовсе не пугается мгновенного порыва; напротив, он охотно за ним следует, только не теряет из глаз своей над ним власти, своей самобытности, личной свободы. Humour может входить во все роды поэзии: самая трагедия не исключает его; он даже может служить началом, стихиею трагической басни; в доказательство приведу Гетева «Фауста» и столь худо понятого нашими критиками «Ижорского» [8]: «Ижорский» весь основан на юморе; автор смотрит и на героя своего, и на событие, которое изображает, и на самые *средства, которыми оное изображает* (чего никак не вобьешь в премудрые головы наших Аристархов), как на игру, и только *смысл* игры сей для него истинно важен; вот отчего во всей этой мистерии от первого стиха до последнего господствует равнодушие к самому искусству и условным законам его: поэт не боится разочаровать читателя, потому что не хотел и не думал его очаровывать; анахронизм его чудесного (Maschinerie), в котором упрекнул его какой-

* Комическая жилка *(лат.).— Ред.*

то критик «С⟨ына⟩ от⟨ечества⟩» [9], основан именно на том же юморе, на коем основан и весь план поэмы, и каждая сцена в особенности.

17 февр⟨аля⟩.

Нынешний день оаза в моей пустыне: я получил письмо и книги от моей доброй Улиньки; книги: немецко-английский словарь, 2 том Робертсона [10], повести и последняя глава «Онегина» Пушкина. ⟨...⟩ Поэт в своей 8 главе похож сам на Татьяну: для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет. Впрочем, и об «Онегине» предоставляю себе поговорить еще раз, когда перечту его.

21 февр⟨аля⟩.

Перечел я также 8-ю главу «Онегина»: напрасно сестра говорит, что она слабее прочих; напротив, она мне кажется если не лучшею, то по крайней мере из лучших. История знакомства Поэта с Музою прелестна — особенно 4 строфа: но лжет Пушкин, чтобы Музе нравился

Порядок стройный
Олигархических бесед
И холод гордости спокойной etc.

9 строфа прекрасна: варияции на нее, 10, 11 и 12-я, слабее, но и в них много хорошего, хотя одиннадцатая несколько сбивается на наши модные элегии, а в 12-й стих «Иль даже Демоном моим» такой, без которого очень можно бы было обойтись. Появление Тани живо: но нападки на *** не очень кстати [11] (я бы этого не должен говорить, ибо очень узнаю себя самого под этим гиероглифом, но скажу стихом Пушкина ж: «Мне истина всего дороже»). Кроме этой небольшой полемической выходки, все превосходно от 14 до 20 строфы, а слова «И — и не мог!» в своем роде совершенство. В 22-й строфе не очень понимаю «упрямой думы», но «упрямо смотрит он» иное дело: это почерпнуто из сердца человеческого. Вечер у Тани хорош, но слабее раута. Конец XXVI-й строфы:

И молча обмененный взор
Ему был общий приговор —

заключает в себе черту, схваченную с того, что иногда случается видеть в свете. В письме Онегина к Тане есть место, напоминающее самые страстные письма St. Preux [12],— от слов:

Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

до стиха: «И я лишен того» etc. Из лучших строф 35-я, свидетельствующая, что Ал. Пушкин племянник В. Пушкина, великого любителя имен собственных: особенно мил *Фонтенель* с своими *«твореньями»* в этой *шутовской* шутке [13]. Но следуют стихи, где, наконец, истинная Поэзия, Поэзия души, воображения, вдохновения; все же хорошее, что предшествовало, кроме, может быть, 4-й строфы и письма, было и умно, и остро, а иногда даже глубоко, но — проза! 37-я строфа чудесна, особенно стихи:

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

И:

...и у окна
Сидит она и все она.

Объяснение с Татьяной также выше многого того, что из прочих глав наша молодежь затвердила наизусть. Эпилог лучший из всех эпилогов Пушкина.

1 мая.

Читал я после обеда последнюю главу «Онегина»: в ней много, много чувства; несколько раз слезы навертывались у меня на глаза: нет, тут не одно искусство, тут сердце, тут душа!

20 июня.

Читаю Карамзина «Вестник Европы». Должно признаться, что для того времени этот журнал чрезвычайно хорош; да и ныне он по занимательности занял бы не из

последних мест между нашими изданиями, а по слогу чуть ли не первое.

12 июля.

Сегодня давно ожидаемый мною день совершения шестилетия по решении судьбы моей и злополучных моих товарищей.

Скажу с поэтом:

Шесть лет промчалось, как мечтанье [14],—

но ах! какое тяжелое, бесконечное мечтанье! Бывали минуты, что я хотел себя уверить, что все случившееся со мною с 14 декабря 1825 не что иное, как безобразный сон расстроенного воображения; нередко хотелось мне спросить: «Когда же, когда же проснусь?» Но я не просыпался, и девять лет мне еще дремать и сердцем, и умом в тюрьме. Если милосердый бог не пошлет мне своего ангела [15] ⟨...⟩ не жалуюсь на людей, но я бы был гнусный лицемер, если бы стал хвалить свой жребий и уверять, что нахожу его прекрасным. ⟨...⟩

Всю цену журналиста Карамзина тогда только вполне чувствуешь, когда читаешь попеременно то его, то его преемников: переход от него к ним точно переход из гостиной в лакейскую или из 1803-го года в шестидесятые. Что за слог у второго издателя (чуть ли не Каченовского!), что за образ мыслей! Какое варварство! какое площадное невежество вместе с самым надутым педантизмом и с самою несносною школьною гордостью!

21 июля.

Не читал я, а, скорее сказать, лакомился стихотворениями Скотта [16]: пробежал только начало первой его поэмы «The Lay of the Last Minstrel» *: каждый стих — капля нектара для человека, который так давно не читал ничего *нового* хорошего.

---

* «Песнь последнего Менестреля» *(англ.).— Ред.*

22 июля.

Прочел Краббевых «The Dumb Orators» *; картина в фламандском роде, но истинно оригинальная, довольно много живости; некоторые подробности, напр. *описание индийского петуха*, превосходны, но есть и натяжки, и скучноватости (Langeweile) на стать Гагедорновых и Виландовых; впрочем, это, кажется, почти неразлучно с произведениями, созданными не вдохновением, а остроумием. Выше Гагедорна в своем рассказе Краббе юмором, которого у Гагедорна вовсе нет: добрый немец (т. е. Гагедорн, а не другие) или хохочет, или сериозничает, а улыбаться, тонко шутить не его дело.

23 июля.

Прохаживаясь по плацформе, я забавлялся, глядя на сражение шпица с козою: всего смешнее было, что храбрая коза иногда сама нападала и даже обращала собаку в бегство; к тому же хладнокровное мужество рогатой воительницы было весьма величественно и составляло резкий контраст с неугомонным лаем и суетливостию ее противника; впрочем, изредка несколько тяжеловатые прыжки прерывали ее важное спокойствие: не прежде амазонка отступила, как когда к шпицу подоспел еще союзник — какая-то желтая дворняжка [17].

3 августа.

Из всех творений Вальтера Скотта, мне известных, не знаю ничего превосходнее чудесной четвертой песни его «Rokeby» **: тут столько красот, что сердце тает и голова кружится. ⟨...⟩ Я сегодня роскошствовал: сколько наслаждений доставляет поэзия! Если бы Скотт знал, как я его люблю, как ему удивляюсь, какое счастье он доставляет поэту же (да! поэту же, ибо то, что я чувствовал, читая эту дивную четвертую песнь, может чувствовать только поэт), какое счастие доставил он узнику, разделенному с ним морями,— я уверен, что это было бы ему приятно.

---

* «Немые ораторы» *(англ.).— Ред.*

** «Рокби» *(англ.).— Ред.*

5 августа.

Замечания Скотта о его подражателях очень справедливы и оправдываются тем, что испытал и наш Пушкин. Люди с талантом, не одинакой степени, но все же с талантом,— Баратынский, Языков, Козлов, Шишков младший,— и другие, вовсе без таланта, умели перенять его слог; до Пушкина, правда, никто из них не дошел, но все и каждый порознь нанесли вред Пушкину, потому что публике наконец надоел пушкинский слог.

15 августа.

Сегодня я был свидетелем сцены, подобной той, что забавляла меня 23 июля, а именно: хохотал, глядя, как котенок заигрывал с старою курицею; котенок рассыпался перед нею мелким бесом: забежит то с одной стороны, то с другой, подползет, спрячется, выпрыгнет, опять спрячется, даже раза два со всевозможною осторожностию и вежливостию гладил ее лапою; но философка курица с стоическою твердостию подбирала зернышко за зернышком и не обращала никакого внимания на пролаза; за это равнодушие и увенчалась она совершенным торжеством: всякий раз, когда ветер вздувал ее очень ненарядные перья, господин котенок, вероятно, полагая, что она намерена проучить его за нахальство, обращался в постыдное бегство; но великодушная курица столь же мало примечала побед своих, сколь пренебрегала своим трусливым и вместе дерзким неприятелем: она и не взглядывала на него, не оборачивала и головы к нему; она была занята гораздо важнейшим: зернышки для нее были тем же, что для Архимеда математические выкладки, за которыми убил его римский воин.

7 сентября.

В тоске, в печалях, при огорчениях молю господа послать мне утешение, а он, благий, меня услышал прежде, чем я еще взывал к нему; он мне дал занятия — они всякий раз утешают, ободряют меня,— но только должно решиться приступить к ним, должно преодолеть первую минуту кручины, в которой полагаешь, что уже ни к чему не бываешь способным.

24 сентября.

Итак, опять прошла неделя, и неделя весьма примечательная по тому, что происходило в моем внутреннем человеке. Что это? Не пишу; но ввек не забуду этой недели; и без письма не забуду мыслей и ощущений, толпившихся во мне в продолжение сих последних дней; вот почему об них в дневнике ни слова. Эта отметка только для того, чтоб не забыть чисел.

11 ноября.

Я бы желал на коленях и со слезами благодарить моего милосердого отца небесного! Нет, то, чего я так боялся, еще не постигло меня: утешительный огонь поэзии еще не угас в моей груди! Благодарю, мой господи, мой боже! Не молю тебя, да не потухнет он никогда; но если ему уж потухнуть, даруй мне другую утешительницу, лучшую, надежнейшую, нежели поэзия! Ты эту утешительницу знаешь: говорю о вере, ибо чувствую, сколь она еще во мне немощна и холодна [18].

21 декабря.

Для человека в *моем* положении Краббе — бесценнейший писатель: он меня, отделенного от людей и жизни, связывает с людьми и жизнью своими картинами, исполненными истины. Краббе остер, опытен, знает сердце человеческое, много видал, многому научился, совершенно познакомился с прозаическою стороною нашего подлунного мира и между тем умеет одевать ее в поэтическую одежду, сверх того, он мастер рассказывать — словом, он заменяет мне умного, доброго, веселого приятеля и собеседника.

1833 год

17 января.

Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы [19], я заметил в механизме стихов и в слоге

что-то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина: но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. Впрочем, никак не могу понять, отчего это сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя (искренно ли или нет — это иное дело!) за приверженца школы так называемых очистителей языка, а я вот уж 12 лет служу в дружине славян под знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова. Чуть ли не стихи четырехстопные сбили меня: их столько на пушкинскую стать, что невольно заговоришь языком, который он и легион его последователей присвоили этому размеру.

7 февраля.

Нападки М. Дмитриева и его клевретов на «Горе от ума» [20] совершенно показывают степень их просвещения, познаний и понятий. Степень эта истинно незавидная. Но пусть они в этом не виноваты: есть, однако же, в их статьях такие вещи, за которые их можно бы обвинить перед таким судом, которого никакой писатель, с талантом ли или без таланта, с обширными сведениями или нет, не должен терять из виду,— говорю о *Суде Чести*. Предательские похвалы *удачным портретам* в комедии Грибоедова — грех гораздо тягчайший, чем их придирки и умничанья. Очень понимаю, *что* они хотели сказать, но знаю (и знать это *я* очень могу, потому что Грибоедов писал «Горе от ума» почти при мне, по крайней мере мне первому читал каждое отдельное явление непосредственно после того, как оно было написано), знаю, что поэт никогда не был намерен писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше таких мелочей. Впрочем, qui se sent galeux qu'il se gratte *. Завтра напишу несколько замечаний об этой комедии: она, конечно, имеет недостатки (все человеческое подвержено этому жребию), однако же вовсе не те, какие г. Дмитриев изволит в ней видеть, и, вопреки своим недостаткам, она чуть ли не останется лучшим цветком нашей поэзии от Ломоносова до известного мне времени.

---

* Кто чувствует, что запаршивел, пусть тот и чешется! *(фр.)* [21] — *Ред.*

8 февраля.

«Нет действия в „Горе от ума“», — говорят гг. Дмитриев, Белугин и братия. Не стану утверждать, что это несправедливо, хотя и нетрудно было бы доказать, что в этой комедии гораздо более действия или *движения*, чем в большей части тех комедий, которых вся занимательность основана на завязке. В «Горе от ума» точно вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам; тут точно нет никаких намерений, которых одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того, что в драматургии называется интригою. Дан Чацкий, даны прочие характеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов, — и только. Это очень просто: но в сей-то именно простоте новость, смелость, величие того поэтического соображения, которого не поняли ни противники Грибоедова, ни его неловкие защитники. Другой упрек касается неправильностей, небрежностей слога Грибоедова, и он столь же мало основателен. Ни слова уже о том, что не гг. Писаревым, Дмитриевым и подобным молодцам было говорить о неправильностях, потому что у них едва ли где найдется и 20 стихов сряду без самых грубых ошибок грамматических, логических, рифмических, словом, каких угодно. Но что такое неправильности слога Грибоедова (кроме некоторых, и то очень редких, исключений)? С одной стороны, опущения союзов, сокращения, подразумевания, с другой — плеоназмы, словом, именно то, чем разговорный язык отличается от книжного. Не Дмитриеву, не Писареву — но Шаховскому и Хмельницкому (за их хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы «Онегина» * Грибоедов мог бы сказать то же, что какому-то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину, сказала афинская торговка: «Вы иностранцы». А почему? — «Вы говорите *слишком* правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши *Грамматики* и *Риторики*».

---

* Впоследствии Пушкин очень хорошо понял тайну языка Грибоедова и ею воспользовался. — *В. К.*

20 мая.

Поутру плачет человек,
А в вечер в радости смеется [22].

Сегодня я испытал всю истину этих стихов: мне до самого обеда и часа два и после обеда было очень грустно; мне даже вспал на ум вопрос такой, которого бы после стольких опытов и размышлений от самого себя не ожидал,— да простит мне его мой милосердый отец небесный! Что же? Прочел я четыре повести Пушкина [23] (пятую оставлю pour la bonne bouche * на завтрашний день) — и, читая последнюю, уже мог от доброго сердца смеяться. Желал бы я, чтоб об этом узнал когда-нибудь мой товарищ; ему, верно, было бы приятно слышать, что произведения его игривого воображения иногда рассеивали хандру его несчастного друга.

16 июня.

У меня был самый жан-полевский сон, в котором Платонова идея о грехопадении *перед рождением* представилась мне в смутных, не живописных, однако же поэтических образах; вот этот сон, сколько его теперь помню.

Носился я в каком-то сияющем облаке. Чем я сам был — не знаю; но, кажется, без тела и образа. Под облаком виделось мне темное, неосвещенное море, и вдруг я очутился в этом море. Жажда томила меня, и я хлебнул нечистой воды его. Тогда послышался мне голос и спросил меня: «Не пил ли ты сей воды?» Ответ мой был: «Нет, я напился свету». (Грехопадение.) На то мне было сказано: «Хорошо, если так; но если ты выпил воды, не было бы тебе впоследствии за то тяжко!» Потом я увидел и других плещущихся в море; некоторые из них держались за якорные канаты, но самих кораблей я не видел; вокруг меня был сумрак — и мне являлись только небольшие, частые волны и сияние, которое парило над морем. Внезапно раздался гром — и мне показалось, что после этого удара я должен буду родиться,— но я проснулся.

---

* На закуску *(фр.).— Ред.*

28 июня.

Прочел я около половины второй песни Томсоновой поэмы [24]. Стихи подчас удивительные: а я все же остаюсь при своем мнении, что описательная поэзия — не есть поэзия.

3 июля.

Наконец нашел я в «Сыне отечества» прелестную балладу Катенина «Наташа». Она, по моему мнению, принадлежит к лучшим на нашем языке. Есть, конечно, и в ней небольшие небрежности, но за каждую небрежность в «Наташе» готов я указать на такую же или даже бóльшую в хваленых наших балладах, не исключая и «Светланы». Подражание Гетеву «Der Sänger» * мне менее нравится.

7 июля.

Перечитывая сегодня обе баллады Катенина, находящиеся в «Сыне отечества», я восхищался в них многими прекрасными стихами, однако же не мог не признаться, что они, особенно «Певец», местами обезображены нестерпимыми небрежностями. Отчего это? Катенин человек с талантом, сверх того, знаток, и тонкий знаток, русского языка — никто с бóльшим вкусом не судит о произведениях других; но его губят самолюбие, упрямство и лень.

8 июля.

Солнечное затмение, бывшее на днях [25], родило во мне множество размышлений: между прочим и о просвещении. Что может быть вожделеннее, прекраснее, благотворнее *истинного* просвещения? Однако же оно тогда только истинное, когда просвещению ума предшествует улучшение сердца, в противном случае просвещение иногда пагубнее всякого суеверия. В 18 столетии, говорит Ижорский,—

---

* «Певец» *(нем.).— Ред.*

Все просвещалось, самые передни!

Беда, когда люди с низкими, *лакейскими* душами, люди, которых может укротить один страх, лишатся спасительных предрассудков, необходимых для них! Пусть для подлецов и злодеев затмения, кометы, моровые поветрия, землетрясения и пр., и пр. всегда останутся послами и признаками гнева божия! Их презрительное суеверие принесет пользу, и пользу великую; припадки страха, причиняемого им знамениями небесными, удержат их от многого — хотя на то время, пока продолжатся эти припадки!

12 октября.

Вот и половина моего срока кончилась: семь лет и девять месяцев я прожил в заключении; остается столько же. Доживу ли я до конца этого срока? Сократится ли он царскою милостию? Прервется ли он милосердием божиим, ангелом господним, разрешающим всякие узы, тем ангелом, которого мы называем смертию, который мне — надеюсь на благость моего спасителя — не будет смертию, а жизнию лучшею? Много вкусил я горького в течение сих семи лет и девяти месяцев (и нынешний день не был для меня днем радости), но решаюсь безмолвно и безропотно переносить все, что бы мой великий и премудрый воспитатель ни налагал на меня; он воспитывает меня для вечности: ужели минутою страданья дорого купить то, что назначил он мне за рубежом земли? Шатки и слабы еще шаги мои по пути, которым он ведет меня; но он же сердцеведец, он видит, что я всею душою желал бы ему по во всем последовать: дух бодр, плоть немощна! «Будите цели, яко голуби, и мудры, яко змии!» * [26]— сказал Христос ученикам своим. Итак — и мудрость есть добродетель: даждь же мне, боже мой, мудрость сию! Она мне очень нужна; прошу о ней, конечно, для избежания печалей и неприятностей; могу ли скрыть причину моления моего? Однако же, если тебе угодно послать мне еще новые искушения, да будет воля твоя! Ты лучше меня знаешь, что мне полезно.

---

* «Будьте невинны, как голуби, и мудры, как змеи!» *(церк.-слав.) — Ред.*

1834 год

19 февраля.

Прекратился для меня «Сын отечества» [27]; признаюсь, что жаль: мне было бы приятно прочесть известия о том, что именно ныне делается в области нашей словесности... Но, кажется, меня хотят совершенно отделить от всего мало-мальски не старого: что делать? А, право, для поэта не слишком хорошо повторять одни зады!

5 апреля.

⟨...⟩ Писать роман, повесть, стихотворение единственно с тем, чтобы ими доказать какую-нибудь нравственную истину, без сомнения, не должно. Но иногда нравственная истина есть уже сама по себе и мысль поэтическая: в таком случае развитие *поэтизма* (поэтической стороны) оной — предприятие, достойное усилий таланта. К разряду таких истин принадлежит служащая основой повести Бенжамена де Констан [28]: Адольф без любви, единственно для удовлетворения своему тщеславию, предпринимает соблазнить Элеонору; между тем худо понимает и себя, и ее, успевает, но становится ее жертвою, рабом, тираном, убийцею. Вообще в этой повести богатый запас мыслей — много познания сердца человеческого, много тонкого, сильного, даже глубокого в частностях; смею, однако, думать, что она являлась бы в виде более поэтическом, если бы на нее еще яснее падал свет из той области, где господствует та тайная, грозная сила-воздаятельница, в которую примерами ужасными, доказательствами разительными, неодолимыми учит нас веровать не одна религия, но нередко события народные и жизнь лиц частных. Поэтической стороною этой общей истины в повести «Адольф» именно то, что тут погубленная Элеонора противу собственной воли становится Эвменидою-мстительницею для своего губителя. Но чтобы вполне проявить поэзию этой мысли, нужно бы было происшествие более трагическое, даже несколько таинственное... В отдельных мыслях и замечаниях, которые выпишу, заметно что-то сталевское [29]; в них видно, как много необыкновенная женщина, бывшая для белокурого Бен-

жамена чем-то вроде Адольфовой Элеоноры, споспешествовала обогащению его познаниями, идеями, наблюдениями и опытами, подчас, статься может, довольно горькими. ⟨...⟩

11 апреля.

Один из примечательнейших дней в моей жизни с самого начала моего заточения.

Сколько родилось и пробудилось во мне! но не для меня радость: я при ней хуже, чем при скорби. Впрочем, могу ли назвать добродетелью то, что при малейшем нарушении порядка моей однообразной жизни теряет силу свою? Итак, напрасно я сказал, что при радости я хуже, чем при скорби: радость только для меня явление необыкновенное, а потому-то при ней сильнее обнаруживается мой внутренний человек, чем при скорби, к которой я уже привык и которая посему на меня и слабее действует [30].

17 мая.

⟨...⟩ получил я давно ожидаемого «Тасса» Кукольника [31]. Разумеется, что я тотчас с жадностью принялся за трагедию: в ней много, много превосходного; читая многие места, я невольно плакал. Судить о творении Кукольника я еще не в состоянии, но у него талант великий, хотя, кажется, и не совсем драматический.

19 мая.

Читая «Телеграф» на 1832 год, часто я готов подумать, что спал лет двадцать эпименондовым сном [32] и вдруг проснулся! Сколько перемен во мнениях, в образе мыслей читающего и пишущего мира как в Европе, так даже у нас в России!

Благоговение французов к веку Людовика XIV совершенно, кажется, исчезло; впрочем, эта перемена еще не самая удивительная: я ее предвидел еще в 1821 году, в бытность мою в Париже. Но, если только верить Полевому, которому, впрочем, боюсь верить слепо,— немцы спохватились, что и у них еще, собственно,

нет народной словесности. Уланд, Берне, Менцель и Гейне (по словам Полевого) — нынешние корифеи немцев [33]. И у нас критика заговорила таким голосом, каким еще не говаривала. Кажется, наши мнимовеликие, начиная с альфы до омеги, скоро, скоро будут тем в глазах не одного Полевого, чем были они в моих глазах еще в 1824 году. Пора! Но к пишущим, действующим Полевой, по моему мнению, слишком строг, иногда даже несправедлив: жизни и движения, прилежания и любви к искусству у нас, конечно, еще не слишком много, но все же не в пример более, чем за десять, за двадцать лет, и этому-то приращению сил и усердия следовало бы подчас отдавать справедливость.

20 мая.

Сегодня перечел первые три действия Кукольникова «Тасса»: стихов прекрасных много, но целое — слабо.

Мне жаль вымолвить это, да делать нечего. Не стыжусь, что трагедия меня сильно встревожила: в моем ли положении не принять участия в страданиях Тасса, хотя бы эти страдания были изображены человеком без малейшего таланта? А в Кукольнике, напротив, талант, и не малый, хотя и не драматический.

13 июня.

Наконец, кажется, прервется моя недеятельность: забродило у меня в голове — романом, за который, не отлагая, примусь завтра же. Удивительно, что рассуждения о словесности, критики (разумеется, не такие, какие обыкновенно печатаются в «Сыне отечества»), сочинения теоретические о предметах искусств изящных etc. действуют на меня вдохновительно. Нынешним предположением романа я занимался, правда, и прежде, но мысль о нем была во мне не ясна, мутна; некоторый вид получила она только сегодня, когда в «Сыне отечества» читал я рассуждение Вольфг⟨анга⟩ Менцеля о Шиллере и Гете [34]; сверх того, нет никакого отношения или только отношение самое далекое между тем, что я читал и что намерен написать: хороший разбор, оригинальный взгляд на поэзию, глубокие, но-

вые мысли о прекрасном движут меня силою не прямою, а косвенною, не тем, чему меня учат, а общим волнением, какое производят в собственном моем запасе мыслей и чувствований [35].

⟨...⟩ Менцель — приверженец идеальной поэзии и посему ее поднимает в гору; но всегда ли идеалистам позднейшим и главе их Шиллеру удавалось избегнуть того, что сам Менцель называет Харибдою идеалистов? Все ли действующие лица в Шиллеровых трагедиях истинные, живые люди? Нет ли между ними нравственных машин? Или, лучше, чего-то похожего на Гоцциевы маски, о которых наперед знаем, что они именно так, а не иначе будут говорить и действовать? Не всегда на первом плане, но во всякой трагедии Шиллера это Арлекин и Коломбина — совершенный, идеальный юноша и совершенная, идеальная дева; но в природе ли тот и другая? И так ли привлекательны в поэзии их повторения? Без сомнения, что в них более прекрасного и даже истинного, чем в бесстрастных героях старинных немецких Haupt- und Staatsactionen *; но все-таки тут есть что-то напоминающее эти Haupt- und Staatsactionen. Очень справедливо Менцель сравнивает Шиллера с Рафаэлем: оба они поэты красоты, поэты идеала. Но как школа Рафаэля произвела длинный ряд художников совершенно бесхарактерных, так точно и Шиллерова может произвести их, и не в одной Германии; уж и произвела некоторых. Впрочем, искренно признаюсь, что в статье, которую я когда-то тиснул в третьей части «Мнемозины», говорю о Шиллере много лишнего [36]: он как жрец высокого и прекрасного истинно заслуживает благоговения всякого, в ком способность чувствовать и постигать высокое и прекрасное не вовсе еще погасла. Винюсь перед бессмертной его тенью; но смею сказать, что причины, побудившие меня говорить против него, были благородны. Сражался не столько с ним, сколько с пустым идолом, созданием их собственного воображения, которому готовы были поклоняться наши юноши, называя его Шиллером. ⟨...⟩

Сильно нападает Менцель на натуралистов (которые, скажу мимоходом, могут быть и не сентименталистами, напр. Краббе); но, несмотря на все им сказанное, я должен признать изящество многих произведе-

---

* Действ *(нем.)*.— *Ред.*

ний школы, которую называет он Фламандскою,— они не выродки, а законные дети поэзии, ибо, что в этом роде более дурного и посредственного, нежели прекрасного, ничего не доказывает, потому что и в идеальном едва ли не то же. ⟨...⟩ Почему же поэзия, изображающая современные происшествия и нравы, непременно уже заслуживает все эти названия, которыми Менцель хочет унизить ее? ⟨...⟩

То, что в Гете должно непременно показаться противным, враждебным душе романтика идеалиста, естественного гражданина по мечтам и желаниям своим веков средних, не есть отсутствие вдохновения, а власть над ним и над самим собою, власть, которою Гете покоряет себе вдохновение, творит себе из вдохновения орудие и предохраняет себя от рабствования порывам оного. Это свойство находим не у одного Гете, оно принадлежит и Шекспиру и едва ли не есть отличительный, неразлучный признак гениев... Смею думать, что многосторонность Гете, следствие его власти над вдохновением, не есть недостаток, но высокое вдохновение. ⟨...⟩

Развитием модернизма [37] должны быть романы Альфреда де Виньи, Гюго и их последователей (напр⟨имер⟩, «Notre Dame de Paris» *), если только сии романы действительно соответствуют понятию, какое я о них составил отчасти из отзывов Полевого. В бесстрастии модернизма вместе оправдание его безжалостливости, за которую Менцель упрекает Гете, а дюжинные французские критики — Альфреда де Виньи и Гюго.

2 июля [38].

⟨...⟩ Прочел я в «С⟨ыне⟩ о⟨течества⟩» повесть Бальзака «Рекрут»; она занимательна и жива, но я ожидал чего-то особенного — и ошибся. ⟨...⟩

5 июля.

⟨...⟩ Знакомлюсь хоть несколько с духом нынешней французской словесности [39]. В некоторых из их сочинителей романов и повестей очень заметно направ-

* «Собор Парижской Богоматери» *(фр.).— Ред.*

ление гофмановское, но, по моему мнению, ни одна из читанных мною повестей (впрочем, я их читал еще довольно мало) не стоит *хороших* сказок Гофмана. Развязка «*Рекрута*» после живого, вовсе не таинственного рассказа — как-то насильственна. ⟨...⟩

17 июля.

⟨...⟩ Бальзак человек с огромным дарованием; отрывок из его повести «Сарразин» в «Сыне отечества» под заглавием «Два портрета» — удивителен! ⟨...⟩

25 июля.

Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной повести «Г-жа Фирмиани» [40] не могу тотчас заняться чем-нибудь другим. Это в своем роде chef d'œuvre*; тут все: и таинственность, и заманчивость, и юмор, и высокая, умилительная истина; я влюблен в эту Фирмиани! Как бы я желал своему Николаю [41] встретить в жизни подобную женщину! И как хорош сам Бальзак! Что за разнообразный, прекрасный талант! Признаюсь, я бы желал узнать его покороче. Булгарина письмо о русской литературе [42] — само по себе разумеется, что тут нет даже Полевого,— однако, несмотря на многое и многое фальстафское, есть же кое-что, по крайней мере что-то похожее на несколько шутовскую, порою почти бесстыдную искренность; сверх того, отголосок нынешних требований если и не людей, мыслящих ясно, отчетливо, самостоятельно, все же людей, хотя чувствующих порою силу прекрасного, способных порою быть увлеченными вдохновением поэта... Современность им нужна? Но что такое современность? *Их* современность уж не будет современностью 20-го столетия, а Шекспир и рапсоды [43] — вечные современники всех столетий. Что такое современность нынешняя? Ответ у Булгарина короткий и ясный: презрение к человечеству! И вся она тут? И это не одна сторона нашей современности? И нет еще другой, более светлой? Впрочем, судить Булгарина слишком строго, право, совестно. Спасибо ему и за доброе намерение да за одну неоспоримую истину, им сказанную: «Есть и будет

* Шедевр *(фр.).— Ред.*

множество подражателей Пушкина — но не будет *следствия Пушкина*, как он сам есть *следствие* Байрона». Разумеется, если он ограничится быть только следствием. Но в хваленом «Демоне» Пушкина нет самобытной жизни — он не проистек из глубины души поэта, а был написан потому, что *должно же было написать что-нибудь в этом роде*. Вот вам и современность и ее требования! И этого-то «Демона» г. Булгарин ставит выше «Полтавы», выше «Цыган», выше прекрасных сцен в «Годунове»!

Не слушай, друг Пушкин, ни тех, ни других, ни журналистов, готовых кадить тебе и ругать тебя, как велит им их выгода,— ни близоруких друзей твоих! Слушайся *вдохновения* — и от тебя не уйдет ни современность, ни бессмертие!

Упрекает Булгарин, между прочим, друзей Пушкина за то, что они хотели сделать из него только артиста, живописца и музыканта,— говорит, что «писатель без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений — есть просто гударь, хотя бы» и пр. Но без сильных ощущений и мыслей можно ли быть и музыкантом, можно ли быть и живописцем? А что Булгарин разумеет под *великими* нравственными истинами — мы знаем! Его величие не слишком-то велико, а, кажется, ему нужна дидактика в новом платье, от которой да сохранит нас бог!

9 сентября.

Читаю «Вертера». Несмотря на многое, искренно признаюсь, что это творение Гете предпочитаю иным из его позднейших: в «Вертере» теплота непритворная, есть кое-что, называемое немцами excentrisch *; но по крайней мере нет холодной чопорности, притворной простоты и бесстыдного эгоизма, встречающихся в его записках, «Wilhelm Meisters Wanderjahre» ** etc.

10 сентября.

Весь день почти пролежал, читая то «Вертера», то «Историю» Карамзина. Поэтической жизни в «Вертере»

* Эксцентрический *(нем.).— Ред.*
** «Годы странствий Вильгельма Мейстера» *(нем.).— Ред.*

пропасть: но от Гете — автора «Вертера» до Гете — сочинителя, напр⟨имер⟩, «Эпименида» [44] расстояние не меньше, чем от Вертера до его благоразумных друзей: не стану спрашивать, кто из них лучше; но, без сомнения, «Вертер» и автор его привлекательнее чинного автора «Эпименида» и людей, которые в жизни то, что автор «Эпименида» в поэзии. Жаль только, что Вертер слишком много хнычет.

15 сентября.

Прочел я «Тартини» [45] Кукольника и первую главу «Онегина»; кроме того, несколько мелких стихотворений Пушкина и Катенина. А что ни говори, любезный братец Павел Александрович, ты, конечно, человек с большим дарованием, но все не Пушкин; ты поэт-художник, он поэт-человек; твое искусство холодно — у него душа поэтическая. Да и несносно твое самолюбие: ты, кажется, не пропустил ни одного четверостишия, сочиненного тобою,— чтоб только все твои детки были вместе, чтоб ты мог сказать: «Се аз и стихи, еже мне дал еси» *.

19 октября.

В «Библиотеке» [46] прочел Пушкина сказку «Пиковая дама» ⟨...⟩ старуха Графиня и Лизавета Ивановна написаны мастерски, Германн хорош, но сбивается на модных героев.

31 октября.

Известие о посмертных сочинениях Гете [47] очень занимательно, особенно по выпискам из последнего тома его «Dichtung und Warheit» **. Я сошелся в мыслях с Гете: и я лучшие свои произведения, напр. «Ижорского», считаю более произведением природы, нежели искусства, произведением, если угодно, моей природы, произрастанием моей почвы, но собственно не делом

* «Вот я, и вот стихи, которые мне дал [бог]» *(церк.-слав.).— Ред.*

** «Поэзия и правда» *(нем.).— Ред.*

произвола, не следствием холодно обдуманного предначертания и отчетливого труда.

24 ноября.

Библиотечный рецензент [48], разбирая «Основания словесности» Глаголева, почти утвердительно говорит, что «Слово о полку Игореве» не древнее русское сочинение, а подлог вроде Макферсонова «Оссиана». Трудно поверить, чтоб у нас на Руси лет сорок тому назад кто-нибудь был в состоянии сделать такой подлог: для этого нужны бы были знания и понятия такие, каких у нас в то время ровно никто не имел; да и по дарованию этот обманщик превосходил бы чуть ли не всех тогдашних русских поэтов и прозаиков, вкупе взятых.

18 декабря.

Сегодня помер мой котенок. Очень мне понятна скорбь Гофмана о его Муре [49]; я своего Васьки никогда не забуду.

19 декабря.

Весь день протосковал по своем Ваське: пусть смеются! а я раза два сегодня даже принимался плакать, вспоминая своего котика. Подадут есть — не с кем делиться; отворю фортку — некого впустить в комнату. Жаль мне своего Васеньки!

24 декабря.

Принесли мне Державина. Рад я перечесть старика! Сегодня пробежал я его «Пожарского» и «Кутерьму от Кондратьев» [50]: чудеса! Заруцкий [51] в женском платье — дивный арабеск! Но предоставлю другим тешиться над старикашей, а дети в «Кутерьме» у него истинно милы и совершенно списаны с натуры. В его третьей части перечел я несколько стихотворений таких, которые только теперь истинно оценил:

в них что-то восточное, что-то напоминающее «Ost-Westlicher Divan» * Гете.

25 декабря.

После обеда читал Державина. Его «Добрыня» совсем не дурен: конечно, завязка чуть-чуть держится, зато местами встречаются не только лирические, но даже драматические красоты. Тороп вообще очень хорош: настоящий испанский Грациозо. «Добрыню» я прочел, так сказать, ex officio **, а потом роскошствовал за третьею частию нашего старика! Какой богатый мир картин и чувства! Нет сомнения, что дедушка Державин и у нас на Руси первый поэт и, кажется, долго еще останется первым. Есть у него сонеты (чего я прежде не заметил); один из них — «Блаженство супруги» — хорош, все прочие довольно плохи, не его дело было кроить стихи.

27 декабря.

Читал и Державина, и «Библиотеку». Признаюсь искренно, что гораздо более люблю Державина, гораздо более удивляюсь ему в его безделках, нежели в больших одах; однако начало его оды «Кровавая луна блистала» истинно чудесно.

1835 год

6 января.

Простился я сегодня с Державиным: отдал его. Но непременно через полгода или год (разумеется, если буду жив и еще здесь) опять его выпрошу. Третья часть, т. е. оды, названные стариком анакреонтическими, венец его славы. Они истинно бессмертны; тут почти нет ни одной, в которой не было бы хоть чего-нибудь прекрасного, даже в самых слабых найдешь или удачную черту, или счастливый оборот, или хоть

* «Западно-восточный диван» *(нем.)*.— *Ред.*
** По обязанности *(лат.)*.— *Ред.*

живописное слово. Лучшие же такие перлы Русской поэзии, которые мы смело можем противоставить самым лучшим созданиям в сем роде иностранцев и даже древних.

28 января.

Елисавета Кульман [52] — что за необыкновенное восхитительное существо! Стихи ее лучше всех дамских стихов, какие мне случалось читать на русском языке; но сама она еще не в пример лучше своих стихов. Сколько дарований, сколько души, какое воображение! и это все должно было погибнуть семнадцати лет! Тут можно с глубоким чувством истины и скорби произнесть многозначущие слова, которые от бессмысленного употребления порою стали так пошлы, слова, которые теперь произносит преравнодушно бездушный наследник ничтожного богача, когда извещает о смерти этого человека, собственно, вовсе никогда не жившего, или лицемерная вдова, когда хоронит мужа и едва может скрыть радость, что наконец избавилась от того, кого ненавидела,— слова: «Неисповедимы пути Провидения»; и точно, как не называть их неисповедимыми, когда подумаешь, чем бы могла быть Елисавета, если бы смерть ее у нас не похитила так рано!

Статью о ней написал некто Никитенко; он сам человек с душою, с мыслями и дарованием. Не оставлю и я без приношения священной, девственной тени Элизы! Как жаль, что я ее не знал! Нет сомнения, что я в нее бы влюбился, но эта любовь была бы мне столь же благотворна, сколь были мне вредны страстишки к мелким суетным созданиям, в которых не было ничего изо всего того, чем дарило их мое слишком щедрое воображение.

8 марта [53].

⟨...⟩ Начало повести Бальзака «Старик Горио» очень заманчиво — но я встречал даже в наших журналах отрывки и целые создания Бальзака же, в которых было более поэзии, более воображения, теплоты и пылкости. ⟨...⟩

26 марта.

После обеда прочел окончание повести Бальзака «Старик Горио» и внутренно бесился на бессмысленные примечания г-на переводчика [54]; но они более чем бессмысленны — они кривы и злонамеренны. Супружеская верность и чистота нравов мне, верно, не менее, чем ему, драгоценны и святы, но лицемерие и ханжество мне несносны; художественное создание не есть феорема эфики, а изображение света и людей и природы в таком виде, как они есть. Порок гнусен — но и в порочной душе бывает нередко энергия; и эта энергия никогда не перестанет быть прекрасным и поэтическим явлением. Бальзакова виконтесса, несмотря на свои заблуждения и длинную ноту «Библиотеки»,— все-таки необыкновенная, величавая (grandiosa) женщина, и если г. переводчик этого не чувствует, я о нем жалею. Вотрен мне напомнил человека, которого я знавал, «когда легковерен и молод я был» [55]. Разница только, что мой Вотрен скорее был чем-то вроде Видока, нежели Жака Колена. Об «Арабесках» Гоголя [56] «Библиотека» также судит по-своему: отрывок, который приводит рецензент, вовсе не так дурен; он, напротив, возбудил во мне желание прочесть когда-нибудь эти «Арабески», которые написал, как видно по всему, человек мыслящий.

16 апреля.

Поутру прочел я в третий раз «Торквато Тассо» Кукольника. Это лучшее создание нашего молодого поэта и один из лучших перлов нашей поэзии, очень не богатой творениями, которые бы могли сравниться с фантазиею Кукольника. Стихи везде прекрасны (не говоря о мелочах, т. е. двух-трех обмолвках не совершенно хорошего вкуса и двух-трех словах с ударением не на том складе, на котором ему следовало бы быть), стихи, повторяю, везде прекрасны: они в высокой степени музыкальны, внушены истинным восторгом, живописны, напитаны, проникнуты душой и чувством; единственный их недостаток, что они более лирические, нежели драматические. Первый акт и начало второго, т. е. сцена между Лукрециею и Джюлио Гаскано и затем монолог Лукреции, так хороши, что на нашем

языке я ничего подобного не знаю: они достойны Шиллера, могут смело выдержать сравнение с лучшими сценами германского трагика. К несчастию, все то, что за ними следует до самой сцены в 3 акте между Константини и молодым Мости, незрело, слабо вымышлено и мало обдумано. Потом идет опять ряд прекрасных сцен или выходов (как их называет автор) до разговора между Константини и Альфонсом; этот разговор необходимо бы переделать, потому что он почти ничего не открывает касательно клевет, под которыми страждет Тассо,— все тут темно, сбивчиво, неопределенно, между тем как точность и ясность тут особенно нужны. Следуют опять прекрасные сцены до конца четвертого акта; только вот вопрос: зачем видение Тасса принимает совершенный вид черного духа с крылами, т. е. беса, а говорит как ангел света? Сверх того, превосходная сцена, в которой терзание, раскаяние, перед самою смертью вспышки непотухшей страсти и смерть Лукреции, была бы еще лучше, если бы мы знали, в чем именно состоит клевета страдалицы-преступницы. В пятом акте много красот — но много и необдуманного, даже в самых лучших местах, напр. в пророчестве Тасса: о Державине и России прелесть, но о тевтах темно, бледно,— не знаешь, хвалит ли, бранит ли их Торквато; «о том юноше холодном и суровом» — должно бы непременно сократить, если и не вовсе выкинуть [57]. Сверх того, в венчании Тасса слишком много оперного: все это должно бы быть проще. Оба монолога Тасса в 1 и 2 выходах этого акта исполнены чувства и фантазии, но народные сцены вообще слабы, а Тассова перебранка с чернью почти смешна, тем более что невольно принимаешь сторону черни против заносчивого выходца из больницы святыя Анны. Но еще раз: красоты в этой фантазии первой степени и далеко перевешивают недостатки; «Торквато Тассо» Кукольника — лучшая трагедия на русском языке, не исключая «Годунова» Пушкина, который, нет сомнения, гораздо умнее и зрелее, гораздо более обдуман, мужественнее и сильнее в создании и в подробностях, но зато холоден, слишком отзывается подражанием Шекспиру и слишком чужд того самозабвения, без которого нет истинной поэзии.

19 мая.

Сказать ли? Право, боюсь даже в дневнике высказать на этот счет свое мнение. Но быть так! Читаю по вечерам мелкие стихотворения Пушкина; большая часть (и замечу: все почти хваленые, напр⟨имер⟩, «Демон», «Подражания Корану», «Вакхическая песнь», «Андрей Шенье» etc.) слишком остроумны, слишком обдуманны, обделанны и рассчитанны для эффекту, а потому (по моему мнению) в них нет... вдохновения. Зато есть другие, менее блестящие, но мне особенно любезные. Вот некоторые: «Гроб юноши», «Коварность», «Воспоминание», «Ангел», «Ответ Анониму», «Зимний вечер», «19 октября».

«Чернь» всячески перл лирических стихотворений Пушкина.

4 июня.

Повесть «Фрегат Надежда» из лучших сочинений Марлинского. ⟨...⟩ Единственный недостаток этого прелестного творения — морские варваризмы, без которых мы, профаны, очень и очень могли бы обойтись. Марлинский — человек высокого таланта: дай бог ему обстоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Кукольник — надежда и подпора нашей словесности; ближайший к ним — Сенковский, потом Баратынский [58].

1840 год

27 марта.

Когда раз разочаруешься насчет кого бы то ни было, трудно даже быть справедливым к этому лицу. Царствование Гете кончилось над моею душою, и, что бы ни говорил в его пользу Гезлитт (в «Rev. Britt.» *), мне невозможно опять пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как то падал я в 1824 году и как то заставил пасть со мною всю Россию. Я дал им золотого тельца, они по

* «Британское обозрение» *(фр.).— Ред.*

сю пору поклоняются ему и поют ему гимны, из которых один глупее другого; только я уже в тельце не вижу бога.

12 мая.

Сегодня ровно 14 лет моей очной ставке с К⟨аховским⟩. Чудный видел я сегодня поутру сон: будто я в какой-то земле, где Р⟨ылеев⟩ и К⟨аховский⟩ — святые; вдобавок Р⟨ылеев⟩ будто тут жив,— а между тем мне рассказали его смерть: он, говорили мне, когда объявили ему его жребий, попросил надеть белую рубашку и потом простился с женою, дочерью в какой-то комнате и с тестем на дворе, куда старика привели в кандалах. Дочь при прощанье он взял на руки и стал поднимать все выше, выше, до потолка, покуда ребенок не закричал. Спрашивал я: «Почему же и К⟨аховский⟩ не надел белой рубашки? — ему позволили бы»,— и был ответ: «Да он об этом не просил». Тут мой Миша проснулся и разбудил меня.

26 мая.

Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я любил, теперь покойны!

В душе моей всплывает образ тех,
Которых я любил, к которым ныне
Уж не дойдет ни скорбь моя, ни смех.

Пережить всех — не слишком отрадный жребий! Высчитать ли мои утраты? Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов; Дельвиг умный, веселый, рожденный, кажется, для счастия, а между тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех обольщений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце; прекрасный мой юноша, Николай Глинка, который бы был великим человеком, если бы не роковая пуля, он, в котором было более глубины, чем в Дельвиге и Пушкине и даже Грибоедове, хотя имя его и останется неизвестным! И почти все они погибли насильственною смертью, а смерть Дельвига, смерть от тоски и грусти, чуть ли еще не хуже! Кто у меня остался? Матушка, некогда женщина необыкновенная, ныне развалина, и ей 84-й год. Сестра Юстина Карловна — слава богу, хоть она, но все же это

не матушка; конечно, у ней чувства много, но нет этого удивительного, поэтического воображения, которым и за 70 лет еще моя старушка молодела и очаровывала; а предрассудки! Другая сестра — доброе, милое существо, но и просвещением, и умом слабее Юстины; нет, таких женщин, какова была матушка, право, немного; я не знавал ни одной подобной! Брат — мы друг друга не понимаем! Вот и все, и со всеми я разлучен!

22 августа.

Читать нечего, а, право, хотелось бы. Перебрал я ящик с бумагами, сколько тут разных впечатлений! сколько испытанного, перечувствованного, забытого или такого, о чем и вспомнить тяжело! Тяжело вспомнить не одни заблуждения, но и те ощущения невозвратные, которые волновали мою душу когда-то при первых наитиях набожности, любви к ближним, тоски по родных, по тех, из которых судьба меня потом кое с кем опять привела в болезненное столкновение! Все это прошло и уж не воскреснет! Что же осталось в душе моей? Ужели одно беспредельное желание покоя? Nolli me tangere! * Более ничего не хочу, все прочее — восторги поэзии и веры, любовь, дружба, самая грусть — все мне приелось. Боже мой! или это состояние долго продолжится?

1841 год

5 февраля.

Наталья Алексеевна получила несколько номеров «Сына отечества» и «Отечественных записок» из Нерчинска. Примечательнее всего тут мне показался разбор Лермонтова романа [59] «Герой нашего времени» (в «От⟨ечественных⟩ зап⟨исках⟩»). Разбор сам по себе хорош, хотя и не без ложных взглядов на вещи, а роман, варияция на пушкинскую сцену из «Фауста», *обличает* (pour employer un expression à la mode **)

* Не трогайте меня! *(лат.) — Ред.*
** Пользуясь модным выражением *(фр.).— Ред.*

огромное дарование, хотя и односторонность автора. Несмотря на эту односторонность, я, судя уже и по рецензии, принужден поставить Лермонтова выше Марлинского и Сенковского, а это люди, право,— недюжинные. Итак, матушка Россия,— поздравляю тебя с человеком! Рад, ей-богу, рад,— хотя... Но пусть дополнят это *хотя* другие.

11 февраля.

Кроме Лермонтова, меня познакомил Краевский еще кое с какими людьми с талантом: с Кольцовым, Огаревым, Гротом [60].

5 марта.

В «От⟨ечественных⟩ зап⟨исках⟩»: прочел я тут статью «Менцель» Белинского [61]. Белинского Менцель — Сенковский; автор статьи и прав, и не прав; он должен быть юноша: у него нет терпимости, он односторонен. О Гете ни слова, il serait trop long de disputer sur cela *, но я, Кюхельбекер, противник заклятый Сенковского-человека, вступлюсь за писателя, потому что писатель талант, и, право, недюжинный, вступлюсь и за Кукольника, который не приходу Белинского, но, несмотря на все, что и я в нем не менее Б⟨елинского⟩ и, может быть, с бóльшим сознанием дела порицаю, также талант, а иногда и душа прекрасная. Второе — критика комедии Грибоедова [62]: эта критика толкует, что в «Горе от ума» есть обмолвки и противоречия,— оно так, но потому-то творение Грибоедова и есть природа, а не математическая или философская теорема, и в природе такие же противоречия, хотя только для близоруких.

10 мая.

С грустью и наслаждением перечитываю стихотворения моего незабвенного Дельвига. Какой прекрасный талант! Сколько у него свежести, истинного чувства, поэтической чистоты, разнообразия. Как вялы, бледны,

* Слишком долго было бы спорить об этом *(фр.).— Ред.*

безжизненны в сравнении с ним большая часть нынешних хваленых, даже лучших, хоть бы, напр⟨имер⟩, Подолинский или даже Бенедиктов!

28 июня.

⟨...⟩ перечитываю порою-временем старые дневники: встречаю в них отметки о таких сочинениях, которые вовсе изгладились из моей памяти. Насчет некоторых писателей я свое мнение переменил: к этим в особенности принадлежит Бальзак. Теперь нахожу его довольно однообразным, хотя и теперь считаю его человеком очень даровитым.

1842 год

9 января.

Ни один год моей жизни не начинался так тяжело, как нынешний, а заметить должно, что это пишу я, просидевший десять лет в каземате. Как я дневник свой пишу для тебя, мой сын, не хочу обвинять никого, кроме себя. Только скажу одно: научись из моего примера, не женись никогда на девушке, как бы ты ее ни любил, которая не в состоянии будет понимать тебя. Сверх того, множество и других забот, более мелких, но все же мучительных: обещанных денег все еще нет, нянька едва ли останется, стряпка непременно отойдет, бедная моя жена все еще больна, и я сам нездоров. Оба мы требуем утешения, а между тем...

Слава богу, что я получил сегодня хоть письмо от брата, от которого давным-давно не было никакого известия.

16 сентября.

Если человек был когда несчастлив, так это я: нет вокруг меня ни одного сердца, к которому я мог бы прижаться с доверенностию. Все они теперь от меня отступили, а между тем я бы мог, я бы умел их любить! Бог с ними!

1843 год

16 января.

Сегодня я видел во сне Грибоедова: в последний раз, кажется, я его видел в конце 31 года. Этот раз я с ним и еще двумя мне близкими людьми пировал, как бывало в Москве. Между прочим, помню его пронзительный взгляд и очки и что я пел какую-то французскую песню. Не зовет ли он меня? Давно не расстается со мною мысль, что и я отправлюсь в январе месяце, когда умерли мои друзья: он, и Дельвиг, и Пушкин.

21 июля.

На днях прочел я «Мертвые души» Гоголя. Перо бойкое — картины и портреты вроде Ноздрева, Манилова и Собакевича резки, хороши и довольно верны; в других краски несколько густы и очерки сбиваются просто на карикатуру. Где же Гоголь lyrisch wirst (впадает в лиризм), он из рук вон плох и почти столь же приторен, как Кукольник с своими патриотическими сентиментальными niaiseries *.

12 сентября [63].

В последние дни прочел я много для меня совершенно нового — «Марию Тюдор» [64] и два тома Гана Исландского [65], «Герой нашего времени» и «Маскарад» Лермонтова. ⟨...⟩ Лермонтова роман — создание мощной души: эпизод «Мэри» особенно хорош в художественном отношении, Грушницкому цены нет — такая истина в этом лице; хорош в своем роде и доктор; и против женщин нечего говорить... А все-таки! — все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин. «Маскарад» не в художественном, а в нравственном отношении выше, потому что тут есть по крайней мере страсти. Наташа говорит, что Печорин с Бэлою поступил бессовестно; мне кажется, она более думала о Мэри.

---

* Глупостями *(фр.).— Ред.*

1844 год

6 марта.

Вопрос: может ли возвыситься до самобытности талант эклектически-подражательный, каков в большой части своих пиэс Лермонтов? Простой и самый даже лучший подражатель великого или хоть даровитого одного поэта, разумеется, лучше бы сделал, если бы никогда не брал в руки пера. Но Лермонтов не таков, он подражает или, лучше сказать, в нем найдутся отголоски и Шекспиру, и Шиллеру, и Байрону, и Пушкину, и Грибоедову, и Кюхельбекеру, и даже Пфеффелю, Глейму и Илличевскому. Но и в самых подражаниях у него есть что-то свое, хотя бы только то, что он самые разнородные стихии умеет спаять в стройное целое, а это, право, не безделица.

26 марта.

Пасха. Люди по-своему гуляют, веселятся. А я? «И радость, и печаль равно душе моей противны...» Страшно подумать, как я ко всему стал равнодушен. Сегодня годовщина матушкиной кончины; а я не могу найти в груди своей ни одного живого чувства, ни скорби, ни надежды на свиданье в лучшем мире, ни даже отчаяния, безверия. Я не то чтобы не верил, но вера мне слишком уж знакома. Я ее знаю наизусть, я ее всю перечувствовал: не могу найти в ней ничего уже нового. Я и для нее почти уже отжил, как для чувственных наслаждений, напр., я был когда-то пребольшой охотник есть хорошее — теперь и тут не нахожу ничего, что б мне шибко нравилось: ем без разбору, без вкусу... так, механически, как я из привычки и для примера своему семейству каждый вечер мыслию, памятию, а не сердцем молюсь или, лучше сказать, читаю свои молитвы. И искусства мне опротивели. А что вы еще скажете? Умер Вадковский, человек, с которым я когда-то жил душа в душу,— что же? мне, право ⟨кажется⟩, будто я его никогда не знавал; ум-то, правда, говорит: «Вот ты по чему бы должен грустить, вот какую ты понес потерю — последний, или по крайней мере один из последних, кто тебя любил, покинул тебя навсегда», и пр. Но сердце окаменело: бьешь в него,

требуешь от него воды живой, сладких, горьких слез — а сыплются только искры, суеверные приметы, напр⟨имер⟩ вроде той, что всем моим друзьям суждено было умереть в январе.

11 апреля [66].

⟨...⟩ [Опять перечитывал Лермонтова] и совершенно убедился, что этот человек как нельзя более ошибался в роде данного ему таланта ⟨...⟩ То направление одного, то слог другого, то coupe de vers * третьего показывает, что он горячился весьма хладнокровно. ⟨...⟩ Но Лермонтов точно человек с большим талантом, где вовсе того не подозревает: в стихотворениях, которых предметом не внутренний мир человека, а мир внешний, да еще в своей драме. К созданиям первого разряда высокой красоты принадлежит особенно его пиэса «Дары Терека», которая в своем роде истинный chef d'œuvre ** ⟨...⟩ Лермонтов занимает первое место между молодыми поэтами, которые появились на Руси после нас. Если бы бог дал ему жизнь подольше — он стал бы, вероятно, еще выше, потому что узнал бы свое призвание и значение в мире *умственном.* ⟨...⟩

1845 год

9 апреля.

Книга Одоевского «Русские ночи» одна из умнейших книг на русском языке. Есть и в ней, конечно, то, что я бы назвал Одоевского особенною манерностию, о которой когда-нибудь поговорю подробнее, но все же это одна из умнейших наших книг. Сколько поднимает он вопросов! Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то, что они подняты — и в Русской книге! Он вводит нас в преддверье; святыня заперта; таинство закрыто; мы недоумеваем и спрашиваем: сам он был ли в святыне? Разоблачено ли перед ним таинство? разрешена ли для него загадка? Однако все ему спасибо: он понял, что есть и загадка, и таинство, и святыня.

* Версификация *(фр.).— Ред.*
** Шедевр *(фр.).— Ред.*

1 мая.

Краевский, без всякого сомнения, лучший наш критик [67], умный, честный, добросовестный. Но пораженный тем, что безотрадно в нынешнем состоянии нашего общественного быта, он слишком резко — не извиняет, нет, почти оправдывает тех, которые нарушают основания, святые правила этого быта, напр⟨имер⟩, святость супружества. Он любовницу Печорина чуть ли не предпочитает чудесно-прекрасной Татьяне Пушкина; он находит, что в браке без любви много гадкого и возмутительного, даже порочного... Это, конечно, так, но все же жертва подобного брака, если свято хранит долг свой, в глазах самого же Краевского, пусть бы только он захотел хорошенько все раздумать, не только должна нравственно стоять непременно выше прелюбодейки, но и казаться существом не в пример более прекрасным и поэтическим. Нет! общественное мнение не совсем вздор: оно, конечно, очень часто впадает в заблуждения, часто и справедливые его приговоры бесчеловечны; но все же оно основано на вечной идее истины, красоты и совершенства. Жорж-зандовские разглагольствования никак не очистят той, которая раз уронила себя перед самой собою; тут Eugène Sue с своею Fleur de Marie [68] видел дальше гораздо всей школы сенсимонистов. Честность — вот условие, sine qua non *, под которым мужчина достоин своего имени: женщина не может почитать бездельника; а целомудрие — вот честность женщины.

12 мая.

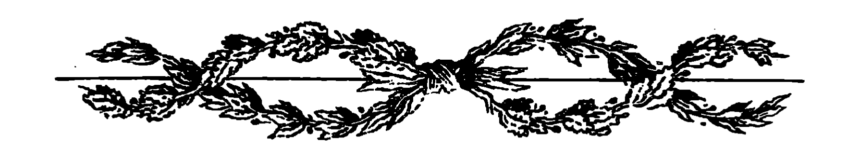
Перелистывал стихотворения Шиллера. Они на меня подействовали очень странно: мне стало жаль поэта, жаль точно так, как мне жаль, когда размышляю о жизни Александра Павловича [69], который в моих глазах одно из самых трагических лиц в истории.

27 мая.

Сегодня ночью я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что он первый поэт России и

* Необходимое условие *(лат.)*.— *Ред.*

никак этого не понимает. Потом я доказывал преважно ту же тему Пушкину. Грибоедова, самого Пушкина, себя я называл учениками Крылова; Пушкин тут несколько в насмешку назвал и Баратынского. Я на это не согласился; однако оставался при прежнем мнении. Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов, я и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову; но слог только форма; роды же, в которых мы писали, все же гораздо высше басни, а это не безделица.



ПИСЬМА

1. А. С. ГРИБОЕДОВУ

〈Динабург. Апрель 1828.〉

Я долго колебался, писать ли к тебе. Но, может быть, в жизни мне не представится уже другой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что люблю тебя по-прежнему: и не ты ли был лучшим моим другом? Хочу верить в человечество, не сомневаюсь, что ты — ты, тот же, что мое письмо будет тебе приятно: ответа не требую — к чему? Прошу тебя, мой друг, быть, если можешь, полезным вручителю: он был верным, добрым товарищем твоего В〈ильгельма〉 в продолжение шести почти месяцев; он утешал меня, когда мне нужно было утешение. Он тебя уведомит, где я и в каких обстоятельствах. Прости! До свидания в том мире, в который ты первый вновь заставил меня веровать.

В. К.

2. ЮЛИИ К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

(отрывок)

〈Динабург.〉 2 октября 〈1829〉.

〈...〉 И тем не менее, добрая сестрица, нежный друг мой, было бы непростительно с моей стороны умолчать о великом благодеянии, только что мне дарованном: мне теперь официально разрешено предаваться моим любимым занятиям. Итак, я питаю сладостную надежду, что я смогу работать для литературы моей отчизны. Быть может, через десять, через двадцать лет или когда меня уже не будет, мои рукописи будут напечатаны; я не желаю, чтобы мое имя им было присво-

ено. Даю тебе слово, что не желание славы мною движает; авторское тщеславие умерло в моем сердце. Ведь имя человека — не сам человек, не лучшая часть его существования. Если, стало быть, это разрешение кажется мне великим счастьем, то происходит это от внутреннего убеждения, что я действительно мог бы быть полезен русскому языку, что мои мысли, мои чувства действительно могли бы благотворно действовать на души, которые их когда-нибудь прочтут. ⟨...⟩

3. А. С. ПУШКИНУ

⟨Динабург.⟩ 20 окт⟨ября 1830⟩.

Любезный друг Александр.

Через два года наконец опять случай писать к тебе: часто я думаю о вас, мои друзья; но увидеться с вами надежды нет как нет; от тебя, т. е. из твоей Псковской деревни до моего Помфрета [1], правда, не далеко; но и думать боюсь, чтоб ты ко мне приехал...... А сердце голодно: хотелось бы хоть взглянуть на тебя! Помнишь ли наше свидание [2] вроде чрезвычайно романтическом: мою бороду? фризовую шинель? медвежью шапку? Как ты через семь с половиною лет мог узнать меня в таком костюме? [3] вот чего не постигаю!

Я слышал, друг, что ты женишься: правда ли? Если *она* стоит тебя, рад: но скажи ей, или попроси, чтоб добрые люди ей сказали, что ты быть молодым лордом Байроном не намерен, да сверх того и слишком для таких похождений стар.— Стар? Да, любезный, поговаривают уже о старости и нашей: волос у меня уже крепко с русого сбивается на серо-немецкий; год, два, и *Амигдал процветет на главе моей* [4]. Между тем я, новый Камоэнс, творю, творю — хоть не Лузиады — а ангельщины и дьявольщины, которым конца нет.— Мой черный демон отразился в Ижорском; светлый — в произведении, которое назвать боюсь [5]; но, по моему мнению, оно и оригинальнее, и лучше Ижорского — даже в чисто светском отношении.— К тому же терцины, размер божественного Данте,— слог, в котором я старался исчерпать все, что могу назвать моим познанием русского языка,— и частная, личная исповедь всего того, что меня в пять лет моего заточения волновало,

утешало, мучило, обманывало, ссорило и мирило с самим собою. Это все вещи, которые в Ижорском не могли иметь места: там же, может быть, годятся. Сделай, друг, милость, напиши мне: удался ли мой Ижорский или нет? У меня нет здесь судей: Манасеин уехал, да и судить-то ему не под стать, Шишков мог бы, да также уехал, а в бытность свою здесь слишком был измучен всем тем, что деялось с ним.— Напиши, говорю, разумеется не по почте; а отдашь моим, авось они через год, через два или десять найдут случай мне переслать. Для меня время не существует: через десять лет или завтра для меня à peu près * все равно.— Кто это у вас печатает пиэсы, очень мне близкие по тому, что в них говорится, хотя бы я немного иначе все это сказал? — Не Александр ли *О⟨доевский⟩*? мой и Исандера питомец? — Знал ли ты Исандера? Нет? — Престранное дело письма: хочется тьму сказать, а не скажешь ничего.— Главное дело вот в чем: что я тебя не только люблю, как всегда любил; но за твою «Полтаву» уважаю, сколько только можно уважать; это, конечно, тебе покажется весьма не многим, если ты избалован бессмысленными охами и ахами! которые воздвигают вокруг тебя люди, понимающие тебя и то, чем можешь быть, должен быть и, я твердо уверен, будешь, понимающие, говорю, это так же хорошо, как я язык китайский.— Но я уверен, что ты презираешь их глупое удивление наравне с их бранью, quoiqu'ils font chez nous le beau temps et la pluie **.— Ты видишь, мой друг, я не отстал от моей милой привычки приправлять мои православные письма французскими фразами.— Вообще я мало переменился: те же причуды, те же странности и чуть ли не тот же образ мыслей, что в Лицее! Стар я только стал, больно стар и потому-то туп; учиться уж не мое дело — и греческий язык в отставку, хотя он меня еще занимал месяца четыре тому назад: вижу, не дается мне! Усовершенствоваться бы только в польском: Мицкевича читаю довольно свободно, Одынца тоже, но Немцевич для меня труденек.— Мой друг, болтаю: переливаю из пустого в порожное, все для того, чтоб ты ⟨мог⟩ себе составить идею об узнике Двинском; но разве ты его не знаешь?

---

* Почти *(фр.).— Ред.*

** Хотя от них у нас зависит хорошая и дурная погода *(фр.).— Ред.*

и разве так интересно его знать? — Вчера был Лицейской праздник: мы его праздновали, не вместе, но — одними воспоминаниями, одними чувствами.— Что, мой друг, твой Годунов? Первая сцена: *Шуйский* и *Воротынский* — бесподобна; для меня лучше, чем сцена *Монах* и *Отрепьев;* более в ней живости, силы, драматического. Шуйского бы расцеловать: ты отгадал его совершенно. Его «А что мне было делать?» рисует его лучше, чем весь XII том покойного и спокойного историографа! [6] Но Господь с ним! De mortuis nil, nisi bene *. Прощай, друг! Должно еще писать к Дельвигу и к родным: а то бы начертил бы тебе и поболе.

For ever your *William* **.

Je ne Vous recommande pas le porteur de cette lettre, persuadé que Vous l'aimerez sans cela et pour l'amitié qu'il m'a montré pendant son séjour à D⟨unabourg⟩ ***.

4. НИК. Г. ГЛИНКЕ

(отрывок)

⟨1834?⟩

⟨...⟩ Ни о чем в свете, кажется, я столько не думал, как о высоком искусстве — об искусстве, которому посвятил жизнь свою, посвятил ее, может быть, без всякой пользы. Без пользы? Конечно, если разуметь под пользою выгоды житейские или даже самые наслаждения славою: имя мое забудется (говорю о моих литературных грехах, как будто бы о произведениях другого), ибо, хотя, может быть, я и был бы чем-нибудь со временем, но все мои произведения незрелы, несовершенны. Несмотря на то, никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом; утешения, которые мне доставляла поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их,— довольно, говорю, для меня и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего ⟨...⟩ Поэтом же

---

* О мертвых ничего, кроме хорошего *(лат.).— Ред.*

** Твой навеки Вильям *(англ.).— Ред.*

*** Я не рекомендую тебе подателя сего письма, так как уверен, что ты и без этого полюбишь его за дружбу, которую он выказал мне во время своего пребывания в Д⟨инабурге⟩ *(фр.).— Ред.*

надеюсь остаться до самой минуты смерти и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастию без нее. ⟨...⟩

5. НИК. Г. ГЛИНКЕ

⟨Свеаборг.⟩ 5 марта 1835.

Давно, мой друг Николай Григорьевич, я к тебе не писал: последнее мое к тебе послание от 6 декабря; дошло ли оно до тебя или нет — не ведаю. Впрочем — если оно и не дошло,— беда не большая, потому что в нем кое-что полусправедливое, а кое-что и совершенно ложное.

Дело шло о чтении и — не знаю, почему мне вздумалось утверждать, что чтение редко бывает вредным. Я этот вопрос потом рассматривал со всех сторон и размышления свои сравнивал с собственными опытами! Нет сомнения, что многое зависит от того, *как* и *кто* читает. Для чистого все чисто; но и самые превосходные книги могут быть пагубны, когда поймешь их криво. ⟨...⟩ Позволено ли поэту *изображать* порок? — Между словами *изображать* и *защищать* — большая разница. *Изображать* поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним; но представлять порок в привлекательном виде — преступление не перед одною нравственностию, а, к счастию, и перед поэзиею; впрочем, я едва ли могу поверить, чтобы, кроме совершенно помешанного, кому могло вздуматься прямо хвалить *грабеж*, *насилие*, *пьянство*, *распутство* etc. Есть другие пороки, которые с первого взгляду менее грязны, и есть писатели, которые старались их представить заманчивыми: расслабление нравов семейственных, которые, впрочем, тоже распутство, да только более тонкое, безверие, эгоизм нашли, напр⟨имер⟩, защитника в Коцебу. Но поэт ли Коцебу? — Мне кажется, что унижение души, необходимо нужное, чтобы найти эту мерзость прекрасною, совершенно несовместимо с вдохновением, доступным — по-моему — только для души высокой или по кр⟨айней⟩ мере влюбленной в высокое.

Перейдем к частностям. Позволены ли поэту карти-

ны сладострастные? — Этот вопрос довольно сложен: не забудь, что он разрешается только самою поэзиею, а не нравоучением; ибо теория, которая свободное искусство покоряет чему-нибудь постороннему, вместе уничтожает самое искусство. Если картина такова, что смущает нас, что возбуждает в нас скотскую похоть,— будь уверен, что тут и самая поэзия улетела: дело поэзии одухотворять вещественную природу, а не подавлять дух веществом. Впрочем, нередко виноват не поэт, а сам читатель: его воображение уже грязно — вот почему оно марает картину поэта. Не смешон ли вопрос: благопристойная ли нагота в Венере Медицейской? и что скажешь о ханже или фавне, который вздумает разбить дивный истукан, дабы он не соблазнял его? Те же нагие истуканы — *большая* часть сладострастных картин древних. Гомер, напр⟨имер⟩, говорит о любви Гелены и Александра [1] так же бесстрастно и спокойно, как о щите Ахиллеса; он говорит о ней, потому что того требует его повесть, а не думает любоваться этою картиною, не мешкает на ней, не старается возбудить в слушателе (в его время еще читателей не было) вожделение. Иное дело новые; напр⟨имер⟩, Виланд; для него сладострастная сцена — находка; он до гадости медлит на самых мелочах, на самых неблагопристойных подробностях. Но, повторяю, поэт ли Виланд? — Впрочем, сладострастные картины и древних не советую читать никому, кто к ним не приступит с намерениями и с душой художника. Другая крайность — антипоэтическая — представлять, напр⟨имер⟩, в драме, в романе лицо порочное совершенным дьяволом, променять долг живописца на роль проповедника (говорю *роль*, ибо для поэта проповедовать — только *роль*, сверх того, роль не в его характере); разумеется, что и тут поэзию убивают наповал, а вместе с нею и истину, потому что человеческих дьяволов нет, не было и никогда не будет. Представляй, художник, природу, какова она есть; не хвали порочного, но не лишай его и того, что в нем не порок, что в нем прекрасно. Мщение — самое адское и страшное чудовище, но в душе мстительной есть энергия, совершенно не зависящая от самой мстительности, хотя мстительность и привита к ней; не лишай же Маргериты Valois * этой энергии; будь она фурия, но фурия мощная. Нравственность —

* Валуа *(фр.).— Ред.*

самое святое дело; но что бы ты сказал о портном, который, не сшив тебе в срок мундира, стал бы говорить тебе: «Николай Григорьевич, не горячитесь! вспыльчивость — порок». Не так ли ты бы отвечал ему: «Предоставь моему духовнику читать мне поучения; твое дело — игла, нитки, ножницы»? Тот же портной — поэт: его дело изображать, а не учить. Но польза поэзии? Польза, друг мой, великое слово, если только понять, как до́лжно, это слово. Часто поэт полезнее всякого проповедника: не могу поверить, чтобы тот легко стал мерзавцем, кто раз полюбил наслаждения, какие дает нам поэзия,— разумеется, *истинная*. Поэзия возвышает душу, отвлекает ее от мелких хлопот, попечений, суеты ежедневной жизни, переселяет ее в мир красоты, покоя, картин и звуков и тем самым омывает, облагораживает ее — вот польза поэзии; другой не знаю и не постигаю. Может ли существовать нравоучительная или религиозная поэзия? О первой скажу решительно: нет; где учение — там уж нет поэзии. Поэзия религиозная совсем не то: если она *невольное* излияние чувств, если кто обращается к богу, говорит об истинах религии, потому что иначе не может,— он, без сомнения,— поэт, и в самом высоком значении этого слова. Но очинить перо, разложить бумагу и сказать самому себе: «Напишу-ко я поэму дидактическую, в которой поражу всех противников католической церкви»,— в нравственном отношении очень похвально, но вместе очень и не поэтически; а это-то и сделал Louis Racine *. А это-то и забывают очень часто наши Аристархи. Впрочем, бог с ними, с Аристархами: мне их не судить и не переспорить. Судья им тот же Шиллер, на которого они так часто ссылаются; надеюсь, что Шиллера никто не обвинит в намерениях противунравственных; между тем он сильно в своих полемических сочинениях восстает на нравоучительную теорию в поэзии.

Еще вопрос: виноват ли будет твой портной, если мундир, сшитый им для совсем иного употребления, ты наденешь в цели не нравственной, напр⟨имер⟩, с тем, чтоб вскружить голову дурочке, на которую эполеты, шитье etc. сильно действуют? Виноват ли и поэт, когда глупый школьник или едва вышедший из школы прапорщик читают его нарочно с тем, чтоб найти звуки,

* Луи Расин *(фр.).— Ред.*

стихи и рифмы, в которые могли бы одеть свои нечистые помыслы?

Прошу кланяться от меня Борису. Целую и обнимаю вас обоих.

Твой друг *В. Кюхельбекер.*

6. А. С. ПУШКИНУ

Баргузин. 12 февраля 1836 года.

Двенадцать лет, любезный друг, я не писал к тебе [1]... Не знаю, как на тебя подействуют эти строки: они писаны рукою, когда-то тебе знакомою; рукою этою водит сердце, которое тебя всегда любило; но двенадцать лет не шутка. Впрочем, *мой* долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным писать к вам; *долг*, потому что и ты же более всех прочих помнил о вашем затворнике. Книги, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны: раз, они служили мне доказательством, что ты не совсем еще забыл меня, а во-вторых, приносили мне в моем уединении большое удовольствие. Сверх того, мне особенно приятно было, что именно ты, поэт, более наших прозаиков заботишься обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа люди хладнокровные и рассудительные обыкновенно взводят на грешных служителей стиха и рифмы. У них поэт и человек недельный одно и то же; а вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось.— Мое заточение кончилось: я на свободе, т. е. хожу без няньки и сплю не под замком.— Вероятно полюбопытствуешь узнать кое-что о Забайкальском крае или Даурской Украйне — как в сказках и песнях называют ту часть Сибири, в которой теперь живу. На первый случай мало могу тебе сообщить удовлетворительного, а еще менее утешительного. Во-первых, в этой Украйне холодно, очень холодно; во-вторых, нравы и обычаи довольно прозаические: без преданий, без резких черт, без оригинальной фи-

зиономии.— Буряты мне нравятся гораздо менее кавказских горцев: рожи их безобразны, но не на гофмановскую стать, а на стать нашей любезной отечественной литературы,— плоски и безжизненны. Тунгусов я встречал мало: но в них что-то есть: звериное начало (le principe animal) в них сильно развито и, как человек-зверь, тунгус в моих глазах гораздо привлекательнее расчетливого, благоразумного бурята.— Русские (жаль, друг Александр,— а должно же сказать правду) — русские здесь почти те же буряты, только без бурятской честности, без бурятского трудолюбия. Отличительный порок их пьянство — здесь пьют все: мужчины, женщины, старики, девушки; женщины почти более мужчин. Здешний язык богат идиотизмами, но о них в другой раз.— Мимоходом только замечу, что простолюдины употребляют здесь пропасть книжных слов, особенно часто: *почто*, *но*, *однако*; далее — *облачусь* вместо *оденусь*, *ограда* вместо *двор* etc.— Метисы бывают иногда очень хороши: веришь ли? Я заметил дорогою несколько лиц истинно греческих очерков; но что гадко: у них, как у бурят, мало бороды, и потому под старость даже лучшие бывают похожи на старых евнухов или самых безобразных бабушек. Между русскими, здешними уроженцами, довольно белокурых — но у всех почти скулы выдаются, что придает их лицам что-то калмыцкое.— Горы Саянские или, как их здесь называют, Яблонный хребет, меньше Кавказских, но, кажется, выше Уральских — и довольно живописны. О Байкале ни слова: я видел его под ледяною бронею. Зато, друг, здешнее небо бесподобно: какая ясность! Что за звезды! — Вот для почину! Если пожелаешь письма поскладнее, отвечай.— Обнимаю тебя. Je Vous prie de me rapeler au souvenir de Madame Votre mére et M[r] Votre pére.

Tout à Vous * *В. Кюхельбекер.*

P. S. Брат тебе посылает поклон.

7. А. Г. ГЛИНКЕ

Баргузин. 28 фев⟨раля⟩ 1836 года.

Милая Саша.

Вчера получил я большой пакет писем; что я им

* Прошу напомнить обо мне твоей матушке и твоему батюшке. Весь твой *(фр.).— Ред.*

чрезвычайно обрадовался — можешь сама вообразить, тем более что они очень милы, особенно ваши, и первые, присланные мне в Баргузин. Ты спрашиваешь, почему не желаю, чтоб вы прочли или перечли трагедии Вольтера, и полагаешь, что в них нет ничего безнравственного.— Безнравственность писателей бывает двоякая. Одна откровенная, искренняя или, если угодно, бесстыдная. Эта гораздо менее опасна, потому что сама по себе отвратительна. Книги, в которых господствует она, сами выпадут из рук ваших и *для вас* едва ли могут быть вредны. Ею напитаны Вольтеровы сказки, его Кандид etc., etc.— В трагедиях он все тот же Вольтер, но гораздо чопорнее и осторожнее. Тут у него третье слово vertu, humanité * и пр. Между тем и тут он проповедник безверия; и тут вооружается в так называемых vers à retenir ** противу всего, что удерживает и обуздывает человеческие страсти. Его Альзира — энциклопедист, переряженный, и довольно неловко, в американку. Магомет написан с тем, чтоб выставить напоказ всю пагубность религиозного энтузиазма. Заира, чтоб доказать, как противуестественны некоторые постановления латинской церкви. Не вступаюсь за эти постановления — но из всего сказанного видишь, каково направление его трагедий, и самых даже лучших.— Везде философия 18 века, везде сам Вольтер: природы, действующих *живых* лиц, сердца человеческого — не ищи; они изредка только, почти противу воли автора, являются в стихах, где Вольтер, человек с огромным талантом, забывается, где на минуту из его памяти изглаживается, что он оракул и патриарх своих приверженцев и поклонников.— Не верь, чтобы тот, кто сегодня черен, мог вчера или завтра быть белым.— Впрочем, ложные правила нравственные повредили и самой поэтической красоте его трагедий: все они более теоремы, которые хотят *доказать* то и то, нежели свободные излияния души, не скованной никакими предубеждениями. Удивлялся я уже давно странной цензуре, которой подвергают матушки книги, какие дают дочерям своим или какие отнимают у них. Сто раз случалось мне видеть, что прятали от молодой девушки как можно далее иной роман, в котором много любви, восторгов, *охов* и *ахов* и

* Добродетель, человечность *(фр.).— Ред.*

** Афористические, легко запоминающиеся стихи *(фр.).— Ред.*

глупостей, но вообще нет ничего худого, ничего ложного и вредного. «Il ne faut pas monter la tête à une petite fille» *,— говаривали они. Очень хорошо. Но отчего же вы им позволяете и даже приказываете читать и твердить наизусть Заиру, Андромаху, Федру? Разве тут нет любви, да еще какая любовь? — И разве одна любовь вредна сердцу девушки, сердцу человеческому? — Питать страсти, конечно, не должно; но я испытал и видал часто, что ложные правила гораздо опаснее сильных страстей.— Энтузиазма у вас в свете боятся и стыдятся пуще порока. Я согласен, что энтузиаст редко бывает счастлив, т. е. что у вас называют *быть счастливым.* Но ужели нет большего несчастия для человека того, что свет называет несчастием? Разочарование, эгоизм, омертвение души — ужели ничего не значат?

Не удивляюсь, что Шамфоров Мустафа тебе не пришел по нутру.— Искренно скажу, что, кроме Расина и Корнелева Сида,— все французские, классические трагедии я читал и плакал, да только не потому, чтоб они очень сильно шевелили меня, а что до́лжно было их прочесть.— Что сказать тебе о Жан-Поле? — Не спорю, что есть у него местами кое-что и не совершенно согласное с хорошим вкусом. Но Жан-Поль (человек, а не автор) — душа высокая, прекрасная; он обожает все то, что в природе и в человеке божественно, и потому едва ли может быть для вас вредным, особенно если будете его читать под руководством вашей маминьки. Вдобавок, не забудьте, что Жан-Поль писал не для одних девушек и женщин. Иное, что с первого взгляду несколько возмутит вкус и чувство молодые, нежные,— нужно нашему брату старику, которого нервы уже успели притупиться и подают голос только при сильном потрясении.— Должно еще признаться, что вообще немецкие остроты почти всегда несколько натянуты,— а, к несчастию, Рихтер там, где хочет остриться, самый немецкий немец. Зато возьми места, где он часто Поэт, где увлечен потоком картин, чувств и видений! — Заметь еще, что иное в *связи* очень хорошо, а в виде отрывка теряет более половины своей силы и значения. В хрестоматии, которая у вас, иное прямо приписано Жан-Полю, что сам он только пересказывает как толмач своих героинь и героев.

---

* Не нужно кружить голову маленькой девочке *(фр.).— Ред.*

Благодарю вас, душеньки, за халат и одеяло, которые мне шьете.— О брате и его семье здесь не пишу; зато собираюсь тем подробнее поговорить о них в других письмах.

Целую твои ручёнечки. За вид Смоленска не знаю кому изъявить признательность, тебе ли или Наташе.— Поклон моей Катерине и Надежде Андреевнам. Еще раз прощай!

Твой старик *В. Кюхельбекер.*

8. А. С. ПУШКИНУ

Баргузин. 3-го августа 1836 года.

А. С. Пушкину.

Признаюсь, любезный друг, что я было уже отчаялся получить от тебя ответ на письмо мое: но тем более я ему обрадовался; жаль только, что при нем не было первой книжки твоего журнала: я ее не получил.

Ты хочешь, чтоб я тебе говорил о самом себе. *Ныне* это мне еще совершенно невозможно: в судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась. Дышу чистым, свежим воздухом, иду, куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрыпу замков, ни шепота часовых при смене: все это прекрасно, а между тем — поверишь ли? — порою жалею о своем уединении [1]. Там я был ближе к Вере, к поэзии, к идеалу; здесь все не так, как ожидал даже я, порядочно же, кажись, разочарованный насчет людей и того, чего можно от них требовать,— впрочем, le goût me viendra en mangeant *,— вот, напр⟨имер⟩, как вчера в лесу, когда предложили мне вместо обеда соленых омулей, несколько, как говорят здесь, *воньких*: от них чуть было не сорвало с души; но, протаскав целое утро бревна и доски, я устал, проголодался и — вообрази — съел целого омуля. Так-то наконец и нравы здешние придутся же мне по зубам.— Еще одно: когда я начал дневник свой, я именно положил, чтоб он отнюдь не был исповедью, а вышло напротив; проговариваюсь и довольно даже часто. Иначе и быть не может.

---

* Вкус ко мне придет во время еды *(фр.).— Ред.*

Есть случаи, где *«всяк человек ложь»* [2]; но есть и такие, где всяк человек — истина. Писать *к тебе* и о самом себе — как не высказать того, что во мне бродит? А это еще рано.

⟨...⟩ На тебя надеюсь более, чем на дюжину так называемых дельных людей. Запасу у меня довольно: и в стихах, и в прозе. Участвовать в твоем журнале я рад. Мои условия: по 24 листа печатных или по 12 статей в стихах и в прозе в год за 2000 или 1500— разумеется, что мелкие стихотворения не в счет.— Не дорого ли? — Сверх того, прими на себя труд издать или продать то, что позволят мне напечатать отдельно [3]. ⟨...⟩ *Нашею* критикою и я не слишком доволен; только не думаю, чтоб она в наше время была лучше; честности-то точно было более; но, друг, иная простота хуже воровства.— Не слишком ли ты строг и к Кукольнику? *К тебе* я, конечно, писал бы о нем несколько иначе, чем к племянникам; но все же он не то, что Тимофеев, который (par parenthèse *) безбожно обкрадывает и тебя, и меня. Язык Кукольник знает плохо, стих его слишком изнежен, главный порок его — болтовня; но все же он стоит, чтоб, напр⟨имер⟩, ты принял его в руки: в нем мог бы быть путь; дай ему более сжатости, силы, бойкости: мыслей и чувства у него довольно, особенно (не во гнев тебе) если сравнить его кое с кем из наших сверстников и старших братий.— Гоголь? — Из выписок Сенковского, который его, впрочем, ругает, вижу, что он должен быть человек с истинным дарованием. Пришли мне его комедию. Трагедию Хомякова (только не Ермака) Ник⟨олай⟩ Глинка мне расхвалил. Точно ли она хороша?

Где Лев Сергеевич? Пишет ли? Прошу ему кланяться.— Обнимаю тебя.

Твой *Вильгельм.*

⟨...⟩

Разумеется, что статьи, которые стану посылать к тебе, будут подлиннée нынешней [4].

---

* Между прочим *(фр.).— Ред.*

9. А. Г. ГЛИНКЕ

〈Баргузин.〉 19 октября 1836.

Друг Саша.— С неделю или, быть может, и более я получил твое милое письмецо — и поныне не отвечал на него.— Хлопоты, о которых распространяться не стану, но причину которых ты, вероятно, уже знаешь [1],— причиною этой оплошности.— Je suis, ma bonne amie, sur le point de faire une grande folie *; да кто же избегал когда судьбы своей? — Если бы я нашел здешних людей мне близких несколько иначе, если бы меня не разделяли с ними вкусы и понятия, совершенно противоположные моим [2], я, поверь мне, никогда бы не думал о связи, которая — искренно сказать — меня несколько пугает.— Но мои требования довольно умеренны: в мою пользу молодость и неиспорченность той, которую я выбрал в товарищи остатка своей жизни.— Впрочем, повторю то же, что уже сказал Эмилии Федоровне [3]: не берусь за настоящее воспитание будущей жены своей; 19 лет не шутка; дай-то только бог, чтоб хоть в дочери взростил я себе друга, существо, которое бы понимало меня, любило и было в состоянии участвовать в *моих* скорбях и радостях. Парней отдам их дяде: пусть будут тем, что *здесь* может составить их счастие.

Любовь отца к дочери уступает разве только самоотвержению, с которою 〈!〉 мать и одна только мать в состоянии любить единственного сына. Если и есть что романическое в моих нынешних мечтах, то все в будущем. Жену свою я только желаю поставить на такую ногу, чтоб она не мешала мне.— Что пишу к тебе — быть может, покажется иному и смешным,— но, друг, не смейся: мне нужно сердце, которое бы было отголоском моего собственного. Сверх того я уже дал себе обещание, что mon enfant de prédilection ** не останется здесь. Рано или поздно я ее отправлю к вам — и она будет новою связью между вами и вашим изгнанником: в этом случае я принесу жертву тяжкую, но необходимую ее счастию.— Сестрам твоим буду писать в другое время; а между тем целую их и тебя и целую ручки твоей маминьке.— Прости.

Твой друг *В. Кюхельбекер.*

---

* Я готовлюсь, мой милый друг, совершить большое безрассудство *(фр.).— Ред.*

** Мое любимое дитя *(фр.).— Ред.*

10. НАТ. Г. ГЛИНКЕ

⟨Баргузин.⟩ 10 июня 1839 года.

Друг Наташа.

В день моего рождения пишу к тебе, мой милый друг, из нашей глуши, из стороны, в которой никто, ровно никто не хочет знать: примечателен ли этот день для меня или нет.— Тот, с кем бы я всего больше желал разделить подобные дни, всего меньше на этот счет со мною одного мнения. Он не любит, он сердится, если, напр⟨имер⟩, даже его жене скажешь: вот имянины, вот день рождения брата.— Своей жене я и сказал бы, что сегодня, верно, обо мне вспоминают в Петербурге: но для нее не существует мое минувшее.— Брата особенно в подобных случаях мне жаль, не могу сказать, как жаль. Им совершенно овладел тот дух отрицания, который издевается надо всем, что греет сердце: для него нет ни праздников, ни поэзии, ничего того, что необходимо для меня, чтобы жизнь мне не казалась бездушным прозябанием. Сколько должно было пройти по его душе страданий, чтоб сделать его до такой степени равнодушным ко всему! — Мое письмо, быть может, покажется тебе опять жалобою, но, ей-богу, не хочу жаловаться, а только не могу не говорить о нем, потому что особенно сегодня именно он занимает все мои мысли. Буду совершенно откровенным: у меня даже в глубине души таится очень слабая, правда, надежда, что он хоть под вечер вспомнит обо мне, что, преодолевая свое отвращение ко всему, что называет предрассудками, пустяками, скажет мне хоть приветливое слово, точно так, как взрослый иногда потакнет ребенку, только чтоб ребенок не плакал.— Но этому не быть: он, верно, едва ли знает, начался ли или нет июнь месяц.

Все мое прошедшее передо мною; ваши присылки будто разбудили это время, которого уж нет. Между прочим, Ижорский и Шуйские [1] вызвали живо для меня те обстоятельства, при которых я писал их.— В Шуйских много длиннот, много лишнего; но есть жар истинный, но есть что-то такое, чего нет в позднейших моих созданиях: хоть не молодость, все же отголоски этой молодости. Ляпунов в художественном отношении выше, но тот, кто написал Шуйских, был мягче и лучше автора Ляпунова.

Да, чтоб ты меня не поняла криво! — Если я жалуюсь на отсутствие поэзии в брате, пожалуйста, не думай, что я досадую на него за то, что не сходит с ума от моих стихов! Нет — я поэзиею называю все нематерияльное, все неутилитарное в нашем быту, и этого-то я желал бы видеть в нем побольше, потому что он тогда, кажись, был бы счастливее: ведь материяльный мир представляет нам обоим очень, очень мало наслаждений.— У него (и рад я, что вспомнил!) — у него любовь к цветам: по-моему, и это поэзия. Самое отрадное для него чувство, самая лучшая в нем черта — любовь к детям, особенно к Аннушке: а ей, бедненькой, любовь отца теперь необходима.— Когда гляжу на него, как он подчас с ними занимается, играет, учит их,— я благодарю бога, что есть и для него в мире радости. Но для чего ж я ему совершенно стал чужим?

Прощай, Наташа!

В. К.

11. НАТ. Г. ГЛИНКЕ

(отрывок)

〈Баргузин.〉 13 сентября 1839 года.

〈...〉 Гете, как человека и поэта, он 〈Менцель〉 судит безжалостно строго.— Сам я знаю и, может быть, прежде Менцеля говаривал, что тщеславие Гете, его султанские замашки, его кокетство, его вечное коленопреклонение перед самим собою довольно... смешны. Но это человек, а не поэт; да тут все же еще нет ни вольтеровского кощунства, ни бесстыдства Ж. Ж. Руссо, который признается и в воровстве и в клевете на невинную девушку [1] и бог знает еще в чем, а между тем говорит: je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas de meilleur homme que moi *.— Не считаю Гете нравственным писателем, но и не безнравственным.— Дело поэта предаваться впечатлениям, передавать их читателям, но не проповедовать. Счастие его, если он человек чистый, каков, например, был Шиллер, каков наш Жуковский.— Но это редко бывает. Все же всякий *истинный* поэт (а что поэт — Гете, в

* В глубине души я убежден, что нет человека лучше меня *(фр.).— Ред.*

том нет сомнения) полезен человечеству, потому что вдыхает любовь к изящным наслаждениям. Человек, который поймет Гете и Шекспира, разумеется, поэтому еще не сделается добрым семьянином, верным сыном отечества, православным христианином; но мне почти невозможно вообразить, чтобы такой человек мог совершенно утратить любовь к прекрасному, мог бы стать гнусным скрягою, бесстыдным развратником, необтесанным грубияном с женщинами ⟨...⟩ [2].

12. НАТ. Г. ГЛИНКЕ

⟨Акшинская крепость.⟩ 31 дек⟨абря⟩ 1841 года.

Мой милый друг Наташа.— Благодарю за твое любезное сентябрьское и октябрьское письмо и за все подробности о Настиньке [1], твоей милой крестнице, о болезни которой сердечно жалею и которую я полюбил всей душою, потому что ты ее любишь.— О бедном Володе [2] я сожалею, хотя и говоришь ты, что он много нанес огорчений своей матери: не мне осуждать детей, огорчивших родителей; не то я бы подал камень избиения на самого себя.— Что сказать мне о самом себе и о том, с какими чувствами встречаю новый год? — Я сижу теперь один в холодной комнате и пишу к вам, между тем как жена и Миша спят в теплой каморочке, а Ваня [3] в людях, потому что я именно сегодня отвез его, чтобы отучить от груди. Это было сделано с согласия матери, которая больна и довольно тяжело; между тем оно имело следствием бурную сцену; она, бедненькая, не соразмерила сил своих — и, но ты можешь легко представить, как ее упрямая, детская скорбь должна была мучить меня.— Вот тебе последнее происшествие моего 1841-го года! Я не могу похвалиться счастием: люблю жену всей душою, но мои поступки часто ее огорчают, потому что она нередко их совершенно превратно толкует. Впрочем, она добра, и я бы должен с нею поступать как с ребенком, потому что у ней ум истинно младенческий. Да укрепит ее господь перенесть жизнь и судьбу, так тесно связанную с моей! — Здешних она почти никого не любит; своих баргузинских слишком, хотя те вовсе не более достойны любви. По нелюбви к здешним жителям, она все почти одна, никуда не ходит, между тем как я по занятиям своим обязан

проводить $^{3}/_{4}$ дня вне дома. Жаль мне ее! — От брата у меня давно нет известия: здоров ли он?

Прощай, мой друг! Будь счастлива ты; дай господь счастие твоим сестрам и братьям! Я бы знал, чего бы попросил Вас пожелать мне; но не смею. Мне бы это, конечно, было хорошо и желательно, но Миша, но Ваня, но сама она, бедненькая! — Что-то с ними было бы без меня?

Прощай еще раз!

Твой друг *В. Кюхельбекер.*

13. НАТ. Г. ГЛИНКЕ

⟨Смолинская слобода.⟩ 11 октября 1845.

Мой друг Наташа. Третьего дня вечером и совершенно нечаянно я узнал о кончине Эмилии Федоровны [1]. Чем она была для вас, чем для меня, вы знаете... Как на меня подействовала эта весть, ты разгадаешь из стихов [2], которые я *был в состоянии* написать на другой день... вот, мой милый друг, до чего я дожил! Узнаю о смерти — чьей? — и — и — пишу стихи! Но, по-видимому, то, что называю своим дарованием, живучее во мне сердца и чувства. Je ne peux me rendre, me faire meilleur, que je ne le suis *. Итак, пусть хоть дар поэта заменит ее священной памяти слезы чистые и бесценные, которые даются детской, младенческой только скорби.— Никогда еще стиходей не переписывал собственных стихов с таким неуважением к самому себе, с таким отвращением к стихам. Я мог бы их вам и не пересылать, je pourrais même dire: je suis sensé d'ignorer la mort,— pourquoi en parler?..** Но меня что-то так и толкает говорить о том, что вас так искренно и живо печалит, а что в моей груди находит только резонерный, стихотворческий отголосок. Право, я наскучил самому себе! Но и в стихах по кр⟨айней⟩ мере видно, как бы *я желал* о ней скорбеть; только откуда родиться этой скорби в душе, которая вся в мозолях и рубцах от прежних ран? Довольно; прочти стихи — и пожалей, буде можешь, несколько и обо мне; сам я

---

* Не могу стать лучше, чем я есть *(фр.).— Ред.*

** Я мог бы даже сказать: я склонен забыть о смерти; к чему говорить о ней?.. *(фр.) — Ред.*

о себе не жалею. J'ai le sentiment de vouloir me souffleté *. Прощай! Обнимаю тебя и сестриц твоих.

В. К.

14. В. А. ЖУКОВСКОМУ

⟨Курган. 21 декабря 1845⟩.

С лишком пять лет прошло, как я имел счастие получить бесценное для меня письмо ваше из Дармштадта, которое служит мне живым свидетельством и прекрасной души вашей, и того, что вы по сю пору неравнодушны к тому Вильгельму, который некогда пользовался вашею дружбою. Я к вам после того писал два раза: в конце 40-го и в начале 42-го годов. В последнем письме осмелился я вас назвать заочным крестным отцом моего покойного сына Ивана — ответа не было. Ныне решаюсь опять прибегнуть к вам же, и в обстоятельствах для меня и всего моего семейства крайне тяжелых. Не говорю уже о совершенно расстроенном состоянии моего здоровья и преждевременной дряхлости, но уже два месяца, как я почти совсем ослеп — на левом глазу у меня бельмо, а правым я едва-едва различаю очерки предметов; и, вдобавок, мои житейские средства крайне скудны. У бедных моих сестер на руках мы, два несчастные брата, они не могут нам уделять каждому более 600 руб. в год. Покуда я еще был в силах, я занимался сельским хозяйством и кое-что приобретал от продажи излишнего хлеба — теперь и это невозможно, а между тем болезнь требует беспрестанно новых издержек.

Все это вместе вынудило меня обратиться к его сиятельству графу Орлову [1] и просить его ходатайства о высочайшем дозволении издавать безымянно мои сочинения и переводы, и вместе с тем отправить к вам эти строки. В вашем последнем письме от 29-го июля 1840 г. (c'est par parenthèse le jour de naissance de mon fils Michel) ** вы говорите насчет подобной моей просьбы, «что, может быть, она со временем и исполнится»; мне кажется, что это время или теперь настало, или мне уже не дожить до него.

---

* Кажется, надавал бы себе пощечин *(фр.).— Ред.*

** Между прочим, это день рождения моего сына Михаила *(фр.).— Ред.*

Я вполне в вас уверен — и нисколько не сомневаюсь, что вы даже и без моей просьбы употребите все, что от вас зависит, чтобы доставить мне возможность достигнуть этой единственной теперь цели моих желаний — тогда жена моя и дети будут иметь надежный кусок хлеба; я не буду в тягость моим сестрам и при телесных и душевных моих страданиях буду по крайней мере покоен насчет вещественных моих надобностей. Вот, добрый мой Василий Андреевич, о чем я прошу вас и чего от вас надеюсь.

О литературном достоинстве своих сочинений говорить не стану; но бог мне свидетель, что бескорыстная любовь к добру и красоте всегда была моею единственною руководительницею, по крайней мере последние двадцать лет. Вот почему смею считать себя одним из не совсем недостойных представителей того периода нашей словесности, который, по самой строгой справедливости, должен бы называться вашим именем, потому что вы первые нам, неопытным тогда юношам, и в том числе Пушкину, отворили дверь в святилище всего истинно прекрасного и заставили изучать образцы великих иностранных поэтов. Никто из ваших преемников никогда не передавал ни Шиллера, ни Гете, ни Байрона в таком совершенстве, как вы. Собственные ваши сочинения — все живые свидетели души высокой, изящной и благородной. Вы остались и поныне жрецом того храма, в который нас впустили. После нас наступили другие мнения и толки, расчеты и соображения не совсем литературные — не мое дело судить, выиграла ли тут наша словесность.

Извините, мой бесценный Василий Андреевич, я немного увлекся болтовней. Возвращусь к делу. Повторяю, я совершенно уверен, что вам, для того чтобы поспешить мне на помощь, стоит только узнать, в каком нахожусь положении, и потому не скрою, что особенно в этом деле надеюсь на вас и на ваше содействие. Вам, верно, утешительно будет знать, что при новом постигшем меня несчастии я, сколько возможно, бодр духом и исполнен упованием на бога.

Прилагаю при сем, как могу припомнить, подробный реестр всем моим сочинениям и переводам вообще, как старым, так и новым. Некоторые журналы и книги, в которых первые были напечатаны, вы, верно, не откажетесь мне переслать по вашем возвращении в Рос-

сию, а лучше всего — выдержки из них, чтобы пересылка была не так затруднительна.

Если мне разрешено будет безымянно печатать мои труды или часть из них, я во всяком случае прошу вас быть их главным издателем; а Петр Александрович Плетнев, конечно, не откажется принять на себя корректуру и редакцию.

Подаренные мне вами сочинения ваши составляют лучшую часть моей очень скудной библиотеки. Миша мой знает наизусть вашу «Светлану», «Графа Габсбургского», «Трех путников» и множество других пиэс — и прибавлю, понимает их.

Пожимаю вам от души руку, молю бога, чтобы вы нашли чистое, ничем не возмущаемое счастие в своем семействе, и прошу иногда вспомянуть того, кто не забывает вас ни в мечтах своих, ни в молитвах.

В. Кюхельбекер.

P. S. Вы увидите по почерку этого письма, мой добрый Василий Андреевич, что я сам не в состоянии был писать к вам, а должен был диктовать одному из моих товарищей, который ухаживает за мною, бедным слепцом.



КОММЕНТАРИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А — Амфион.
Б — Благонамеренный.
БдЧ — Библиотека для чтения.
ВЕ — Вестник Европы.
Г — Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811—1817). Бумаги I курса. СПб., 1911.
ИВ — Исторический вестник.
КМ — Календарь муз на 1826 год. СПб., 1826.
ЛВ — Литературный вестник.
ЛЛ — Литературный Ленинград, 1936, № 7, 8 февр.
ЛН — Литературное наследство.
Мн — Мнемозина.
МТ — Московский телеграф.
НЗ — Невский зритель.
ОЗ — Отечественные записки.
П — Подснежник. СПб., 1829.
ПДС — Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. (Серия: Литературные памятники).
ПЗ — Полярная звезда.
ПСС — Кюхельбекер В. К. Полное собрание стихотворений. Библиотека декабристов. Вып. II. М., 1908.
РА — Русский архив.
РЛ — Русская литература.
РС — Русская старина.
С — Кюхельбекер В. К. Стихотворения. Л., 1939. (Б-ка поэта, Малая серия.)
СА — Северный архив.
СО — Сын отечества.
СС1 — Кюхельбекер В. К. Собрание сочинений: В 2 т. Л., 1939. (Б-ка поэта, Большая серия).

СС2 — Кюхельбекер В. К. Избранные произведения: В 2 т. М.; Л., 1967. (Б-ка поэта, Большая серия).
ССД1 — Собрание стихотворений декабристов. Т. 1. Лейпциг, 1862.
ССД2 — Собрание стихотворений декабристов. Т. 2. М.: Изд. Фомина, 1907.
СЦ — Северные цветы.

В. К. Кюхельбекер очень дорожил своим архивом. Он сам сделал все, чтобы привести его в порядок. Уже больным и слепым поэт продиктовал И. И. Пущину свое так называемое литературное завещание, в котором довольно полно перечислил почти все, что было им написано. После смерти друга И. И. Пущин переслал «целый ящик стихов» сестре поэта.

Архив Кюхельбекера был собран и сохранен. Но только в 1862 г. большой цикл стихов поэта появился во втором томе лейпцигского издания «Собрание стихотворений декабристов». Публикация была подготовлена Н. В. Гербелем, который пользовался тетрадью поэта, известной под названием «Песни отшельника» и содержавшей стихи периода заточения и ссылки. В Лейпциге же в 1869 г. появилось в сборнике «Лютня. Собрание свободных русских песен» еще несколько стихотворений, а в 1880 г. в Веймаре изданы «Избранные стихотворения Вильгельма Карловича Кюхельбекера». Этот том повторял публикации 1862 г.

В России стихи Кюхельбекера впервые после смерти поэта были опубликованы в 1907 г. А в 1908 г. вышло его «Полное собрание стихотворений». Было еще несколько изданий в 1911 г., но эти публикации не охватывают и половины созданного поэтом. Только Ю. Н. Тынянову в 1930-е гг. удалось собрать и впервые опубликовать большую часть произведений Кюхельбекера в двух томах Большой серии «Библиотеки поэта». Ю. Н. Тынянов писал, что все, «кроме „Шуйского“... и произведения „Смерть“, рукописи уцелели». Однако в годы Великой Отечественной войны архив Кюхельбекера снова пострадал.

Собираясь в эвакуацию в июле 1941 г., Ю. Н. Тынянов передал чемодан с рукописями профессору Б. В. Казанскому. Весной 1942 г. после первой страшной блокадной зимы семья Казанских эвакуировалась из Ленинграда, оставив на своей квартире драгоценный чемодан Тынянова. В квартире поселились люди, не имевшие представления о ценности оставленных там вещей. После войны то, что осталось от архива Кюхельбекера, было передано в Государственную библиотеку им. Ленина и Центральный Государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Утраченными оказались части дневника, рукопись «Путешествие по Европе», переписка.

Все, что сохранилось из наследия Кюхельбекера, усилиями исследователей было собрано и почти полностью опубликовано в ос-

новном в двух авторитетных изданиях: в Большой серии «Библиотеки поэта» (1967) и в серии «Литературные памятники» (1979).

В настоящее издание включены избранные произведения В. К. Кюхельбекера. Небольшой объем издания диктовал строгий отбор произведений. Включение в их число трагедии «Прокофий Ляпунов», важной для понимания эволюции взглядов поэта, в значительной мере сократило возможность публикации стихов и отрывков из дневника. Составители стремились дать читателю представление о всех жанрах, в которых работал Кюхельбекер.

В прозаических произведениях исправлены по прижизненным публикациям искажения текста, вкравшиеся в сб. «Декабристы» и ПДС. Не подвергалась пересмотру, кроме отдельных случаев, пунктуация, выработанная редакторами этих изданий.

В комментариях дается указание только на первую публикацию произведения. Орфография и пунктуация даны по публикациям в СС2 и ПДС. Имена ко всем произведениям, кроме «Прокофия Ляпунова», комментируются в именном указателе.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. А. 1815. Сент. С. 34. Под заглавием: Песнь лапландца. Подпись: Вильгельм. В дневнике 1833 г. поэт оценил это свое стихотворение как «ученическое». См. также заметку М. Г. Мазьи (РЛ, 1982, № 3).

2. СО. 1817. № 42. С. 152. Подпись: Вильгельм. Перевод стихотворения Шиллера. В 1833 г. Кюхельбекер писал: «„Дифирамб“ (из Шиллера) слишком небрежен в своем механизме; на другого же рода достоинства он не может иметь никакого притязания». *Гевеена чаша* — чаша Гебы, богини юности, подносившей на Олимпе богам нектар.

3. А. 1815. Сент. С. 25. Под заглавием: Мертвый к живому. Подпись: Вильгельм. В дневнике 14 августа 1832 г. поэт писал: «На днях припомнил стихи, которые написал еще в 1815 году в Лицее. Вношу их в дневник, для того чтоб не пропали, если и изгладятся из памяти; покойный друг мой их любил». Здесь имеется в виду Дельвиг. К строке *Столкнет мой каменный шелом* сделано примечание: «Разумеется, с надгробного памятника».

4. Б. 1818. № 1. С. 13. Подпись: Вильгельм.

5. Г. С. 208. В автографе имеется заглавие: Утро. 26 сентября. Следует за стихотворением «Осень» (см. № 4), датированным 1816 г. *Петел* — петух.

6. СП. 1820. № 7. С. 94. Подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Кюхельбекер, вероятно, пользовался немецким переложением Бакхили-

да. 5 января 1820 г. читалось на заседании Вольного общества любителей российской словесности.

7. Б. 1819. № 7. С. 11. Подпись: Вильгельм К. Навеяно стихами Шиллера и Гете.

8. КМ. С. 92. Подпись: К-ъ.

9. НЗ. 1820. Ч. 1, февр. С. 91. Подпись: Вильгельм Кюхельбекер.

10. СО. 1817. № 27. С. 26. Под заглавием: Моим сарско-сельским друзьям. Подпись: Вильгельм. Написано, вероятно, в преддверии выпускного акта в честь окончания Лицея. 9 июня 1817 г.

11. Г. С. 169. Написано в связи с окончанием Лицея.

12. СО. 1817. № 31. С. 183. Под заглавием: И. П. Шульгину. Подпись: Вильгельм.

13. СО. 1817. № 32. С. 228. Подпись: Вильгельм. Есть примечание редактора к заглавию: «Воспитаннику императорского Царскосельского лицея, отправляющемуся ныне в путешествие кругом света с знаменитым мореплавателем Васильем Михайловичем Головниным на корабле Камчатке» (выделено в СО.— *Н. Р.*). 5 августа 1833 г. Кюхельбекер писал в дневнике: «Лучшая из четырех моих пиес, какие попались мне в «Сыне отечества» на 1817 год — «К Матюшкину». Ее одну, быть может, я не выбросил бы, если бы должен был составить собрание мелких своих стихотворений. Жаль, что переправки, какие я в ней сделал, утрачены». В СС2 текст печатался с учетом этих поправок, сохранившихся в автографе. *Мир Иапета.*— Иапет (Иафет), один из сыновей Ноя, от которого произошла иафетова, или арийская, раса. Здесь: мир дряхлеющей цивилизации, Европа.

14. СО. 1817. № 41. С. 105. Под заглавием: Элегия к Дельвигу. С эпиграфом из стих. В. Жуковского «Мечты»: «Почто так рано изменила? С мечтами, радостью, тоской, Куда полет свой устремила?..» Подпись: Вильгельм. 9 августа 1833 г. Кюхельбекер пишет в дневнике: «Стыдно и смешно мне было, когда прочел я в «Сыне отечества» свою пиесу «Элегия к Дельвигу». Мне было *с небольшим двадцать лет* (выделено автором.— *Н. Р.*), когда я написал ее, вышел только что из Лицея, еще не жил, а приготавливался жить; между тем тема этой рапсодии — *отцветшая молодость*, разочарование etc».

15. СО. 1818. № 43. С. 225. Подпись: Вильгельм. В Свеаборгской крепости Кюхельбекер писал: «„Стихи к самому себе“ в отношении к механизму хороши, но по содержанию никуда не годятся...»

16. Б. 1818. № 2. С. 197. Подпись: Вильгельм.

17. СО. 1818. № 35. С. 129. Под заглавием: К Пушкину и Дельвигу (из Царского Села). Подпись: Вильгельм Кбръ. В 1833 г. поэт писал в дневнике: «послание, comme il y'en a tant [каких много *(фр.). — Ред.*], сверх того написано очень небрежно...». *Тройственный союз* — дружба Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера. Автор пер-

вым из трех друзей начинает эту тему в стихах. *Тебя, мой огненный, чувствительный певец...* — Речь идет о Пушкине.

18. Б. 1818. № 8. С. 136. Подпись: Вильгельм.

19. НЗ. 1820. Ч. 1. Янв. С. 96. Подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Можно сравнить со стихами Дельвига «Разговор с гением», «Виденние», «Гений-хранитель». Тема беседы поэта с духом творчества типична для стихов обоих поэтов.

20. Б. 1819. № 4. С. 209. Подпись: В. И. Ъ. Л. М. 5 января 1819 г. прочитано на заседании Вольного общества любителей российской словесности.

21. СП. 1819. № 1. С. 62. Подпись: Вильгельм Крф.

22. СП. 1819. 1 № 10. С. 72. Подпись: В. Кюхельбекер. *Брат* — М. К. Кюхельбекер; совершил плавание от Архангельска до Новой Земли на бриге под командованием Лазарева. *Ингорские ручьи* — Ингрия и Ижора, местность на берегу Невы и Финского залива.

23. ЛН. Т. 16—18. 1934. С. 342. В статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер».

24. КМ. С. 117. Без подписи. Обращено, видимо, к Пушкину.

25. Мн. 1824. Ч. 2. С. 50. Без подписи.

26. СС2. Т. 1. С. 117. Первоначальное название: Человек. Счастье в трех возрастах.

27. СС2. Т. 1. С. 118. *Спиндарить* — от имени др.-греч. поэта Пиндара, автора торжественных од.

28. НЗ. 1820. Ч. 1. Янв. С. 95. Подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Позже перепечатывалось без имени автора: Эвтерпа на 1830 год; Песни, романсы и куплеты из водевилей. М., 1833.

29. Б. 1820. № 14. С. 114. Подпись: В. Кюхельбекер. Автограф первой строфы имеет заглавие: Моему пятнадцатимесячному сыну Ивану. (Посвящение по́зднее.) См. также примеч. 92.

30. НЗ. 1820. Ч. 1. Март. С. 52. Под заглавием: К моему питомцу. Подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Написано во время преподавания в Благородном пансионе.

31. СП. 1820. № 4. С. 72. Подпись: В. Кюхельбекер. Эпиграф из послания Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину». Читалось 22 марта 1820 г. в Вольном обществе любителей российской словесности, послужило поводом для доноса В. Каразина на Кюхельбекера. *О жрец ужасных оных сил...* — Имеется в виду др.-греч. поэт Эсхил, который в ряде произведений изобразил богинь мщения эринний (см. трилогию «Орестея» и др.). *Оссиан* — легендарный певец, герой кельтского эпоса. *Туискон* — мифический родоначальник германских племен. *Евгений* — Е. А. Баратынский. *Юный Корифей* — Пушкин.

32. С. С. 49. Первоначальное заглавие: Е... Обращено к Е. А. Баратынскому. Эпиграф взят из «Биографии Фемистокла» Корнелия Непота (гл. 1, § 3). *...Страдалец возвышенный...* — Имеется в виду

трудная судьба Баратынского. *Я сам незапно Зевсом пораженный...* — Здесь автор говорит, видимо, о неприятностях в связи с чтением в Вольном обществе любителей российской словесности стихотворения «Поэты» (см. СС2. Т. 1. С. 616. № 61).

33. С. С. 58. Написано перед отъездом Кюхельбекера за границу 8 сентября 1820 г.

34. СП. 1821. № 1. С. 94. Подпись: В. Кюхельбекер. Обращено к Гете, с которым автор беседовал в Веймаре. Стихотворение было прочитано на заседании Вольного общества любителей российской словесности. *Промефей* (Прометей) — один из титанов др.-греч. мифологии, похитивший для людей огонь с неба. *Туискон* — мифический родоначальник германских племен.

35. СА. 1825. № 12. С. 426. В статье: Отрывки из путешествия по Южной Франции. *Древний град фокеян* — Марсель.

36. МТ. 1826. № 17. С. 3. Под заглавием: К Гете. Без подписи, с цензурными искажениями и купюрами. *Полион* — река в Италии, на которой расположена Ницца. *Миньона* — героиня произведения Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Находясь в Германии, она тоскует по Италии. *Раздор кровавый* — Пьемонтская революция. *Тудески* — австрийские войска, при помощи которых 8 апреля 1821 г. была подавлена Пьемонтская революция.

37. С. С. 73. Под заглавием: Греческая песнь. В. И. Туманский читал ее 8 августа 1821 г. в Вольном обществе любителей российской словесности. Восстание греков против турецкого ига началось в марте 1821 г.

38. С. С. 74. В автографе заглавие: К Туманскому. И вместо имени *Ахӑтеса* (верного друга Энея — героя «Энеиды» Вергилия) в тексте стоит фамилия Туманского. *Марафонские святые знамена...* — имеется в виду Греция и ее славная история. Битва при Марафоне, в которой греки победили персов, состоялась в 490 г.

39. С. С. 67. Под заглавием: Песнь на Рейне. Отражает, вероятно, желание автора принять участие в борьбе греков за свободу. На Рейне Кюхельбекер был в декабре 1820 г. и весной 1821 г. 12 сентября 1821 г. читалось в Вольном обществе любителей российской словесности.

40. Мн. 1824. Ч. 3. С. 93. Без подписи. В оглавлении: В. Кюхельбекер. Кюхельбекер встретился с М. К. Розеном в Георгиевске по пути в Тифлис в 1821 г. *Морфонтен* — замок во Франции. *Сенклуские леса* — Сен-Клу, предместье Парижа. *Луга Эстонии и мирной, и счастливой...* — Барон Розен, видимо, родом из тех же мест в Эстонии, где прошло детство поэта.

41. ЛВ. 1902. Кн. 2. С. 173. *Так пел, в Суворова влюблен...* — Державин воспел Суворова в нескольких одах. Пушкин находил эту строку «слишком греческой».

42. МТ. 1825. Ч. 1. С. 118. Подпись: В. Кюхельбекер. Пушкин спародировал строку «И резво-скачущая кровь» в «Оде его сиятель-

ству гр. Хвостову»: «Султан ярится. Кровь Эллады И резвоскачет, и кипит», сопроводив слово «резвоскачет» примечанием: «Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к г. Грибоедову».

43. Павлищев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 31—32. Обращено к Пушкину, с которым автор в это время был, видимо, в ссоре. *Ни любовницы, ни друга...* — см. стих. Пушкина «Тошней идиллии и холодней, чем ода...», заканчивающееся словами: «Утешься, злой глупец! иметь не будешь ты Век ни любовницы, ни друга».

44. РА. 1871. № 2. С. 171. 17 февраля 1823 г. Кюхельбекер писал Жуковскому: «Прилагаю при сем безделку, которую написал Пушкину, прочитав его Кавказского пленника...» Написано, видимо, весной 1822 г. сразу после знакомства с поэмой и послано Пушкину, который 13 мая 1822 г. писал Н. И. Гнедичу: «Кюхельбекер пишет мне четырехстопными стихами, что он был в Германии, в Париже, на Кавказе и что он падал с лошади. Все это кстати о Кавказском пленнике». *Одной постигнуты судьбою...* — Пушкин был в это время в ссылке в Бессарабии. Кюхельбекер воспринимал свою службу на Кавказе как род ссылки. *Вотще на поединках бурных...* — Поэт дрался на дуэли с Н. Н. Похвисневым в начале 1822 г. *Лютеция* — древнее название Парижа. *Гесперские сады.*— В саду нимф-гесперид росли золотые яблоки. Здесь имеется в виду Италия. *На смежных небесам горах...* — то есть на Кавказе.

45. РС. 1891. Окт. С. 109. Отрывок. Полностью — ЛВ. 1902. Кн. 2. С. 170. Вариант заглавия: Песнь грека на чужбине. Пушкин в письме к брату Льву от 4 сентября 1822 г. возмущался тем, что Кюхельбекеру пришла в голову «мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, где все дышит мифологией и героизмом,— славянскими стихами, целиком взятыми из Иеремии». Однако в 1826 г. Пушкин почти процитировал строку из этого стих. в своем «Пророке». 25 мая 1845 г. Кюхельбекер записал в дневник: «Третьего дня я совершенно нечаянно вспомнил несколько стихов пиесы, которую я написал 24 года назад в Грузии — на взятие греками Триполицы: я тогда только начал знакомиться с книгами Ветхого Завета, которые покойный Грибоедов заставил меня прочесть». К стиху *Костьми усеялося море* есть примечание автора: «Разбитие турецкого флота возле Ионических островов». *Триполицца* — главный город Мореи, несколько раз переходил из руки в руки, пока не взят был греками штурмом 5 (12) октября 1821 г. *Осман* — турок.

46. Мн. 1824. Ч. 2. С. 72. Подпись: Кюхельбекер.

47. СО. 1823. № 10. С. 128. Без подписи. «Аргивяне» — трагедия Кюхельбекера.

48. С. С. 103. *Того в пути безумие схватило...* — Из поэтов, упоминаемых в стихах Кюхельбекера, сошли с ума Тассо, Озеров, Батюш-

ков. *Томит другого дикое изгнанье...*— Автор имеет в виду Пушкина.

49. СС1. С. 73. *Прощание с Италиею* — стих. «Ницца» (см. № 36). *Голос Корифея...*— Автор имел в виду голос Гете. *Германа сыны* — германцы.

50. С. С. 104. В альбоме П. А. Вяземского имеет заглавие: Вяземскому. Вместо предисловия. Стих. открывает цикл из семи произведений: см. № 39, 37, 38, 45, 41, 46. Вяземский принимал активное участие в судьбе поэта после его высылки из Парижа. *Оттоманы* — турки. *Толпу союзных им тиранов...* — Имеются в виду государства Священного союза. *Секвана* — древнее название Сены. Под именем *Тиртея* Кюхельбекер имеет в виду Жуковского, автора «Певца в стане русских воинов».

51. С. С. 89. *Град фокеян.*— См. примеч. к № 35. *Столица западного мира* — Париж. *Кир* — река Кура.

52. С. С. 108.

53. ССД. С. 161. Ранняя редакция под заглавием: К сестре. Видимо, первоначально посвящалось сестре поэта Юлии Карловне. *Кронид* — Зевс. *Локсиас* — Аполлон. *Архерон* (греч., миф.) — река в царстве мертвых. *Тул* — колчан.

54. М. 1824. Ч. 3. С. 13. Подпись: В. Кюхельбекер. Готовя «Мнемозину», В. Ф. Одоевский писал Кюхельбекеру: «Напрасно ты бранил своего „Рогдая": он молодец преизрядный, и ты хорошо сделал, что подписал свое имя». *Александр* — князь Александр Невский. *Город великий* — Новгород. *Святая София* — Софийский собор XI в. в Новгороде. *Сейм* — здесь: новгородское вече. *Земли кавалерские* — Ливония.

55. Орлов В. Н. Вокруг Грибоедова //Звезда. 1941. № 5. С. 165. Эпиграмма на Ф. В. Булгарина. *Талантин* — Грибоедов. *Пан Тадеуш* — намек на польское происхождение Булгарина, который под именем Талантина приветствовал в 1824 г. Грибоедова, а под именами Лентяева и Неученского высмеивал Дельвига и Баратынского.

56. ПЗ. 1859. Кн. 5. С. 13. Список этого стихотворения найден в бумагах Рылеева, что дало повод некоторым исследователям (П. А. Ефремов, Ю. Г. Оксман, А. Г. Цейтлин, М. К. Азадовский) приписывать авторство Рылееву. В пользу авторства Кюхельбекера есть свидетельства по крайней мере трех современников (А. Е. Измайлов, А. Сулакадзев, Д. И. Завалишин) и мнение ряда исследователей (Н. И. Мордовченко, Б. С. Мейлах, В. Н. Орлов, Ю. М. Лотман).

57. СС2. Т. 1. С. 208. *Наташа* — Наталья Григорьевна Глинка, племянница поэта.

58. СС1. С. 181.

59. ССД. С. 170. *В ужасных тех стенах, где Иоанн...* — Имеется в виду Иоанн Антонович, свергнутый Елизаветой в младенчестве,

заточенный в Шлиссельбургскую крепость и убитый там в 1764 г., в царствование Екатерины II.

60, 61, 62. СЦ на 1829 год. СПб., 1828. С. 60—62. Подпись: К.

63. П. С. 236. Без подписи. *19 октября* — день лицейской годовщины.

64. П. С. 227. Без подписи. *Где семьи мне незабвенной...*— семьи сестры поэта, живущей в Закупе. *У часовни той простой...*— Сестра просила поэта написать стихи на построение часовни над могилой мужа Г. А. Глинки.

65. П. С. 229. Под заглавием: Любовь узника. Без подписи.

66. ССД. С. 95. Грибоедов погиб 30 января 1829 г.

67. РС. 1875. Авг. С. 492. *Год событий полный...* — Имеется в виду Польское восстание и эпидемия холеры в России. *Лето слез, и стона, и печали...* — Варшава была взята 26 августа 1931 г. *Петра наследник юный...* — Николай I.

68. ССД. С. 103. См. в дневнике Кюхельбекера запись от 2 июня 1832 г.

69. ССД. С. 101. *Меонид* — Гомер.

70. ССД. С. 78.

71. ПСС. С. 149. Видимо, замысел возник при чтении стихов В. Скотта «Прощание с музою». *Исфраил* — постоянный образ в стихах и поэмах Кюхельбекера. (См. также примеч. к № 19.)

72. ПСС. С. 150. Связано по замыслу со стих. «Измена вдохновения» (см. № 71). *Не Исраилю ли манну...*— Исраиль — здесь: еврейский народ. По библейской легенде, при переходе из Египта через пустыню Ханаанскую бог послал голодным евреям манну небесную. *Гесперия* — здесь: Италия (см. примеч. к № 44).

73. ССД. С. 110. Послание матери поэта Юстине Яковлевне Кюхельбекер. *Река, родительница рек святая...*— По библейскому сказанию, в раю протекает река, дающая исток четырем рекам: Тигру, Евфрату, Фиссону и Геону. *О судьбе своих сынов...*— В. Кюхельбекер говорит здесь о себе и о брате Михаиле, декабристе. *Не весь истлею я...*— цитата из Горация. Позже Пушкин скажет по-своему: «весь я не умру». *Лузитании Гомер* — Камоэнс.

74. БдЧ. 1834. Т. 5. С. 221. подпись: В. Гарпенко. Кюхельбекер был недоволен искажениями текста, сделанными Н. И. Гречем.

75. РС. 1884. Янв. С. 77. В дневнике от 1 сентября 1834 г. Кюхельбекер писал: «Следующею небольшою пиесою обязан я чтению 3-й книги Чайльд-Гарольда, которая обворожительна даже в прозе французского перевода».

76. РС. 1884. Февр. С. 343. В письме к племяннику Б. Г. и племяннице Н. Г. Глинкам есть приписка к этим стихам: «У меня два раза употреблено слово *м о г у щ и й*, а не *м о г у ч и й*; так и должно быть. Напрасно некоторые новейшие поэты сбивают эти два прилагатель-

ные: могучий богатырь — тут речь идет о телесной силе, могущий Исфраил — тут говорится о силе духовной». *Исфраил.*— См. примеч. к № 71.

77. ССД. С. 87.

78. ОЗ. 1861. № 11. С. 38. В статье В. П. Гаевского «Празднование лицейских годовщин в пушкинское время». Стихи посланы в письме Пушкину 18 октября 1836 г. и являются ответом на пушкинское «19 октября 1825 года». Кюхельбекер пишет другу: «Завтра 19 октября.— Вот тебе, друг, мое приношение. Чувствую, что оно тебя не достойно,— но, право, мне теперь не до стихов». *Пейпус* — Чудское озеро. *Опять передо мной светило...* — Написано после освобождения из Свеаборгской крепости. *Что, если в осень дней столкнусь с любовью?..* — В письме Пушкину Кюхельбекер писал: «Я собираюсь жениться». А после текста стихов: «Размысли, друг, этот последний вопрос — и не смейся... потому что человек, который десять лет сидел в четырех стенах и способен еще любить горячо и молодо — ей-богу! достоин некоторого уважения». 1 января 1837 г. Кюхельбекер женился на Дросиде Ивановне Артеновой, дочери почтмейстера в Баргузине.

79. ЛВ. 1902. Кн. 2. С. 169. *И грязный труд, и вопль глухой нужды, И визг детей...* — После освобождения из заключения в декабре 1835 г. поэт поселился в семье брата в Баргузине. В 1837 г. брак Михаила был расторгнут синодом (он до брака крестил незаконного ребенка своей жены, то есть приходился ей кумом), и брат был выслан из Баргузина. Заботиться о семье брата (о жене его и двоих детях) должен был В. Кюхельбекер.

80. ЛВ. 1902. Кн. 2. С. 168. Сообщение о смерти Пушкина (29 января 1837 г.) Кюхельбекер получил накануне дня рождения друга (26 мая).

81. ССД. С. 147.

82. ОЗ. 1861. Т. 139. С. 40. В письме к племяннице Н. Г. Глинке поэт писал 20 октября 1838 г.: «Вчера была наша лицейская годовщина. Я праздновал ее совершенно один: делиться было не с кем. Однако мне удалось придать этому дню собственно для себя некоторый отлив торжественности... Возвратясь домой (после посещения церкви.— *Н. Р.*), я принялся сочинять, если только можно назвать сочинением стихи, в которых вылились чувства, давно уже просившиеся на простор... Мне было бы очень больно, если бы мне в этот день не удалось ничего написать: много, может быть, между пишущей молодежью людей с большим талантом, чем я; но, по крайней мере в этот день, я преемник лиры Пушкина, и я хотел доказать хоть не другому кому, так самому себе, что он не совсем даром сказал о Вильгельме: «Мой брат родной по музе, по судьбам». Судьбы-то мне, правда, выпали потом несколько суровее пушкинских; но и он, бедняжка, настрадался же на свой пай». *Он ныне с нашим Дельвигом пирует...* —

Дельвиг умер в 1831 г. *Он ныне с Грибоедовым моим...* — Грибоедов погиб в 1829 г.

83. ССД. С. 149.

84. ПСС. С. 180.

85. РС. 1891. Окт. С. 67. *Селенга, Уда* — сибирские реки.

86. РС. 1891. Окт. С. 68. Под заглавием: Аннушке в альбом.

87. ССД. С. 137. Эпиграф — строки из «Илиады» Гомера (гл. 23, ст. 103—104). *Онон* — река в Забайкалье. *Ижора* — приток Невы. *Кому рукоплескал когда-то град надменный...*— Париж, где Кюхельбекер с успехом читал лекции по русской литературе в 1821 г. *Массилия* — древнее название Марселя. *Свинцовых десять лет...* — 1825—1835, годы заточения поэта в крепостях.

88. РС. 1891. Окт. С. 75.

89. ССД. С. 153. 14 декабря 1841 г. вписано в дневник со словами: «Бедный мой Суслов! на прошедшей неделе он схоронил одного сына, сегодня другого...» *Суслов* — видимо, знакомый поэт в Акше.

90. ССД. С. 154. *Сына Лаия почтил Фезей...* — Сына царя Фив Лайя Эдипа в изгнании приютил у себя царь Афин Тезей.

91. ССД. С. 158. *Онон.*— См. примеч. к № 86.

92. ССД. С. 159. *Дочь Виктора Гюго* — утонула 4 сентября 1843 г. Ее смерти посвящен цикл стихов В. Гюго. *Запад* — здесь: закат. *Божественный старик* — Шатобриан Франсуа Рене. *С могилы сына моего...*— Речь идет об умершем в младенчестве сыне Кюхельбекера Иване (см. примеч. к стих. № 29).

93. С. С. 180. Обращено к жене декабриста С. Г. Волконского. Кюхельбекер заезжал к Волконским в Красноярск по пути из Акши в Курган. *Гордое терпенье...* — реминисценция из «Послания в Сибирь» Пушкина.

94. ЛЛ. *Да! недалек тот день...* — день лицейской годовщины 19 октября. *И сколько и еще друзей пожато...* — См. запись Кюхельбекера в дневнике от 19 октября 1841 г.: «Сегодня 30 лет со дня открытия Лицея. Теперь всем моим товарищам (оставшимся в живых) за сорок лет». К лицейской годовщине 1845 г. в живых оставалось всего 18 лицеистов, а встречаться могли только 16 человек.

95. ЛЛ. *Оссиан.*— См. примеч. к № 31. *Закат* — здесь: запад. *И с ним отчизну примирил свою...* — Грибоедов в 1826 г. заключил Туркманчайский мир с Персией. *Вот первый...* — имеется в виду Грибоедов. *И вот другой...*— Пушкин. *Еще две тени...* — Дельвиг, умер в 1831 г. и Баратынский — в 1844 г.

96. ЛЛ. Рылеев — казнен 13 июля 1826 г. *Не он один; другие вслед ему...* — Автор имеет в виду себя и других поэтов-декабристов. *Или болезнь наводит ночи мглу...* — Кюхельбекер ослеп в 1845 г. *Или рука любовников презренных...* — Говорится о гибели Пушкина. *Или же бунт подымет чернь глухую...* — Речь идет о гибели Грибоедова (1829).

97 СС1. С. 208.

98. С. С. 186. Стих. навеяно известием о смерти Якубовича в Енисейске, в ссылке. Кюхельбекер познакомился с ним во время службы у Ермолова на Кавказе, где Якубович прославился личной храбростью и дерзостью во время набегов на горцев. *Я не любил его...* — Стих. отражает отношение поэта к Якубовичу, который был во враждебных отношениях с Грибоедовым. Они были оба секундантами в знаменитой «четверной» дуэли В. В. Шереметьева и А. П. Завадовского в 1817 г. После смертельного ранения Шереметьева дуэль между секундантами была отложена. Они дрались позже, в Тифлисе. Якубович прострелил Грибоедову руку. По этой простреленной руке в 1829 г. был опознан труп убитого разъяренной толпой Грибоедова.

99. СС1. С. 210.

100. СС1. С. 212. Адресат не установлен.

101. С. С. 188. Обращено к *Пущину* Ивану Ивановичу, с которым поэт встретился в марте 1845 г. в Ялуторовске. Вторая встреча состоялась в марте 1846 г.

102. СС1. С. 215.

103. СС1. С. 214. *Басаргин* Николай Васильевич — декабрист, с которым Кюхельбекер сблизился в Кургане. *Подобно той смоковнице бесплодной...* — По легенде, Христос проклял смоковницу без плодов. *Дочери Софии* — Вера, Надежда, Любовь.

104. С. С. 189. Начальные и средние строки рукописи вырваны. Видимо, обращено к шефу жандармов с 1844 г. А. Ф. Орлову, усилившему тайный надзор за декабристами. Орлов отказал в январе 1846 г. поэту в просьбе разрешить печататься. *Преторияне* — гвардия римских цезарей. Орлов был полковником, а с 1817 г. генерал-майором лейб-гвардии. 14 декабря 1825 г. он, командуя лейб-гвардии конным полком, участвовал в подавлении восстания. *Какодемон* — злой дух. *Фальстаф* — герой Шекспира (см. «Генрих IV» и «Виндзорские проказницы»), обжора, пьяница, развратник и трус, человек без чести и совести. Здесь: видимо, Ф. В. Булгарин.

ПОЭМЫ

105. СС1. С. 237. Начало поэмы построено как рассказ о Грибоедове некоего ученого Абаза. Есть предположение, что Кюхельбекер имеет в виду Бакиханова Аббас-Кули-Агу (1794—1847), азербайджанского поэта и историка. Замысел возник у Кюхельбекера под влиянием несохранившейся поэмы Грибоедова «Странник». *Кур* — река Кура. *Урус* — русские. *Зулейка, Мириямь, Ширинь* — героини таджикского поэта Джами из поэмы «Юсуф и Зулейка» и азербайджанского поэта Низами из поэмы «Хосров и Ширин». *Кашаур* — долина на Кавказе. *Младой гяур...* — Речь идет о Грибоедове. *Таеран* —

Тегеран. *Баба-Хан* — Фетх-Али-Шах, персидский шах (1762—1834). *Сардарь* — губернатор. *Гурджистан* — Грузия. *Исандер* — Александр Грибоедов. *Шираз* — область в Персии.

106. ССД. С. 151. В отрывках. Полностью — СС1. С. 358. Поэма начата, судя по дневниковым записям, 16 сентября 1833 г. «Начал сегодня своего „Сироту"...». 21 декабря 1833 г. в письме к племяннику Б. Г. Глинке были посланы для печати «Посвящение» и первая глава. Письмо было переслано свеаборгским комендантом Бенкендорфу. На его сопроводительном письме есть резолюция: «Велено сочинений не отсылать, а письмо прочитать и отправить. Николай». Поэма окончена весной 1834 г. *Подругу — ангела обресть...* (в «Посвящении») — Речь идет о женитьбе Пушкина на Гончаровой 18 февраля 1831 г. *Поэт-наездник* — Денис Давыдов. *Своей сопутствуемый тенью...* — цитата из «Подробного отчета о луне» Жуковского. У *Плетнева* в начале 1820-х гг. еженедельно проводились вечера, на которых бывали многие литераторы. Сеймум — самум, знойный ветер в пустыне. *Но все ж и я в Аркадии живал...* — Аркадия в античной литературе и в пасторалях XVI—XVIII вв. — страна идиллической жизни пастухов и пастушек, страна чистых чувств и поэзии. Здесь: цитата из Шиллера. *Ариэль* — дух воздуха, герой драмы Шекспира «Буря». *Бостон и вист* — карточные игры. *Атанде* и *плюэ* — карточные термины. *Аудитор* — военный письмоводитель. *Красный Кабачок, Гутуев, Три руки* — названия кабаков в окрестностях Петербурга. *С полком прорваться в Прагу...* — Речь идет о штурме Варшавы (Прага — предместье Варшавы) войсками Суворова в 1794 г. *Берлога Чудодея* — здесь сравнивается с бочкой, в которой жил Диоген. *Сплошь все портреты Нидерландской школы!..* — Для этой школы живописи характерны жанровые картины и реалистические портреты простых людей. *Герой, зарытый под стенами Измаила...* — то есть павший во время осады турецкой крепости Измаил в 1770 г. У *Капниста* есть статья «Краткое изыскание о гиперборианах». *Подобье, тень святого Иоанна...* — Автор далее уточняет, что имеет в виду не библейского пророка Иоанна Предтечу, а апостола Иоанна. *Был в пастыри невинным девам дан...* — Видимо, речь идет о священнике Института благородных девиц, где училась сестра поэта Юлия. *Царица Мария...* — императрица Мария Федоровна, вдова Павла I, попечительница этого института. Феникс — легендарная птица, живущая тысячу лет. Она сгорает на костре и вновь возрождается из пепла. *Манфред, Конрад, Лара* — герои поэм Байрона. *...Град доблестных фокеян* — Марсель (Массилия). *Пилад* — герой др.-греч. мифов, друг Ореста, сына Агамемнона, предводителя ахеян в Троянской войне. Дружба Ореста и Пилада стала идеалом юношеской дружбы. *С Аннинской звездою, с Георгием...* — орден св. Анны (введен в 1797 г.) и св. Георгия (введен в 1769 г.).

107. ПРОКОФИЙ ЛЯПУНОВ

Литературный современник. 1938. № 1. С. 124.

Прокофий Петрович *Ляпунов* — думный дворянин, вождь рязанского ополчения, которое в 1611 г. отразило нападение польских интервентов. После смерти Лжедмитрия II Ляпунов вместе с князем Трубецким и атаманом донских казаков Заруцким составили временное правительство. Биография Ляпунова была известна Кюхельбекеру из «Истории Государства Российского» Карамзина (т. 12) и из «Сказаний современников о Самозванце», бывших в его распоряжении в Свеаборгской крепости.

Впервые мысль о трагедии высказана в письме к матери в феврале 1834 г. Этот замысел стал частью ряда задуманных трагедий из времен смуты — Лжедмитриев I и II, русского ополчения, изгнания польских интервентов. Первой в этом ряду была написанная в 1827—1829 гг. трагедия «Падение дома Шуйских», которая до нас не дошла. К работе над трагедией о Ляпунове автор приступил не сразу. В июне 1834 г. его увлек образ Самозванца, которого он хотел «превратить в русского Фауста». В августе он начал переложение трагедии Шиллера «Димитрий», но в письме к А. Г. Глинке от 25 сентября 1834 г. снова речь идет о замысле «Прокофия Ляпунова». Первая сцена была написана 1 октября. «Пять актов я написал в 52 дня, и то с перерывами; иногда по два дня ничего не прибавлял»,— пишет поэт. Закончена трагедия 21 ноября 1834 г.

Образ Ляпунова привлек поэта не случайно. «Характер героя бесконечно содержателен,— писал он матери.— Это не пустой идеал; это был человек, совершивший большие ошибки, но преисполненный силы и внутреннего достоинства; он несравненно выше и даже в нравственном отношении лучше обоих триумвиров — Заруцкого и Трубецкого. Его смерть — следствие его неустрашимости — особенно поэтична».

Действие I. Сцена 1. *Феодор Ляпунов* — племянник Прокофия, сын Захарии Ляпунова. *Кикин Владимир* — русский дворянин, сторонник Ляпунова. *Разбойный и Земской приказ устроить...* — По проекту Ляпунова Земская, выборная дума должна была заменить Боярскую думу. *Заруцкий* Иван Мартынович (казнен в 1614 г.) — атаман донских казаков, сторонник Лжедмитрия II, участник временного правительства 1611 г. *Князь* — Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, русский воевода, выступавший против Лжедмитрия II, третий участник временного правительства 1611 г. *Московский синклит* — имеется в виду Боярская дума, оказавшаяся в стане поляков в Москве. *Гонсевский Александр-Корвин* — начальник польского войска в Москве, сторонник возведения на русский престол Владислава. *Салтыков* Михайло Глебович — русский боярин, сторонник Лжедмитрия II, а потом возведения на престол Владислава и Сигиз-

мунда. *Андронов* — русский, сторонник поляков. *Князь Мстиславский* Федор Иванович (ум. 1622) — русский боярин, сторонник Лжедмитрия II, а потом Владислава. В 1610 г. возглавлял «семибоярщину». *Андрей Голицын* — князь Андрей Васильевич Голицын, активно выступал против поляков, член Боярской думы, убит поляками. *Старец Гермоген* (ок. 1530—1612) — патриарх Московский и всея Руси с 1606 г. Умер в заточении у польских интервентов в Москве. *Второй Лисовский* — Заруцкий сравнивается с Лисовским Александром-Иосифом (ум. 1616), польским шляхтичем, руководителем польских отрядов, разграбивших Коломну, ряд русских областей, осаждавших Троицкий монастырь. *Расстрига* — Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, был беглым монахом. *Шуйский* Василий Иванович (1552—1612) — после смерти Лжедмитрия I избран царем. Свергнут и пострижен в монахи. В борьбе против Шуйского участвовал и Прокофий Ляпунов. *Поверил я, что он убийца сына...* — Прокофий обвиняет Шуйского в умерщвлении талантливого полководца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. *Ржевский* Иван Никитич — шурин Прокофия Ляпунова, убит вместе с ним казаками. Кюхельбекер писал: «Ржевский, его (Прокофия.— *Н. Р.*) личный враг, защищает его от неиствующих казаков Заруцкого, и Ляпунова убивают над телом его врага и защитника». *Охабень* — род русской верхней одежды. *Захария Ляпунов* — брат Прокофия. «Гигантский характер — Захария Ляпунов,— писал поэт,— которого я хотел бы представить необузданным, саркастичным, совсем не глупым, даже веселым, но грубым и отчаянным. Его исполинская внешность, его задор, насмешка, с которой он обходится с Трубецким и Заруцким,— все это богатый материал и составило бы резкий контраст с характером его брата, которого я хотел бы изобразить запальчивым, но много просвещеннее и дальновиднее, строгим, слегка меланхоличным, однако сильным, тем, что итальянцы называют grandioso». *Марина* — Марина Мнишек (ум. ок. 1614), жена Лжедмитрия I, признавшая в Лжедмитрии II своего мужа. *Урусовым обманщик был убит...* — Речь идет об убийстве Лжедмитрия II в 1610 г.

Сцена 2. *Просовецкий* Истома-Лавр Степанович — атаман черкасской вольницы. *Заварзин* Фрол Андреевич — атаман казаков. *Хаминский* — польский шляхтич. *Франциск Ксаверий* (ум. 1552) — святой католической церкви. *Троекуров* — русский боярин. *Француз, служащий в немцах...*— наемный солдат войска Трубецкого. В России немцами (немыми) называли всех иностранцев.

Сцена 3. *Салтыков* Иван Никитич, *князь Голицын* Иван Васильевич, *Измайлов* Артемий Васильевич — участники борьбы с поляками. *Князь Волхонский* — вероятно, один из князей Волконских. Среди участников борьбы с поляками известны трое: Григорий Константинович (ум. 1655), Михаил Константинович (ум. 1610) и Федор Федорович (ум. 1655), участвовавший в низвержении Шуйского, глава

земского ополчения. *Князь Литвинов* — Василий Федорович, окольничий царя Василия, убит в битве с поляками в 1612 г. *Князь Массальский* — Василий Михайлович, воевода, сторонник Лжедмитрия II, позже — союзник Прокофия. *Шаховской* Григорий Петрович — воевода Путивльский, любимец Лжедмитрия I, противник Василия Шуйского, участник восстания И. Болотникова. *Телятевский* Андрей Андреевич (ум. 1612) — князь, противник Шуйского, помещик, участник восстания И. Болотникова; его крепостным был Иван Болотников. *Болотников* Иван Исаевич (ум. 1608) — вождь крестьянской войны 1606—1607 гг. Во время борьбы с Василием Шуйским его союзником был Ляпунов. *Козловский* — князь, участник борьбы с поляками. *Аврамий* (в миру Палицын Аверкий Иванович, ум. 1625) — келарь Троице-Сергиевского монастыря, автор «Сказания об осаде Троице-Сергиевского монастыря от поляков и Литвы...».

Действие II. Сцена 1. *Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1641) — князь, один из руководителей русского народа в борьбе против польской интервенции. В 1611 г. участвовал в боях в Москве. Возглавил вместе с К. Мининым народно-освободительное движение и освободил Москву в 1612 г. *Михаил* — М. В. Скопин-Шуйский. *Сампсон* (Самсон), *Давид* — библейские герои. *Бармы Мономаха* — знаки царского достоинства, присланные по легенде византийским императором Владимиру Мономаху (1053—1125), великому князю Киевскому. *Годунов* — Борис Годунов (1551—1605). *Плещеев* — Алексей Романович (ум. 1611), окольничий при Лжедмитрии I и Василии Шуйском. *Делагарди* Яков (1583—1652) — шведский полководец, союзник русских в борьбе с поляками. *Бутурлин* Василий Иванович — один из русских вождей, победитель Лисовского. *Салтыков* Иван Михайлович (ум. 1611) — сторонник воцарения Владислава, участник посольства к Сигизмунду. *Князь Василий* — князь Голицын Василий Васильевич, воевода, участник низвержения Шуйского, участник посольства к Сигизмунду, умер в плену. *Филипп-королевич* — шведский принц. *Воротынский* Иван Михайлович (ум. 1627) — участник низвержения Шуйского. *Царь Иван* — Иван IV Васильевич Грозный.

Сцена 3. *Так предал Спаса мерзостный Иуда...* — Стрелец сравнивает свое предательство Ляпунова с предательством Христа его учеником Иудой.

Сцена 4. *Дмитров* — уездный город московской губернии. *Сапега* Лев (1557—1633) — польский военачальник. Под его руководством поляки в 1610 г. взяли Москву и возвели на русский престол польского царевича Владислава.

Действие V. Сцена 1. *Книга Иисуса Сирахова* — Книга премудрости Иисуса Сирахова, вошедшая в Библию. *Федька и Марья Годуновы* — сын и жена Бориса Годунова. *Толстой* и *Потемкин* — дворянские роды.

ПРОЗА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПИСЬМА

НЗ. 1820. Ч. 1, февр.: Предуведомление и письма I—IV; апр.: письма IX—XI; Соревнователь просвещения и благотворения. 1820. Ч. 9: письма V—VIII; Ч. 11: письмо XII.

[1] Дата содержит намек на восстание в испанском городе Кадиксе в июле 1819 г.

[2] Пароходы были техническою новинкою, и поэтому Кюхельбекер помещает их в XXVI век как одно из достижений прогресса человеческого разума.

[3] Гверилассы (правильно: герильясы) — испанские партизаны, боровшиеся с наполеоновской интервенцией.

[4] Этих эпических поэтов Кюхельбекер назвал позднее в статье «О направлении нашей поэзии», отдав первое место С. А. Шихматову (см. с. 436).

[5] Взвешивать — здесь: перевешивать (ср. с. 437).

[6] Упоминая здесь кардинала Ф. Хименеса как одного из положительных, благородных персонажей испанской истории, Кюхельбекер (см. с. 304) называет его среди деятелей, оставивших по себе печальную славу жестокостью, тиранией, произволом. Основание для подобной двойственной оценки дал труд английского историка У. Робертсона «История царствования императора Карла V» (1769), где были показаны, с одной стороны, проявления величия души кардинала, его личной храбрости, его нетерпимости к различным злоупотреблениям, а с другой — его жестокость как великого инквизитора, гонителя еретиков. Перечитывая книгу Робертсона в 1832 г., Кюхельбекер записал в дневнике: «Великий характер кардинала Хименеса заслуживает истинное удивление».

[7] Эскуриал (Эскориал) — архитектурный ансамбль недалеко от Мадрида, состоящий из дворца, монастыря, церкви, семинарии, монастырской библиотеки и усыпальницы испанских королей (построен в 1563—1584 гг.).

[8] В литературе и искусстве трагическая история дона Карлоса приобрела романтическую окраску (например, в трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос», 1787).

[9] Мавры — мусульманское население Пиренейского полуострова в средние века, потомки арабо-берберийских племен, завоевавших в VIII в. его большую часть; к XIII в. в их владении осталась лишь малая территория с центром г. Гранадой, который был взят испанцами в 1492 г.; позднее мавры были изгнаны из Испании.

[10] После смерти Фердинанда V, с 1516 до 1700 г. в Испании царствовала династия Габсбургов, а с 1700 до 1808 г. — Бурбоны.

[11] «Второй» Индией была Америка, называвшаяся Вест-Индией.

[12] Алджезира — Алжир.

[13] Меркантилизм — буржуазное экономическое учение XVIII в., согласно которому главным источником богатства является торговля.

[14] Физиократы — школа классической политической экономии, признававшая в отличие от меркантилистов источником богатства производительный труд и считавшая таковым только сельскохозяйственный.

[15] Обелиск был привезен из Египта Августом и ныне находится в Риме перед зданием парламента.

[16] Лаго-Маджиоре — озеро в Альпах на границе Италии и Швейцарии.

[17] Остров на Лаго-Маджиоре.

[18] Статуя воздвигнута в 1614—1619 гг. Высота гранитного цоколя 12, самóй медно-бронзовой статуи — 23, окружность головы 8 метров.

[19] Так древние греки называли Италию (букв.: Запад). Ср. стих. № 44, 72.

[20] Первый триумвират (60—53 г. до н. э.) составили с целью захвата власти Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей и Марк Красс; второй (43—36 г. до н. э.) — Октавиан, Марк Антоний и Марк Лепид.

[21] Преторианцы — солдаты императорской гвардии в Риме.

[22] Багряница — царское одеяние в виде широкого плаща из дорогой ткани багряного цвета, надевавшееся в торжественных случаях.

[23] Хина — Китай.

[24] Квиритская земля — Рим (квиритами назывались полноправные римские граждане по имени древнего италийского божества Квирина).

[25] Провозглашенный в 1347 г. римским трибуном, Риенци объявил себя выше папы и стал в резкую оппозицию Клименту VI, который находился в г. Авиньоне, где папы имели постоянную резиденцию с 1309 г. Купив Авиньон у Неаполитанской королевы Джованны I, Климент VI начал его отстраивать как столицу папства.

[26] Речь идет о Лютере.

[27] Возможно, Кюхельбекер имеет в виду папу Григория VII, ошибочно называя его немецким монахом или по светскому имени (Гильдебранд), или потому, что он вел борьбу с императором Генрихом IV и немецкой знатью.

[28] Западное православие — католицизм.

[29] Рим был взят 6 мая 1527 г. войском, состоявшим из немецких наемников, которых папа Климент VII проклял как пособников Лютера (в Германии в те годы быстро развивалась Реформация и происходило становление протестантизма).

[30] Папская область с Римом были присоединены к Французской империи декретом Наполеона 17 мая 1809 г.

[31] См. с. 373—374 и примеч. 31 к роману «Последний Колонна».

[32] Ныне г. Гуанчжоу в Китае.

[33] Альфреско *(нареч.)* — способ писания водяными красками по сырой штукатурке; здесь: в значении существительного — фрески.

[34] Цезарь высказался против смертной казни участникам антиреспубликанского заговора, предложив заменить ее содержанием под стражей и конфискацией имущества.

[35] Народное бытие — существование «в виде народа» (Ф. Н. Глинка), «нравственное бытие» (он же), то есть осознание себя единым народом, имеющим свои законы, обычаи, традиции и т. п.

[36] Остров Капри, где провел свои последние годы Тиберий, предаваясь безудержному разврату, создав режим пыток и казней.

[37] Город у подножия Везувия.

[38] Сократическая трапеза — застольная беседа, наподобие афинских «симпосиев» — обедов и пирушек, в которых своими философскими разговорами участвовал и Сократ (см., например, диалог Платона «Пир»).

[39] Лукуллов пир — обильный и роскошный пир (по имени римского полководца Лукулла).

[40] Существовавшее в разные периоды (в частности, в 1815—1860 гг.) Королевство обеих Сицилий включало о. Сицилию и Южную Италию, которая также называлась Сицилией.

[41] Земной рай, благодатный край.

[42] Пеласги — доисторическое (догреческое) население Пелопоннесского полуострова.

[43] Орландо и Карл — персонажи эпической поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

[44] Гибеллины — имперская аристократическая партия, чье название происходило от поместья императорского дома Гогенштауфенов.

[45] Имеется в виду Германия (свевы и катты — древнегерманские племена).

[46] Историческая область на севере Франции, у берегов Ла-Манша.

[47] Речь идет о народном восстании 1282 г., получившем название «Сицилийская вечерня».

[48] Сикулия — Сицилия (по названию древнего племени сикулов, обитавших в Сицилии с XIII в. до н. э. по IV в. н. э.).

АДО

Мн. 1824. Ч. 1.

В повести нашли отражение типичные для декабристской литературы темы и настроения: призывы к борьбе за свободу, высокое патриотическое чувство, готовность к самопожертвованию во благо родины, идеализация новгородского вечевого строя как силы, противо-

стоящей и княжеской власти, когда ее действия идут вразрез с интересами народа, и немецким рыцарям-поработителям, олицетворяющим жестокое феодальное угнетение и произвол. Характерным для декабристов был также наследованный от литературы конца XVIII— первых лет XIX вв. интерес к прибалтийским провинциям, обостренный проводившимися там социальными преобразованиями (отменою в 1816—1819 гг. крепостного права) и проблемою укрепления взаимоотношений коренного населения с русским народом. А. А. Бестужев-Марлинский в повести «Замок Нейгаузен» (1824) напомнил о дружеских связях эстонцев и русских и совместной их борьбе с немецкими захватчиками; ту же мысль развивает Кюхельбекер в «Адо», подчеркивая освободительную роль новгородцев и полемизируя с историческими концепциями прибалтийского дворянства, приписывавшего германскому меньшинству исконную «культуртрегерскую» миссию.

Интерес к Прибалтике поддерживался в 1820-е гг. и романтическим мировосприятием, тяготевшим к живописному, «вальтерскоттовскому» средневековью, зримые остатки которого — замки, питавшие воспоминания о рыцарях, турнирах, подземельях и т. п.,— сохранялись именно в этом крае. В повести присутствуют и другие типичные романтические мотивы: образ вдохновенного певца-менестреля, погибающего при столкновении с жестокой действительностью; власть церковного песнопения и др.

Сюжет и герои повести вымышлены, но помещены в условно-историческую обстановку, где реальные факты далекого прошлого смешаны с этнографическими, географическими, бытовыми, языковыми и другими реалиями, которые, хотя и подлинные, относятся к другой эпохе, началу XIX в., и были знакомы автору по личным впечатлениям детских лет. Действие развертывается в первой трети XIII в.: экспозиция, где говорится о завоевании Прибалтики Ливонским орденом, относится к 1217 и непосредственно за ним следовавшим годам, а концовка датируется точно 1234 годом (см. примеч. 45). Однако в повести время художественно «спрессованно», что придает сюжету динамичность; этим приемом порождены неоднократные нарушения исторической хронологии. Основным источником Кюхельбекеру служил третий том «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина; каких-либо иных прямых литературных источников не установлено. Упоминаемые в повести географические названия все находятся на карте Эстонии начала XIX в., но в XIII в. место действия было слабо заселенным и в хрониках того времени не упоминается. Не соответствуют исторической реальности приводимые Кюхельбекером детали, касающиеся верований древних эстов (жрецы, их облачения, жертвоприношения, имена богов); не являются подлинно народными песни. Имена Сур и Нор значат, соответственно, «Боль-

шой» и «Молодой»; фамилии Анреп и Икскуль числились в лифляндской дворянской родословной книге.

Стиль повести «Адо» характеризуется изобилием славянизмов, широким употреблением сложных слов, намеренным утяжелением синтаксиса, частой инверсией. В этом отношении «Адо» стоит особняком среди прозаических художественных произведений декабристов, являя собою единственное повествование, построенное в согласии с принципами «высокого слога», воспринятыми в основе у А. С. Шишкова. В 1840—1844 гг. Кюхельбекер переработал повесть, устранив последовательно тяжелые архаизмы. О характере переделки дает представление фрагмент нового текста, приведенный в примеч. 10.

[1] Пейпус — Чудское озеро (*нем.* Peipus, *эст.* Peipsi).

[2] Саксонский — немецкий (*эст.* saks — немец).

[3] Чудь — др.-рус. название эстов.

[4] Клеврет — здесь: собрат, приспешник.

[5] Кюхельбекер неправильно употребляет и поясняет слово «еманд» (*эст.* emand — госпожа, хозяйка).

[6] Летты (*нем.* Letten; *эст.* läti) — латыши.

[7] Маймесы — эстонцы (*эст.* maamees — деревенский житель; так называли себя эстонцы в XIX в.).

[8] Шитец — вышивка.

[9] Рухлядь — меха.

[10] Во второй редакции фрагмент, начинающийся словами «Напрасно косматый властитель...», приобрел следующий вид: «Пусть косматый властитель дубравы поднимался на задние лапы и шел им навстречу 〈...〉 смело они предавали его зубам свою левую руку, которая кругом толсто была обернута овчиной и лыком, а правую вместе с длинным ножом вонзали в живот чудовища и переворачивали в его растерзанных внутренностях».

[11] Venevere *(эст.)* — край русских (во времена Кюхельбекера существовало селение под этим названием).

[12] Кюхельбекер приводит народную этимологию эстонского названия русских «venelane», согласно которой оно производится от существительного «vennad» — брат (в действительности от *лат.* Venedi — названия славянской народности, обитавшей в бассейне Вислы до Балтийского моря).

[13] Камка́ — старинная шелковая цветная ткань с узорами; хру́щатая — хрустящая, шелестящая (постоянный эпитет к камке).

[14] Ярослав Мудрый назван здесь Законодателем потому, что при нем был составлен свод норм древнерусского права «Русская Правда».

[15] Промышленники — люди, занимающиеся промыслом зверя, птицы, рыбы, а также ремесленники.

[16] Вёдро — ясная солнечная погода весною и летом.

[17] Архиепископ Новгородский, он же верховное лицо исполнительной власти, председатель правительственного совета.

[18] Закон — вероисповедание.

[19] Иванов день — день Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.).

[20] Кюхельбекер допускает неточность (ср. также с. 327): в Новгороде был один посадник — следующий после владыки представитель исполнительной власти, председательствовавший на вече и надзиравший за проведением его воли во всех административных, судебных и военных деяниях князя, чью власть он ограничивал. Несколько посадников вместо одного стали выбирать с 1354 г.

[21] Стогна — площадь, широкая улица.

[22] Царь-пророк — библейский царь Давид; цитируется псалом 145, ст. 3.

[23] Та же неточность, что и в отношении посадника (см. примеч. 20): тысяцкий был один, являясь третьим лицом верховной исполнительной власти, представителем «черных» людей, начальником новгородского городского ополчения («тысячи») и председателем суда по торговым делам.

[24] Речь посадника построена на рассказе в «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина об отказе Новгородского веча в 1228 г. кн. Ярославу Всеволодовичу идти на Ригу.

[25] Ямь или Емь (*фин.* Häme) — прибалтийско-финское племя, платившее в XI—XII вв. дань Новгороду; Ливы — племя финно-угорского происхождения, населявшее в IX—XII вв. территорию, прилегающую к Рижскому заливу.

[26] Филиппов пост — с 14 ноября до 25 декабря (ст. ст.).

[27] Холм Вадимов — деталь, заимствованная из повести «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1803) Н. М. Карамзина, который вымыслил, что в Новгороде чтили память Вадима Храброго, полулегендарного предводителя восстания против Рюрика в защиту утраченной вольности, и воздвигли его мраморную статую на лобном месте вечевой площади, называвшемся якобы его именем («Вадимово место»).

[28] Речь псковского посла переведена из «Истории Государства Российского» (т. 3, примеч. 320), где она процитирована по Никоновой летописи с указанием на ее вымышленный характер.

[29] Этот фрагмент (со слов «язык незнаемый») представляет переложение летописного известия о первом монголо-татарском нашествии (1223), цитируемого по Новгородской летописи в «Истории Государства Российского» (т. 3, примеч. 296). Летописец ссылался на византийского писателя Мефодия, епископа г. Патар, которому приписывалось сочинение «Откровение», повествовавшее о конце света. Понтийское море — Черное море.

[30] Кюхельбекер допускает анахронизм, приурочивая к времени действия повести события 1237—1238 гг.

[31] Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский погиб в сражении с татарами на реке Сить, «а как он погиб ⟨...⟩ различно рассказывают» (Тверская летопись). Мученически был умерщвлен взятый в плен его племянник Василько Константинович Ростовский.

[32] Не дойдя до Новгорода, Батый повернул войско обратно. Сложившаяся позднее легенда объяснила его отступление покровительством Новгороду архангела Михаила. Н. М. Карамзин приводит ее в «Истории Государства Российского» (т. 3, примеч. 367) со ссылкою на «Скифскую историю» (1692) русского историка А. И. Лызлова.

[33] Речь идет о территории к западу и юго-западу от Рижского залива, которую населяло племя куршей, образовавшее впоследствии слиянием с другими племенами латышскую народность. В 1210—1267 гг. эта область была завоевана Ливонским орденом и позднее стала Курляндским герцогством, которое отошло к России по третьему разделу Польши.

[34] Неискусобрачный — не бывший в браке.

[35] Неточность: Пургас совершил в 1229 г. набег на Нижний Новгород.

[36] Эстонский и мордовский языки принадлежат к одной (финно-угорской) группе.

[37] Неккар — правый приток Рейна.

[38] Провещиться — то есть хотели, чтобы о них возвестили.

[39] Катты (хатты) — древнегерманское племя.

[40] Чингалище — кинжал, большой нож.

[41] Ижорская земля, населенная финским племенем ижора и в XIII—XIV вв. подвластная Великому Новгороду, простиралась по обоим берегам Невы, юго-западному Приладожью и южному берегу Финского залива до нынешнего Ивангорода.

[42] Кюхельбекер неточно рассказывает историю Таллина. В 1219 г. датчане захватили существовавший на этом месте эстонский город и назвали его Ревал (Ревель) по местности Рявала (северо-западная часть Эстонии); не приняв нового названия, эстонцы стали называть город Таллином (от Taani linna — датский город).

[43] Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 38—39, 56.

[44] Ученицы — ученики.

[45] Речь идет о походе 1234 г., о котором Н. М. Карамзин упомянул в «Истории Государства Российского» (т. 3, примеч. 343).

[46] Юриев — Дерпт, ныне Тарту.

[47] Кюхельбекер неточно приводит название реки по «Истории Государства Российского» (т. 3, примеч. 343), где дана древняя русская форма: Омовыжь (ныне — Эмайыга).

ЗЕМЛЯ БЕЗГЛАВЦЕВ

Мн. 1824. Ч. 2.

[1] Речь идет о печатавшихся в разных журналах «Отрывках из путешествия» Кюхельбекера по Европе в 1820—1821 гг.

[2] Ф. Ф. Матюшкин, участвовавший в 1820—1824 гг. в экспедиции Ф. П. Врангеля по северным берегам Сибири и обследовавший области к востоку от Колымы.

[3] Произведение английского сатирика Дж. Свифта «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726).

[4] Дюк (герцог) Бордосский — граф А. де Шамбор.

[5] Акардион *(др.-греч.)* — бессердечность.

[6] Клеврет — здесь: товарищ.

[7] Акефалия *(др.-греч.)* — безголовость.

ПОСЛЕДНИЙ КОЛОННА

Звезда. 1937, № 4; первое отдельное издание: Кюхельбекер В. К. Последний Колонна: Роман в двух частях 1832 и 1843 г. Л., 1937.

Согласно записи в дневнике, Кюхельбекер начал писать роман в свеаборгской крепости 8 марта 1832 г. Замысел сформировался при чтении в старинном журнале «Городская и деревенская библиотека» (1782, ч. 3) перевода «аглинской» повести французского писателя Франсуа Тома Мари де Бакюляра д'Арно «Адельсон и Сальвини». Несколько более двух недель Кюхельбекер трудился напряженно, с увлечением, но внезапно в работе наступил застой. «В моем романе остановка,— значится в дневнике за 26 марта,— поутру я было принялся за него и не мог написать более страницы; ужели и его придется бросить? Что значат неудачи, которые испытываю с некоторого времени в моих занятиях? Истощились ли мои способности? Или я еще не набрел на предмет истинно вдохновительный? Или воображению и творческой силе так же необходим отдых, как силам телесным?» Рукопись была отложена, 6 апреля начата поэма «Вечный Иудей», и лишь 2—4 декабря Кюхельбекер перечитал написанные письма романа и «утвердился в намерении его не бросить». Возвращался он к этому произведению эпизодически, окончательно завершив его в апреле — мае 1845 г.

Уже при первом упоминании в дневнике о начале работы роман получил заглавие «Итальянец» и сохранял его все годы, включая запись от 6 мая 1845 г., когда шла последняя переписка. Однако на титульном листе рукописи стоит заглавие «Последний Колонна», под которым также роман упомянут в «полном списке» сочинений Кюхельбекера, посланном 21 декабря 1845 г. В. А. Жуковскому, и

в так называемом «литературном завещании», продиктованном 3 марта 1846 г. И. И. Пущину. Согласно же помете И. И. Пущина на листе бумаги, в который вложена беловая рукопись, «это заглавие сочинитель потом заменил „Предчувствием"».

В повести Арно художник Сальвини, с которым познакомился и сблизился в Риме лорд Адельсон, помогает своему новому другу вызволить его невесту из рук злого и коварного похитителя, но затем сам в нее влюбляется, убивает ее и, отказавшись от побега, предлагаемого благородным англичанином, принимает казнь от руки палача. Кюхельбекер взял только главную сюжетную линию, устранив все авантюрные осложнения (похищения, поединки, погони и т. п.), а также сентиментальные излияния и рассуждения, которыми изобиловало произведение французского автора. Коренному переосмыслению подвергся образ главного героя — художника, получивший совершенно новое содержание. Страсти и вытекающие из них поступки Сальвини не зависят никоим образом от его творческого дара; у Колонны во всем складе мыслей и чувств, во всех порывах и деяниях проявляется именно художник, тонко и сильно чувствующая личность, традиционный персонаж литературы романтизма. Старый сюжет наполняется актуальной проблематикой, связанной с переоценкой и развенчанием индивидуализма и эгоизма романтического героя. Гениальность не оправдывает печати Каина — таков вывод, к которому приводит читателя автор.

Извещая Нат. Г. Глинку о завершении романа, Кюхельбекер писал 8 декабря 1843 г.: «Развязка ужасная, такая, что я сам испугался, когда дописывал последнюю главу; cela vous rapellera Hoffmann ⟨она вам напомнит Гофмана.— *В. Р.*⟩; роман состоит из выписок из дневника главного лица и из писем. Эпистолярный слог мне, кажется, дался; каждое лицо пишет сообразно своему характеру и званию; они же следующие: живописец итальянец, монах католический, итальянец же, русский отставной офицер гвардии, его слуга — француз, молодая девушка лучшего круга, русская, старая компаньонка богатой русской генеральши, титулярный советник малороссийский, секретарь губернатора. Всем им, кажется, дана настоящая физиономия, и карикатуры, вроде тех, какие обыкновенно встречаются в наших так называемых нравоописательных романах, полагаю, нигде нет». Кроме влияния Гофмана, которое отметил сам Кюхельбекер, в романе прослеживаются отголоски чтения произведений Бальзака и Вашингтона Ирвинга.

[1] Первая строка сонета «К Италии» Винченцо да Филикая.

[2] Агрумии (*ит.* agrumi) — цитрусовые.

[3] Город в Турции (ныне Эдирна), где 2(14) сентября 1829 г. был подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1828—1829 гг.

[4] Померанец — апельсин.

[5] В первой части романа Ф. Шиллера «Духовидец» (1787—1789) рассказывается о таинственных совпадениях, предсказаниях, вызывании духов и т. п.

[6] Пульчинелло (правильно: Пульчинелла) — маска итальянской комедии.

[7] Сахарные конфеты-драже, которыми во время карнавала бросали в гуляющих с балконов, из окон, экипажей и т. п.

[8] Проводник, дающий пояснения при осмотре достопримечательностей, музеев и др.

[9] Инглезе (*ит.* inglese) — англичанин.

[10] Здесь: величественный античный персонаж, подобие величественному античному изваянию.

[11] Ангел тьмы, злой дух.

[12] Колонна — древний род, игравший видную роль в политической и общественной жизни Рима.

[13] Эгерия — супруга римского царя Нумы Помпилия, превратившаяся, согласно легенде, после его смерти в источник.

[14] В сражении под Дрезденом 27 августа 1813 г. Наполеон («маленький капрал») одержал свою последнюю большую победу, оттеснив от города австрийские и русские войска.

[15] Автор письма по невежеству путает казачьего атамана М. И. Платова с древнегреческим философом Платоном, а последнего — с русским митрополитом Платоном.

[16] Автор письма начинает насмешливо играть созвучиями с фамилией Колонна. Колонь — французская форма названия города Кельна (Cologne).

[17] Каронь (*фр.* carogne) — потаскуха.

[18] Рана была получена в решающей битве под Лейпцигом (16—18 октября 1813), в которой Наполеон потерпел сокрушительное поражение.

[19] Шаронь (*фр.* charogne) — падаль, подлюга.

[20] Севский — севрский.

[21] Гипербореи *(антич. миф.)* — мифический народ, обитавший на севере.

[22] Бельведерский торс в музее Ватикана — фрагмент изваяния сидящего мужчины с сильно развитой мускулатурой, скульптор — Аполлоний Афинский (I в. до н. э.). Ср. примеч. 3 к «Путешествию».

[23] Рафаэль, названный Урбинским по месту рождения (г. Урбино).

[24] Тайные, коварные умыслы.

[25] Слегка перефразированные слова Дон Карлоса из одноименной трагедии Ф. Шиллера (д. II, явл. 2): «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия».

[26] Герцог Феррарский, покровитель Тассо, заточил поэта на семь

лет в сумасшедший дом, наказав его таким образом за то, что он, согласно легенде, влюбился в его сестру, Элеонору д'Эсте.

[27] Отец героя возводил свой род к римским Сципионам.

[28] Люстр (*лат.* lustrum) — пятилетие.

[29] Речь идет о Сикстинской Мадонне.

[30] Тедески (*ит.* tedesci) — немцы.

[31] Легенда о «вечном жиде» (Агасфере), на сюжет которой Кюхельбекер написал поэму «Вечный жид» (1832—1836), рассказана в романе (с. 373—374).

[32] О графе Сен-Жермене ходили распространявшиеся им самим слухи, что он обладал эликсиром долголетия и прожил несколько столетий.

[33] Караимы — еврейская секта, признающая лишь часть канонических законов, содержащихся в Талмуде — собрании догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма.

[34] Цитируются слова Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира (акт I, сц. 5):

«Гораций, много в мире есть того,
Что вашей философии не снилось»
(пер. Б. Пастернака).

[35] Грауманн (*нем.* Graumann) — серый человек.

[36] Эти религиозные реформаторы, все трое по профессии сапожники, представлены последовательными историческими воплощениями Агасфера, что явствует из сравнения дат жизни: Г. Сакс (1494—1576), Я. Бёме (1575—1624), Д. Фокс (1624—1691).

[37] Речь идет о знаменитой статуе «Лаокоон и его сыновья» работы Агесандра, Полидора и Атенодора (римская копия в музее Ватикана) и статуе отдыхающего Геракла, облокотившегося на палицу, покрытую львиной шкурой (скульптор — Лисипп, римская копия в Неаполитанском музее).

[38] Библейская аллюзия (Первая книга царств, гл. 16, ст. 14—23).

[39] Евангельская притча о рабе, зарывшем в землю талант (Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 14—30).

[40] Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя... И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя...» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 29—30).

[41] Соборное послание св. апостола Иакова, гл. I, ст. 17.

[42] Трансмонтаны — иноземцы, живущие на севере от Италии, за Альпами.

[43] Ваия (вайя) — пальмовый лист.

[44] Речь идет об Ироде II Антипасе, правившем четвертой частью Галилеи и Переи (Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 7—9); правильно: четвертовластник (правитель четвертой части области на востоке Римской империи).

[45] Герой поэмы Дж. Г. Байрона «Странствования Чайльд-Гарольда» (1812—1818); в нарицательном смысле — модный в 1820—1830-е гг. тип разочарованного, пресыщенного жизнью молодого человека, равнодушного наблюдателя и эгоиста.

[46] Соборное послание св. апостола Иакова, гл. 2, ст. 26.

[47] Сын Кисов — Саул, помазанный Самуилом на царство, но вызвавший неудовольствие бога, о чем было слово Самуилу, который «опечалился... и взывал к господу целую ночь» (Первая книга царств, гл. 15, с. 10—11).

[48] Нарицательное имя нежного, безнадежно вздыхающего влюбленного; по имени героя пасторального романа «Астрея» (1607—1627) французского писателя Оноре д'Юрфе.

[49] Олла-потрида (правильно: олья-подрида) — испанское блюдо из мяса, овощей, жира, пряностей; в переносном значении: смесь.

[50] Принимающий в расчет только сухие факты и трезвые соображения.

[51] Софисты — здесь: мудрецы, философы; речь идет об утилитаризме — возникшем в 1830-е гг. направлении в этике, считавшем пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков.

[52] Перефразированный стих из поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин»: «В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В деревне скучно...»

[53] Сумет — сугроб.

[54] Фактотум — доверенное лицо, выполняющее различные поручения.

[55] Цитата из баллады В. А. Жуковского «Кассандра» (1809).

[56] Имеется в виду Мартин Лютер, который первоначально был монахом августинского монастыря в Виттенберге, а затем, сложив с себя монашеский чин, женился на бывшей монахине.

[57] Далее пересказываются начальные строки баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1808—1812). Ср. песню на с. 346—347.

[58] Цитаты из перевода, выполненного Кюхельбекером в мае — сентябре 1832 г.

[59] В Смольном монастыре Петербурга находилось Воспитательное общество благородных девиц.

[60] См. примеч. 40 к «Европейским письмам».

[61] Артист — художник.

[62] Адамова голова — изображение черепа с лежащими под ним двумя скрещенными костями, символизирующее смерть.

[63] Делец — здесь: человек, хорошо знающий свое дело.

[64] Одним из элементов культа Наполеона была легенда, согласно которой у него, подобно другим великим людям (например, Сократу), был свой «демон», то есть дух-советчик. В повести Бальзака «Сельский врач» (1833) эту легенду рассказывает ветеран наполеоновской армии, называя духа «красным человеком» и поясняя, что он «был

вроде как бы его (императора.— *В. Р.*) мысль, а многие говорят, будто он служил ему гонцом, чтобы сообщаться с его звездой».

[65] Сорт табака, названный по фамилии русского табачного торговца.

[66] В пору издания «Московского телеграфа» (1825—1834) Н. А. Полевой подвергался ожесточенным нападкам со стороны Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, но после запрещения журнала был вынужден негласно сотрудничать у своих литературных противников.

[67] Советник пересказывает переведенную с французского языка повесть «Спинелло» (Вестник Европы. 1830. № 15—16. Август).

[68] Человек, помешанный на одном предмете, одной мысли.

[69] Доктрина предопределения, согласно которой единственно волею бога предустановлено спасение или осуждение человека в вечной жизни, развивалась кальвинистами, представлявшими одно из основных течений протестантизма и называвшимися по фамилии религиозного реформатора Жана Кальвина.

[70] В традиции, восходящей к христианскому толкованию, это божество древних народов Малой Азии символизирует жестокую, неумолимую силу, требующую поклонения и человеческих жертв.

[71] Начальные строки знаменитого монолога Гамлета (акт 3, сц. 1).

ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»

Описание Дрезденской галереи

Мн. 1824. Ч. 1.

По впечатлениям своего европейского путешествия Кюхельбекер написал книгу, которая была закончена, по-видимому, в 1822 г. Не найдя ей издателя, он публиковал отрывки из нее в разных журналах (1824—1825) без соблюдения последовательности. Полная рукопись в виде писарской копии с авторской правкой была приобретена в начале 1930-х гг. Ю. Н. Тыняновым, но затерялась во время Великой Отечественной войны.

В «завещании» Кюхельбекера (см. с. 530—531) книга названа «Путешествием» и относительно ее сделано следующее распоряжение: «Пересмотреть и напечатать по усмотрению, кроме Дрезденской галереи, которую прошу издать». В письме к В. А. Жуковскому от 21 декабря 1845 г. отрывок, посвященный Дрезденской галерее, числится в рубрике «Критика и эстетика» под заглавием, которое ему на этом основании дано в настоящем сборнике. В том же письме содержится указание на то, что, перечитывая этот фрагмент «Путешествия» в ссылке, автор внес в него изменения, однако «исправленный» текст не сохранился.

«Путешествие» было последней данью Кюхельбекера традициям Жуковского и Карамзина. Оценка произведений живописи определя-

лась его романтическим мировосприятием, которое искало у художника в первую очередь «вдохновения и прелести», ставя эти качества перед верностью натуре.

[1] Соответствующие рассуждения содержатся в книге Г. Форстера «Путешествие по нижнему Рейну, Брабанту, Фландрии, Голландии, Англии и Франции в апреле, мае и июне 1790 года» (1791).

[2] См. примеч. 19 к «Европейским письмам».

[3] Гераклово туловище — Бельведерский торс (см. примеч. 22 к роману «Последний Колонна»), ранее считавшийся фрагментом статуи сидящего Геракла.

[4] Картина «Пьяный Геркулес» (Геркулеса уводят нимфа и сатир).

[5] См. примеч. 37 к роману «Последний Колонна».

[6] Картина «Охота на львов».

[7] Картина «Сатир и тигрица».

[8] Картина «Нептун, усмиряющий волны» на следующие стихи из «Энеиды» Вергилия (I, 132—135):

Ветры! Уверены вы, что все дозволено роду
Вашему? Как вы могли, моего не спросив изволенья,
Небо с землею смешать и поднять такие громады?
Вот я вас! А теперь пусть улягутся пенные волны...
(Пер. С. Ошерова).

[9] Восковой барельеф Ф. П. Толстого «Меркурий ведет тени убитых женихов в ад» (1816).

[10] Маной (библ.) — отец Самсона; ангел, возвестивший ему рождение сына, вознесся в пламени жертвенника (Библия: Книга Судей израилевых, гл. 13).

[11] Картина «Изгнание Агари».

[12] Картины «Девушка, срывающая виноград» и «Потерянная нитка».

[13] Картина «Молодой человек и женский бюст». В каталоге Дрезденской галереи, изданном в 1818 г., сюжет картины излагался следующим образом: «Художник освещает бюст Венеры, стоящий перед ним на столе». Позднее трактовка изменилась; было установлено, что изображен «вряд ли художник, а вероятнее его слуга», носящий сережки.

[14] Картины «Старая торговка дичью», «(Молодая) торговка птицей», «Торговец птицей». Сюжет второй картины изложен Кюхельбекером неточно: старая кухарка уже купила баранину в другом месте, а здесь прицениватся к птице, торгуясь с молодой женщиной.

[15] Картина Г. Флинка «Давид, передающий Урии письмо» значилась в каталоге 1818 г. работою Ф. Боля. Сюжет библейский: Давид, прельстившись женою своего полководца Урии, отослал его с письмом,

в котором приказал поставить его в сражении в такое положение, чтобы он был убит.

[16] Картина «У сборщика налогов». Трактовка сюжета и название менялись неоднократно. Одно из прежних — «Торг о курице». Согласно описанию в каталоге 1818 г., за столом, на котором лежит груда золотых монет и мешки с деньгами, сидит меняла; молодая женщина (по-видимому, его дочь) разговаривает со старой крестьянкой, предлагающей ей курицу и яйца. Картина была написана в мастерской К. Массейса, возможно его сыном Яном Массейсом.

[17] Картина «Мадонна бургомистра Майера». В Дрезденской галерее находится копия, выполненная Б. Сарбургом; оригинал в Дармштадте.

[18] Имеется в виду рассказ «Видение Рафаэля» в книге В. К. Ваккенродера «Фантазии об искусстве», изданной его другом Л. Тиком (1799), который, по-видимому, был соавтором рассказа.

[19] Картина «Охота». Сколок — точное подобие.

[20] Электор — курфюрст.

[21] Картина «Магдалина» (кающаяся Магдалина читает).

[22] Картина Ф. Молы «Смерть Дидоны» значилась в каталоге 1818 г. под названием «Смерть Лукреции».

[23] Картина «Лежащая Венера и Амур».

[24] Строка из стихотворения К. Н. Батюшкова «Изнемогает жизнь в груди моей остылой» (1817—1818).

[25] Картина «Старуха бьет трех детей, один из которых украл ее веретено».

[26] Картина «Похищение Ганимеда».

[27] Картина «Сожжение еретика», копия фрагмента находящейся в Сикстинской капелле фрески Микеланджело «Страшный суд».

[28] Картина «Живопись и рисунок».

[29] Трагедия Кюхельбекера (1822—1823).

[30] Речь идет о переходе Шиллера от проникнутых мятежным духом пьес периода «бури и натиска» к так называемому «веймарскому классицизму», сформировавшемуся на основе представлений о постепенной нравственной перестройке общества под воздействием искусства.

[31] Остеология — отдел анатомии, изучающий форму и строение костей.

[32] Картина «Мадонна святого Франциска».

[33] Картина «Мадонна святого Георгия».

[34] А. Л. Нарышкин.

[35] Картина «Магдалина» (кающаяся Магдалина лежит под скалою и читает). Эта предполагаемая копия с утраченного оригинала Корреджо ранее считалась оригиналом и была очень знаменита.

[36] Картина «Вакханалия».

[37] Картина «Мадонна на престоле со св. Матвеем».

[38] Картины «Дочь Иродиады Саломея с головой Крестителя на блюде» и «Святая Цецилия». Св. Цецилия считается покровительницей музыки, особенно церковной.

[39] Картина «Мадонна с тазом» (Мадонна дель катино).

[40] Картина «Амур, точащий стрелу».

О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ, ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ, В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Мн. 1824. Ч. 2.

В статье сформулированы творческие принципы Кюхельбекера, выработанные под влиянием А. С. Грибоедова и «Беседы любителей русского слова» в 1821—1824 гг. и составившие теоретическую основу его творчества второго периода (1821—1833), ознаменовавшегося переходом в «дружину славян» (см. с. 458). К выходу статьи они были практически воплощены в стихотворениях 1822—1824 гг. и в повести «Адо». Позднее в наброске «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области русской словесности» Кюхельбекер дал следующую характеристику своей статьи: «...первые военные действия Кюхельбекера противу элегических стихотворцев и эпистоликов — впрочем, он отнюдь не соединяется с гг. классиками».

Статья вызвала оживленную полемику, в которой принял участие и Ф. В. Булгарин. Кюхельбекер ответил ему и другим оппонентам статьей «Разговор с Ф. В. Булгариным» (Мн. 1824. Ч. 3), где уточнил и развил свои положения. Кроме того, в том же номере «Мнемозины», где была напечатана статья «О направлении нашей поэзии», он счел необходимым дать специальное примечание к статье В. Ф. Одоевского «Письмо в Москву к В. К. Кюхельбекеру»: «Здесь кстати считаю заметить, что статья моя «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», где откровенно, и, может быть, слишком откровенно, говорю свое мнение о сочинениях Жуковского, Пушкина и Баратынского (они все трое друзья мои),— есть знак моего непритворного к ним уважения; ибо в моих глазах строгого разбора стоят сочинения одних людей с талантом; касательно их только заблуждений критика должна просвещать читателей, потому что ошибки Прадонов и Тредьяковских всякому в глаза кидаются».

[1] Свое высокое мнение о творчестве этого поэта, осыпаемого градом насмешек со стороны К. Н. Батюшкова, В. Л. Пушкина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина и др., Кюхельбекер защищал в статье «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий“» (1825).

[2] В предисловии к пьесе «Блудный сын».

[3] Цитата из трактата «Поэтическое искусство».

[4] Триолет — восьмистишие, в котором первая строка повторяется в четвертой и седьмой, а вторая — в восьмой.

[5] Цитата из оды французского поэта А. Ламартина «Энтузиазм»; в приводимой строфе содержится ироническая характеристика поэта-элегика; русский перевод — Вл. Орлова.

[6] Стихотворное послание стало с 1810-х гг. излюбленным жанром В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, В. Л. Пушкина, А. Ф. Воейкова. *Триста трехстопных стихов...* — Вероятно, намек на послание К. Н. Батюшкова к В. А. Жуковскому и П. А. Вяземскому «Мои Пенаты» (1811—1812), написанное этим размером и содержащее 316 строк.

[7] Имеются в виду начальные строки одного из поэтических манифестов карамзинистов — послания В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковскому» (1810):

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,
Что логике учусь и ясным быть желаю?
. . . .
Не ставлю я нигде ни семо, ни овамо;
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать...

Семо — здесь, сюда; овамо — там, туда.

[8] О своей библиотеке писал К. Н. Батюшков в «Моих Пенатах» и А. С. Пушкин в стихотворении «Городок. К***» (1815).

[9] Намек на следующие строки послания В. А. Жуковского «К Батюшкову» (1812):

И, гость из края дальня,
Уютный домик свой
Там швабской гусь спесивой
На острове под ивой
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.

[10] Батюшков переводил этих поэтов.

[11] Кюхельбекер опирается на положения швейцарского историка Ж. Ш. Сисмонди, развитые в книге «О литературе Южной Европы» (1813).

[12] См. примеч. 45 к роману «Последний Колонна».

[13] Иронически перечислены частые мотивы поэзии В. А. Жуковского.

[14] Намек на поэтические сборники В. А. Жуковского «Для немногих» (Für Wenige. М., 1818, № 1—6).

[15] Речь идет о фольклорных мотивах в указанных произведениях.

[16] Алкид — Геракл.

[17] Поясняя в «Разговоре с Ф. В. Булгариным» свою мысль о «не-

дозревшем» Шиллере, Кюхельбекер указывал, что теории «незрелых» писателей «исполнены резких предрассудков и резкой односторонности; произведения же изображают по большей части их личный образ мыслей, их собственный характер, их собственные, слишком еще пылкие страсти», и «посему-то в драме они столь редко могут присвоить себе лицо представляемого ими героя». Этот недостаток, по мнению Кюхельбекера, отличал не только пьесы Шиллера, но и его лирику, относительно которой в статье говорится: «В лирических стихотворениях Шиллера господствует *одна* мысль или, лучше сказать, *одно* чувство — предпочтение духовного (идеального) мира существенному, земному: чувство, без сомнения, высокое, истинно лирическое; но им ли одним должна ограничиться поэзия? Одностороннее, не показывает ли оно феорию одностороннюю же? Сие чувство лет десять повторяется во всех почти произведениях русского Парнаса писателями, отголосками Жуковского, Шиллерова отголоска; но, как возмужалый только гений может иметь учеников, состяжающихся с ним, а не рабски ему подражающих, вы мне позвольте, милостивый государь, усомниться в истинном достоинстве и прочном бессмертии сей германо-русской школы».

[18] Эта оценка Байрона пояснена в «Разговоре с Ф. В. Булгариным»: «Байрон однообразен, и доказать сие однообразие нетрудно. Он живописец нравственных ужасов, опустошенных душ и сердец раздавленных: живописец душевного ада; ⟨...⟩ «Гяур», «Корсер», «Лара», «Манфред», «Чайльд-Гарольд» Байрона — повторения одного и того же страшного лица, отъемлющего своим присутствием дыхание, убивающего и сострадание, и скорбь, обливающего зрителя стужею ужаса ⟨...⟩ Не смею уравнить его Шекспиру, знавшему все: и ад и рай, и небо и землю ⟨...⟩, который, подобно Гомеру, есть вселенная картин, чувств, мыслей и знаний, неисчерпаемо глубок и до бесконечности разнообразен, мощен и нежен, силен и сладостен, грозен и пленителен! Не уравню Байрона Шекспиру; но Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным и Шиллером — и, прибавлю, с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом перейдет, без сомнения, в дальнейшее потомство».

[19] Я, не колеблясь, смело сказал...

[20] Издатель «Северного архива» — Ф. В. Булгарин.

[21] Сеиды — здесь: прислужники влиятельных лиц; Зоил — нарицательное имя злобного критика.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ЛН. Т. 59. 1954.

Статья датируется приблизительно. 3 апреля и 19 мая 1835 г. Кюхельбекер сделал в дневнике записи, которые затем целиком в нее

вошли, а в начале августа 1836 г. послал ее А. С. Пушкину для «Современника». Следовательно, написана была она в пределах с конца мая 1835 по конец июля 1836 г. Из письма Кюхельбекера Н. И. Гречу от 13 апреля 1836 г. с предложением сотрудничать можно понять, что он рассматривал некоторые свои пространные дневниковые записи или группы записей как статьи, которые требуется лишь «переписывать», то есть, вероятнее всего, доработать, привести в окончательный вид, развив намеченные в заготовках мысли. Если это предположение верно, то именно так, возможно, была завершена эта статья после получения летом 1836 г. письма от А. С. Пушкина с приглашением участвовать в «Современнике».

Статья была задержана III отделением по распоряжению А. Х. Бенкендорфа и до адресата не дошла.

В упоминавшемся выше письме Н. И. Гречу Кюхельбекер предупреждал: «Мои литературные статьи никогда не могут быть полемическими: самое мое положение этого не позволяет». Тем не менее в «Поэзии и прозе» ссыльный декабрист осторожно и вместе с тем вполне прозрачно включается в литературные дискуссии тех лет. Он выступает против так называемого «торгового направления» в литературе, насаждавшегося О. И. Сенковским через журнал «Библиотека для чтения» и получившего резкий отпор со стороны писателей, защищавших высокое понятие о своей творческой миссии. Пристальный интерес и живую полемику вызывали в России произведения новейших французских писателей: Гюго, Бальзака, Жорж Санд, Дюма и др. Кюхельбекер знал их только по отзывам и немногим попадавшим к нему переводам; но и на этом скудном материале он правильно понял идейный смысл ожесточенных нападок на них Сенковского, обличавшего их, в частности, в статье «Брамбеус и юная словесность» (БдЧ. 1834. Ч. 3), где они названы «второй французской революцией в священной ограде нравственности», следствием «того же умственного недуга, который за сорок лет перед тем усеял Францию политическими развалинами и трупами». В спорах о судьбах поэзии и прозы, разгоревшихся в связи с активным развитием последней в 1830-е гг. (в том числе усилиями А. С. Пушкина), Кюхельбекер безоговорочно, категорически отдал предпочтение стихотворчеству. Для того времени эта прямолинейная точка зрения, отражавшая принципы романтической эстетики, была уже в значительной мере архаической, но ссыльный декабрист не мог ей изменить после того, как все годы заточения жил усвоенным в юности представлением о священном поэтическом даре, которое одухотворяло его в казематах и помогло ему выстоять нравственно десять тяжких лет.

1 Эпиграф взят из поэмы Кюхельбекера «Вечный жид» (см. примеч. 31 к роману «Последний Колонна»).

2 Яркая комета, имеющая период обращения вокруг Солнца

75—76 лет; названа по имени Э. Галлея, установившего закономерность ее движения.

[3] См. примеч. 51 к роману «Последний Колонна».

[4] Гаер — шут, паяц.

[5] Статья «Гете в посмертных его сочинениях» (БдЧ. 1834. Ч. 6). В редакторском примечании О. И. Сенковский выразил согласие с мнением английского журнала, из которого она была переведена.

[6] Цитата из романа английского писателя Э. Дж. Бульвера-Литтона «Рейнские пилигримы» (1834).

[7] Знаменитый средневековый собор в Страсбурге (Мюнстер (*нем.* Münster) — кафедральный собор).

[8] Среди ранних работ Э. Фальконе есть несколько амуров.

[9] Речь идет о шедевре И. Ф. В. Мюллера — воспроизведении в гравюре «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Неясно, по какой причине Кюхельбекер допустил ошибку, назвав эту гравюру «Преображением».

[10] Роман Шатобриана.

[11] «Полиметры» — произведение Жан-Поля (И. П. Рихтера), написанное ритмической прозой; Кюхельбекер перевел из него отрывок и напечатал под заглавием «Многомеры» (Мн. 1824. Ч. 1).

ДНЕВНИК

Кюхельбекер начал вести дневник 25 апреля 1831 г. и заполнял его ежедневно, за очень редкими пропусками, до самого конца заключения. В годы ссылки эта регулярность постепенно все чаще и чаще нарушалась, увеличивались интервалы между записями. Время от времени Кюхельбекер преисполнялся намерением вернуться к прежней аккуратности, но это ему ни разу не удалось.

Дневник публиковался трижды. Впервые он был напечатан в отрывках в журнале «Русская старина» за 1875, 1883, 1884 и 1891 гг.; затем отдельным изданием с большими сокращениями — в 1929 г. В начале 1930-х гг. Ю. Н. Тынянов приобрел в составе архива Кюхельбекера дневниковые тетради, из которых он привел в своих трудах некоторое число очень важных фрагментов, опущенных в публикациях «Русской старины» и 1929 г. Во время Великой Отечественной войны тетради, кроме двух, затерялись. Третья публикация (ПДС) была осуществлена по двум сохранившимся тетрадям и спискам, сделанным в свое время для «Русской старины»; были включены также все фрагменты, цитированные Ю. Н. Тыняновым. Это издание наиболее представительное, но и оно неполное, поскольку списки не были точными копиями, а составлялись выборочно.

Дневник Кюхельбекера — это сотни поденных заметок, которые, по исходному замыслу, строго выдерживавшемуся, отражали мысли

гонимого поэта в заточении, его круг чтения и раздумия о важных и высоких предметах. Это сотни имен и названий, бесчисленные мелкие замечания, которые во всей полноте и всем своем значении могут быть осмыслены только в детальном историко-литературном контексте, то есть при вдумчивом чтении и сопоставлении всех тех журналов за многие годы и книг, которые попадали к декабристу в каземат и ссылку. Даже подробнейший академический комментарий не даст всех необходимых сведений. В силу этого для данного издания отбирались преимущественно записи, касающиеся общеизвестных имен и произведений, но так, чтобы и на этом ограниченном, по необходимости, материале показать биение мысли Кюхельбекера, ее повороты разными гранями, ее эволюцию и ее парадоксы.

Кюхельбекер несколько раз отметил, что не желает превращать свой дневник в исповедь, и однако немало записей носят сугубо личный характер, отражая его эмоциональное состояние. Некоторые из них намеренно зашифрованы, чтобы тюремщики, проверявшие его бумаги, не поняли, о чем идет речь. Подобные записи представлены в настоящей выборке немногими типичными примерами, которых вполне достаточно, чтобы показать периодические смены упадка и подъема духовных сил узника.

Ряд заметок приводится не полностью, но соответствующий знак (〈...〉) употребляется при пропуске в середине текста. В начале и конце записи он ставится только в тех случаях, когда фрагмент открывается и завершается на середине предложения или когда он восстановлен по цитатам в работах Ю. Н. Тынянова.

[1] Псалом 12, ст. 2—3.

[2] Речь идет, по-видимому, о неприятностях, угрожавших тем лицам, которые, воспользовавшись ослаблением тюремного режима в Динабурге, снабжали Кюхельбекера книгами, навещали его в каземате и нелегально переправляли его письма на волю.

[3] Имеются в виду поэмы «Петр Великий» С. А. Ширинского-Шихматова и «Полтава» А. С. Пушкина.

[4] См. примеч. 18 к роману «Последний Колонна».

[5] Сражение у польского города Остроленка 4(16) февраля 1807 г., закончившееся победою французских войск над русскими.

[6] Неоконченная поэма «Петр Великий».

[7] Согласно «философии тождества» Ф. В. Й. Шеллинга, искусство есть универсальное и абсолютное выражение бога-творца, воплощенного во всех конкретных явлениях природы, объединяющего их в своем сознании и созерцающего себя в них.

[8] Драматическое произведение Кюхельбекера.

[9] Кюхельбекер имеет в виду мнение критика В. Т. Плаксина, который в статье «Взгляд на состояние русской словесности в последнем периоде» (СО. 1829. Ч. 127—128) возражал против «выбора пред-

метов из народных преданий и рассказов, суеверием и предрассудками рожденных, и из отечественной мифологии».

[10] Ср. примеч. 6 к «Европейским письмам».

[11] В предпоследней строке XIV строфы было напечатано в первом издании: «***, прости...» Кюхельбекер расшифровал астроним как «Вильгельм» (принятая сейчас расшифровка: Шишков).

[12] Герой романа Ж. Ж. Руссо «Новая Элоиза».

[13] Содержащийся в XXXV строфе перечень авторов, прочитанных Онегиным, напомнил Кюхельбекеру подобные же перечисления имен собственных в стихах В. Л. Пушкина. В слове «творенья» он усмотрел неуместную, с его точки зрения, иронию по отношению к Фонтенелю.

[14] Первая строка «Прощальной песни воспитанников имп. Царскосельского лицея» (1817) А. А. Дельвига.

[15] Далее в дневнике густо зачеркнуты три строки.

[16] Накануне Кюхельбекеру передали сборники стихотворений В. Скотта и Дж. Крабба, присланные сестрой ко дню рождения.

[17] Внимание Кюхельбекера к подобным жанровым сценкам обострилось явно под впечатлением от поэзии Дж. Крабба.

[18] В дневнике после этой записи следует ранняя редакция стихотворения «Возврат вдохновения».

[19] В это время Кюхельбекер работал над поэмой «Юрий и Ксения».

[20] После напечатания отрывка из «Горя от ума» в альманахе «Русская Талия» (1825) М. А. Дмитриев и А. И. Писарев (псевд.: Пилад Белугин) выступили против критиков, давших положительные отзывы (Н. А. Полевого, О. Сомова, В. Ф. Одоевского). М. А. Дмитриев не нашел в пьесе никаких достоинств и признал ее язык «жестким, неровным, неправильным». А. И. Писарев усмотрел «сряду тысячи дурных стихов», а язык назвал «наречием, которого не признает ни одна грамматика, кроме, может быть, лезгинской» (намек на пребывание Грибоедова на Кавказе).

[21] Пословица равнозначна русской: «Знает кошка, чье мясо съела».

[22] По-видимому, неточно запомненная Кюхельбекером строка из двустишия Ф. Н. Глинки:

Из шелку и мочал шнур нашей жизни вьется;
Кто плакал поутру, тот к вечеру смеется.

[23] Из книги «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (СПб., 1831).

[24] Поэма «Времена года», песнь «Лето».

[25] 5 июля 1833 г.

[26] Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 16.

[27] Записи о чтении «Сына отечества» начинаются 2 июня 1833 г.

Последней Кюхельбекеру дали ч. 15 (137) за 1830 г. 26 марта 1834 г. он записал в дневнике: «Сегодня для меня был пир: прислали несколько книжек «Телеграфа» на 1830 год».

[28] Речь идет о романе «Адольф» (1816), перевод которого печатался в «Московском телеграфе» за 1832 г. В романе изображен молодой человек в разладе с веком и с самим собою.

[29] Современники усматривали в романе «Адольф» отражение личных отношений автора и мадам де Сталь.

[30] Повод для этой записи, как обычно в подобных случаях, намеренно не упомянут Кюхельбекером и остается неизвестен.

[31] «Торквато Тассо: Драматическая фантазия в стихах» (1833).

[32] Согласно легенде, Эпименид проспал в зачарованной пещере 57 лет и, проснувшись, застал младшего брата глубоким стариком.

[33] Об этих писателях Кюхельбекер узнал из переводной статьи Э. Кине «Будущая участь словесности и изящных искусств в Германии» (МТ. 1832. Ч. 47, № 17).

[34] Кюхельбекер читал статью «Шиллер и Гете» в переводе и с вступительными пояснениями В. Дмитриева (СО. 1831. Ч. 17—18 (139—140), № 7—12).

[35] Далее запись восстановлена частично по цитатам в статье Ю. Н. Тынянова «Французские отношения Кюхельбекера» (ЛН. Т. 33—34. 1939).

[36] См. примеч. 17 к статье «О направлении нашей поэзии...».

[37] Словом «модернизм» Кюхельбекер обозначает литературу, которую Менцель называл «поэзией новейшей» (die moderne). По определению немецкого критика, она «не есть зеркало мира минувшего или идеального, но отражение нашей собственной, нынешней жизни, наших дел и занятий».

[38] Записи от 2, 5, 17 июля представлены цитатами из указанной статьи Ю. Н. Тынянова (см. примеч. 35).

[39] Большое число новейших произведений французских писателей Кюхельбекер читал в это время в «Сыне отечества» за 1832 г.

[40] Эту повесть в переводе О. М. Сомова Кюхельбекер прочел в «Сыне отечества» (1833. Ч. 33 (155), № 1).

[41] Речь идет о Ник. Г. Глинке.

[42] Статья Ф. В. Булгарина «Письма о русской литературе. Письмо II. О характере и достоинстве поэзии А. С. Пушкина» (СО. 1833. Ч. 33 (155), № 1).

[43] Рапсод *(антич.)* — странствующий поэт-сказитель, в частности исполнитель эпических поэм Древней Греции («Илиады» и «Одиссеи».)

[44] Пьеса «Пробуждение Эпименида» (1815), написанная по случаю падения Наполеона.

[45] Интермедию-фантазию «Тартини» Кюхельбекер читал в альманахе «Альциона» (СПб., 1833).

[46] БдЧ. 1834. Т. 2.

[47] Переводная статья «Гете в посмертных его сочинениях» (БдЧ. 1834. Т. 6).

[48] БдЧ. 1834. Т. 4.

[49] Имеется в виду «Траурная речь над гробом безвременно усопшего кота Муция» из второй части «Житейских воззрений кота Мурра» (1821) Э. Т. А. Гофмана.

[50] 24—25 декабря Кюхельбекер читал драматические произведения Державина, а затем в третьей части лирические стихотворения.

[51] Историческое лицо, персонаж пьесы Державина «Пожарский, или Освобождение Москвы». См. с. 522.

[52] Кюхельбекер читал очерк А. В. Никитенко «Елисавета Кульман» (БдЧ. 1835. Т. 8).

[53] Запись восстановлена по цитате в указанной выше (см. примеч. 35) статье Ю. Н. Тынянова. Перевод повести «Отец Горио» с искажающими сокращениями и переделками О. И. Сенковского Кюхельбекер читал в «Библиотеке для чтения» (1835. Т. 8—9).

[54] В примечаниях О. И. Сенковский высмеивал Бальзака и обличал его героев в безнравственности. По поводу сцены прощания виконтессы Босеан с Растиньяком он заметил, что эта «супруга порочная, но твердая любовница» есть «великая женщина г. Бальзака».

[55] По предположению Ю. Н. Тынянова, Кюхельбекер, возможно, имел в виду поляка Осипа Юлиана Викентьевича Горского, с которым познакомился в 1821 г.

[56] Рецензия О. И. Сенковского на «Арабески» (БдЧ. 1835. Т. 9).

[57] Речь идет о монологе Тассо (акт V, явл. 3, выход 2), в котором предрекается, что

Поэзия разлюбит край Торквата —
И перейдет на Запад и на Север!

Тассо пророчествует о появлении на Севере «истинного поэта»;

...стих его рокочет,
То пламенно раздастся, то умрет,
То вдруг скорбит, то пляшет и хохочет.

. . . .

Под шубой весь и в шапке соболевой!
Анакреон, Гораций, Симонид
Вокруг стоят с подъятыми очами,
И Пиндар сам почтительно глядит,
Как он гремит полночными струнами.
. . . .

Он, кажется, поет про честь, про славу,
Про сладкую к отечеству любовь,
Про новую полночную державу.

Тевты — Гете и Шиллер; много строк в монологе посвящены «юноше холодному и суровому», который еще в детстве начнет думать о Тассо, шесть лет будет с ним «без разлуки» и его жизнь «расскажет перед светом».

[58] Дневник за годы заключения обрывается на записи от 10 июня 1835 г. Дальнейшая часть за 1835 г. и дневник за 1836 г. не сохранились. За 1837—1839 гг. имеются лишь отдельные случайные и редкие записи.

[59] Статья В. Г. Белинского о «Герое нашего времени» (ОЗ. 1840. Т. 10. № 6).

[60] Имеются в виду стихотворные произведения этих авторов, напечатанные в дошедших до Кюхельбекера номерах «Отечественных записок» за 1840 г.

[61] Статья «Менцель, критик Гете» (ОЗ. 1840. Т. 8. № 1).

[62] Статья В. Г. Белинского о «Горе от ума» (там же).

[63] Запись восстановлена по цитате в статье Ю. Н. Тынянова «Кюхельбекер о Лермонтове» (Литературный современник. 1941. № 7—8).

[64] Драма В. Гюго (1833).

[65] Роман В. Гюго (1823).

[66] Запись восстановлена по цитате с купюрами в статье Ю. Н. Тынянова «Кюхельбекер о Лермонтове» (см. примеч. 63).

[67] Кюхельбекер говорит о Белинском, чьи неподписанные статьи в «Отечественных записках» он считал принадлежащими издателю журнала. Речь идет о статье Белинского о «Герое нашего времени» (см. примеч. 59).

[68] Героиня романа Э. Сю «Парижские тайны», падшая, продажная женщина, остающаяся внутренне нравственно чистой.

[69] Александр I.

ПИСЬМА

1. ИВ. 1902. № 5. С. 599. Письмо было послано с отставным штабротмистром Елисаветградского полка кн. С. С. Оболенским, отбывавшим наказание в Динабургской крепости и отправленным в апреле 1828 г. рядовым на Кавказ. По дороге Оболенский наскандалил, подвергся обыску, и у него было изъято это письмо. Следствие легко установило автора, в результате по распоряжению Николая I Кюхельбекер был в феврале 1829 г. лишен права переписки с родными. 5 августа того же года ему разрешили писать матери, а затем постепенно и другим родственникам.

2. ЛН. Т. 59. 1954. С. 402 (пер. с фр. М. Г. Ашукиной). Автограф — ГИМ.

3. РА. 1881. Кн. 1. С. 137—139; неоднократно перепечатывалось,

в том числе по автографу в изд.: П у ш к и н. Полн. собр. соч. Т. 14. Л., 1941. С. 116—117. Автограф — ГБЛ. [1] Помфрет — замок в английском графстве Йоркшир, место заточения Ричарда II в V акте одноименной трагедии Шекспира, которую Кюхельбекер переводил в сентябре — октябре 1828 г. [2] Встреча произошла 14 октября 1827 г. на почтовой станции Залазы, возле Боровичей. Кюхельбекера везли из Шлиссельбурга в Динабург, а Пушкин ехал из Михайловского в Петербург. [3] До этого Пушкин и Кюхельбекер виделись последний раз 6 мая 1820 г. [4] Измененная цитата из библейской Книги Екклезиаста, гл. 12, ст. 5. Амигдал — миндаль. [5] Поэма «Давид», объемом около 8000 строк; закончена 13 декабря 1829 г. [6] Речь идет о стихотворениях А. И. Одоевского, печатавшихся в 1830 г. в «Литературной газете» А. А. Дельвига: «Узница Востока», «Элегия на смерть А. С. Грибоедова», «Старица-пророчица». [7] Имеется в виду «История Государства Российского» Н. М. Карамзина.

4. РС. 1875. № 7. С. 351 (датировано 22 апр. 1827 или 1828 г.); перепечатано в кн.: Декабристы и их время: Материалы и сообщения/ Под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха. М.; Л., 1951. С. 47 (передатировано В. Н. Орловым по содержанию). В письме к тому же адресату, датированном родными 1834 г., Кюхельбекер писал: «Поэзия точно доставляет наслаждения необыкновенные; но она похожа на опиум. За восторгами следуют страдания живые, мучительные; не всякий готов перенесть их. ⟨...⟩ Для меня уже нет мира существенного: поэзия создает мне мир мечтательный. Если бы я не был поэтом, я бы едва мог перенесть мое бедное, отравленное всякого рода горестями бытие» (Декабристы и их время... С. 47—48).

5. ЛН. Т. 59. 1954. С. 455—456. Автограф — ЦГАЛИ. [1] Юный Парис получил прозвище Александр (*др.-греч.* отражающий людей) потому, что мужественно защищал стада от нападений разбойников.

6. РА. 1881. Кн. 1. С. 141—142; неоднократно перепечатывалось, в том числе по автографу в изд.: П у ш к и н. Полн. собр. соч. Т. 16. Л., 1949. С. 85—86. Автограф — ГБЛ. Кюхельбекер был доставлен в ссылку в Баргузин 20 января 1836 г. [1] Неточность (см. письмо № 3).

7. Декабристы и их время... С. 61—62. Автограф — ИРЛИ.

8. Былое. 1906. № 3. С. 285—287; перепечатывалось, в том числе в изд.: П у ш к и н. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 146—148. По-видимому, письмо было задержано в III отделении и, возможно, до Пушкина не дошло. [1] Этот мотив звучит в письмах Кюхельбекера и позднее. В одном из писем 1837 г., имевшемся у Ю. Н. Тынянова, он признавался, что, если бы был эгоистом, то просил бы правительство снова его «запереть», но, имея на руках жену, «может только молить бога о заточении» (Декабристы и их время... С. 74). [2] Слегка измененная цитата из оды Г. Р. Державина «К Фелице».

[3] С предложением о сотрудничестве Кюхельбекер обратился ранее к Н. И. Гречу письмом от 13 апреля 1836 г., которое было задержано III отделением и до адресата не дошло. 9 октября 1836 г. он послал просьбу о разрешении печататься А. Х. Бенкендорфу; 24 мая 1838 г. и в 1839 г.— просьбы В. А. Жуковскому ходатайствовать за него. Разрешения дано не было. [4] Статья «Поэзия и проза» (см. наст. изд., с. 443—446).

9. Декабристы и их время... С. 70. Автограф — ИРЛИ. [1] О намерении жениться на дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой Кюхельбекер известил мать письмом от 9 октября 1836 г. Свадьба состоялась 15 января 1837 г.[2] Речь идет о разладе с братом, который, оказавшись практичным человеком, успешно вел свое хозяйство. Чувствуя свою неприспособленность к крестьянскому труду, Кюхельбекер тяготился положением нахлебника, его угнетало «огрубление» брата, и осложнились его отношения с невесткой. [3] Брейткопф.

В ином ключе извещал Кюхельбекер о предстоящей женитьбе Пушкина 18 октября 1836 г.: «Что-то бог даст? — Для тебя, поэта, по крайней мере важно хоть одно, что она в *своем* роде очень хороша: черные глаза ее *жгут душу*; в лице что-то младенческое и вместе что-то страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие» (Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 169). Позднее Кюхельбекер объяснял Жуковскому в письме от 24 мая 1838 г.: «Я женился потому, что я христианин, потому что в жилах моих кровь горячая, потому что не понадеялся я на себя; а споткнуться после 10 лет затворничества было бы уже из рук вон» (Декабристы и их время... С. 69). Наконец, сестре Юлии Карловне он писал 2 августа 1839 г.: «Влюбленным в жену я никогда не был: мои лета уж не те. Но я ее искренно и от всей души любил как помощницу в делах житейских и товарища на поприще земном. Теперь же она мне втрое милее как мать моего дитяти» (там же, с. 77).

10. Декабристы и их время... С. 76—77. Автограф — ИРЛИ. [1] Несохранившаяся стихотворная драма Кюхельбекера «Падение дома Шуйских».

О поэтическом в буднях сибирской ссылки, как его понимал Кюхельбекер, дает представление пример, приводимый им в письме к Нат. Г. Глинке от 1 июня 1839 г. Рассказав о голодной зиме, о севе, о всходах, которые «какой-то червь» ест, он продолжает: «Вот, кажется, самая прозаическая проза, но надобно же рассказать тебе коечто и поэтическое. Сеял я из половины, т. е. семена мои, труды моего товарища, крестьянина Уринского селения, а жатва пополам. Сеяли мы пшеницу 1 маия рано поутру, только что солнышко взошло; нас на обширной Читканской равнине было только четверо: я, он с братом и сестрою. Горы освещались самым прекрасным бледно-розовым цветом; кругом глубокое молчание — и вдруг перед начатием

посева мой товарищ стал креститься на восход солнца, я и брат его и сестра также, он стал кланяться в землю, мы за ним. Признаюсь, давно никакая молитва не производила на меня такого впечатления: мне казалось, что ожило время патриархов, время Авраама, когда под открытым небом приносили жертву Всемогущему» (Декабристы и их время... С. 74—75).

11. Декабристы и их время... С. 79. Автограф — ИРЛИ. [1] Имеется в виду знаменитое признание в «Исповеди». [2] Конец письма утрачен.

12. Декабристы/Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938. С. 184 (Летописи / Гос. лит. музей. Вып. 3). Автограф — ЦГАЛИ. [1] Неустановленное лицо. [2] Владимир Лавров, двоюродный брат адресатки. В письме к ней же от 29 июня 1839 г. Кюхельбекер выражал сожаление относительно поведения Володи, «о нескольких новых свинствах» которого сообщила ему сестра. [3] Миша, Ваня — сыновья Кюхельбекера.

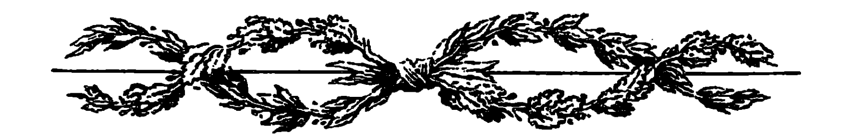
13. ЛН. Т. 59. С. 477. Автограф — ГИМ. Последнее собственноручное письмо Кюхельбекера. [1] Брейткопф. Известие о смерти оказалось ложным. [2] К письму было приложено стихотворение «И ты на небо воспарило...».

14. РС. 1902. № 4. С. 107—110. [1] Письмо к графу А. Ф. Орлову было написано в тот же день.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

---

* Указатель не содержит имен, упоминаемых в драме «Прокофий Ляпунов», которые пояснены в комментариях к тексту. Страницы, на которых упоминаются литературные произведения, персонажи, названия картин и приводятся цитаты, указываются под фамилиями авторов.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

ПРОЗА

СТАТЬИ

ДНЕВНИК. ПИСЬМА

ДНЕВНИК

ПИСЬМА

КОММЕНТАРИИ

Кюхельбекер В.

К 99 Сочинения / Сост., подгот. текста, коммент. В. Рака, Н. Романова; Вступ. ст. Н. Романова; Коммент. В. Рака, Н. Романова.— Л.: Худож. лит., 1989.—576 с., 1 л. портр.

ISBN 5—280—00065—5

Книга «Сочинений» Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797—1846), поэта-декабриста, друга Пушкина, содержит избранные его стихотворения, поэмы, драму «Прокофий Ляпунов», отрывки из дневника (1831—1845) и «Путешествия», роман «Последний Колонна», статьи о современной поэту русской литературе («О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» и др.), а также избранные письма.

К $\frac{4702010106-053}{028(01)-89}$ 4—88 ББК 84. Р1

Вильгельм Карлович Кюхельбекер

СОЧИНЕНИЯ

Составители

Вадим Дмитриевич Рак,
Николай Михайлович Романов

Редакторы *Т. Мельникова, И. Степанов*
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *Н. Литвина*
Корректоры *А. Борисенкова, М. Зимина, Г. Щеголева*

ИБ № 5140

Сдано в набор 29.03.88. Подписано в печать 11.01.89. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24+0,05 вкл.=30,29. Усл. кр.-отт. 30,76. Уч.-изд. л. 30,85+ +1 вкл.=30,89. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛII-189. Заказ № 1498. Цена 2 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.